



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

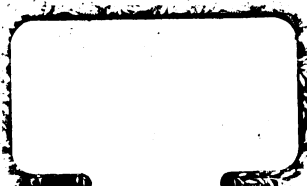
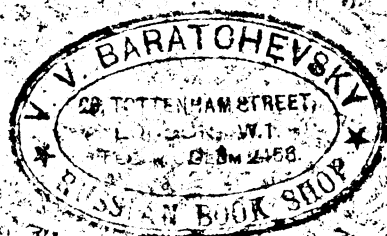
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

C 532,669









*А. Баратовъ.*  
Издание товарищества „ЗНАНИЕ“.—С.-Петербургъ, Невскій, 92.

*Миликовъ, Р.*

*П. Милуковъ.*

*24/II 902.*

*Отг. V -*

Полит. и

ПУБЛ.

ИЗЪ ИСТОРИИ

# РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ.

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ И ЭТЮДОВЪ.

*N-6175 -*

*31. X. 5/7.*

Портреты: Н. В. Станкевичъ, В. Г. Валинскій, Н. А. Герценъ, А. И. Герценъ  
и снимокъ съ „кондицій“ Императрицы Анны.



Цѣна 1 р. 50 к.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія А. Е. Колпинскаго. Уголь Конной ул. и Телѣжнаго пер., д. № 3—5.

1902.

DK

32.7

M 4811

1902

62.  
659-5352  
12251  
4-11-71

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТРАН.	
<b>Предисловіе</b> . . . . .	I— II	
<b>Верховники и шляхетство</b> . . . . .	1— 51	
I. Положеніе въ моментъ смерти Петра II. Роль иностранной дипломатіи. Источники. 1—5.—II. Засѣданіе верховнаго совѣта 19 января. 5—7.—III. Содержаніе „пунктовъ“ и ихъ шведскіе источники. 7—11.—IV. Остальныя части плана Голицына, не вошедшія въ „пункты“. 11—15.—V. Происхожденіе проекта Голицына. Роль Фика. 15—21.— VI. Отношеніе офицерства къ проекту. Возраженія конституціонной партіи и засѣданіе 2 февраля. 21—26.—VII. Проектъ Татищева и его обсужденіе въ кружкѣ генералитета. 26—31.—VIII. Верховный совѣтъ предлагаетъ (5 февраля) высказаться шляхетству, несогласному съ генералитетскимъ кружкомъ Татищева. Попытки соглашенія съ совѣтомъ, рядъ уступокъ и ихъ неудача. 31—40.—IX. Пріѣздъ Анны 10 февраля, послѣднія попытки совѣта удержатъ позицію и сговориться съ несогласными; дѣйствія сторонниковъ самодержавія. 40—45.—X. Совѣщанія конституціоннаго и монархическаго шляхетства 23 февраля. Событія во дворцѣ 25 февраля. 45—49.—XI. Уступки Анны желаніямъ шляхетства. 49—51.		
<b>Сергій Тимофеевичъ Аксаковъ</b> . . . . .	52— 72	
Значеніе Аксакова для исторіи русскаго общественнаго развитія. 52—56. Семья и обстановка дѣтства. 56—58. Учебные годы въ Казани; начало „русскаго направленія“ его. 58—60. Увлеченіе театромъ. 61. Отсутствие политическаго элемента въ „русскомъ направленіи“ Аксакова. 62—63. Въ сторонѣ отъ событій (1813—1826). 64—66. Аксаковъ—цензоръ; отношеніе къ Полевому и Погодину. 66—67. Слабость вліянія молодсѣи Москвы 30-хъ гг. черезъ сына Константина; сильное вліяніе отца на сына. 68—70. Вопросъ о вліяніи Гоголя на С. Т. Аксакова. 70—71.		
<b>Любовь у „идеалистовъ тридцатыхъ годовъ“</b> . . . . .	73—168	
I. Н. В. Станкевичъ. 74—81. Его романы. 74—75. Смыслъ		

любви для Станкевича. 76—77. Общая схема его романовъ. 77—80. Перемена настроенія въ концѣ жизни. 80—81.

II. В. Г. Бѣлинскій. 81—116. I. Постановка вопроса. 81—82.—II. Теорія любви; встрѣча съ А. А. Бакуниной; внутренняя борьба. 82—87.—III. Возстановленіе вѣры въ себя, столкновенія съ М. Бакунинымъ, вѣра въ „дѣйствительность“. 87—94.—IV. Новый пароксизмъ чувства и новая ссора съ Бакунинымъ. 94—99.—V. Окончательный разрывъ; торжество теоріи „разумной дѣйствительности“; роль пережитаго въ происхожденіи этой теоріи. 99—106.—VI. Эпилогъ сердечной исторіи и потребность въ новомъ чувствѣ. 106—112.—VII. Новая любовь и бракъ. 112—116.

III. А. И. и Н. А. Герцены. 116—168. I. Постановка вопроса. 116—118.—II. Обстановка дѣтства Герцена и Захарьиной. Контрастъ ихъ характеровъ. 118—120.—III. Ростъ взаимнаго чувства въ связи съ вятскимъ романомъ Герцена. 125—134.—IV. Подчиненіе вліянію Наташи. 134—139.—V. Разрывъ съ Медвѣдовой, переездъ во Владиміръ и женитьба. 139—144.—VI. Зародыши драмы. Идеаль и дѣйствительность семейныхъ отношеній. 144—151.—VII. Переходъ въ Москву и конецъ семейной идилліи. Томленіе въ Новгородѣ; новыя теоріи Герцена и страданія Наташи. 151—157.—VIII. Кризисъ въ семейной жизни и его послѣдствія. Кризисъ въ общественной дѣятельности и отъѣздъ за-границу. 157—161.—IX. Неудовлетворенность Наташи и исканіе исхода. 161—165.—X. Потребность жить, романъ и смерть Наташи. 165—168.

Памяти А. И. Герцена . . . . . 169—175

Главныя черты жизни. 169—171. Итоги юбилея. 171—175.

По поводу переписки В. Г. Бѣлинскаго съ невѣстой . . . . . 176—187

Сравненіе двухъ привязанностей Бѣлинскаго. 176.

Смыслъ его первой душевной драмы. 177—179. Выходъ изъ нея. 179—181. Петербургское настроеніе. 182—184. Новый взглядъ на бракъ и привязанность. 185—186.

Надеждинъ и первыя критическія статьи Бѣлинскаго . . . . . 188—211

Мнѣніе С. А. Венгерова о вліяніи Надеждина. 188—190.

Неправильность его постановки вопроса. 190—192. Источникъ ошибки. 192—193. Романтическая теорія искусства Бѣлинскаго. 193—194. Смыслъ „противорѣчій“ въ этой теоріи. 194—195. Исходная точка теоріи — у Надеждина. 195—196. Возраженія Бѣлинскаго въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“. 196—198. Дальнѣйшее развитіе самостоятельной мысли Бѣлинскаго и его теорія реальной и идеальной поэзіи. 198—201. Частный примѣръ отношенія къ Надеждину. 201—203. Зависимость взглядовъ на русскую культуру и литературу отъ статей Надеждина. 203—206. Шагъ впередъ Бѣлинскаго въ пониманіи „народности“. 206—208. Славяно-

фильский источникъ его. 209. Самостоятельная позиция Бѣлинскаго въ вопросѣ о народности. 210. Выводъ. 210—211.	
<b>Университетскій курсъ Грановскаго.</b> . . . . .	212—265

I. Общая постановка; источникъ свѣдѣній объ университетскомъ курсѣ Грановскаго. 212—218. Планъ курса и введеніе. 219—220. Дѣленіе средневѣковой исторіи. 221. Причины паденія Рима. 222—223. Характеристики императоровъ и общества. 224—227.—II. Отказы о борьбѣ язычества и христіанства. 227—228. Внутренній бытъ и культурныя теченія послѣднихъ вѣковъ имперіи. 229—234.—III. Взглядъ на бытъ германцевъ. 234—236. Дальнѣйшее развитіе. 236—237.—IV. Переселеніе народовъ. 237—238. Вопросъ о римской традиціи въ варварскихъ государствахъ. 238—240.—V. Отношеніе къ историкамъ франкскаго государства. 240—241. Оцѣнка фактовъ и личностей съ всемірно-исторической точки зрѣнія. 242—245. Взглядъ на Карла Великаго. 245—248. Взглядъ на священную римскую имперію. 249—250. VI. Поэзія скандинавскихъ сагъ. 250—251. Отношеніе къ крѣпостному праву 252—253; къ рыцарству 254—255. Оцѣнка крестовыхъ походовъ. 255—257.—VII. Вопросъ о вліяніи на Грановскаго общихъ историческихъ теорій. 258. Вліяніе Гегеля. 259—261. Поэтический и художественный элементъ въ исторіи. 261—263. Научная подготовка Грановскаго. 263—264. Вліяніе новыхъ историческихъ взглядовъ. 264. Роль Грановскаго въ исторіи университетскаго историческаго преподаванія. 264—265.

<b>Разложеніе славянофильства (Данилевскій, Леонтьевъ, Вл. Соловьевъ)</b> . . .	266—306
---	---------

Рестаурація славянофильства. 266—267.—I. Соединеніе національнаго и всемірно-историческаго (мессіанскаго) элементовъ въ старомъ славянофильствѣ. 267—270.—II. Выдѣленіе національнаго элемента въ системѣ Данилевскаго: научный базисъ и идеалистическая надстройка. 270—273.—III. Устарѣлость практическихъ выводовъ. 273—275.—IV. Источникъ ошибки въ идеалистическомъ пониманіи „морфологическаго принципа“ въ природѣ и исторіи. 275—277.—V. Послѣдствія ея: идеалистическое представленіе о „культурно-историческомъ типѣ“. 277—278.—VI. Практическій выводъ изъ этого представленія: національный эгоизмъ и исключительность. 278—280.—VII. Дальнѣйшее развитіе этого вывода въ системѣ К. Леонтьева. Разочарованіе въ культурной идеѣ и будущности славянства. 280—282.—VIII. Дополненіе научной теоріи Данилевскаго новыми элементами, взятыми изъ органической теоріи общества; непослѣдовательность въ практическихъ выводахъ отсюда. 282—284.—IX. Россія на распутьѣ между византизмомъ и европеизмомъ; политика „подмораживанія“. 285—287.—X. Связь практической программы Леонтьева съ программой Дани-

- левскаго. 287—290.—XI. Reductio ad absurdum идеи національности. 290—291.—XII. Потребность реставрировать гуманитарные элементы стараго славянофильства. 291—292.—XIII. Религіозный элементъ, какъ основа реставраціи. 293—295.—XIV. Попытка Вл. Соловьева реставрировать съ помощью идеи вселенской церкви всемірно-историческую миссію Россіи. Общія черты его богословско-философской системы. 295—299.—XV. Попытка публицистической борьбы противъ теоріи національнаго эгоизма. 299—301.—XVI. Попытка примиренія историческаго прогресса съ христіанской идеей. 301—303.—XVII. Неудовлетворительность результатовъ эволюціи славянофильскихъ идей народности и національной миссіи. Причина неудовлетворительности—въ метафизическомъ абсолютизмѣ исходныхъ точекъ зрѣнія. Отношеніе коренного славянофильства къ его искусственной реставраціи. 303—306.
- По поводу замѣчаній Вл. С. Соловьева . . . . . 307—308**
- Существуетъ ли „лѣвая фракція“ эпигоновъ славянофильства? 307. Имѣетъ ли право историкъ-эмпирикъ изучать філіацію идей? 308.



## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Статьи, собранныя въ настоящемъ сборникѣ, всѣ были уже напечатаны въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ и сборникахъ. Статьи „Верховники и шляхетство“ появилась подъ заглавіемъ — „Попытка государственной реформы при воцареніи императрицы Анны Іоанновны“ въ сборникѣ „Въ пользу воскресныхъ школъ“, изданіе Русской Мысли, Москва, 1894. Характеристика С. Т. Аксакова напечатана въ Русской Мысли, 1891, № IX, по поводу столѣтняго юбилея дня его рожденія. Статья „Любовь у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ“ составила изъ ряда фельетоновъ, напечатанныхъ въ Русскихъ Вѣдомостяхъ, 1895, №№ 205, 312, 317 и 323 и 1896 №№ 276, 282, 289, 305, 335 и 345. Замѣтка „Памяти Герцена“ помѣщена по поводу тридцатилѣтія его смерти въ Мірѣ Божіемъ 1900, № 2. Статья „По поводу переписки В. Г. Бѣлинскаго съ невѣстой“ составляетъ предисловіе къ самымъ письмамъ, напечатаннымъ покойнымъ Г. А. Джаншіевымъ въ сборникѣ „Починъ“, 1896, изд. Московскаго Общества любителей россійской словесности. Статья „Надеждинъ и первыя критическія статьи Бѣлинскаго“ напечатана была въ сборникѣ „На славномъ пути“, Спб. 1901. Этюдъ объ „университетскомъ курсѣ Грановскаго“ появился въ армянскомъ сборникѣ Джаншіева „Братская помощь“ (здѣсь печатается въ томъ видѣ, какъ въ 1-мъ изданіи 1897; во 2-мъ изданіи статья была сокращена). Наконецъ, лекція о разложеніи славянофильства напечатана въ Вопросахъ Философіи и Психологіи 1893, май.

Въ текстѣ статей не сдѣлано никакихъ измѣненій, кромѣ очень немногихъ стилистическихъ поправокъ, имѣвшихъ цѣлью — облегчить чтеніе. Поводомъ собрать въ одинъ сборникъ всѣ статьи, относящіяся къ „Исторіи русской интеллигенціи“, было желаніе автора сдѣлать эти статьи доступными для читателей его „Очерковъ по исторіи русской культуры“, — чтобы тѣмъ самымъ освободить себя отъ необходимости повтореній въ составляемомъ теперь III томѣ „Очерковъ“.



всегда содержи  
 тойной сол  
 бойны не да  
 гать, 3. В  
 ниюним и  
 щать, 4. Д  
 щие. План  
 иморния. С  
 не фоловат  
 атьлам и  
 ипротгим  
 ниемъ без  
 5. Ушлах  
 безсуда не  
 иудеренн  
 ривы зини

ривы зини

Благодаря любезному разрѣшенію г. директора Государственнаго архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, С. М. Горяинова, и содѣйствію служащаго въ архивѣ Н. П. Павлова-Сильванскаго, оказалось возможнымъ приложить къ настоящему изданію факсимиле интереснаго историческаго документа, — „кондицій“ имп. Анны, сперва подписанныхъ ею, а затѣмъ разорванныхъ, но сохранившихся въ Государственномъ архивѣ. Снимокъ съ рельефнаго изображенія Станкевича сдѣланъ былъ, по моей просьбѣ, уважаемой Н. С. Бакуниной, у которой хранится оригиналъ. Снимки съ малоизвѣстнаго портрета Герцена — въ томъ возрастѣ, къ которому относится его переписка съ будущей женой, Н. А. Захарьиной, — и съ портрета самой Н. А., сдѣланнаго въ Италіи, въ 1847 году, любезно сообщены мнѣ извѣстной изслѣдовательницей сороковыхъ годовъ, Е. С. Некрасовой. Портретъ молодого Бѣлинскаго, — тоже въ томъ возрастѣ, къ которому относятся главные событія его сердечной исторіи (27—28 лѣтъ, въ 1837—1838 году), недавно былъ изданъ въ краскахъ во II томѣ „Полнаго собранія сочиненій Бѣлинскаго, подъ редакціей С. А. Венгерова. Здѣсь этотъ портретъ издается по снимку съ оригинала, съ разрѣшенія владѣльца, П. Г. Моравека. Авторъ приноситъ глубокую благодарность названнымъ лицамъ, содѣйствіе которыхъ дало возможность дополнить текстъ сборника всѣми этими, въ высшей степени поучительными иллюстраціями.

Лондонъ, 27 іюля 1902.

всегда содержи  
 тайного со  
 войны не да  
 гать, 3. В  
 Никоним и  
 щать, 4. В  
 щие. Плат  
 Имория в  
 не фоловат  
 а тламъ и  
 Ипротгимъ  
 ниемъ бер  
 5. Ушлахъ  
 безсуда не  
 и дерелии  
 рныхъ

арх  
стві  
мож  
исто  
ных  
ном  
был  
ориг  
возр  
Н. А  
въ 1  
соро  
тоже  
серд  
изда  
скаг  
по с  
Авто  
стві  
этим

хатъ, Ибо яко Перхоко  
лѣти согласия Л. Ник  
инатъ, 2 Миръ и взаим  
ныхъ нашихъ Позна  
иными Податми и ево  
издѣлѣхъ, Канъ вѣ  
и Любоуи и Схотобили  
ище Полноднѣхъ рѣш  
и, Ниже издѣлѣхъ  
и евопрѣдѣлѣхъ, иудѣи  
и вѣномъ вѣти подвѣ  
и яко тайно содѣла  
и на евопѣ и мѣхъ  
иатъ, 6. Вѣтѣхъ,  
и олопатъ, 7. Вѣтѣхъ  
и, Таиъ и  
и олопатъ, 7. Вѣтѣхъ  
и, Таиъ и



# Верховники и шляхетство.

## I.

Ночь съ 18-го на 19-е января 1730 года прошла въ Москвѣ очень тревожно. Въ Нѣмецкой слободѣ, во дворцѣ, построенномъ Петромъ Великимъ для Лефорта, умиралъ пятнадцатилѣтній императоръ Петръ II. Онъ скончался въ бреду, въ первомъ часу ночи, не доживъ нѣсколькихъ часовъ до срока, назначеннаго первоначально для его свадьбы съ княжной Екатериной Алексѣевной Долгорукой.

Въ сущности говоря, для людей близкихъ ко двору и знакомыхъ съ личностью императора, въ этой смерти не могло быть ничего неожиданнаго. „Образъ жизни, который велъ покойный молодой монархъ,— писалъ по этому поводу датскій посланникъ Вестфаленъ своему двору,—его охотничьи разъѣзды съ утра до вечера при всякой погодѣ, безпорядочность въ ѣдѣ и питѣи, безсонныя ночи, проведенныя въ танцахъ, привычка пить, разгорячившись, холодныя напитки и, при всемъ этомъ, то обстоятельство, что у него еще не было оспы,—всега представляли меня опасаться за его жизнь“. И дѣйствительно, почти за годъ передъ тѣмъ, въ апрѣлѣ 1729 г., Вестфаленъ уже писалъ своему правительству о мѣрахъ, которыя слѣдуетъ предпринять въ случаѣ смерти молодого императора.

Датскій посланникъ имѣлъ, на самомъ дѣлѣ, серьезныя причины бояться смерти Петра II. По „тестamentу“ Екатерины I, въ случаѣ бездѣтной смерти внука Петра Великаго, престолъ долженъ былъ перейти къ старшей ихъ дочери, Аннѣ Петровнѣ, съ нисходящими потомками, а за ихъ отсутствіемъ — къ Елизаветѣ Петровнѣ съ ея „десцендентами“. Анна Петровна, выданная замужъ за герцога голштинскаго, не дожила до смерти своего племянника; но послѣ нея остался малолѣтній сынъ (впослѣдствіи императоръ Петръ III), который и былъ законнымъ наслѣдникомъ по завѣщанію Екатерины. Этого-то соединенія

голштинскаго и русскаго престоловъ и опасался болѣе всего датскій посланникъ. Дѣло въ томъ, что въ такомъ случаѣ Голштинія усиливалась и могла легче добиться своей постоянной цѣли: отнять у Даніи Шлезвигъ. Одинъ разъ (по смерти Екатерины I) Вестфалену уже пришлось хлопотать объ устраненіи кандидатуры „кильскаго ребенка“; и онъ не малую долю вліянія при воцареніи Петра II приписывалъ именно своимъ хлопотамъ. Теперь приходилось вторично приняться за тѣ же хлопоты, тѣмъ болѣе, что, какъ казалось Вестфалену, на сторонѣ голштинскаго претендента стояли посланники шведскій и австрійскій. Несомнѣнно, что опасенія Вестфалена были въ этомъ случаѣ очень преувеличены. Но крайней мѣрѣ, въ донесеніяхъ шведскаго посла, Дитмера, не оказывается ни малѣйшихъ слѣдовъ какой-нибудь шведской интриги въ пользу голштинскихъ плановъ. Напротивъ, Дитмеръ подчеркиваетъ передъ своимъ правительствомъ, что намѣренъ остаться совершенно нейтральнымъ въ вопросѣ о русскомъ престолонаслѣдіи. Какъ бы то ни было, едва болѣзнь Петра II начала принимать опасный характеръ, какъ Вестфаленъ принялся усиленно интриговать противъ кандидатуры сына Анны Петровны. Онъ дневалъ и ночевалъ у князей Долгорукихъ, всесильныхъ при умиравшемъ императорѣ. О чемъ была рѣчь у посланника съ временщиками, скоро стало ясно: очевидно, не безъ вліянія этихъ разговоровъ составлено было письмо, въ которомъ Вестфаленъ уговаривалъ Долгорукихъ „соединиться съ другими вельможами Россіи“ для доставленія престола невѣстѣ императора, княжнѣ Долгорукой. „Если энергичная и твердая рѣшимость двухъ такихъ людей, какъ Толстой и Меншиковъ,—писалъ онъ Долгорукимъ,—могли доставить русскую корону покойной царицѣ, несмотря на массу препятствій, то почему бы подобная рѣшимость не могла дать такого же положенія принцессѣ добродѣтельной, какова ваша племянница“?

Событія показали скоро, что Вестфаленъ слишкомъ поторопился учестъ въ свою пользу планъ, къ которому Долгорукіе могли придти и безъ его помощи, но для осуществленія котораго его помощи оказалось слишкомъ недостаточно. На первыхъ же шагахъ къ осуществленію, планъ возвести на престолъ невѣсту императора встрѣтилъ, какъ извѣстно, сопротивленіе среди самихъ Долгорукихъ, ненавидѣвшихъ семью государева любимца, Ивана Алексѣевича. Отецъ его, самый ничтожный и самый надутый изъ всей фамиліи, скоро долженъ былъ ступеваться передъ болѣе видными представителями Долгорукихъ, выдававшимися по нравственнымъ или по умственнымъ качествамъ: передъ фельдмаршаломъ Вас. Владиміровичемъ и передъ дипломатомъ Василюмъ Лу-



кичемъ. „Соединеніе съ другими вельможами“ (именно Голицыными), проектированное Вестфаленомъ, дѣйствительно состоялось, но вовсе не съ цѣлью осуществленія Долгоруковского проекта. Соединившіеся вельможи послѣпили, впрочемъ, успокоить озабоченнаго дипломата, сообщивъ ему, что меньше всего они думаютъ о голштинской кандидатурѣ. Хлопоты Вестфалена, разумѣется, были тутъ не причеиъ, и датскій посланникъ очень ошибался, если въ самомъ дѣлѣ думалъ, — какъ онъ писалъ своему правительству, — что, благодаря именно его „энергическому противодѣйствію“ и благодаря его „предупрежденіямъ лицъ, руководившихъ переворотомъ“, предотвращено было и на этотъ разъ вступленіе на русскій престолъ сына Анны Петровны подъ опекой Елизаветы. Гораздо лучше понималъ роль дипломатіи въ этомъ случаѣ шведскій посланникъ, когда писалъ: „датскій министръ подъ рукой много хлопоталъ о томъ, чтобы не зашла рѣчь о голштинскомъ принцѣ; но, кажется, на подобныя внушенія такъ же мало обратили вниманія, какъ на противоположныя напоминанія графа Бонде (голштинскаго посла), что объ этомъ принцѣ не слѣдуетъ забывать вовсе. Хотя послѣдняго и увѣряли, что препятствіемъ для принца служить на этотъ разъ молодость, но *главная причина* (отклоненія голштинской кандидатуры), по всей видимости, *та, что посредствомъ выбора хотятъ достигнуть большей свободы* и не оставаться болѣе подъ такимъ тяжелымъ гнетомъ“.

Иностранной дипломатіи въ Россіи прошлаго вѣка не разъ удавалось сыграть весьма видную и активную роль въ дворцовыхъ переворотахъ. Но переворотъ 1730 г. обошелся безъ участія дипломатіи. Онъ слишкомъ неожиданно начался, слишкомъ скоро кончился, былъ руководимъ слишкомъ самостоятельными людьми и слишкомъ глубоко захватилъ внутреннее движеніе русскаго общества, чтобы иностранная дипломатія (притомъ на непривычномъ мѣстѣ, въ Москвѣ) могла оказать на него сколько-нибудь замѣтное вліяніе. Самые умные изъ иностранцевъ скоро поняли, что имъ оставалось только сложить руки и спокойно ожидать развязки, не выходя изъ роли постороннихъ наблюдателей.

Въ качествѣ наблюдателей — иностранные дипломаты понимали смыслъ совершавшихся передъ ихъ глазами событій различно. Одни смотрѣли на попытку верховниковъ, какъ на возвращеніе русскаго боярства къ прежнему положенію, — къ допетровской старинѣ. Другіе видѣли въ этой попыткѣ желаніе осуществить новое, болѣе раціональное государственное устройство на манеръ Англіи, Швеціи или Польши. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ — многіе изъ иностранныхъ представи-

телей сочувствовали готовящемуся перевороту; были моменты, когда нѣкоторымъ изъ нихъ онъ казался вполне осуществимымъ. Но большинство дипломатовъ, даже сочувствуя перевороту теоретически, плохо вѣрили съ самаго начала въ его осуществимость на практикѣ. Во всякомъ случаѣ, московскія событія интересовали ихъ, главнымъ образомъ, съ той точки зрѣнія, что они могли отвлечь Россію отъ активной роли въ современной европейской политикѣ.

Оба только-что упомянутые взгляда иностранцевъ на значеніе переворота 1730 года (т.-е. какъ на боярскую реакцію прстивъ демократическаго и бюрократическаго деспотизма Петровской реформы, или какъ на попытку перенесенія въ Россію иноземнаго государственнаго строя)—были, надо признаться, гораздо глубже тѣхъ понятій, которыя послѣ неудачи переворота утвердились среди русской публики и господствовали въ русской исторической литературѣ вплоть до послѣднихъ десятилѣтій. Попытка верховниковъ понята была у насъ, какъ продуктъ своекорыстнаго и эгоистическаго разсчета—обезпечить личныя выгоды путемъ раздѣла власти между двумя могущественными фамиліями. О попыткахъ же шляхетства, протестовавшаго противъ верховниковъ и выступившаго съ собственнымъ планомъ политической реформы,—въ русской печати почти ничего не было извѣстно. Только съ середины XIX вѣка стало возможно возстановить истинный характеръ событій 1730 года и освободить толкованіе ихъ отъ запоздалыхъ вліяній тогдашней памфлетной литературы. Донесенія иностранныхъ пословъ сыграли при этомъ весьма важную роль.

Извлеченія изъ депешъ испанскаго посла, изданныя въ 1845 г. Языковымъ подъ названіемъ „Записокъ дюка Лирійскаго“, выдержки изъ донесеній французскаго резидента Маньяна, напечатанныя Тургеневымъ въ 3-мъ томѣ его извѣстнаго изданія „La Russie et les Russes“, наконецъ, обширныя цитаты изъ донесеній саксонскаго посла Лефорта въ 4-мъ томѣ „Geschichte des Russischen Staates“ Германа (1849) положили прочное начало знакомству съ литературой донесеній. Затѣмъ, на тѣхъ же донесеніяхъ, съ присоединеніемъ выписокъ изъ депешъ англійскаго резидента Рондо, основанъ былъ рассказъ о переворотѣ 1730 г. въ извѣстномъ сборникѣ „La cour de Russie il y a cent ans“ (1858). Наконецъ, и самые тексты донесеній начали издаваться въ полномъ видѣ: герцога де-Лирія—въ „Осмнадцатомъ вѣкѣ“ Бартенева, Лефорта—въ V томѣ, Рондо—въ LXVI-мъ и Маньяна—въ LXXV томахъ Сборника Императорскаго Русскаго Историческаго Общества. Еще важнѣе было то, что и подлинныя документы переворота, сохранившіеся, главнымъ образомъ, въ петербургскомъ государственномъ архивѣ,

ждались, наконецъ, своихъ изслѣдователей: въ 1869 году С. М. Соловьевъ въ 19-мъ томѣ своей „Исторіи“ и въ 1880 году Д. А. Корсаковъ въ специальной диссертациі о „воцареніи императрицы Анны Іоанновны“—представили результаты своихъ архивныхъ изысканій, существенно дополнившіе то, что было извѣстно изъ дипломатическихъ донесеній. Къ ряду послѣднихъ Д. А. Корсаковъ прибавилъ новый источникъ: депеши датскаго посла Вестфалена. Но и этимъ матеріалъ донесеній не былъ исчерпанъ окончательно. Послѣ работы казанскаго профессора появилась статья шведскаго историка Іерне, дополняющая наши свѣдѣнія любопытными извлеченіями изъ депешъ шведскихъ дипломатовъ, Дитмера и Моріана <sup>1)</sup>. Кромѣ сообщенія новаго матеріала, статья Іерне важна еще и въ другомъ отношеніи: въ ней впервые сдѣлана попытка точно указать шведскіе источники проектированной верховниками государственной реформы. Такъ какъ статья эта прошла совершенно незамѣченной въ нашей исторической литературѣ, и такъ какъ донесенія Рондо и Маньяна опубликованы вполнѣ уже послѣ выхода въ свѣтъ специальной работы проф. Корсакова, то намъ показалось нелишнимъ, опираясь на весь извѣстный теперь матеріалъ, еще разъ остановить вниманіе читателей на этомъ любопытномъ эпизодѣ нашей исторіи прошлаго вѣка. Помимо сообщенія фактовъ, неизвѣстныхъ въ русской исторической литературѣ,—и фактами уже извѣстными намъ казалось возможнымъ воспользоваться въ нѣкоторыхъ случаяхъ иначе, чѣмъ ими пользовались до сихъ поръ при описаніи событий 1730 года <sup>2)</sup>.

## II.

Основной вопросъ—о престолонаслѣдіи—былъ разрѣшенъ немедленно послѣ смерти государя, ночью на 19-е января, верховнымъ тайнымъ совѣтомъ, съ участіемъ двухъ фельдмаршаловъ, кн. Вас. Вл. Долгорукаго и кн. Мих. Мих. Голицына, а также сибирскаго губернатора кн. Мих. Вл. Долгорукаго. Всѣ эти три лица не имѣли, впрочемъ, никакого права присутствовать въ совѣтѣ, кромѣ своего родства съ вліятельными верховниками. Инициаторомъ рѣшеній этого импровизированнаго собранія, никѣмъ не уполномоченнаго вести то дѣло, за которое

<sup>1)</sup> Historisk Tidskrift, 1884. *Harald Hjärne*: Ryska konstitutions-project år 1730 efter svenska förebilder. Стр. 189—272.

<sup>2)</sup> Новѣйшее изложеніе переворота 1730 г. у *Валтиевскаго* (*L'héritage de Pierre la Grand, règne des femmes, gouvernement des favoris, 1725—1741*) основано на русскихъ изслѣдованіяхъ, включая и настоящую статью.

оно взялось, явился кн. Дм. Мих. Голицынъ. Онъ началъ засѣданіе съ того, что устранилъ нерѣшительныя заявленія Долгорукихъ о завѣщаніи Петра II въ пользу невѣсты. Это завѣщаніе Голицынъ открыто и рѣшительно объявилъ подложнымъ. Вслѣдъ затѣмъ и завѣщаніе Екатерины I (на которомъ основывалась голштинская кандидатура) онъ объявилъ недѣйствительнымъ—на томъ основаніи, что Екатерина сама не имѣла права занимать престола, какъ женщина низкаго происхожденія (историки не рѣшаются повторять болѣе рѣзкаго выраженія, употребленнаго въ этомъ случаѣ кн. Голицынымъ). Устранивъ такимъ образомъ дочерей Екатерины I, которыхъ партія старины всегда считала рожденными до брака, Голицынъ не менѣе рѣшительно устранилъ первую жену Петра Великаго, царицу Евдокію, и старшую изъ племянницъ Петра, Екатерину Ивановну, герцогиню мекленбургскую,—последнюю на томъ основаніи,—совсѣмъ уже не принципиальнаго свойства,—что мужъ ея можетъ причинить Россіи разныя затрудненія. Затѣмъ Д. М. Голицынъ остановился на ея младшей сестрѣ—Аннѣ Ивановнѣ, вдовѣ герцога курляндскаго, которая уже вовсе не могла имѣть никакихъ основаній—разсчитывать на русскій престолъ. Предложивъ ея кандидатуру, Голицынъ былъ поддержанъ другимъ виднымъ членомъ верховнаго совѣта, кн. Вас. Лук. Долгорукимъ. Совѣтъ согласился на избраніе Анны Ивановны. Тогда Голицынъ перешелъ къ выполненію другой части своего плана, которую онъ развивалъ, впрочемъ, далеко не такъ рѣшительно, какъ первую. Свое намѣреніе онъ передалъ товарищамъ въ неловкой и туманной фразѣ: „Надобно“ было, по его словамъ, „себѣ полегчить“, именно—„воли себѣ прибавить“. Со стороны канцлера Головкина эта часть предложенія вызвала недоумѣніе. Ловкій и практическій князь Василій Лукичъ тоже выразилъ сомнѣніе въ исполнимости этого замысла. „Хоть зачнемъ, да не удержимъ этого“, заявилъ онъ. Совѣщаніе такъ и кончилось безъ опредѣленнаго результата. Голицынъ настаивалъ на томъ, чтобы, „написавъ, послать къ ея величеству пункты“; а Василій Лукичъ, встрѣтивъ послѣ засѣданія въ сосѣдней комнатѣ Павла Ивановича Ягужинскаго и услышавъ отъ него то же заявленіе: „Батюшки мои, прибавьте намъ какъ можно воли“,—резюмировалъ результатъ ночного совѣщанія въ своемъ отвѣтѣ ему такъ: „говорено уже о томъ было,—но то не надо“. Кто могъ бы думать, что на слѣдующее утро Долгорукій превратится въ сторонника ограниченія царской власти, а Ягужинскій—въ защитника самодержавія?

Какъ бы то ни было, въ первыя минуты Голицынъ не нашелъ себѣ единомышленниковъ среди сочленовъ по совѣту. Но онъ имѣлъ

этихъ единомышленниковъ, очевидно, вѣѣ совѣта. Вотъ почему онъ поспѣшилъ немедленно вернуть разбѣзжавшихся изъ дворца по домамъ генераловъ и сенаторовъ (въ томъ числѣ и Ягужинскаго) и, собравъ нѣкоторыхъ изъ нихъ вокругъ себя, продолжалъ съ ними начатый безъ нихъ въ совѣтѣ разговоръ о „пунктахъ“. По словамъ очевидца, онъ говорилъ имъ, что „станетъ-де писать пункты, чтобы не быть самодержавствію“.

Въ такой обстановкѣ явился впервые на свѣтъ проектъ верховниковъ. Нельзя не вывести изъ разсказанной сцены, что проектъ составилъ въ головѣ одного Голицына, который пришелъ въ засѣданіе съ готовымъ планомъ дѣйствій, что среди товарищей онъ не встрѣтилъ на первыхъ порахъ сочувствія своему плану и что съ перваго же момента онъ готовъ былъ искать этого сочувствія въ другихъ, менѣе сановныхъ сферахъ. Такъ мало походило все дѣло на заранѣе обдуманное и условленный олигархическій комплотъ.

Однако, въ слѣдующія же минуты Голицынъ настоялъ на своемъ и въ совѣтѣ. Когда разбѣхались члены сената и генералитета, засѣданіе восьми сановниковъ возобновилось. Они занялись теперь, какъ того желалъ Голицынъ, составленіемъ „пунктовъ“. Диктовалъ самъ князь Дмитрій Михайловичъ, а также и Василій Лукичъ, успѣвшій, какъ видно, войти въ его мысли; редактировалъ, по настоянію товарищей, Остерманъ, „яко знающій лучше стиль“; записывалъ правитель дѣлъ верховнаго совѣта Степановъ, разсказавшій намъ всю эту сцену. Скоро черновая редакція пунктовъ была готова и импровизированное собраніе, проработавъ всю ночь, разбѣхалось по домамъ до десяти часовъ утра слѣдующаго дня (19 января), когда было назначено официальное собраніе членовъ сената, синода и генералитета.

### III.

Несмотря на слѣшное составленіе первой редакціи „пунктовъ“, видно по всему, что содержаніе ихъ было хорошо и давно обдуманно,— конечно, Д. М. Голицынымъ. Прибавки, слѣланныя къ этой редакціи въ утреннемъ засѣданіи совѣта (19 января), были не столько принципиальнаго, сколько чисто-прикладнаго свойства. Онѣ имѣли въ виду установить тѣ дополнительные гарантіи для совѣта, которыя вытекали изъ особенностей личности и положенія избранной императрицы. Анна обязывалась этими прибавками не вступать въ супружество, не назначать наслѣдника, не держать при дворѣ иностранцевъ; въ случаѣ нарушенія „пунктовъ“ она объявлялась лишенной короны; наконецъ, гвардія и

войска оставались въ вѣдѣніи верховнаго совѣта. Не будемъ останавливаться на дальнѣйшихъ измѣненіяхъ „пунктовъ“; замѣтимъ только, что окончательная редакція ихъ во многихъ случаяхъ возстановила выраженія чернового наброска, составленнаго въ ночь на 19-е января.

Другое, еще болѣе очевидное, доказательство того, что „пункты“ были обдуманы Голицынымъ заблаговременно и что въ редакціи ихъ 19 января не было ничего случайнаго,—можно почерпнуть изъ разбора ихъ содержанія. Уже Д. А. Корсаковъ отмѣтилъ несомнѣнное сходство этого содержанія съ государственнымъ строемъ Швеціи, какъ онъ установился въ такъ называемое „время свободы“, т. е. послѣ переустройства 1720 года, покончившаго съ самодержавными реформами Карла XI-го (1680-е годы). Шведскій историкъ Ёрне съ документами въ рукахъ произвелъ сличеніе „кондицій“ съ соотвѣстственными статьями шведскихъ государственныхъ актовъ: „формы правленія“ 1720 года и „королевской присяги“ Фридриха I, относящейся къ тому же году <sup>1)</sup>. Если раскрыть ссылки, сдѣланныя Ёрне, и сопоставить указанныя имъ мѣста шведскихъ актовъ съ русскими „кондиціями“, то мы получимъ слѣдующій рядъ параллелей:

#### *Пункты.*

Безъ онаго верховнаго тайнаго совѣта согласія (обѣщаемся):

1. Ни съ кѣмъ войны не вѣчинять.

2. Миру не заключать.

3. Вѣрныхъ нашихъ подданныхъ никакими новыми податями не отягощать.

#### *Шведскіе источники.*

R. F. 6. „Также не, можетъ Е. Кор. В. безъ предварительнаго обсужденія и согласія государственныхъ сословій начать войну“...—K. F. 18: „Я не долженъ также начинать никакой войны безъ совѣта государственнаго совѣта и безъ согласія сословій.“

R. F. 7. „Такъ какъ заключеніе мира, перемирія или союза не терпитъ иногда ни малѣйшей проволочки, а государственныхъ сословія не всегда находятся въ сборѣ, когда потребуетъ подобный случай, и не могутъ быть созваны такъ скоро, какъ это нужно, то Е. К. В. совѣщается въ подобныхъ важныхъ случаяхъ съ государственнымъ совѣтомъ и принимаетъ съ нимъ рѣшенія, клонящіяся къ пользѣ государства“, доводя, однако, объ этомъ до свѣдѣнія ближайшаго слѣдующаго риксдага.

K. F. 18. „(Я не долженъ также)... издавать приказаній или запрещеній, или дѣлать распоряженія, касающіяся всего государства, по поводу военныхъ вспоможеній, податей, таможенныхъ сборовъ или другихъ налоговъ, поборовъ или иныхъ все-

<sup>1)</sup> Далѣе буквы R. F. обозначаютъ первый источникъ (Regeringsformen), а K. F. — второй (Konungaförsäkran.), выраженіе „съ совѣта совѣта“ соотвѣтствуетъ извѣстной шведской формулѣ: med Råds råde.

общихъ тягостей... (безъ совѣта государственнаго совѣта“ и т. д.).—R. F. 5. „Е. К. В. долженъ охранять и защищать свое государство, особенно отъ иноземной власти и нашествія непріятелей, но онъ не можетъ для этой цѣли налагать на подданныхъ, противно закону и королевской присягѣ, никакихъ военныхъ вспоможеній, податей, таможенныхъ сборовъ, поборовъ и иныхъ налоговъ безъ вѣдома, свободнаго желанія и согласія государственныхъ сословій“.

4. Възнатныя чины, какъ въ статскіе, такъ и въ военные, сухопутные и морскіе, выше полковничья ранга не жаловать, ниже къ знатнымъ дѣламъ никого не опредѣлять.

R. F. 40. „Всѣ высшія должности, начиная съ полковника до фельдмаршала включительно, и всѣ имъ подобныя, какъ въ духовномъ, такъ и въ свѣтскомъ сословіи, замѣщаются Его Величествомъ въ засѣданіи совѣта слѣдующимъ образомъ: когда открывается вакансія, государственный совѣтъ обязанъ освѣдомиться о заслугахъ и пригодности всѣхъ такихъ лицъ, которыя могутъ быть приняты въ соображеніе при замѣщеніи столь важной должности. Когда Его Величество милостиво предложитъ совѣту, кого онъ соблаговолитъ вспомнить для занятія должности, то совѣтъ заноситъ о таковыхъ въ протоколъ и не прежде приступаетъ къ голосованію, чѣмъ удостовѣрится, что назначеніе данного лица не противорѣчитъ закону и „формѣ правленія“ Швеціи, такъ же какъ и заслугамъ другихъ честныхъ подданныхъ. Въ противномъ случаѣ государственный совѣтъ долженъ постановить, чтобы Е. К. В. соблаговолилъ принять во вниманіе соображенія совѣта и указалъ бы на кого-нибудь другаго“, заслужившаго назначеніе и не вызывающаго возраженій. „На всѣ другія должности—коллегіи и другія присутственныя мѣста—указываютъ Его Величеству трехъ разумнѣйшихъ, достойнѣйшихъ и наиболѣе подходящихъ для занятія вакансіи кандидатовъ“.—K. F. 10. „Относительно назначенія въ государственный совѣтъ и на другія болѣе или менѣе важныя должности я обязуюсь во всѣхъ отношеніяхъ соблюдать „форму правленія“ и объявляю, что всѣ должности отъ полковника до фельдмаршала и всѣ имъ подобныя будутъ замѣщаться мною въ засѣданіи совѣта по большинству голосовъ“.

Гвардіи и прочимъ полкамъ быть подъ вѣдѣніемъ верховнаго тайнаго совѣта.

R. F. 25. „Вся государственная армія, морская и сухопутная, должна со всѣми своими высшими и низшими начальствующими присягать на вѣрность Кор. Величеству, государству и сословіямъ по установленной формулѣ“.—R. F. 26. „Ни одинъ полковникъ или иной начальствующій не можетъ, безъ при-

- казаній Кор. Величества, даннаго съ совѣта совѣта, собирать распущенныя по домамъ войска для выступленія и похода“.
5. Ушляхетстваживота и имѣнія безъ суда не отымать. Р. Ф. 2. „Никого не лишать жизни и чести, членовъ или благосостоянія, безъ законнаго уличенія и приговора; также не отнимать и не дозволять отнимать ни у кого имущества, движимаго или недвижимаго, помимо суда и безъ предшествующаго судебного приговора“.
6. Вотчины и деревни не жаловать. К. Ф. 5. „Я не буду также отдѣлять отъ государства никакихъ княжествъ, областей, городовъ, замковъ или уѣздовъ, путемъ ли раздѣла по завѣщанію, или путемъ пожалованія или залога“.
7. Въ придворныя чины какъ русскихъ, такъ и иноземцевъ безъ совѣту верховнаго тайнаго совѣта не производить <sup>1)</sup>. К. Ф. 14. „Обязуюсь никакихъ иноземныхъ князей, принцевъ и иныхъ лицъ не призывать въ государство, не натурализовать и не назначать ни на какія должности ни внутри, ни внѣ государства, ни на гражданскую, ни на военную службу, ни на важныя должности при дворѣ“.
8. Государственные доходы въ расходъ не употреблять. Р. Ф. 19. „Когда случится какое-нибудь дѣло, касающееся общественной обороны и требующее значительныхъ расходовъ сверхъ бюджета, разрѣшеннаго сословіями, то Е. К. В. созываетъ всѣхъ здѣсь находящихся членовъ государственнаго совѣта, чтобы обсудить и рѣшить такія и тому подобныя важныя дѣла“.
- Р. Ф. 31. „Упомянутый бюджетъ не можетъ быть превзойденъ или увеличенъ... Въ бюджетъ входитъ не только извѣстная сумма карманныхъ денегъ для личнаго употребленія Е. К. В. по усмотрѣнію, но также ежегодно назначается сумма на чрезвычайныя расходы, которою распоряжается Е. К. В. съ совѣта совѣта, причемъ соблюдается, чтобы расходъ всегда соотвѣтствовалъ приходу“.
- К. Ф. 13. „Государственные доходы въ большихъ или меньшихъ размѣрахъ могутъ быть употребляемы сверхъ утвержденнаго сословіями бюджета только съ совѣта совѣта и послѣ надлежащаго голосованія, причемъ соблюдается всяческая бережливость, чтобы расходъ всегда соотвѣтствовалъ приходу“.
- (внѣ нумераціи)  
И всѣхъ своихъ подданныхъ въ неотмѣн- К. Ф. 7. „Объявляю, что долженъ быть лишенъ королевскаго трона и считаться врагомъ государства тотъ, кто или открытою силой, или посред-

<sup>1)</sup> Этотъ пунктъ вставленъ на утреннемъ засѣданіи. Первоначальная редакція была: „при дворѣ своемъ придворныхъ чиновъ изъ иноземцевъ не держать“. Нельзя не замѣтить, что именно въ этой первоначальной редакціи этотъ пунктъ кондицій стоитъ ближе къ шведскому постановленію.



ной своей милости ствомъ тайнаго заговора захочеть добиться само-содержать. А будесего державіа“.

по сему общанію не К. Ф. 22. „И для того, чтобы всё государствен-исполню, то лишена ные сословія тѣмъ болѣе увѣрились въ искрен-буду короны. номъ моемъ попеченіи объ общемъ благѣ, объявляю,

что въ случаѣ, если бы я съ своей стороны нару-шилъ присягу, сословія освобождаются всецѣло отъ данной ими присяги и клятвы въ вѣрности“.

Самое бѣглое сравненіе русскихъ „пунктовъ“ съ ихъ шведскимъ образцомъ можетъ показать, что верховный совѣтъ выбралъ изъ шведскихъ установленій только то, что непосредственно опредѣляло долю участія *государственного совѣта* въ верховной власти. Участіе *риксбага*, т. е. государственныхъ сословій, совершенно оставлено въ сторонѣ. Значило ли это, какъ заключали враги верховниковъ, что члены верховнаго совѣта „не думали вводить народное владѣтельство, но всю владѣнія крайнюю силу осмочисленному своему совѣту учреждали?“ Другими словами, дѣйствительно ли верховники хлопотали только о личной выгодѣ и вовсе забыли о „народѣ“ въ своемъ конституціонномъ проектѣ?

#### IV.

Тотъ же авторъ, которому принадлежать приведенныя только что слова, сообщаетъ и то, что приводили въ свое оправданіе верховники <sup>1)</sup>. По словамъ Теофана, они „ротились и присягали, что они за собственнымъ своимъ интересомъ не гонятся, и жаловались, что напрасно то въ грѣхъ имъ поставлено, что они совѣта своего всѣмъ прочимъ не сообщили“. По ихъ словамъ, они сдѣлали это потому, что „хотѣли они первѣе искусить и отвѣдать, какову себя покажетъ на ихъ предложеніе избираемая государыня; а то увѣдавъ, имѣютъ они намѣреніе всѣ чины созвать и просить отвѣтовъ, что кому заблагоразсудится къ полезнѣйшему впредъ состоянію государства, обещаваая скоро то учинить и себя, яко невинныхъ, передъ всѣми оправдать“.

Были ли эти общанія просто „обманнымъ ловительствомъ“, какъ думалъ Теофанъ, или верховники давали ихъ совершенно серьезно,—это видно будетъ изъ дальнѣйшаго ихъ образа дѣйствій. Теперь мы посмотримъ, насколько опасенія враговъ оправдывались самымъ содержаніемъ проекта Голицына.

Какъ видно изъ первой строчки, подъ которую подведены были всѣ 8 „пунктовъ“,—кондиціи опредѣляли *только одну частность* въ

<sup>1)</sup> Теофанъ Прокоповичъ. См. его „Сказаніе“ въ приложеніи къ „Запискамъ дюка Лирійскаго“, пер. Языкова. Спб. 1845 г.

проектированномъ государственномъ устройствѣ. Взятые сами по себѣ, онѣ, конечно, производили то впечатлѣніе, что составители ихъ только и заботились объ огражденіи личности и имущества членовъ верховнаго совѣта. Скоро мы увидимъ, какое роковое значеніе для плана Голицына имѣло это впечатлѣніе, произведенное кондиціями на современниковъ. Но въ наше время, когда давнымъ-давно утихли послѣдніе отголоски страстей, возбужденныхъ замыслами верховниковъ, пора было бы признать, что впечатлѣніе это было, если и не совсѣмъ случайное, то во всякомъ случаѣ очень преувеличенное. Современники частью не знали, частью не хотѣли вѣрить, что содержаніе кондицій составляло только часть плана, составленнаго Голицынымъ. Выдвигая эту часть впередъ, онъ дѣйствительно руководился тѣми практическими соображеніями, которыя дошли до Теофана. Необходимо было, по его мнѣнію, поскорѣ закрѣпить исходный пунктъ уступокъ самодержавной власти. Верховный совѣтъ былъ во всякомъ случаѣ, единственнымъ наличнымъ учрежденіемъ, которое могло договариваться съ императрицей на почвѣ сколько-нибудь похожей на юридическую. Согласіе Анны должно было, какъ казалось верховникамъ, оправдать ихъ инициативу и поставить все дѣло на твердое основаніе. Въ ожиданіи же этого согласія верховный совѣтъ приступилъ *немедленно* къ выработкѣ *общаго плана* государственной реформы, болѣе широкаго, чѣмъ содержаніе кондицій. Протоколы совѣта, наполненные всевозможными мелочами по поводу похоронъ Петра II и ожидавшагося приѣзда императрицы, не сообщаютъ намъ, правда, ничего о ходѣ этого обсужденія. Но мы, тѣмъ не менѣе, знаемъ о немъ кое-что изъ сообщеній иностранныхъ дипломатическихъ агентовъ. Черезъ четыре дня послѣ составленія кондицій, т. е. уже 23 января, иностранцамъ становится извѣстнымъ, что Голицынъ внесъ на обсужденіе совѣта свой проектъ новаго государственнаго устройства. По первоначальнымъ предположеніямъ совѣта, проектъ долженъ былъ быть выработанъ окончательно и опубликованъ 2—3 февраля, т. е. немедленно послѣ полученія согласія Анны (де-Лиріа). Потомъ опубликованіе было отложено до 6—7 февраля (Маньянъ, Дитмеръ). Почему и послѣ этого срока проектъ Голицына остался не опубликованнымъ, будетъ видно изъ послѣдующаго изложенія событій.

Содержаніе проекта, по сообщеніямъ де-Лиріа, Маньяна и Рондо, было слѣдующее <sup>1)</sup>:

<sup>1)</sup> Въ скобки поставлены тѣ части проекта, которыя, по тогдашнимъ слухамъ, были введены въ него въ концѣ обсужденія, именно 7-го февраля. Впрочемъ, уже отъ 5-го числа Дитмеръ сообщаетъ о двухъ голосахъ импера-

1. Императрица лично и безконтрольно распоряжается только своими карманными деньгами (размѣры которыхъ опредѣляются въ 500 тысячъ руб. ежегодно). Она начальствуетъ только надъ отрядомъ гвардіи, назначеннымъ для ея личной охраны и карауловъ во дворцѣ.

2. Верховная власть принадлежитъ императрицѣ вмѣстѣ съ верховнымъ совѣтомъ, который состоитъ изъ 10—12 членовъ, принадлежащихъ къ знатнѣйшимъ фамиліямъ. (Императрица имѣетъ въ совѣтѣ только два, по другимъ свѣдѣніямъ три голоса. Иностранцы, за личнымъ исключеніемъ Остермана, въ члены совѣта не допускаются). Совѣтъ вѣдаетъ важнѣйшія дѣла по иностранной политикѣ: войну, миръ, договоры; онъ же назначаетъ на всѣ должности и начальствуетъ надъ всѣми войсками (къ числу которыхъ прибавляются два новыхъ гвардейскихъ полка). По другому, болѣе точному извѣстію, войсками начальствуютъ два фельдмаршала, отдающіе отчетъ совѣту (де-Лиріа). Для финансовъ избирается верховнымъ совѣтомъ государственный <sup>1)</sup> казначей, который долженъ отдавать совѣту самый точный отчетъ о мельчайшихъ государственныхъ расходахъ.

3. Сенатъ, изъ 30—36 членовъ, предварительно разсматриваетъ дѣла, вносимыя въ совѣтъ, а также представляетъ высшую судебную инстанцію.

4. Палата низшаго шляхетства, изъ 200 членовъ, охраняетъ права этого сословія, въ случаѣ нарушенія ихъ совѣтомъ. (Всякій знатный шляхтичъ, уличенный въ преступленіи, наказывается по законамъ, но наказаніе не распространяется на его семейство).

5. Палата городскихъ представителей, по два отъ каждого города <sup>2)</sup>, вѣдаетъ торговые дѣла и интересы простого народа.

Изучая содержаніе проекта въ связи съ шведскимъ законодательствомъ, Герне отмѣтилъ и въ этой части Голицынскаго плана рядъ заимствованій. Постановленіе о двухъ голосахъ императрицы въ совѣтѣ соответствуетъ R. F. (1720), 15 <sup>3)</sup>. Введеніе гражданского листа соот-

---

трицы въ совѣтъ и объ опредѣленіи размѣровъ ея *liste civile* въ 500.000 рублей. О казначей де-Лиріа пишетъ еще 26 января. Классификація содержанія проекта принята нами наша собственная.

<sup>1)</sup> У де-Лиріа „великій“.

<sup>2)</sup> По Рондо: „дворянъ или купцовъ“.

<sup>3)</sup> „Когда въ совѣтъ рѣшаются дѣла съ совѣта совѣта, что, разумѣется, должно всегда производиться посредствомъ голосованія, и если мнѣнія окажутся при этомъ одинаково сильными съ обѣихъ сторонъ, то перевѣсъ получаетъ та сторона, которой Е. К. В. даетъ свое милостивое одобреніе... Но если въ голосахъ обнаружится большое неравенство, то К. В. всегда принимаетъ тотъ совѣтъ, который большинство государственнаго совѣта признало полезнѣйшимъ“.

вѣтствуетъ Р. Ф. 31 <sup>1)</sup>. Но еще любопытнѣе, что какъ по общему характеру, такъ и по нѣкоторымъ частностямъ проектъ Голицына напоминаетъ не современную ему конституціонную Швецію, а старую аристократическую Швецію, какою она была до самодержавныхъ реформъ Карла XI, т.-е. до конца XVII столѣтія. „Отношеніе между верховнымъ совѣтомъ и сенатомъ,—будемъ говорить словами Іерне,—напоминаетъ положеніе пяти высшихъ сановниковъ относительно государственнаго совѣта во время регентствъ XVII вѣка. Когда намъ сообщаютъ, что по плану Голицына совѣтъ не нуждался въ присутствіи императрицы, чтобы постановлять окончательныя рѣшенія, то при этомъ вспоминается не только Р. Ф. 16, 1720 года, но еще болѣе сходное постановленіе въ Р. Ф. 15, 1660 года. Что казначей (и также два фельдмаршала, относительно войска) долженъ давать отчеты совѣту,—это совпадаетъ съ Р. Ф. 18, 1634 г. (ср. также Р. Ф. 13, 1660 г.). Обѣ сословныя палаты, насколько можно судить по скуднымъ свѣдѣніямъ, должны были, подобно шведскимъ государственнымъ сословіямъ въ малолѣтство Христины и Карла XI, имѣть только контролирующую власть, не стѣсняя этимъ свободы дѣйствій совѣта. Что духовенство не получало своего представительства,—объясняется враждебнымъ отношеніемъ Голицына къ этому сословію. О крестьянахъ, естественно, не могло быть рѣчи въ странѣ, гдѣ они были крѣпостными. Естественными представителями ихъ интересовъ были ихъ шляхетскіе господа, какъ отвѣтственные передъ правительствомъ за сборъ податей“.

Такимъ образомъ, проектъ Голицына какъ въ кондичіяхъ, такъ и въ цѣломъ стоитъ въ ближайшей связи съ политическими тенденціями шведскаго высшаго дворянства. Іерне, какъ и Корсаковъ, приходятъ къ тому заключенію, что проектированное Голицынымъ государственное устройство „носило въ цѣломъ аристократическій отпечатокъ“. Всего этого невозможно не признавать, и при всемъ томъ можно утверждать, что проектъ Голицына не только не имѣлъ своекорыстно-личнаго характера, но не имѣлъ даже и своекорыстно-сословнаго. На всемъ проектѣ лежалъ отпечатокъ теоретизирующей и идеализирующей политической мысли; этотъ-то отпечатокъ скрывалъ, и можетъ-быть отъ самого автора, реальную узость того сословнаго принципа, на которомъ проектъ былъ построенъ. Среди ожесточенной борьбы реальныхъ интересовъ и политическихъ теорій, какую вызвала попытка верховниковъ, этотъ проектъ быстро заклеименъ былъ кличкой олигархическаго и тиранническаго. Но когда, задолго до событій, давшихъ возможность по-

<sup>1)</sup> См. выше, стр. 10.

пытаться осуществить его, князь Голицынъ обдумывалъ свою политическую теорію,—навѣрное, она представлялась ему весьма радикальной сравнительно съ окружавшею его дѣйствительностью. Эту-то разницу между условіями теоретической разработки и условіями практическаго осуществленія надо имѣть въ виду при историческомъ объясненіи цѣлей князя Голицына. Не только чтобы быть справедливыми при оцѣнкѣ этихъ цѣлей, но даже просто, чтобы какъ слѣдуетъ понять ихъ, мы должны поэтому заняться исторіей происхожденія Голицынскаго плана. Для этого намъ надо оставить на время уличную борьбу и перенестись въ уединеніе рабочаго кабинета князя Дмитрія Михайловича.

### V.

Для того, чтобы объяснить происхожденіе политической теоріи князя Голицына, у насъ нѣтъ ничего подобнаго тѣмъ допросамъ подъ пыткой, которые съ такою подробностью освѣтили исторію составленія Долгорукими подложнаго завѣщанія. Но кое о чемъ мы можемъ догадываться. Прежде всего, трудно сомнѣваться въ томъ, что основныя черты проекта были готовы *раньше*, чѣмъ явилась надежда на ихъ осуществленіе. Во время январскихъ и февральскихъ событій 1730 года было бы уже поздно заниматься изученіемъ иностранныхъ законодательствъ. Въ отдѣльныхъ случаяхъ, какъ, наприм., по вопросу о размѣрахъ цивильнаго листа, дѣлались попытки навести запоздалую справку въ иностранныхъ законахъ черезъ резидентовъ, но послѣдніе были очень сдержанны. Дитмеръ писалъ, наприм., 8 февраля: „въ послѣднее время опять старались добыть тѣ или другія шведскія постановленія, и особенно о томъ, какое содержаніе получаетъ дочь короля; объ этомъ просили рижскаго депутата, причемъ, кажется, предполагено было поговорить объ этомъ со мной, но я отклонилъ это“. Въ первые дни послѣ переворота Голицынъ обращался и къ Вестфалену съ общимъ вопросомъ: какую форму правленія онъ считаетъ лучшею: шведскую или англійскую. Датскій посланникъ далъ отвѣтъ, который не могъ понравиться Голицыну. Шведская форма правленія, отвѣчалъ онъ,—самая плохая, а англійскую врядъ ли можно ввести въ Россіи. Надо замѣтить, что и другіе дипломаты въ первые дни послѣ выбора Анны представляли себѣ дѣло такъ, что вопросъ о выборѣ формы правленія остается нерѣшеннымъ и верховники колеблются между англійскимъ, шведскимъ и польскимъ образцами. Они даже передавали, что самое избраніе Анны—только временное, до выработки республиканской формы правленія. Несомнѣнно, что иностранные дипломаты

говорили, что слышали, и что подобные разговоры ходили въ Москвѣ. Разсказывалъ же нѣкій бригадиръ Козловъ, пріѣхавшій изъ Москвы въ Казань, что Анну Іоанновну при первомъ ничтожномъ нарушеніи условій „вышлютъ назадъ въ Курляндію“ и, „что она сдѣлана государынею, и то, де, только на первое время: помазка по губамъ“. Но все это свидѣлствуетъ лишь о томъ, какъ взбудоражены были событіями умы московскихъ политикановъ. Среди верховниковъ колебаній подобнаго рода, навѣрное, не было, и выборъ князя Голицына давно уже остановился на шведскомъ устройствѣ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, нужно принять въ соображеніе нѣкоторые факты изъ его біографіи и изъ предыдущей исторіи Россіи.

Въ 1730 году Голицынъ былъ шестидесятипятилѣтнимъ старикомъ. Цвѣтушіе годы его жизни прошли въ царствованіе Петра Великаго, старше котораго онъ былъ на цѣлыхъ семь лѣтъ. Двоюродный братъ кн. Василя Васильевича Голицына, онъ раздѣлялъ принципиальное сочувствіе любимца Софіи къ идеѣ преобразованія Россіи, но имѣлъ многое возразить противъ той формы, какую приняло преобразование въ рукахъ Петра. Онъ возмущался тѣмъ, что „иностранцы начали предписывать законы“, по-аристократически ненавидѣлъ Меншикова и съ презрѣніемъ стараго русскаго боярина смотрѣлъ на семейныя отношенія Петра. Какъ умный человѣкъ, онъ однако умѣлъ принимать обстоятельства, какъ они были, мирился со многимъ и за то принадлежалъ къ очень немногимъ людямъ, сумѣвшимъ при Петрѣ сохранить независимый образъ мыслей и внушить царю нѣкоторое уваженіе къ себѣ. Его карьера была типичною карьерой петровскаго государственнаго дѣятеля. Начавъ ее, подобно многимъ молодымъ дворянамъ, въ Италіи—съ выучки морского дѣла, онъ былъ затѣмъ дипломатомъ въ Константинополѣ, потомъ сдѣлался образцовымъ губернаторомъ въ Кіевѣ и, наконецъ, оказался однимъ изъ самыхъ дѣловитыхъ президентовъ въ самой отвѣтственной изъ петровскихъ коллегій—въ камеръ-коллегіи. Тѣ познанія въ государственныхъ наукахъ, которыхъ требовала послѣдняя должность, Голицынъ успѣлъ пріобрѣсти по собственной охотѣ заблаговременно. Еще въ Кіевѣ онъ заставлялъ студентовъ духовной академіи, которымъ протезировалъ, переводить себѣ съ латинскаго, нѣмецкаго и французскаго политическихъ писателей и „усердно занимался ихъ изученіемъ“ (Седеркрейцъ). Пуффендорфъ, Томазіи, Гроціи, Локкѣ, Макіавели находились въ русскихъ рукописныхъ переводахъ въ его бібліотекѣ и должны были познакомить его съ тогдашнею теоріей государственнаго права. Приложение теоріи къ практикѣ началось на его глазахъ и совершалось его руками. Сперва

какъ губернаторъ, потомъ какъ президентъ камеръ-коллегіи, онъ призванъ былъ привить къ русской жизни образцы областного и центрального управленія, заимствованные правительствомъ Петра изъ Швеціи. Занявъ президентскій постъ, онъ свелъ личное знакомство и съ однимъ изъ инициаторовъ административной реформы, гамбургскимъ уроженцемъ Фикомъ. Объ огромномъ значеніи Фика для русской государственной реформы я говорилъ въ другомъ мѣстѣ <sup>1)</sup>. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ Фикомъ только какъ съ посредникомъ, черезъ котораго Голицынъ познакомился со шведскимъ государственнымъ правомъ. Седеркрейцъ сообщаетъ намъ, что Голицынъ широко воспользовался матеріалами по государственному праву, вывезенными Фикомъ изъ Швеціи, куда онъ былъ специально командированъ Петромъ. Для своего личного употребленія Голицынъ велѣлъ перевести всѣ эти инструкціи, указы и т. д. на русскій языкъ. Но этимъ не ограничивались сношенія Голицына съ Фикомъ. Начальникъ часто приглашалъ къ себѣ подчиненнаго, чтобы воспользоваться его личною бесѣдой. Рѣчь заходила между ними „о старой и новой исторіи, также о различіяхъ между религіями“, и гость за трубкой табаку, предложенною любезнымъ хозяиномъ, засиживался далеко за полночь. Не забудемъ, что тотъ же радушный хозяинъ своимъ младшимъ братьямъ, изъ которыхъ одинъ былъ фельдмаршалъ, а другой — сенаторъ, не позволялъ въ своемъ присутствіи садиться безъ specialнаго приглашенія, а всѣхъ младшихъ родственниковъ заставлялъ цѣловать себѣ руку.

О чемъ собственно могла идти рѣчь въ этихъ ночныхъ бесѣдахъ, легко представить себѣ, если вспомнимъ, что Фикъ въ Швеціи „получилъ вкусъ къ республиканскому правленію“, а въ религіозныхъ вопросахъ былъ свободнымъ мыслителемъ, что тогда значило — быть совершеннымъ матеріалистомъ, и не держалъ своихъ воззрѣній въ секретѣ. Конституціонное прошлое Швеціи, о которомъ Фикъ постоянно говорить въ своихъ докладахъ Петру, было ему хорошо извѣстно, — можетъ быть лучше, чѣмъ ея настоящее, т. е. чѣмъ переворотъ, совершившійся въ 1720 г., уже послѣ его поѣздки въ Швецію. Въ этомъ переворотѣ Фикъ долженъ былъ узнать и привѣтствовать возвращеніе къ старымъ, болѣе свободнымъ политическимъ формамъ, уничтоженнымъ въ концѣ XVII вѣка Карломъ XI. Для Петра Великаго это не годилось, да Фикъ и не успѣлъ тогда еще получить точныхъ свѣдѣній о переворотѣ. Петру нужна была для заимствованій именно

<sup>1)</sup> См. мое „Государственное хозяйство Россіи въ первой четверти XVIII столѣтія и реформа Петра В.“. Спб. 1892, стр. 579 и слѣд., 590 и слѣд., 615 и слѣд.

Швеція Карла XI-го, нужна была бюрократическая, а не конституціонная монархія. Сообразно съ этимъ, самъ Фикъ заявлялъ впоследствии на официальномъ допросѣ, что при Петрѣ онъ былъ больше бюрократомъ, чѣмъ либераломъ. Однако, въ одномъ изъ своихъ донесеній Петру онъ хотя робко, но все же довольно опредѣленно совѣтовалъ учредить нѣсколько „высшихъ инстанцій“, между которыми слѣдовало распределить „выполненіе“ распоряженій, вытекающихъ изъ царской прерогативы. Послѣ смерти Петра Фикъ сталъ смѣлѣе; несомнѣнно, при его участіи была дѣйствительно учреждена такая высшая инстанція—„верховный тайный совѣтъ“. Иностранцы довольно единодушно считали учрежденіе верховнаго совѣта „первымъ шагомъ къ измѣненію формы правленія— по образцу Англіи или Швеціи“. Смыслъ этого измѣненія они столь же единодушно видѣли въ „уменьшеніи деспотической власти государя“ и въ уничтоженіи тиранніи временщиковъ. Одинъ изъ иностранныхъ дипломатовъ даже предсказывалъ, что московскіе бояре кончатъ тѣмъ, что захватятъ верховную власть и „заставятъ дать себѣ прерогативы, какія сочтутъ необходимыми для устройства правленія, подобнаго англійскому“<sup>1)</sup>. Очевидно, „московскіе бояре“ и вліятельнѣйшій изъ нихъ, кн. Д. М. Голицынъ, не скрывали своихъ дальнѣйшихъ намѣреній; тотъ же иностранный дипломатъ, еще до учрежденія верховнаго совѣта, замѣчалъ, что они ждутъ для измѣненія формы правленія перваго внутренняго замѣшательства.

Итакъ, вотъ съ которыхъ поръ—съ самой смерти Петра<sup>2)</sup>—князь Д. М. Голицынъ выжидалъ удобной минуты, чтобы осуществить свой проектъ государственной реформы. „Кондиціи“ должны были только довершить то, что начато было учрежденіемъ „верховнаго совѣта“. Если въ учрежденіи совѣта мы могли съ большою вѣроятностью предположить участіе Фика, то въ составленіи Голицынскаго конституціоннаго проекта его участіе является вполне несомнѣннымъ. Несомнѣннымъ оно было уже для всѣхъ тѣхъ, кто имѣлъ случай наблюдать поведеніе Фика въ эти недѣли.

Фикъ оставался въ Петербургѣ, когда въ Москвѣ, неожиданно для всѣхъ, началось государственное „дѣйство“. При первыхъ извѣстіяхъ о готовящемся переворотѣ онъ не могъ скрыть своей радости. Въ самомъ засѣданіи коммерцъ-коллегіи, вице-президентомъ которой онъ былъ съ

<sup>1)</sup> Подробнѣе объ условіяхъ, при которыхъ возникъ верховный совѣтъ и о роли Фика при его учрежденіи см. въ моей книгѣ: „Государственное хозяйство Россіи“, стр. 675—679.

<sup>2)</sup> Лефортъ, отъ 5 февр.: Depuis Pierre I il a toujours eu en vue de tronquer la souveraineté.



1726 года, онъ громко читалъ своимъ сослуживцамъ знаменитые „пункты“ и „хвалился, что далъ къ тому поводъ“. Нѣсколько позже шведскій резидентъ въ Петербургѣ, Моріанъ, доносилъ, что Фика считали „стоящимъ въ сношеніяхъ съ нѣкоторыми изъ 28 господъ, стремившихся къ свободѣ и положившихъ начало отмѣнѣ самодержавія, для чего стат. совѣт. Фикъ не только указалъ, что въ подобныхъ случаяхъ дѣлалось и устанавливалось въ другихъ государствахъ, но и самъ изготовилъ нѣсколько пунктовъ и условій, ограничивавшихъ ея величество“. Можетъ быть и эти свѣдѣнія были почерпнуты изъ „похвальбы“ Фика <sup>1)</sup>.

Близкія отношенія Фика къ перевороту обнаружались, далѣе, и въ томъ, что Фикъ не усидѣлъ въ Петербургѣ. Въ самый разгаръ зимы онъ поѣхалъ въ Москву, очевидно, съ намѣреніемъ принять дѣятельное участіе въ событіяхъ. Но событія шли быстро, и когда Фикъ пріѣхалъ въ Москву, здѣсь все уже было кончено. Ему оставалось только объяснить благовиднымъ образомъ свой пріѣздъ и постараться стать въ хорошія отношенія съ новымъ правительствомъ. Этого ему, однако, уже не удалось сдѣлать. Его противники выставили его, — очевидно, не безъ основанія, — соучастникомъ кн. Д. М. Голицына. Въ аудіенціи у государыни ему было отказано. Въмѣсто того, на квартиру къ нему явился офицеръ съ четырьмя солдатами, съ повелѣніемъ немедленно отвезти его назадъ въ С.-Петербургъ <sup>2)</sup>. Въ концѣ 1731 года онъ былъ судимъ отдѣленіемъ коллегіи по лифляндскимъ и эстляндскимъ дѣламъ. Хотя слѣдствіе и не могло уличить его ни въ чемъ другомъ, кромѣ легкомысленныхъ разговоровъ, онъ все-таки былъ осужденъ (12 февраля

<sup>1)</sup> Моріанъ доноситъ далѣе: „Замѣчательно, что когда я въ послѣднюю Пасху, по обычаю страны, поздравлялъ съ праздникомъ адмирала Сиверса, онъ прямо началъ говорить объ этомъ и спрашивать о причинахъ поспѣшнаго возвращенія Фика изъ Москвы (см. слѣд. стран.), которыя я ему и изложилъ, какъ слышалъ отъ самого Фика. Адмиралъ при этомъ принялъ видъ особой довѣренности и фамиллярности, потрепалъ меня по плечу и сказалъ: вотъ такъ-то всѣ вы, господа дипломаты. Я—морякъ, а потому нѣтъ ничего удивительнаго, что я прямъ и ничего не скрываю. И онъ повторилъ рассказанный выше обстоятельства относительно соучастія Фика со многими въ отмѣнѣ самодержавія. При этомъ онъ какъ бы желалъ, чтобы я признался, или что я тоже слышалъ, что г. Фикъ самъ этимъ хвалился, или что я другимъ путемъ имѣю нѣкоторыя свѣдѣнія объ этомъ, говоря, что все это не могло остаться мнѣ неизвѣстнымъ, такъ какъ я каждый день бывалъ въ домѣ у Фика. Я отвѣчалъ, что ничего подобнаго не слышалъ отъ другихъ, а тѣмъ болѣе отъ самого Фика, котораго я считаю достаточно благоразумнымъ, чтобы не открываться въ такомъ деликатномъ дѣлѣ иностранцу“. Минихъ, какъ оказалось, того же мнѣнія о Фикѣ, хотя „говорить объ этомъ осторожнѣе, чѣмъ другіе“.

<sup>2)</sup> Все это, по сообщенію Дитмера отъ 26 марта, у Іерне, стр. 269.

1732 г.) на пожизненную ссылку съ отнятіемъ всѣхъ пожалованныхъ ему имѣній. Онъ прожилъ около Тобольска до 1743 г. Елизавета, вступивши на престолъ, „вспомнила о старомъ, усердномъ слугѣ гоольштинскаго дома“. Фикъ былъ возвращенъ и получилъ часть своихъ лифляндскихъ имѣній. Онъ дожилъ до 1750 года, сохранивъ до послѣднихъ дней атеистическій образъ мыслей и бодрое настроеніе.

Возвращаясь къ проекту Голицына, мы поймемъ теперь, почему этотъ проектъ напомнилъ шведскому изслѣдователю старинную „форму правленія“ 1634 года и вообще шведскій аристократическій строй времени регентствъ. Объ этомъ строѣ Фикъ бесѣдовалъ съ Голицынымъ задолго до того времени, когда оба они получили точныя извѣстія о переворотѣ 1720 года. Вотъ почему Голицынъ, дѣлая заимствованія изъ государственныхъ актовъ 1720 года, не забылъ и тѣхъ переводовъ съ оригиналовъ, вывезенныхъ Фикомъ изъ Швеціи, по которымъ онъ впервые познакомился съ основными чертами шведской конституціи. Первые впечатлѣнія, очевидно, и въ этомъ случаѣ были самыми сильными.

Принимая такое объясненіе, мы уже не будемъ имѣть нужды объяснять подборъ источниковъ, сдѣланный Голицынымъ <sup>1)</sup>, какими-нибудь его олигархическими симпатіями. Несомнѣннымъ кажется намъ, что и въ цѣляхъ задуманнаго переворота не было ничего олигархическаго. Цѣли эти всѣми сторонниками „кондицій“ понимались совершенно одинаково. „Нынѣ имперія Россійская стала сестрица Швеціи и Польшѣ, — разсуждалъ въ Петербургѣ по этому поводу Фикъ; — россияне нынѣ умны, понеже не будутъ имѣть фаворитовъ такихъ, какъ были Меншиковъ и Долгорукій, отъ которыхъ все зло происходило“. А другой авторъ „пунктовъ“, самъ Голицынъ, въ тѣ же самые дни въ Москвѣ убѣждалъ всѣхъ и cadaго, что „отнынѣ счастливая и цвѣтущая Россія будетъ“. Братъ Дмитрія Михайловича, фельдмаршалъ Голицынъ, развивалъ еще подробнѣе преимущества новой формы правленія передъ Дитмеромъ. Съ этихъ поръ, разсуждалъ онъ, не будетъ болѣе произвольныхъ казней, ссылокъ, конфискацій; мало того, новое правительство всячески будетъ стараться уменьшить ненужные расходы, запретить лишніе поборы, дать свободу торговлѣ, обезпечить каждому сохранность его имущества и понизить неслыханную высоту процента путемъ учрежденія банка. Отъ начинателей то же радужное настроеніе распространялось и на ихъ сторонниковъ. Извѣстный уже намъ бригадиръ Козловъ съ восторгомъ разсказывалъ казанскимъ обывателямъ, что государыня теперь „ни послѣдней табакерки изъ государевыхъ

<sup>1)</sup> Или, можетъ быть, Фикомъ для Голицына?

сокровищъ не можетъ себѣ взять“, не будетъ раздавать деревень и денегъ, не будетъ приближать ко двору своихъ свойственниковъ,—словомъ, говорилъ Козловъ, „теперь у насъ правленіе государства стало порядочное, какого нигдѣ не бывало, и нынѣ уже прямое теченіе дѣламъ будетъ; и уже больше Бога не надобно просить, кромѣ, чтобы только между главными согласіе было. А если будетъ между ими согласіе такъ, какъ положено, то, конечно, никто сего опровергнуть не можетъ“. „Если будетъ согласіе“, то предполагаемая реформа должна осуществиться: это повторяли, подобно бригадиру Козлову, и многіе изъ иностранныхъ дипломатовъ. Верховники сказали свое слово. Превратится ли слово въ дѣло,—это зависѣло теперь отъ того, что скажетъ русское общество.

## VI.

По случаю предполагавшагося бракосочетанія Петра II, въ Москвѣ собралось въ январѣ 1730 года все, что было вліятельнаго и выдающагося въ Россіи. Здѣсь были члены сената и синода, генералитетъ съ третьимъ фельдмаршаломъ во главѣ, кн. Трубецкимъ, не введеннымъ въ верховный совѣтъ и поэтому жестоко обиженнымъ,—многіе изъ представителей высшей администраціи и наконецъ шляхетство не только гвардейское, но и армейское и даже частью отставное. По расчету проф. Корсакова, изъ 170 человѣкъ, составлявшихъ, за вычетомъ верховниковъ, тогдашній „генералитетъ“<sup>1)</sup>, 87 человѣкъ присутствовали въ Москвѣ и принимали участіе въ московскихъ совѣщаніяхъ шляхетства. Штабъ-и оберъ-офицеровъ тотъ же авторъ по присяжнымъ листамъ насчитываетъ до 2.000 человѣкъ; а подъ проектами, представленными въ совѣтъ шляхетствомъ, находимъ до 1.100 подписей. Очевидно, московскія событія задѣли шляхетство за живое<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Т. е. высшіе четыре класса по табели о рангахъ.

<sup>2)</sup> Въ своей рецензіи на книгу проф. Корсакова проф. Загоскинъ обратилъ вниманіе на то, что многіе подписывались по нѣскольку разъ подъ разными проектами: именно изъ 515 лицъ, подписавшихся подъ восемью проектами, болѣе трети, 183 лица, подписались по нѣскольку разъ („Верховники и шляхетство“, стр. 23). Проф. Загоскинъ заключилъ изъ „этого курьезнаго факта“, что шляхетство подписывалось, нисколько не интересуясь содержаніемъ проектовъ и относясь къ нимъ индифферентно: „сегодня пріятель подсунулъ проектъ,—надо его подписать; завтра предлагаетъ подписать проектъ начальникъ или лицо, отказать которому неудобно по личнымъ или социальнымъ отношеніямъ,—подписывается другой проектъ“, и т. д. Этимъ индифферентизмомъ проф. Загоскинъ объясняетъ и „ту простоту и легкость“, съ какими шляхет-

Волненіе среди собравшагося въ Москву общества началось, дѣйствительно, тотчасъ же, какъ только распространились слухи о намѣреніяхъ верховниковъ. Яркая картина этого волненія набросана Теофаномъ. Одна часть московской интеллигенціи была несогласна въ принципѣ съ верховниками, желая „старое и отъ прародителей воспріятное государства правило удержатъ непремѣнно“. Другая, притомъ болѣе многочисленная и болѣе вліятельная, готова была признать пользу реформы, но была обижена тѣмъ, что ея мнѣнія не спросили. „Передѣлывать составъ государства“ въ небольшомъ кружкѣ—значило, какъ она полагала, брать на себя слишкомъ большую отвѣтственность. „И хотя бы они преползное нѣчто усмотрѣли, однакожь скрывать то передъ другими, а наипаче и правительствующимъ особамъ не сообщать—непріятно то и смрадно пахнетъ“, разсуждали московскіе конституціоналисты изъ генералитета и шляхетства.

Естественно, что недовольство обѣихъ партій усилилось, когда стало извѣстно содержаніе „кондицій“. Защитники самодержавія видѣли въ нихъ раздѣлъ власти между восемью лицами, вызванный „несытымъ лакомствомъ и властолюбіемъ“ верховниковъ. Въ результатѣ этого раздѣла они предсказывали междоусобныя войны, возвращеніе Россіи въ тотъ „скарденный“ видъ, который она имѣла, „когда на многая княженія расторжена бѣдствовала“, всеобщую анархію и т. д. Съ другой стороны, люди, сочувствовавшіе ограниченію самодержавія, не находили въ планѣ Голицына достаточныхъ гарантій законности. „Кто намъ поручится,—спрашивали они,—что со временемъ, вмѣсто одного государя, не явится столько тиранновъ, сколько членовъ въ совѣтѣ, и что они своими притѣсненіями не увеличатъ нашего рабства? У насъ нѣтъ установленныхъ законовъ, которыми могъ бы руководиться совѣтъ; если его члены станутъ сами издавать законы, то они во всякое время могутъ ихъ уничтожить“<sup>1)</sup>. Надо сказать, что эти замѣчанія прямо ука-

ство, за нѣсколько дней до того подписавшееся подъ различными проектами, яко бы выражавшими ихъ „политическое умоначертаніе“, 25 февраля... не задумалось поднести Аннѣ Ивановнѣ „полное самодержавіе“. Одна изъ цѣлей этой статьи—показать, что всѣ эти факты допускаютъ и иное объясненіе. Притѣ же механическомъ сопоставленіи проектовъ, при болѣе внимательномъ изученіи ихъ генезиса и взаимной связи—подписываніе нѣсколькихъ проектовъ доказываетъ, какъ увидимъ, не равнодушіе, а, напротивъ, напряженный интересъ, съ какимъ шляхетство слѣдило за быстро развивавшимися событіями и старалось къ нимъ приспособиться. Насколько стойко было шляхетство въ своихъ главныхъ требованіяхъ, видно будетъ изъ всего дальнѣйшаго изложенія.

<sup>1)</sup> Лефорть, отъ 26 января.

зывали на самый существенный пробѣлъ въ проектѣ Голицына, отмѣченный и новѣйшимъ историкомъ (Терне). Дѣло въ томъ, что не только въ „пунктахъ“, но и въ полномъ проектѣ Голицына вопросъ о конституціонныхъ гарантіяхъ и объ организаціи законодательной власти оставался совершенно обойденнымъ; между тѣмъ, соотвѣтственные постановленія существовали, конечно, въ шведскихъ источникахъ Голицынского проекта.

Оспаривая право совѣта на законодательную власть въ будущемъ, конституціонная партія оспаривала также его право на учредительную власть въ настоящемъ. Она полагала, что новое государственное устройство должно быть выработано особымъ учредительнымъ собраніемъ, болѣе широкимъ, чѣмъ совѣтъ, по социальному составу. Законодательная власть въ будущемъ строѣ также не должна была быть монополіей какой-либо правящей корпораціи, а достояніемъ „общенароднаго“ правительства. Этого рода возраженій противъ своего проекта Голицынъ съ Фикомъ навѣрное не предвидѣли. Но тѣмъ, кто захотѣлъ бы, на этомъ основаніи, обвинять Голицына въ узости взглядовъ, пришлось бы обвинить въ такой же узости и взгляды ихъ противниковъ. Подъ „общенародіемъ“, которому слѣдовало дать участіе въ учредительной и законодательной власти, и московская конституціонная партія разумѣла одно только шляхетство. Заговоривъ объ общенародныхъ гарантіяхъ, это шляхетство, какъ увидимъ, кончило выработкой проекта дворянскихъ льготъ. Интересы же другихъ сословій занимали московское шляхетство едва ли въ большей степени, чѣмъ кн. Голицына.

Въ ночныхъ собраніяхъ шляхетства дѣло не ограничилось одними теоретическими разсужденіями. Московскіе кружки рѣшились дѣйствовать и, въ этомъ случаѣ, опять раздѣлились на два лагеря. Принципіальные противники проекта верховниковъ склонялись къ „дерзкому“ рѣшенію: „на верховныхъ господъ, когда они въ мѣсто свое соберутся, напасть незапно оружною рукою и, если не похотятъ отстать умышленно своихъ, смерти всѣхъ предать“. Сторонники ограниченія царской власти предпочитали „другое мнѣніе—кроткое“: явиться въ верховный совѣтъ и убѣдить верховниковъ — „призвать ихъ въ свое дружество“ и дѣйствовать сообща. Но первое мнѣніе казалось многимъ слишкомъ „лютымъ и удачи неизвѣстной“, другое, напротивъ, слишкомъ „слабымъ и недѣйствительнымъ“; время проходило въ разговорахъ и „все ихъ дѣйствіе день по дню знатно простывало“, по выраженію Теофана.

Верховный совѣтъ также не оставался въ бездѣйствіи. По картинному описанію того же Теофана, верховники были „не безъ страха,

когда не знали они, какъ дремливо было противниковъ дѣйствіе; но когда сіе узнали, показывали себя грозныхъ и яростныхъ. Нарочно отъ нихъ разсѣвался слухъ о страшныхъ на противниковъ своихъ угроженіяхъ: и что мятежныя ихъ сомнища верховному совѣту гораздо вѣдомы; и что непокойныя оныя головы судятся яко непріатели отечествія, и скоро пошлется—или уже и послано—ловить ихъ за арестъ; и что дурно они на множество свое уповаютъ, понеже въ числѣ верховныхъ и главные полководцы обрѣтаются; и что никому изъ нихъ утаиться и избѣжать бѣды нельзя, понеже немногіе пойманные покажутъ на пыткахъ и прочихъ, и явится, кто каковой казни достойны будутъ“. Дѣйствуя, такимъ образомъ, страхомъ на сторонниковъ самодержавія, совѣтъ старался привлечь къ себѣ конституціонную партію убѣжденіями и обѣщаніями. Верховники соглашались отдать вопросъ о новомъ государственномъ устройствѣ на обсужденіе „всѣхъ чиновъ“, какъ только получено будетъ извѣстіе о согласіи императрицы на посланные къ ней „пункты“. Въ ожиданіи отвѣта Анны, члены совѣта обсуждали, — конечно, въ неофициальныхъ засѣданіяхъ, — конституціонный проектъ, предложенный Голицынымъ.

Перваго февраля согласіе Анны на предложенныя ей кондиціи было, наконецъ, получено. На второе число, въ 9 час. утра, было назначено торжественное засѣданіе совѣта для выслушанія вѣстей изъ Митавы. На это собраніе приглашены были въ совѣтъ члены сената, синода, генералитета до бригадирскаго чина, президенты коллегій и гражданскіе чины первыхъ четырехъ классовъ. Разносившіе повѣстки словесно сообщали, что въ засѣданіи „о государственномъ установленіи совѣтовать будутъ“. Замѣчено было также, что въ повѣсткахъ вмѣсто официальнаго выраженія: „совѣтъ указываетъ“ — употреблено было болѣе мягкое: „призываетъ“.

Конституціонная партія, составлявшая большинство, по свидѣтельству ея противника Теофана, выводила изъ этихъ признаковъ, что совѣтъ „въ затѣйкахъ своихъ раскаялся и хочетъ просить себѣ въ томъ прощенія, какъ то члены его въ недавнихъ разговорахъ и общались“. Непримиримыя противники верховнаго совѣта, напротивъ, убѣждали всѣхъ не идти на засѣданіе, „внушая, что это — новая верховниковъ хитрость и злое изобрѣтеніе“, — именно, что они хотятъ вынудить согласіе на свои „затѣйки“, а „противящихся себѣ вдругъ придавить“.

Обѣ партіи были по своему правы. Своихъ противниковъ совѣтъ, дѣйствительно, хотѣлъ запугать страхомъ. Въ переходахъ, сѣняхъ и даже въ самой залѣ засѣданія совѣта въ кремлевскомъ дворцѣ разставлены были войска. Верховники рѣшились осуществить свои угрозы:

въ самомъ засѣданіи былъ арестованъ одинъ изъ самыхъ видныхъ сторонниковъ самодержавія, Ягужинскій. Но, съ другой стороны, конституціонная партія имѣла полное основаніе смотрѣть на засѣданіе 2-го февраля какъ на исполненіе даннаго верховниками обѣщанія. Смыслъ этого обѣщанія понимался, правда, верховниками и конституціонною партіей весьма различно. Ничего подобнаго „раскаянію“ и „просьбамъ о прощеніи“ московскимъ конституціоналистамъ не пришлось выслушать на засѣданіи. Засѣданіе началось съ того, что прочтены были кондиціи и письмо Анны, заготовленное еще въ Москвѣ верховниками и представлявшее „кондиціи“ добровольною уступкой со стороны императрицы. Потомъ кн. Голицынъ сказалъ рѣчь, въ которой было больше красивыхъ фразъ, чѣмъ опредѣленныхъ обязательствъ. Кн. Дмитрій Михайловичъ выражалъ надежду, что присутствующіе, „какъ дѣти отечества“, будутъ искать общей пользы и благополучія государству. Затѣмъ наступило неловкое молчаніе. Напрасно Голицынъ нѣсколько разъ принимался говорить о милости и благодѣяніи императрицы, о будущемъ благоденствіи и процвѣтаніи Россіи, — онъ не встрѣтилъ ни возраженій, ни поддержки. Настроеніе собранія было явно враждебное совѣту и плохо гармонировало съ демонстративнымъ восторгомъ, обнаруженнымъ кн. Голицынымъ. Партія самодержавія была поражена согласіемъ императрицы на уступки; партія ограниченія власти ожидала перваго шага на встрѣчу со стороны совѣта. Верховникамъ самимъ, наконецъ, сдѣлалось неловко: они, какъ говоритъ Теофанъ, „тихо нѣчто одни другимъ пошептывали, и остро глазами поглядывая, притворялись, будто и они яко невѣдомой себѣ и нечаянной вещи удивляются“ холодности собранія. Наконецъ, кн. Голицынъ сталъ „нарекать“: „для чего никто ни одного слова не проговорить? Изволилъ бы сказать, кто что думаетъ, хотя и нѣтъ де ничего другого говорить, только благодарить той милосердной государынѣ“. Среди общаго молчанія какой-то смѣльчакъ изъ сторонниковъ самодержавія „тихимъ голосомъ съ великою трудностію промолвилъ: „не вѣдаю де и весьма чуждуся, отчего на мысль пришло государынѣ такъ писать“. Наступила новая пауза. Тогда кн. А. М. Черкасскій, чело-вѣкъ лишенный обыкновенно всякой инициативы, выступилъ съ вопросомъ: „какимъ образомъ впредь то правленіе быть имѣть?“ Въ неловой формѣ, это былъ, очевидно, именно тотъ самый вопросъ — объ организаціи учредительной и законодательной власти, — который раздѣлялъ верховниковъ и конституціонное большинство московскаго шляхетства. Будучи *первымъ* официальнымъ заявленіемъ конституціонной партіи, этотъ вопросъ вызвалъ и первую официальную уступку ей со

стороны верховниковъ. Отъ лица совѣта Голицынъ предложилъ представителямъ этой партіи, „чтобы они, ища общей государственной пользы и благополучія, написали проектъ отъ себя и подали на другой день“. Сдѣлавъ эту уступку, Голицынъ, вѣроятно, полагалъ, что исполняетъ этимъ вполне обѣщаніе, данное своимъ единомышленникамъ изъ шляхетства,—допустить ихъ къ участию въ обсужденіи новаго государственнаго устройства. Мы скоро увидимъ, что шляхетство думало объ этомъ совершенно иначе.

Какъ бы то ни было, вопросъ о государственной реформѣ вступалъ теперь въ новый фазисъ. Верховный совѣтъ призналъ голосъ, по крайней мѣрѣ, совѣщательный, за другой общественною группой, помимо себя. Получивъ официальное разрѣшеніе выработать свой собственный проектъ, руководители конституціонной партіи были вполне готовы къ тому, чтобы воспользоваться этимъ разрѣшеніемъ немедленно.

## VII.

„24 ноября“ (т. е. всего пять дней спустя послѣ смерти Петра II),—писалъ шведскій посланникъ Дитмеръ, — встрѣтился со мной статскій совѣтникъ Татищевъ <sup>1)</sup> и сказалъ, что за день передъ тѣмъ онъ читалъ кое съ кѣмъ шведскую „форму правленія“ (конечно, 1720 года) и въ ней нашелъ ссылки на различныя другія распоряженія и постановленія риксдаговъ, которыхъ здѣсь не достанешь. Поэтому онъ просилъ меня добыть ихъ, говоря, что охотно заплатитъ, что они будутъ стоить“. Ловкій дипломатъ „отвѣтилъ, что не знаетъ хорошенько, какія собственно распоряженія и постановленія риксдаговъ цитируются въ „формѣ правленія“, но наведетъ справки и потомъ при случаѣ дастъ отвѣтъ, а между тѣмъ справится у Остермана, могутъ ли подобныя послышки быть доставлены почтой“. „Но упомянутый статскій совѣтникъ,—прибавляетъ не безъ скрытой ироніи Дитмеръ,—полагалъ, что нѣтъ надобности сообщать объ этомъ кому бы то ни было, но что онъ готовъ заплатить издержки и въ другой разъ поговорить объ этомъ подробнѣе“.

Это любопытное извѣстіе приводитъ насъ прямо къ самому центру политическаго броженія шляхетства и, можетъ быть, въ самый моментъ образованія этого центра. Бесѣды Татищева „кое съ кѣмъ“ имѣли очень важныя и видныя послѣдствія. Разговоровъ, конечно, вообще было много; но когда настало время дѣйствовать, первымъ началъ

<sup>1)</sup> Извѣстный русскій историкъ.



дѣйствовать кружокъ Татищева. Въ засѣданіе 2-го февраля Татищевъ не могъ быть приглашенъ, будучи только статскимъ, а не дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ; но другіе участники его бесѣды явились и, повидимому, съ заранѣе условленнымъ планомъ дѣйствій. Только такимъ предварительнымъ уговоромъ можно объяснить упомянутое выше заявленіе князя Черкаскаго. Получивъ разрѣшеніе написать проектъ, бывшіе въ засѣданіи сторонники конституціонной партіи собрались немедленно послѣ засѣданія въ домѣ одного изъ участниковъ — сенатора В. Я. Новосильцова. Въ этомъ „немаломъ собраніи“ докладчикомъ выступилъ Татищевъ и предложилъ собранію свои соображенія, заранѣе заготовленные, по четыремъ пунктамъ. Онъ ставилъ, во-первыхъ, вопросъ, кому принадлежитъ власть по кончинѣ государя „безнаслѣдственнаго“, и рѣшалъ этотъ вопросъ, — съ своей любимой точки зрѣнія „естественнаго права“<sup>1)</sup>, — въ томъ смыслѣ, что кончина государя „подданныхъ отъ присяги освобождаетъ“ и власть переходитъ къ „общенародію“; существующія же учрежденія сохраняютъ, для поддержанія порядка, лишь ту власть, которую имѣли „по прежнимъ законамъ“. Этимъ разрѣшался и второй вопросъ: „кто въ такомъ случаѣ можетъ законъ или обычай застарѣлый перемѣнить и новый учинить?“ „Никто не можетъ, развѣ общенародное соизволеніе“, отвѣчалъ Татищевъ. Такимъ образомъ и избраніе государя „по закону естественному должно быть согласіемъ всѣхъ подданныхъ, — нѣкоторыхъ персонально, другихъ же черезъ повѣренныхъ“. Присвоивъ исключительно себѣ право — опредѣлять наслѣдованіе престола, верховники нарушили права „шляхетства и другихъ сановъ“, которые должны „оное свое право защищать по крайней возможности, не давая тому закоснѣть“. Впрочемъ, за этимъ возраженіемъ кружокъ оставлялъ только формальное значеніе<sup>2)</sup>, признавая, что въ данномъ случаѣ „весь народъ персоною ея величества доволенъ, и никто не спорить“. Важнѣе, по мнѣнію шляхетства, другое злоупотребленіе совѣта: самовольное измѣненіе формы правленія. Въ этомъ вопросѣ шляхетство имѣетъ право „прилежностію разсмотрѣть и потому представить, что къ пользѣ государства надлежитъ“. Такимъ образомъ, шляхетство должно рѣшить еще третій и четвертый вопросы, поставленные Татищевымъ въ логическомъ порядкѣ. Если необходимо перемѣнить „самовластное древнее правительство“, то какая форма правленія „по

1) См. объ этомъ въ моей книгѣ: — „Главные теченія русской исторической мысли“, томъ I, 2 изд., М. 1898, стр. 22 и слѣд.; также въ „Очеркахъ по исторіи русской культуры“, т. III, вып. 2, стр. 210—222.

2) „Токмо сіе должно протестовать для предка“.

состоянію народа“ должна быть признана наилучшею? Кому и какимъ образомъ должно „сочинить“ новый государственный строй?

Наилучшею формою правленія Татищевъ призналъ,—какъ признавалъ и всегда,—монархію. „Къ премѣненію правительства,—заявлялъ онъ,—никакой нужды, ни пользы нѣтъ, развѣ великій вредъ“. Этотъ пунктъ вызвалъ горячіе споры, характеризующіе политическую неподготовленность тогдашней московской интеллигенціи. Для самого Татищева было, повидимому, не всегда ясно въ этомъ спорѣ, какую монархію онъ защищаетъ: неограниченную или конституціонную. Для его противниковъ, въ свою очередь, тоже было неясно, противъ чего и во имя чего они возражаютъ: противъ ли неограниченной монархіи во имя конституціонной, или противъ конституціонной монархіи во имя республики. Татищевъ понималъ ихъ воззрѣнія, повидимому, въ послѣднемъ смыслѣ и, защищая монархію противъ республики <sup>1)</sup>, забывалъ, кажется, въ жару спора, какую монархію защищаетъ, конституціонную или неограниченную. Возраженія противъ монархіи состояли въ томъ, что дать „единому человѣку великую власть надъ всѣмъ народомъ“, какъ бы онъ ни былъ добродѣтеленъ, опасно, такъ какъ и такой человѣкъ можетъ дать волю своимъ страстямъ и произволу; что при подобной формѣ правленія приходится терпѣть отъ временщиковъ и тайныхъ канцелярій. Татищевъ отвѣчалъ на это, что на произволъ монарха надо смотрѣть какъ на Божеское наказаніе; что временщики, и притомъ болѣе опасные, могутъ явиться также и въ республикѣ; что тайная канцелярія не можетъ быть вредна, если поручить ее „человѣку благочестному“, а дурные начальники „не долго тѣмъ наслаждаясь, сами исчезаютъ“. Какъ видимъ изъ этихъ отвѣтовъ, Татищевъ былъ не особенно опытнымъ конституціоналистомъ и врядъ ли успѣлъ еще самъ для себя уяснить, какъ мирится его всегдашняя идея о пользѣ самодержавія для Россіи съ предполагавшимся ограниченіемъ самодержавной власти. Какъ бы то ни было, рѣчь идетъ, очевидно, не о защитѣ монархіи противъ конституціонныхъ стремленій, такъ какъ вслѣдъ затѣмъ, отвѣчая на четвертый вопросъ, Татищевъ развилъ собственную свою конституціонную теорію.

<sup>1)</sup> Этой неясности способствовала самая терминологія и классификація государственныхъ формъ, принятая Татищевымъ. Онъ различаетъ три основныя формы: монархію, аристократію и демократію. Верховники, по этой терминологіи, „дерзнули единовластительство оставить и ввести аристократію“. Между тѣмъ, по его же словамъ въ другихъ мѣстахъ „Разсужденія“, выходитъ что „аристократія“ и даже „демократія“ не исключаютъ „монархіи“; такъ, въ Англіи совмѣщаются всѣ три формы: король, палата лордовъ („аристократія“) и палата общинъ („общенародіе“ или демократія).

Переходъ отъ защиты монархіи къ мотивировкѣ конститүціоннаго проекта сдѣланъ былъ, правда, тоже не особенно ловко. Новое устройство учреждается, по Татищеву, „для помощи ея величеству“,—*„на время, доколѣ намъ Всевышній мужескую персону на престолъ даруетъ“*. Такимъ образомъ, ограниченіе самодержавія оправдывается тѣмъ, что императрицей выбрана герцогиня курляндская, которая, „какъ есть персона женская, къ такъ многимъ трудамъ неудобна; паче-жъ ей знанія законовъ не достааетъ“. Покончивъ съ этимъ затруднительнымъ пунктомъ, Татищевъ снова становится на принципиальную точку зрѣнія. Для обсужденія новаго государственнаго устройства онъ предлагаетъ „требовать“ отъ верховнаго совѣта немедленнаго созыва выборныхъ отъ шляхетства, въ количествѣ не менѣе ста человѣкъ.

Такъ рѣшался вопросъ о томъ, кому сочинять новое устройство. На вопросъ о томъ, какъ его сочинять, Татищевъ отвѣчалъ, предрѣшая результаты обсужденія предложенной имъ учредительной комиссіи,—готовымъ проектомъ. По этому проекту верховный совѣтъ упразднялся и во главѣ государства, „въ помощь ея величеству“, учреждались двѣ палаты. „Вышнее правительство“, или сенатъ, должно было состоять изъ 21 члена, включая сюда весь наличный составъ верховнаго совѣта. „Нижнее правительство“, изъ 100 членовъ, занималось „внутренней экономіей“ и для этого дѣлилось на три группы. Каждая треть засѣдала въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ. Три раза въ годъ, для важныхъ дѣлъ, а также въ экстренныхъ случаяхъ, напр., войны, кончины государя, собирався весь составъ нижняго правительства: это рѣшилъ или „вышнее собраніе“ могло продолжать свою сессію не долѣе мѣсяца. Для выбора членовъ обѣихъ палатъ и для замѣщенія важнѣйшихъ должностей въ государствѣ, „вышнее правительство“ соединяется въ общее засѣданіе съ нижнимъ и присоединяетъ къ себѣ: для высшихъ военныхъ должностей—всѣхъ генераловъ, для высшихъ гражданскихъ (президентовъ и вице-президентовъ коллегій) — всѣхъ президентовъ коллегій. Законодательная власть, собственно говоря, „состоитъ единственно во власти монаршеской“, и по отношенію къ ней опять начинаются колебанія Татищева между конститүціонализмомъ и монархизмомъ. Необходимость создать для законодательной власти специальный органъ онъ доказываетъ двоякаго рода соображеніями: съ одной стороны личными, съ другой—принципиальными. „Какъ ея величеству не угодно самой сочинять“ (законы), то и „нужно кому-либо сочиненіе онаго повѣрить“, говоритъ онъ. Выведа, такимъ образомъ, передачу законодательной власти изъ *доброй воли* императрицы, Татищевъ тотчасъ же затѣмъ вводитъ и принципиальное соображеніе,

въ силу котораго законодательная власть *должна* быть передана „кому-либо“, чтобы предупредить случайность и произволъ законодателя. Разъ уже рѣшена передача законодательной власти,—является вопросъ объ организаціи законодательнаго органа. „Одному повѣрить“ составленіе законовъ, по Татищеву, также „невозможно“: „хотя бы онъ и искусенъ и въ намѣреніи никоея собственныя страсти не имѣлъ, — по природѣ легко погрѣшить можетъ“. Поэтому изданіе законовъ должно быть организовано слѣдующимъ образомъ. Законопроекты составляются всѣми коллегіями; каждая представляетъ свой проектъ (или проектъ отдѣльнаго члена) „вышнему правительству“, которое „по довольномъ разсужденіи сочиняетъ“ законъ и „представляетъ къ утвержденію“ ея величеству. Въ составѣ вышняго правительства не можетъ быть болѣе одного лица изъ одной и той же фамиліи; въ другихъ присутственныхъ мѣстахъ не могутъ засѣдать вмѣстѣ близкіе родственники. Каждый мѣсяцъ вышнее правительство назначаетъ двухъ депутатовъ для наблюденія за „справедливостію“ въ тайной канцеляріи. Аресты производятся въ присутствіи одного депутата изъ знатныхъ, для наблюденія за цѣлостію „пожитковъ“ арестуемаго. Шляхетство получаетъ слѣдующія преимущества. Прежде всего приводится въ извѣстность составъ „подлиннаго шляхетства“, и отъ стариннаго столбового дворянства отдѣляется „въ особую книгу“ дворянство новое: „которые изъ солдатъ, гусаръ, однодворцевъ и подьячихъ“. Принадлежность къ шляхетству доказывается, кромѣ древности рода, исключительно жалованными грамотами. Не имѣющіе этого доказательства исключаются изъ шляхетскихъ списковъ. Законъ о единонаслѣдіи отмѣняется. Шляхетская военная служба начинается не ранѣе восемнадцатилѣтняго возраста и ограничивается двадцатилѣтнимъ срокомъ; въ матросахъ и ремесленникахъ шляхетство не служитъ. Наконецъ, по всѣмъ городамъ устраиваются шляхетскія училища. Какъ видимъ, проектъ Татищева носитъ преимущественно дворянскій характеръ; въ немъ приняты въ соображеніе всѣ важнѣйшія желанія тогдашняго дворянства. Но и для другихъ сословій, духовенства и купечества, въ заключительныхъ пунктахъ проекта предполагаются нѣкоторыя льготы: для духовенства—устройство духовныхъ училищъ и обезпеченіе содержаніемъ, „чтобы деревенскіе могли дѣтей своихъ въ училищахъ содержать и сами не пахали-бъ“; для купечества—освобожденіе отъ постоевъ и притѣсненій, а также нѣкоторыя мѣры въ пользу торговли и промышленности. Проектъ кончался требованіемъ немедленной передачи его въ *учредительную комиссію*, выбранную „всѣмъ шляхетствомъ“ въ составѣ „не меньше ста человѣкъ“. Мѣсто и время со-

бранія этой комиссіи должно было быть опредѣлено „конечно того же дня или на завтра“, „чтобъ сіе не опущая времени начать“.

На собраніи 2 февраля у Новосильцова проектъ Татищева былъ прочитанъ по пунктамъ и подвергнутъ обсужденію, повидимому, очень оживленному. Хотя по первоначальному предложенію Голицына его слѣдовало подать на другой день, 3-го февраля, но этотъ срокъ прошелъ, а проектъ генералитета все еще не былъ готовъ. 4-го февраля онъ еще разъ былъ читанъ и дополненъ на новомъ собраніи у того же Новосильцова. Тогда появились подъ нимъ и первыя подписи. Первые 39 человекъ, подписавшіеся подъ проектомъ Татищева и, очевидно, наиболѣе къ нему близкіе, всѣ принадлежали къ „генералитету“, приглашенному верховнымъ совѣтомъ на засѣданіе 2-го февраля. Это были люди наиболѣе подготовленные, чтобъ отнестись сознательно къ начавшемуся движенію. Очень многіе изъ нихъ побывали за границей: нѣкоторые тамъ воспитывались; большинство принимало ближайшее участіе въ реформаторской дѣятельности Петра Великаго. Теперь предстояло пропагандировать выработанный кружкомъ проектъ въ болѣе широкихъ кругахъ шляхетства. На это и употреблены были, очевидно, ближайшіе дни. Проектъ Татищева (или, какъ называютъ его по имени официального руководителя партіи,—проектъ кн. Черкаскаго) былъ распространенъ въ нѣсколькихъ копіяхъ и собралъ еще 249 подписей, принадлежавшихъ къ гвардейскому и армейскому офицерству <sup>1)</sup>.

Но рядомъ съ сочувствіемъ проектъ Татищева вызвалъ и новыя противорѣчія. Татищевъ апеллировалъ къ „общенародію“, а шляхетское общенародіе не думало признавать его предложеніе за окончательный результатъ своихъ разсужденій. Такимъ онъ былъ только для кружка Татищева; для значительнаго большинства остального шляхетства онъ послужилъ лишь ферментомъ дальнѣйшаго броженія, лишь исходной точкой новыхъ политическихъ споровъ и разногласій.

### VIII.

Предложивъ генералитету подать свой проектъ новаго государственнаго устройства, совѣтъ нѣсколько дней ожидалъ представленія этого проекта. Самый протоколъ торжественнаго засѣданія 2 февраля оставался еще не подписаннымъ. Четвертаго февраля члены сената и

<sup>1)</sup> „Произвольное и согласное разсужденіе и мнѣніе собравшагося шляхетства русскаго о правленіи государственнымъ“, — какъ называется проектъ Татищева,—напечатано въ той окончательной формѣ, какую оно приняло 4-го февраля, въ литературномъ сборникѣ „Утро“ за 1859 годъ.

генералитета начали давать свои подписи <sup>1)</sup>. На слѣдующій день, 5-го февраля, внесенъ былъ въ совѣтъ и проектъ Татищева, съ 39-ю подписями членовъ генералитета. „А *которые не согласны*,—читаемъ мы въ журналѣ совѣта,—тѣмъ велѣно изготovitъ и для совѣта призвать въ сенатъ (?) еще изъ знатныхъ фамилій шляхетство *въ рангахъ и безъ ранговъ*...“ Другими словами, вмѣсто того, чтобъ ограничиться принятіемъ къ свѣдѣнію проекта генералитета, совѣтъ неожиданнымъ образомъ шелъ на *новую уступку*. Признавъ 2-го февраля совѣщательный голосъ за генералитетомъ, онъ признавалъ его теперь за всѣмъ шляхетствомъ „знатныхъ фамилій“, въ чинахъ и безъ чиновъ. Онъ предлагалъ такимъ образомъ официально московскому шляхетству высказать свои мнѣнія, несогласныя съ мнѣніемъ Татищевского кружка. Чѣмъ же объясняется этотъ новый шагъ въ политикѣ Голицына?

Какъ ни склонны мы признать значительную долю политическаго идеализма въ дѣйствіяхъ князя Голицына, но врядъ ли можно въ данномъ случаѣ предположить, чтобъ онъ хотѣлъ дѣйствительно отобрать, одно за другимъ, мнѣнія всѣхъ „чиновъ“ Россіи относительно предложенной реформы. Обращаясь вслѣдъ за генералитетомъ къ шляхетству, онъ, разумѣется, руководился соображеніями практической политики. Дѣло въ томъ, что мнѣніе Татищева навѣрное не могло нравиться верховному совѣту, съ упраздненія котораго Татищевъ предполагалъ начать реформу. Въ видахъ собственнаго самосохраненія, верховники должны были попробовать опереться на мнѣнія кружковъ, несогласныхъ съ Татищевымъ. Вотъ почему они поспѣшили узаконить и оформить политическія пререканія среди шляхетства. Привлекая этимъ къ движенію нерѣшительныхъ, они могли разсчитывать, что масса будетъ умѣреннѣе въ своихъ политическихъ вожделѣніяхъ, чѣмъ ея передовые представители.

Шляхетство съ своей стороны имѣло тоже причины быть недовольнымъ проектомъ Татищева. Мы видѣли, что въ этомъ проектѣ вся власть сосредоточивалась въ рукахъ *высшаго чиновничества*, которое само себя пополняло и не выпускало изъ своихъ рукъ законодательной инициативы. Отъ такого порядка шляхетство выигрывало, конечно, такъ же мало, какъ отъ проекта Голицына. Собственно организація сословнаго представительства была у Голицына поставлена даже на болѣе широкихъ основаніяхъ, чѣмъ у Татищева; только права Голицынскихъ сословныхъ палатъ были значительно уже правъ „нижняго правительства“ Татищева. Естественно, что среди шляхетства возникло

<sup>1)</sup> Въ этотъ день подписалось подъ протоколомъ 69 человекъ.

желаніе — соединить болѣе широкую организацію представительства, чѣмъ у Татищева, съ болѣе широкими правами представителей, чѣмъ въ проектѣ верховнаго совѣта. Стремленія этого рода должны были возникнуть совершенно независимо отъ недовольства Татищевскимъ проектомъ верховниковъ.

Мнѣніе этихъ недовольныхъ, *независимыхъ отъ воздѣйствія совѣта*, не дошло, однако, до насъ въ формѣ какого-либо выработаннаго проекта. Сохранился только обрывокъ, или, какъ его называетъ пр. Корсаковъ, „конспектъ шляхетскихъ совѣщаній“, составители котораго соглашались съ предположеніемъ Татищева—уничтожить верховный совѣтъ—и въ то же время хотятъ идти дальше Татищева въ разработкѣ новаго порядка. Они не удовлетворяются той системой кооптаціи, которою пополнялся составъ высшихъ учреждений по проекту Татищева, и желаютъ болѣе широкой организаціи учредительной и законодательной власти. Составъ сената они хотятъ увеличить до 30 членовъ; выбирать новыхъ членовъ въ сенатъ и коллегіи предлагают „обществомъ“, и „впредь что потребно къ исправленію и къ пользѣ государственной явится“, проектируютъ „сочинить *сейму* и утвердить обществомъ“ (безъ участія сената).

Огромное большинство шляхетства выбрало *иной путь*. Къ этому большинству обращено было приглашеніе верховниковъ—высказать свое несогласіе съ проектомъ Татищева, — и расчетъ совѣта оказался до нѣкоторой степени вѣрнымъ. Шляхетское большинство, слѣдуя приглашенію 5-го февраля, дѣйствительно, пошло *на компромиссъ съ совѣтомъ*. Положивъ въ основу проектъ Татищева, руководители этого большинства передѣляли его такъ, чтобъ удовлетворить недовольныхъ среди обѣихъ сторонъ. Для верховниковъ они отказались отъ уничтоженія верховнаго совѣта; для радикаловъ среди шляхетства они предположили расширить составъ учредительнаго и избирательнаго собранія. „Вышнее правительство“ Татищева эта партія сохранила и въ своемъ проектѣ, и притомъ въ томъ же составѣ 21 члена, какъ предлагалъ Татищевъ; но она сдѣлала формальную уступку верховникамъ, рѣшивъ считать это „правительство“ непосредственнымъ продолженіемъ не сената (какъ выходило у Татищева), а верховнаго совѣта; сенатъ же оставался, какъ онъ и былъ со времени учрежденія совѣта, на второмъ планѣ, состоя изъ 11 членовъ и занимаясь менѣе важными дѣлами. Замѣщеніе важнѣйшихъ должностей должно было производиться генералитетомъ и шляхетствомъ въ составѣ не менѣе 100 человекъ, т. е. вмѣсто крупнаго чиновничества избирательное собраніе должно было состоять изъ важнѣйшихъ общественныхъ группъ, присутствующихъ

на немъ частью „персонально“ (генералитетъ), частью „черезъ повѣренныхъ“ (шляхетство), выражаясь терминами Татищева. Для обсуждения „важныхъ государственныхъ дѣлъ“ и „что потребно будетъ впредь сочинить въ дополненіе уставовъ, принадлежащихъ къ государственному правительству“, должно было созываться особое собраніе, состоящее изъ всѣхъ четырехъ корпорацій (т. е. вышнее правительство, сенатъ, генералитетъ и шляхетство). Сословныя права шляхетства, за немногими исключеніями, опредѣлялись въ новомъ проектѣ согласно Татищеву; вновь было вставлено только характерное требованіе объ улучшеніи быта офицеровъ и исправной выдачѣ имъ жалованья. По Татищеву изложены были и предположенія о льготахъ для другихъ сословій, съ прибавленіями относительно крестьянъ (облегченіе въ податяхъ) и солдатъ („порядочное произвожденіе“).

Подъ изложеннымъ проектомъ въ трехъ его копіяхъ, извѣстныхъ подъ названіями проектовъ Секиотова, Максима Грекова и Алабердеева <sup>1)</sup>, подписалось значительное большинство шляхетства, всего до 743 лицъ, т. е. въ 2½ раза больше, чѣмъ подъ проектомъ Татищева (288). Уступки этого проекта радикальнымъ мнѣніямъ были, какъ видимъ, довольно значительны; напротивъ, уступки совѣту, въ сущности, фиктивны. Естественно, что верховники не могли примириться на этомъ компромиссѣ и попытались *добиться большаго*. Помимо разрѣшенія, даннаго 5-го февраля знатному шляхетству, совѣтъ призвалъ черезъ день (7-го февраля) бригадировъ и статскихъ совѣтниковъ <sup>2)</sup> и объявилъ имъ, чтобы они „извѣстное свое мнѣніе написали“. Есть всѣ основанія думать, что этому новому приглашенію предшествовали частные переговоры объ уступкахъ съ наиболѣе вліятельными или чиновными лицами. По крайней мѣрѣ, въ тотъ же день, 7-го февраля, внесено было въ совѣтъ первое отдѣльное мнѣніе И. И. Дмитріева-Мамонова, за которымъ послѣдовали, кромѣ проекта большинства, другія отдѣльныя мнѣнія графа И. А. Мусина-Пушкина, Колычова, М. А. Матюшкина. Къ этой же категоріи мнѣній слѣдуетъ отнести еще два проекта, подписанные 25-ю и 13-ю лицами (послѣдній, впрочемъ, не былъ внесенъ въ совѣтъ).

<sup>1)</sup> По фамиліямъ первыхъ подписавшихъ каждую копію лицъ. Всѣ три названныя лица подписали сперва проектъ Татищева, а затѣмъ, очевидно, съ цѣлью практическаго осуществленія главныхъ своихъ цѣлей, поплы на компромиссъ съ верховниками. За ними послѣдовали и многіе другіе сторонники Татищевского проекта.

<sup>2)</sup> Т. е. чины 5-го класса, не попавшіе въ засѣданіе 2-го февраля, въ которомъ участвовалъ только „генералитетъ“ (первые четыре ранга).



Всѣ эти проекты, отвѣчая на формальное приглашеніе верховниковъ отъ 7-го февраля, пытались найти почву для *дальнѣйшаго соглашенія съ советомъ*. Проектъ большинства уже поставилъ сенатъ на то второстепенное мѣсто, на которомъ онъ стоялъ въ дѣйствующей практикѣ государственныхъ учреждений. Но большинство продолжало, подобно Татищеву, требовать превращенія верховнаго совѣта въ высшее учрежденіе съ почти утроеннымъ числомъ членовъ. На этомъ пунктѣ отдѣльныя мнѣнія готовы были пойти на уступки. Въмѣсто 21 члена Мусинъ-Пушкинъ предлагаетъ ограничиться тѣмъ же числомъ 12-ти, какое предположено было для верховнаго совѣта въ проектѣ самого Голицына. Колычовъ въ своемъ мнѣніи увеличиваетъ эту цифру до 15-ти, „чтобъ ежели кто заболитъ или отлучится, отъ того въ правленіи замедленія за малолюдствомъ не было“. Нельзя не замѣтить, что такая мотивировка увеличенія состава совѣта была уже очень скромной и даже врядъ ли искренней. Но и противъ такой скромной постановки вопроса возражаетъ въ своемъ проектѣ Матюшкинъ. Для важныхъ дѣлъ, по его замѣчанію, предполагается другое многочленное собраніе, а для „повседневнаго правленія“ довольно и 12—13 членовъ въ составѣ совѣта. Итакъ, въ этомъ пунктѣ нѣкоторые представители шляхетства готовы были согласиться вполне съ проектомъ Голицына. За то по вопросу болѣе существенному—объ организаціи учредительнаго, законодательнаго и избирательнаго собранія они уступаютъ немного и остаются, въ сущности, при требованіяхъ шляхетскаго большинства. Всѣ эти проекты считаютъ необходимымъ *удержать* для важнѣйшихъ государственныхъ дѣлъ *собраніе всего „общества“* и расходятся только во мнѣніи, изъ кого это „общество“ должно быть составлено. Одни (проекты Матюшкина и тринадцати) придерживаются мнѣнія большинства, что „верховное собраніе“ должно состоять изъ всѣхъ четырехъ корпорацій, т. е. совѣта, сената, генералитета и шляхетства. Другіе, болѣе радикальные, находятъ, очевидно, такой составъ „высшаго собранія“ чрезчуръ чиновнымъ и исключаютъ изъ него сенатъ, а при выборахъ и совѣтъ (проектъ двадцати пяти). Только Мусинъ-Пушкинъ идетъ и въ этомъ случаѣ на компромиссъ съ совѣтомъ и предлагаетъ ограничить участіе шляхетства въ высшемъ собраніи „знатными“ изъ этого сословія. Болѣе уступчивыми оказываются разбираемые проекты въ вопросѣ о числѣ членовъ высшаго собранія. Для учредительнаго собранія количество членовъ остается, правда, неопределеннымъ; но для избирательнаго собранія проектъ тринадцати предлагаетъ (въмѣсто ста человекъ, предположенныхъ большинствомъ)—80 персонъ, Матюшкинъ понижаетъ эту цифру до 70-ти, проектъ два-

дцати пяти—даже до 50 членовъ. Что касается способа избранія въ члены сената, синода и на высшія должности, нѣкоторые проекты и тутъ соглашались на нѣкоторыя уступки. Сохраняя право участія въ избраніи за генералитетомъ и шляхетствомъ, Мусиянъ-Пушкинъ и проектъ тринадцати ограничиваютъ это право выборомъ трехъ кандидатовъ, изъ которыхъ совѣтъ производитъ назначеніе. Матюшкинъ согласенъ даже перевернуть этотъ порядокъ и предоставить назначеніе трехъ кандидатовъ совѣту, а выборъ одного изъ нихъ—„обществу“.

Всѣ эти и подобные споры разбили шляхетство на рядъ несогласныхъ группъ, пререканія между которыми принимали все болѣе острый характеръ. Въ этихъ пререканіяхъ прошло все время отъ торжественнаго засѣданія 2 февраля до пріѣзда императрицы (10 февраля). „Двери залы, гдѣ засѣдаетъ верховный совѣтъ Россіи,—писалъ Вестфаленъ въ донесеніи 9 февраля,—были открыты всю прошлую недѣлю для всѣхъ тѣхъ, кто пожелалъ бы заявить или предложить что-нибудь *за* или *противъ* задуманнаго измѣненія старой формы правленія. Это право дано было изъ военныхъ чиновъ генераламъ, бригадирамъ до полковниковъ включительно; точно также и всѣ члены сената и другихъ коллегій, всѣ имѣющіе полковничій рангъ, архіепископы, епископы и архимандриты были приглашены явиться, не всею корпораціей, а по три епископа и по три архимандрита заразъ. По этому поводу столько было наговорено хорошаго и дурного за и противъ реформы, съ такимъ ожесточеніемъ ее критиковали и защищали, что въ концѣ концовъ смятеніе достигло чрезвычайныхъ размѣровъ и можно было опасаться возстанія; но оба фельдмаршала не изъ такихъ людей, чтобы легко поддаться страху“.

Въ послѣднихъ словахъ Вестфалена, можетъ-быть, сохранился отголосокъ того настроенія, съ которымъ верховники слѣдили за разраставшимся движеніемъ, все болѣе грозившимъ ускользнуть изъ-подъ ихъ руководства. До сихъ поръ верховный совѣтъ только прислушивался къ мнѣніямъ партій, убѣждалъ ихъ сдѣлать уступки, отбиралъ отдѣльныя и коллективныя мнѣнія. Собирая этотъ матеріалъ и принимая его въ соображеніе, онъ пропустилъ всѣ сроки, предположенные для публикаціи его собственнаго проекта. Между тѣмъ, приближался срокъ пріѣзда императрицы. Ко времени этого пріѣзда на чемъ-нибудь надо было сговориться. Вѣроятно, въ виду этой спѣшности Голицынъ отложилъ на время выработку своей „формы правленія“. Свои уступки шляхетству онъ ввелъ въ текстъ сочиненной имъ присяги, которую подданные должны были принести императрицѣ послѣ ея пріѣзда. Первый изъ 16-ти пунктовъ этой присяги формулировалъ обязанности

верховнаго совѣта подлинными словами одного изъ представленныхъ совѣту проектовъ. Верховный тайный совѣтъ, по этому опредѣленію, существуетъ „не для иной какой собственной того собранія власти, точію для лучшей государственной пользы и управленія въ помощь ихъ имп. величествъ“. „Не персоны управляютъ законъ,—повторяетъ Голицынъ другую красивую фразу того же проекта,—но законъ управляетъ персонами“. Изъ этого же проекта взяты въ присягу *слова* о выборѣ кандидатовъ въ члены совѣта изъ „первыхъ фамилій, изъ генералитета и изъ шляхетства, людей вѣрныхъ и обществу народному доброжелательныхъ“, не болѣе двухъ отъ одной и той же фамиліи. Но въ самой *сути дѣла* никакой уступки не дѣлается: выборъ кандидатовъ, вмѣсто общаго собранія совѣта, сената и генералитета, передается совѣту и сенату. Для рѣшенія важнѣйшихъ дѣлъ Голицынъ соглашается созывать собраніе болѣе широкаго состава, но въ такой формѣ, которая и эту уступку лишаетъ всякаго дѣйствительнаго значенія. Сенатъ, генералитетъ, коллежскіе чины и знатное шляхетство, а въ духовныхъ дѣлахъ также синодальные члены и архіереи <sup>1)</sup> *приглашаются въ совѣтъ* „для совѣту и разсужденія“. Такимъ образомъ, всѣ эти корпорации и общественныя группы получаютъ лишь *совѣщательный* голосъ. Второй пунктъ присяги возвращаетъ церкви архіерейскія и монастырскія вотчины, согласно желанію одного изъ проектовъ („Дополненіе къ способамъ“). Третій пунктъ принимаетъ предложенія Мусина-Пушкина касательно устройства сената. Слѣдующіе 5 пунктовъ (4—8) перечисляютъ привилегіи шляхетства, удовлетворяя на этотъ разъ всѣмъ требованіямъ шляхетства, не исключая и Татищевскихъ, и даже прибавляя новыя уступки, о которыхъ вовсе нѣтъ заявленій въ извѣстныхъ намъ проектахъ. Именно дозволяется шляхетству, по окончаніи курса въ проектированныхъ „кадетскихъ ротахъ“, поступать прямо офицерами въ гвардію. Принимаются въ соображеніе и желанія проектовъ по отношенію къ нижнимъ чинамъ, купечеству и крестьянству. Даже просьба о перенесеніи резиденціи въ Москву, высказанная Матюшкинымъ, принимается Голицынымъ, которому она, впрочемъ, должна была быть особенно пріятна. Кое-что Голицынъ позволилъ себѣ внести изъ своего проекта: наприм., постановленія объ отмѣнѣ конфискацій и смертной казни.

Таково было *последнее слово* верховнаго совѣта и крайній предѣлъ его уступокъ. Нечего и говорить, что уступки эти не повели къ

<sup>1)</sup> Это—уступка анонимному мнѣнію, стоящему въ тѣсной связи съ запиской Мусина-Пушкина, стараго представителя „синодальной команды“.

желаемому примиренію. Шляхетство не находило въ нихъ главнаго—участія своихъ представителей въ выработкѣ новаго строя и въ пользованіи высшими правами государственной власти. Между тѣмъ этого участія желали почти всѣ представленные шляхетствомъ проекты. Въ этомъ смыслѣ шляхетство сказало свое послѣднее слово еще раньше, чѣмъ составлена была присяга Голицына. До насъ дошла любопытная въ этомъ отношеніи записка, составленная „компаніей“ лицъ, недовольныхъ вообще тѣмъ направленіемъ, какое приняло обсужденіе проектированной государственной реформы. И по значительной освѣдомленности составителей этой записки въ вопросахъ политической организаци, и по систематичности изложенія, и, наконецъ, по тождественности воззрѣній мы можемъ съ полною вѣроятностію предположить, что недовольною „компаніей“, составившею записку, былъ извѣстный намъ кружокъ Татищева. Мы видѣли, что проектъ Татищева заканчивался предложеніемъ передать его немедленно на разсмотрѣніе учредительной комиссіи. Къ этому предложенію и возвращается компанія теперь, когда проектовъ насчитывалась уже цѣлая дюжина и когда становилось все болѣе очевиднымъ, что совѣтъ не хочетъ давать всѣмъ этимъ запискамъ иного значенія, кромѣ совѣщательнаго. Кружокъ Татищева предлагалъ теперь „способы, которыми, какъ видится, порядчнѣе, основательнѣе и тверже можно сочинить и утвердить извѣстное толь важное и полезное всему народу дѣло“. „Способы эти состояли въ избраніи *изъ среды шляхетства комиссіи* въ 20—30 человекъ для выработки новаго проекта, который бы замѣнилъ всѣ предложенные. Уполномоченные должны были получить письменные наказы отъ избирателей. Наблюденіе за „добрымъ порядкомъ“ при преніяхъ должно было принадлежать специально выбраннымъ „двумъ особамъ“, на обязанности которыхъ лежало „голоса давать“ (т. е. разрѣшать слово ораторамъ) и унимать „шумъ и крикъ, а особливо брань“. Для обсуждения специальныхъ частей проекта къ комиссіи должны были быть присоединяемы выборные эксперты съ правами членовъ, отъ 4 до 6 по каждому специальному отдѣлу: для церковныхъ дѣлъ этихъ экспертовъ выбиралъ синодъ, для военныхъ и торговыхъ—военные люди и купечество; для вотчинныхъ и другихъ дѣлъ, распределенныхъ между коллегіями, приглашались, тоже на правахъ членовъ, президенты и по 2—3 члена отъ соотвѣствующихъ коллегій. Всякій пунктъ, разсмотрѣнный комиссіей, пересматривается еще разъ комиссіей вмѣстѣ съ сенатомъ и въ третій разъ обоими присутствіями вмѣстѣ съ верховнымъ совѣтомъ; и только послѣ троекратнаго обсужденія выработанный проектъ представляется особою делегаціей государямъ, которая его

„конфирмуешь“. Нельзя не замѣтить, что какъ идея приглашенія экспертовъ, такъ и порядокъ обсужденія проекта представляетъ дальнѣйшее развитіе мыслей, на которыхъ основана организація законодательной власти въ прежнемъ проектѣ Татищева.

Какъ видимъ, „Способы“ предлагали все, чего не доставало разсужденіямъ шляхетства: спеціальный юридическій органъ, опредѣленный порядокъ обсужденія проекта и превращенія его въ государственнѣйшій законъ. Содержаніе проекта могло быть, при этомъ порядкѣ, предрѣшаемо только въ видѣ наказовъ избирателей делегатамъ изъ шляхетства.

Таковъ, конечно, и долженъ былъ быть законный и логическій путь къ осуществленію предполагаемой реформы. Но было совершенно бесполезно предлагать этотъ путь при тѣхъ обстоятельствахъ, при которыхъ совершались событія 1730 года. При наличныхъ условіяхъ рѣчь могла идти въ сущности не о легализаціи и упорядоченіи формы обсужденія, а о скорѣйшемъ закрѣпленіи его результатовъ. Нѣкоторая фикція легальности существовала только у. верховнаго совѣта. Эта фикція получила свое оправданіе 2 февраля, благодаря согласію Анны на „кондиціи“; но мы видѣли, что согласіе это сами верховники (въ проектѣ отвѣта Анны) не рѣшались представить ничѣмъ инымъ, какъ добровольною милостію государыни, которая всегда могла быть взята назадъ. Право генералитета и шляхетства на обсужденіе реформы основывалось исключительно на разрѣшеніи, данномъ верховнымъ совѣтомъ; практически могло мало помочь то обстоятельство, что сами они считали это право „естественнымъ правомъ общенародія“. При взаимномъ согласіи совѣта и шляхетства вопросъ о законности дѣйствій могъ не возникнуть, могъ молчаливо быть рѣшенъ къ общему удовольствію. Но, разъ возникало между ними неразрѣшимое противорѣчіе, совѣту оставалось отвергнуть мнѣніе шляхетства, какъ необязательное; шляхетству оставалось обратиться за новою делегаціей власти непосредственно къ самой государынѣ.

Оба исхода были испробованы, но постороннему наблюдателю ясно было съ самаго начала, что оба практически неосуществимы. Иностранцы резиденты, считавшіе успѣхъ дѣла верховниковъ вполне возможнымъ и вѣроятнымъ, начали сомнѣваться въ этомъ успѣхѣ, какъ только обнаружались между верховниками и шляхетствомъ внутреннія разногласія. Дитмеръ, въ своемъ донесеніи отъ 12 февраля, слѣдующимъ образомъ резюмировалъ рассказанныя нами выше событія: „Такъ какъ члены совѣта хотятъ удержать одни всю власть, то существуетъ сильное недовольство среди дворянства по этому поводу. Но и дворянство раздѣ-

лилось на двѣ части, одна изъ которыхъ сильно настаиваетъ на полученіи гарантій свободы и по этому поводу представила различные пункты, послѣ того какъ совѣтъ предложилъ, чтобы каждый подалъ мнѣніе о томъ, что можетъ служить ко благу государства. Эта партія желаетъ, чтобы совѣтъ состоялъ изъ 20 лицъ различныхъ фамилій, не болѣе двухъ изъ каждаго рода. Но другая часть, которою, повидимому, руководить самъ совѣтъ, назначаетъ въ совѣтъ 12 членовъ и свои пункты направляетъ къ тому, чтобы совѣтъ со временемъ могъ одинъ захватить себѣ власть <sup>1)</sup>. Между лицами, болѣе всего возражавшими противъ власти совѣта, былъ князь Черкасскій, вслѣдствіе чего говорить даже, что ему предлагали мѣсто въ совѣтѣ, но онъ отказался. Къ чему все это приведетъ, нельзя еще сказать съ увѣренностью. Но я боюсь, что, вслѣдствіе возникшаго разногласія, все пойдетъ обратнымъ ходомъ и императрица сохранить самодержавіе“. Такой же исходъ предсказываютъ въ своихъ донесеніяхъ Маньянъ и де-Лиріа. Таково было положеніе дѣла, когда, 10 февраля, императрица пріѣхала во

Воскресское.



## IX.

Еще въ концѣ января (29) Дитмеръ замѣтилъ въ одной изъ своихъ донесеній, что „уже существуетъ партія, которая стремится къ сохраненію самодержавія, и къ ней примыкаютъ, повидимому, нѣсколько фамилій родственныхъ государынѣ“. Тогда же онъ сдѣлалъ и вѣроятное предположеніе, что партія эта „ждетъ только прибытія императрицы, чтобы обнаружить свои намѣренія, которыя теперь держитъ про себя“.

Дитмеръ былъ совершенно правъ. Нѣтъ надобности пересказывать всѣмъ извѣстныхъ фактовъ о сношеніяхъ съ императрицей Теофана, Левенвольде, Ягужинскаго и т. д. Замѣтимъ только, что цѣлый рядъ мелкихъ фактовъ разрѣшался еще до пріѣзда Анны въ томъ смыслѣ, какъ будто бы Анна сохраняла самодержавіе. Такъ, духовенство, по собственному почину, начало поминать Анну на ектеніяхъ съ титуломъ самодержицы, и совѣтъ не рѣшился запретить этого. Точно также

<sup>1)</sup> Со стороны, дѣйствительно, многимъ казалось, что вся суть спора сводилась къ разногласію о количествѣ членовъ въ будущемъ высшемъ государственномъ учрежденіи. Братъ извѣстнаго А. П. Волынскаго такимъ образомъ характеризовалъ смыслъ московскихъ событій въ письмѣ къ брату въ Казань: „шляхетство... спорили..., чтобы быть въ верховномъ совѣтѣ двадцати одной персонѣ, и выбирать оныхъ балтированіемъ, а большіе не хотѣли онаго,—чтобы по ихъ желанію было восемь персонъ“.

онъ не рѣшился отступить отъ обычныхъ формулъ въ манифестѣ о восшествіи на престолъ новой государыни. Свою нерѣшительность въ этихъ случаяхъ совѣтъ прикрывалъ тѣмъ соображеніемъ, что народъ могъ бы считать ограниченіе власти Анны вынужденнымъ верховниками, если бы совѣтъ опубликовалъ объ этомъ ограниченіи раньше пріѣзда въ Москву самой императрицы. Но и послѣ пріѣзда Анны дѣйствія совѣта не сдѣлались рѣшительнѣе. Верховники выжидали, чтобы Анна сама признала официально новую форму правленія, а императрица не только затягивала это признание, но, при случаѣ, не стѣснялась дѣйствовать какъ самодержавная государыня. Не далѣе, какъ черезъ день послѣ своего прибытія во Всесвятское, принимая тамъ батальонъ преображенцевъ и отрядъ кавалергардовъ, Анна объявила себя полковникомъ Преображенскаго полка и капитаномъ кавалергардовъ, т. е. прямо нарушила 4-й пунктъ подписанныхъ ею „кондицій“.

Это происшествіе, обратившее на себя всеобщее вниманіе, произошло 12 февраля, а 14-го верховный совѣтъ представлялся императрицѣ, и Голицынъ сказалъ при этомъ рѣчь, въ которой, если вѣрить Вестфалену, подчеркнул, что подписанныя Анной кондиціи „нашимъ именемъ предложили тебѣ наши депутаты“. Императрица подтвердила въ своемъ отвѣтѣ, что будетъ соблюдать подписанныя условія всю жизнь. На слѣдующій день, 15-е февраля, состоялся торжественный въѣздъ Анны въ Москву. Съ 20-го числа началась присяга новой императрицѣ. Противники верховниковъ ожидали отъ нихъ при этомъ случаѣ чего-нибудь рѣшительнаго; синодъ не хотѣлъ приводить къ присягѣ, не зная ея текста, а Теофанъ говорилъ духовенству и народу увѣщанія о святости и важности этого акта. Но опасенія и предосторожности Теофана оказались излишними. Въ формулѣ присяги, составленной за два дня до этого верховнымъ совѣтомъ, не было и помину о какихъ-либо подробностяхъ конституціоннаго проекта Голицына. Всѣ нововведенія сводились къ тому, что кромѣ государыни подданные должны были присягать „и государству“ (или въ другомъ мѣстѣ присяги „отечеству“) и обѣщали охранять его „пользу и благополучіе“; затѣмъ, выраженія, означающія самодержавіе, были исключены. Такъ какъ противники верховнаго совѣта ожидали, что верховники попытаются провести свою прежнюю формулу присяги, намъ извѣстную, то новая формула ихъ обезоружила; они „разсудили“, что эта формула „верховникамъ не къ пользѣ“, и рѣшили „принять оную снисходительно“.

Очевидно, вліяніе на ходъ событій все болѣе ускользало изъ рукъ

верховниковъ. По мѣрѣ того, какъ обнаруживалась ихъ слабость, и дѣйствія ихъ противниковъ становились все болѣе рѣшительными. Немедленно послѣ прибытія Анны они принялись за самую дѣятельную пропаганду. Пускались въ ходъ памфлеты, вродѣ извѣстнаго письма, приписывавшагося Волинскому: авторъ обвиняетъ здѣсь верховниковъ въ желаніи ввести республику и старается подѣйствовать на сословный эгоизмъ шляхетства. „Нѣкоторые наиболѣе хитрые люди изъ духовенства,—писалъ Маньянъ <sup>1)</sup>,—дѣлали всякія усилія, чтобы возстановить мелкое дворянство противъ верховнаго совѣта. главныхъ членовъ котораго изображали злодѣями, желавшими измѣнить форму правленія только для того, чтобы самимъ завладѣть верховною властью, вслѣдствіе чего рабское положеніе шляхетства стало бы еще невыносимѣе, чѣмъ при сохраненіи самодержавія государыни“. Дѣйствительно, Теофанъ не жалѣлъ красокъ, чтобы подѣйствовать на воображеніе своей партіи. И въ публичной проповѣди, и еще болѣе въ частныхъ разговорахъ онъ распространялся на тему, что князь Василій Лукичъ „какъ бы нѣкій драконъ, охраняетъ императрицу неприступну“; что „безъ воли его она ни въ чемъ не вольна и неизвѣстно, жива ли, а если жива, то насилу дышетъ“; что „онѣе тираны имѣютъ государыню за тѣнь государыни, а между тѣмъ злѣйшее нѣчто помышляютъ, чего другимъ и догадываться нельзя“. „Сія и симъ подобная, когда вездѣ говорено,—замѣчаетъ Теофанъ о плодахъ своихъ усилій,—оживила другой компаніи ревность и жесточае, нежели прежде, воспламенялась“. Во главѣ этой „компаніи“, дѣйствительно, какъ ожидалъ Дитмеръ, стали родственники императрицы: сенаторъ Салтыковъ, обиженный верховниками сенаторъ Трубецкой съ братомъ, генералы: кн. Барятинскій, кн. Юсуповъ, Чернышевъ. Но самымъ нагляднымъ признакомъ усиленія партіи самодержавія можетъ служить поведеніе Остермана, въ кабинетѣ котораго сходились всѣ нити монархической агитации. Все время больной, или притворявшійся больнымъ, и даже причащавшійся, онъ вдругъ перешелъ изъ выжидательной роли въ активную: наступалъ, очевидно, и по его наблюденіямъ удобный моментъ для рѣшительныхъ дѣйствій.

Положеніе верховниковъ становилось, дѣйствительно, съ каждымъ днемъ все затруднительнѣе. Наблюденіе за императрицей, трудное уже на пути изъ Митава, стало еще труднѣе во Всесвятскомъ, а послѣ переезда Анны въ кремлевскій дворецъ и окончательно сдѣла-

<sup>1)</sup> Страннымъ образомъ, этой депеши отъ 3-го апрѣля не находимъ въ Сборникъ Истор. Общества.



лось невозможнымъ, хотя В. Л. Долгорукій и занялъ здѣсь комнаты сосѣднія съ императрицей. Если было еще возможнымъ спасти свое положеніе и удержать сдѣланныя Анной уступки, то, конечно, единственнымъ путемъ, — путемъ соглашенія съ конституціонною партіей шляхетства. Въ этомъ направленіи совѣтъ и пытается дѣлать послѣднія отчаянныя усилія. „Я не хочу выдавать за несомнѣнное,—писаль Моріанъ, отъ 13 февраля, изъ С.-Петербурга,—но мнѣ по секрету сообщено, что Голицынъ и Долгорукій, съ согласія большей части совѣта, собрали подписи знатнѣйшихъ фамилій и чиновничества въ томъ, чтобы дѣйствовать сообща“. Дѣйствительно, верховный совѣтъ сдѣлалъ извлеченія изъ голицынской присяги, выбравъ тѣ мѣста, которыя больше всего *походили на уступки* шляхетству, и подъ этимъ документомъ успѣлъ соединить 97 подписей, въ томъ числѣ подписи многихъ авторовъ отдѣльных мнѣній и лицъ, подписавшихся подъ другими проектами. Содержаніе этого документа показывало, однако, что и въ эту рѣшительную минуту Голицынъ не хотѣлъ сдѣлать шляхетству *никакихъ новыхъ* уступокъ. Менѣе доктринеръ и болѣе практикъ, чѣмъ князь Голицынъ, князь Василій Лукичъ Долгорукій теперь готовъ былъ, однако, идти дальше. Сохранилась копія съ его наброска, въ которомъ онъ соглашался на всѣ важнѣйшія требованія шляхетства, т. е. и на увеличеніе числа членовъ совѣта, и на разсмотрѣніе общественныхъ нуждъ, съ доклада государыни, выборными представителями отъ шляхетства, „чтобы народъ узналъ, что къ пользѣ народной дѣла начинать хотятъ“. „Чтобы убѣгнуть разногласія“, онъ готовъ былъ теперь и выборъ дополнительныхъ членовъ въ совѣтъ произвести, какъ требовали проекты, по соглашенію съ сенатомъ и генералитетомъ. Для охраны интересовъ совѣта онъ только предполагалъ принять мѣры предосторожности при выборѣ депутатовъ отъ генералитета и шляхетства и оставить за совѣтомъ право опредѣлить предметы обсуждения въ собраніи представителей.

На этой почвѣ, можетъ-быть, можно было дѣйствительно „избѣгнуть трудностей и нареканія“ и „удовольствовать народъ“, если бы совѣтъ *началъ* съ этихъ уступокъ. Но теперь было уже слишкомъ поздно. Конституціонное шляхетство, дѣйствительно, представляло силу, съ которой надо было считаться; но эту силу удалось склонить на свою сторону партіи самодержавія.

Въ этомъ союзѣ не было, въ сущности, ничего удивительнаго. Важнѣйшее желаніе шляхетства, созывъ учредительнаго собранія, если бы даже на него согласился верховный совѣтъ, все равно не могло быть осуществлено безъ согласія государыни. Другое же желаніе шля-

хетскаго большинства, замѣна совѣта новымъ учрежденіемъ изъ 21 члена, прямо ставило все это шляхетство въ ряды противниковъ верховнаго совѣта: исключались только немногіе авторы особыхъ мнѣній. Далѣе мы видѣли, что въ теоріи Татищева самодержавная власть отлочно уживалась рядомъ съ конституціоннымъ проектомъ; стать на сторону самодержавія для него и для его партіи, стало быть, вовсе *не значило отказаться* отъ конституціонныхъ стремленій. (Таково же, мы думаемъ, было и положеніе Ягужинскаго). Съ другой стороны, многіе изъ сторонниковъ Татищева присоединились послѣ 2-го февраля къ его партіи, несомнѣнно, только потому, что эта партія была враждебна верховному совѣту и требовала его уничтоженія. Въ лицѣ многихъ своихъ представителей, такимъ образомъ, конституціонная партія сливалась съ монархической. Историкъ Щербатовъ прямо считаетъ самого Татищева ближайшимъ сотрудникомъ Оеофана и Кантемира по восстановленію самодержавія. При всѣхъ этихъ условіяхъ Остерману было не трудно убѣдить главу партіи, кн. Черкаскаго, что все, чего хочетъ шляхетство, оно всего скорѣе *получитъ отъ самой императрицы*; стѣитъ только обратиться къ ней съ прошеніемъ уничтожить верховный совѣтъ, восстановить сенатъ и дозволить шляхетству работать на основаніи всѣхъ поданныхъ проектовъ общій планъ государственныхъ преобразованій. Мы знаемъ, что ничего другого и не добивался кружокъ Татищева, какъ въ своемъ проектѣ, такъ и въ поданныхъ совѣту „Способахъ“. Естественно, что эта партія присоединилась въ лицѣ своихъ вождей къ партіи самодержавія; къ ней же должно было присоединиться и то огромное большинство шляхетства, которому до сихъ поръ мѣшала требовать уничтоженія верховнаго совѣта только его умѣренность. *Уничтоженіе совѣта и сдѣлалось общимъ лозунгомъ* всѣхъ соединившихся партій: различіе же между ними было пока отодвинуто на задній планъ.

Такимъ образомъ, этотъ ловкій политическій маневръ—примиреніе партій, о которомъ тщетно хлопотало до сихъ поръ столько лицъ, состоялось, какъ видимъ, благодаря политикѣ Остермана. Въ игрѣ партій этотъ союзъ былъ рѣшительнымъ ходомъ, послѣ котораго дѣло верховниковъ было окончательно проиграно. Членамъ совѣта оставалось признаться въ этомъ самимъ себѣ и поспѣшить самимъ принять на себя инициативу дѣйствій, которыя въ противномъ случаѣ все равно были бы предприняты помимо нихъ и противъ нихъ. Лефорть, обыкновенно хорошо освѣдомленный, сообщаетъ намъ, что за день до окончательной развязки верховники рѣшились объявить императрицу самодержавной, но она отвѣчала имъ, что для нея слишкомъ мало — быть

объявленной самодержицей только восемью лицами. Любопытно, что, по другому извѣстію, въ тотъ же вечеръ (24 февраля) Остерманъ сообщилъ своимъ сторонникамъ совершенно противоположныя свѣдѣнія. Онъ далъ знать имъ, что князь Василій Лукичъ, чтобы привести дѣло къ развязкѣ, только что представилъ императрицѣ для подписи списокъ лицъ, числомъ до 100, которыхъ предполагалось подвергнуть аресту. Было ли это сообщеніе вѣрно и былъ ли князь Василій Лукичъ, въ самомъ дѣлѣ, настолько наивенъ, чтобы надѣяться въ подобную минуту получить согласіе Анны на арестъ ея важнѣйшихъ сторонниковъ, или же пущенный Остерманомъ слухъ былъ просто новымъ ловкимъ ходомъ въ его игрѣ,—этого вопроса намъ никогда не разрѣшить съ помощью подлинныхъ документовъ. Несомнѣнно только то, что если Остерманъ, подготовивъ дѣйствующихъ лицъ, хотѣлъ самъ дать этимъ извѣстіемъ и сигналъ къ началу дѣйствія, — онъ успѣлъ въ своемъ намѣреніи какъ нельзя лучше. Провозглашеніе самодержавія Анны Іоанновны, отлагавшееся сперва по нѣкоторымъ извѣстіямъ до ея коронаціи въ апрѣлѣ, рѣшено было, подъ впечатлѣніемъ сенсационнаго слуха, пущеннаго Остерманомъ,—произвести немедленно.

## X.

23 февраля, то-есть за день до предполагаемаго сообщенія Остермана, обѣ соединившіяся партіи шляхетства, конституціонная и монархическая, собрались въ двухъ квартирахъ своихъ вождей: у князя И. Ѳ. Барятинскаго на Моховой и у кн. А. М. Черкасскаго на Никольской. На Моховой принято было рѣшеніе—просить Анну принять самодержавіе, уничтожить совѣтъ и „кондиціи“ и возстановить сенатъ. И по мѣсту собранія, и по характеру рѣшеній—это было, надо думать, собраніе монархической партіи шляхетства. Но что партія эта желала дѣйствовать въ согласіи съ партіей конституціонной, видно изъ того, что она послала на Никольскую къ кн. Черкасскому парламентаря и что парламентаремъ этимъ былъ выбранъ В. Н. Татищевъ. Кружокъ, собравшійся у Черкасскаго, не сразу, однако же, согласился съ рѣшеніями кружка Барятинскаго. Послѣ долгихъ разсужденій, присутствовавшій въ собраніи кн. Антиохъ Кантемиръ, извѣстный писатель, тогда еще очень молодой человекъ, ухаживавшій за дочерью хозяина, убѣдилъ, наконецъ, нѣкоторыхъ лицъ подписать челобитную о самодержавіи и тутъ же написалъ ее на-бѣло. Челобитную повезли затѣмъ въ домъ кн. Барятинскаго и собрали тамъ 74 подписи. Кружокъ Черкасскаго дожидался исхода дѣла. Уже въ первомъ часу ночи всѣ подписавшіе

челобитную у Бярятинскаго пріѣхали на Никольскую и здѣсь челобитная быстро покрылась еще 93-мя подписями. Для собиранія дальнѣйшихъ подписей Кантемиръ и гр. Матвѣевъ поѣхали въ гвардейскія и кавалергардскія казармы и тамъ собрали еще 95 подписей офицеровъ и кавалергардовъ. 24-е число прошло въ этомъ собираніи подписей и въ другихъ приготовленіяхъ къ перевороту. Къ вечеру послана была къ государынѣ Прасковья Юрьевна Салтыкова <sup>1)</sup> „съ тою вѣдомостію, что согласились“. Очевидно, съ вѣдома и согласія Анны переворотъ былъ назначенъ на слѣдующій день. Дворецъ былъ заблаговременно оцѣпленъ войсками, команда надъ которыми была поручена родственнику императрицы, майору гвардіи С. Салтыкову. Начальникъ дворцоваго караула получилъ приказаніе никого, кромѣ Салтыкова, не слушаться. „Такъ прекратилась власть при дворѣ кн. Вас. Долгорукова“, прибавляетъ при этомъ извѣстіи Лефортъ. Само собою разумѣется, что вся эта агитація и приготовленія не могли остаться неизвѣстны верховникамъ: ими, очевидно, и объясняются тѣ крайнія мѣры, о которыхъ дошли до насъ слухи и одну изъ которыхъ (а можетъ-быть объ сразу?) хотѣли будто бы предпринять верховники, т. е. провозгласить самодержавіе Анны и арестовать сторонниковъ ея неограниченной власти.

Событія слѣдующаго дня по нѣскольку разъ описывались каждымъ изъ иностранныхъ резидентовъ и вообще о нихъ ходила масса самыхъ разнообразныхъ разсказовъ. И, несмотря на это,—а отчасти, конечно, и благодаря этому,—мы не можемъ себѣ составить по этимъ разсказамъ вполнѣ отчетливаго представленія о ходѣ событій. Изъ сопоставленія всѣхъ разнорѣчивыхъ сообщеній выясняется приблизительно слѣдующее.

Утромъ 25 февраля шляхетскій кружокъ Черкаскаго условился собраться по-одиночкѣ въ пріемныхъ комнатахъ кремлевскаго дворца. Такимъ же образомъ условился и кн. Юсуповъ съ своими гвардейскими офицерами. Къ десяти часамъ утра, „по отпѣтіи молебна“, оба кружка были въ сборѣ, въ числѣ 150—200 человекъ, и попросили аудіенціи у императрицы. Анна Ивановна велѣла позвать въ залу и членовъ верховнаго совѣта <sup>2)</sup>. Затѣмъ В. Н. Татищевъ прочелъ челобитную,

<sup>1)</sup> Историкъ Щербатовъ разсказываетъ, что Салтыкова, свояченица Черкаскаго, и прежде была посредницей между Анной и недовольными и „нашла способъ... наединѣ ей записку о начинающихся намѣреніяхъ сообщить“.

<sup>2)</sup> По словамъ Татищева, „кн. Василій Лукичъ Долгорукій просилъ ее прилежно, чтобъ она ихъ (т. е. шляхетство) не допускала, общевая, что верховный тайный совѣтъ ей самовластіе возвратить“.

передапную Аннѣ кн. Черкасскимъ. Выразивъ благодарность за подписаніе пунктовъ, челобитчики заявляли, что „въ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ тѣхъ пунктовъ находятся сумнительства такія, что большая часть народа состоитъ въ страхѣ предбудущаго безпокойства“. Они прибавляли, что уже подали по этому поводу свое „мнѣніе“ верховному совѣту „съ подобающею честью и смиреніемъ“, прося его учредить форму государственнаго правленія по большинству голосовъ, но что совѣтъ „еще о томъ не разсудилъ“, отъ многихъ не принялъ и мнѣній и объявилъ, „что того безъ воли Вашего Имп. Величества учинить невозможно“. По всѣмъ этимъ причинамъ челобитчики просили императрицу, „дабы всемилостивѣйше по поданнымъ отъ насъ и прочихъ мнѣніямъ соизволила собраться всему генералитету, офицерамъ и шляхетству, по одному или по два отъ фамилій, разсмотрѣть и всѣ обстоятельства изслѣдовать, согласнымъ мнѣніемъ по большимъ голосамъ форму правленія государственнаго сочинить и Вашему Величеству къ утвержденію представить“. Другими словами, кружокъ Татищева возобновлялъ отъ имени всего шляхетства просьбу, представленную въ совѣтъ въ извѣстныхъ намъ „Способахъ“. Въ заключеніе челобитчики извинялись за малое количество подписей и объясняли его тѣмъ, что они „собраться для подписи опасны, а согласуетъ большая часть“. Подъ челобитной было 87 подписей. И по этому, и по самому содержанію очевидно, что прочтенная челобитная была *не та*, которую составилъ 23 числа Кантемиръ. Несомнѣнно также по количеству подписей, что заявленіе Татищева было подписано даже не всѣми присутствовавшими при аудіенціи. Въ виду всего этого нельзя не повѣрить герцогу де-Лиріа, который, сдѣлавши дополнителныя справки о событіяхъ 25 февраля и исправляя свой прежній разсказъ о нихъ, сообщаетъ, что были поданы *два* просьбы: одна, князя Черкасскаго, „подписанная множествомъ дворянъ“, и другая, князя Юсупова, „въ томъ же тонѣ“, подписанная всѣми офицерами гвардіи. Вторая просьба и была, очевидно, заявленіемъ монархической партіи. Но прочитана была вслухъ, по видимому, только одна челобитная Черкасскаго, а до чтенія другой дѣло не дошло въ виду смущенія, вызваннаго содержаніемъ первой. Несомнѣнно, челобитная, прочитанная Татищевымъ, содержала совсѣмъ *не то, чего ожидала* императрица. Она ожидала просьбы о возстановленіи самодержавія, а должна была выслушать прошеніе объ организаціи учредительнаго собранія. Анна Іоанновна совершенно растерялась. Среди послѣдовавшаго замѣшательства слышались голоса, особенно изъ среды гвардейскихъ офицеровъ, что слѣдуетъ возстановить самодержавіе; другіе голоса имъ возражали. Поднялся шумъ. Тогда кн. Василій Лу-

кичь сдѣлалъ попытку вмѣшаться: „Кто вамъ позволилъ присвоить себѣ законодательную власть?“—спросилъ онъ Черкаскаго.—„Государыня вами обманута,—отвѣчалъ Черкасскій:—вы увѣрили ее, что кондиціи составлены съ согласія всѣхъ чиновъ, а это было сдѣлано безъ нашего вѣдома и участія“. Долгорукій обратился тогда къ Аннѣ, совѣтуя ей удалиться въ кабинетъ и тамъ обсудить прошеніе шляхетства. Раздраженіе офицеровъ, вполнѣ понятное, если, дѣйствительно, ихъ челобитная не была прочитана, возрастало: сцена рисковала закончиться свалкой и кровопролитіемъ. Императрица оставалась въ колебаніи. Въ эту рѣшительную минуту Екатерина Ивановна, герцогиня мекленбургская, бросилась къ сестрѣ съ перомъ и чернилами. „Нечего теперь разсуждать,—говорила она,—подпиши скорѣй; я отвѣчаю за это; если придется поплатиться жизнью, я буду первой жертвой“. Анна Ивановна машинально взяла у нея изъ рукъ перо и подписала на челобитной „быть по сему“. Такимъ образомъ, самый напряженный моментъ прошелъ. Придя нѣсколько въ себя, Анна велѣла шляхетству *снова обсудить* свою челобитную и въ тотъ же день сообщить ей свое рѣшеніе. Шляхетство удалилось послѣ того въ другую залу дворца. Верховники были приглашены Анною на обѣдъ и, такимъ образомъ, благовидно арестованы. Въ пріемной аудіенцъ-залѣ остались одни гвардейскіе офицеры, которые дали теперь волю своему раздраженію. „Мы не хотимъ,—кричали они,—чтобы государынѣ предписывали законы; она должна быть такой же самодержавной, какъ ея предки“. Волненіе настолько усилилось, что Анна должна была сама выйти и приказать офицерамъ слушаться Салтыкова. Офицеры, бросаясь къ ногамъ императрицы, кричали, что они готовы пожертвовать за нее жизнью, но не потерпятъ ея злодѣевъ. Сцена кончилась тѣмъ, что офицеры, съ Салтыковымъ во главѣ, привѣтствовали Анну самодержавной императрицей.

Все происшедшее въ аудіенцъ-залѣ, конечно, тотчасъ же сдѣлалось извѣстно шляхетству и должно было оказать вліяніе на исходъ его совѣщанія. Вѣроятно, къ этому времени относятся разсужденія, приведенныя въ спутанномъ разказѣ Вестфалена. Юсуповъ заявилъ, по словамъ Вестфалена: мнѣ кажется, что снисходительность нашей всемилостивѣйшей государыни и ея обращеніе съ подданными вполнѣ заслуживаютъ съ нашей стороны выраженія живѣйшей признательности. Чернышевъ поддержалъ его: мы не можемъ лучше возблагодарить ее за всю ея доброту къ народу, какъ вернувъ то, что у ней отняли, т. е. самодержавіе и неограниченную власть, каковыми пользовались всѣ ея предки. Обѣ мысли, высказанныя Чернышевымъ и Юсуповымъ, легли въ основаніе *новой челобитной*, сочиненной теперь

шляхетствомъ. „Когда В. И. В. всемилостивѣйше изволили пожаловать всепокорное наше прошеніе своеручно, для лучшаго утвержденія и пользы отечества нашего, сего числа подписать,—говорилось въ челобитной,—недостойныхъ себя признаемъ къ благодаренію... Однакожь усердіе вѣрныхъ подданныхъ... побуждаетъ насъ по возможности нашей не показаться неблагодарными. Для того въ знакъ нашего благодарства всеподданнѣйше приносимъ и всепокорно просимъ всемилостивѣйше принять самодержавство таково, каково Ваши славные и достохвальные предки имѣли, а присланные къ В. И. В. отъ верховнаго совѣта и подписанные В. В. рукою пункты уничтожить“. Вторая половина челобитной заключаетъ въ себѣ конституціонныя требованія шляхетства: „Только всеподданнѣйше В. И. В. просимъ, чтобы соизволили сочинить вмѣсто верховнаго совѣта и высокаго сената—одинъ правительствующій сенатъ, какъ при Его В. блж. пам. дядѣ В. И. В. Петрѣ Первомъ было, и исполнить его довольнымъ числомъ, 21 персоною. Такжеже нынѣ въ чины и впредь на упалыя мѣста (вакансіи) въ оный правительствующій сенатъ и въ губернаторы и въ президенты повелѣно бы было шляхетству выбирать баллотированіемъ, какъ-то при дядѣ В. И. В., Е. И. В. Петрѣ Первомъ установлено было. И притомъ всеподданнѣйше просимъ, чтобы *по Вашему всемилостивѣйшему подписанію* (т. е. согласно первой челобитной) *форму правительства государственнаго для предбудущихъ временъ нынѣ установить*“.

Какъ видимъ, *формально* партія Черкаскаго ни отъ чего не отказалась изъ своихъ желаній, не исключая даже учредительнаго собранія изъ шляхетства. Но просьба объ этомъ была запрятана въ послѣднюю глухую фразу челобитной и предназначена къ тому, чтобъ остаться безъ исполненія. На первый же планъ выдвинута въ новой челобитной просьба о возстановленіи самодержавія.

Извѣстенъ результатъ подачи новой челобитной. Послѣ обѣда императрица съ верховниками вернулась въ аудіенцъ-залу. Челобитная вручена была на этотъ разъ кн. Трубецкимъ и прочитана Кантемиромъ. Выслушавъ ее, Анна спросила: согласны ли члены верховнаго совѣта, чтобъ я приняла предлагаемое мнѣ *моимъ народомъ*? Верховники молча наклонили головы. Затѣмъ Анна послала за пунктами и своимъ письмомъ въ канцелярію совѣта, „и тѣ пункты Ея Величество при всемъ народѣ изволила, принявъ, разодрать“.

## XI.

Разсказъ о событіяхъ 1730 года былъ бы не полонъ, если бы мы остановились на уничтоженіи пунктовъ. Событія эти имѣли свой эпи-

логъ, о которомъ необходимо упомянуть въ заключеніе. Движеніе шляхетства не свелось на этотъ разъ къ разорванному клочку бумаги. Оно несомнѣнно—и не даромъ—свидѣтельствовало о пробужденіи политическаго и сословнаго самосознанія среди сословія, все болѣе становившагося господствующимъ въ государствѣ. Желанія этого сословія уже въ 1730 году выражены были настолько настойчиво и поддерживались такой компактною массой, что они не могли быть оставлены вовсе безъ вниманія правительствомъ. И Остерманъ не даромъ давалъ надежду на то, что шляхетскія желанія могутъ быть удовлетворены императрицей. Едва возстановивъ свою самодержавную власть, Анна Іоанновна удовлетворила первому изъ этихъ желаній, именно указомъ 4 марта верховный совѣтъ и высокій сенатъ были „оставлены“ и замѣнены правительствующимъ сенатомъ „въ той силѣ, какъ при дядѣ нашемъ блаж. и вѣчно-достойныя памяти Петръ Великомъ былъ“. Количество членовъ сената опредѣлено было, соотвѣтственно желанію шляхетства, въ 21; въ списокъ членовъ вошли всѣ верховники, кромѣ князя Ал. Гр. Долгорукаго, три фельдмаршала, многіе видные представители конституціонной партіи и авторы отдѣльныхъ мнѣній, шедшихъ на компромиссъ съ верховниками. Словомъ, правительство пользовалось своей побѣдой съ чрезвычайною умѣренностью. Конечно, болѣе проникательные тогда же предполагали, что назначеніе членовъ въ сенатъ сдѣлано для вида, чтобы дать время удалить негодныхъ членовъ. Вопросъ о возстановленіи баллотировки въ должности, „какъ при Петрѣ Первомъ установлено было“, рѣшенъ—по крайней мѣрѣ относительно офицеровъ—утвердительно указомъ 5 февр. 1731 года. Что касается сословныхъ льготъ шляхетства, отмѣненъ, согласно желанію шляхетства и общаніямъ совѣта, законъ о майоратѣ (указъ 9-го декабря 1730 г.); учрежденъ, согласно общанію Голицына, кадетскій корпусъ съ выпускомъ учащихся прямо въ офицеры и, наконецъ, установленъ, хотя и не надолго, манифестомъ 1736 года, 25-лѣтній срокъ шляхетской службы. Указомъ 21 марта 1736 г. было строго запрещено вотчинной коллегіи раздавать земли дворянамъ, что нельзя не поставить въ связь съ 6-мъ пунктомъ „кондицій“ (П. С. З. № 21. 536). Нельзя считать случайнымъ и то, что отъ времени Анны до насъ дошло наименьшее количество свѣдѣній о пожалованіяхъ населенныхъ земель дворянству. Вопросъ объ учредительномъ собраніи, конечно, не поднимался болѣе; но для окончанія задуманнаго Петромъ новаго „Уложенія“ принять былъ знакомый намъ порядокъ обсужденія—сперва посредствомъ выборовъ изъ шляхетства и экспертовъ изъ купечества и духовенства, потомъ въ соединенномъ засѣданіи этой коммиссіи и сената, послѣ чего



обсужденныя части проекта должны были вноситься на утверждѣніе государыни: легко замѣтить, что порядокъ этотъ въ значительной степени подсказанъ идеями Татищевского проекта.

Такимъ образомъ, вліяніе идей и желаній, высказанныхъ въ политическихъ проектахъ 1730 года на законодательство императрицы Анны не можетъ быть подвергнуто сомнѣнію. Въ этомъ отношеніи переворотъ 1730 года сдѣлалъ въ миниатюрѣ то же дѣло, какое сдѣлала въ большихъ размѣрахъ знаменитая Екатерининская коммиссія. Сравнивая оба эти эпизода нашей исторіи прошлаго вѣка, нельзя, однако же, не замѣтить, что за тридцать семь лѣтъ русское дворянство успѣло окончательно забыть объ интересахъ „общенародія“ и войти во вкусъ сословныхъ привилегій. Перенеся центръ тяжести своихъ желаній отъ политической реформы къ реформѣ сословной, оно получило возможность дѣйствовать въ направленіи наименьшаго сопротивленія и въ духѣ усилившагося сословнаго эгоизма. Въ результатъ — давленіе, такъ сказать, фізіологическое оказалось гораздо дѣйствительнѣе давленія идейнаго, и русская исторія пошла далеко не тѣмъ путемъ, о которомъ мечтали руководители движенія 1730 года.

## Сергѣй Тимоѳеевичъ Аксаковъ.

(20 сентября 1791 г.—20 сентября 1891 г.).

Для большинства читающей публики Сергѣй Тимоѳеевичъ Аксаковъ есть авторъ *Семейной хроники*, составляющей неотъемлемую часть дѣтскихъ воспоминаній каждаго изъ насъ, отецъ знаменитыхъ славянофиловъ и, наконецъ, горячій поклонникъ Гоголя. Тѣ, кто не позабылъ еще своего учебника литературы, могутъ прибавить къ этому, пожалуй, что Аксаковъ имѣлъ какой-то длинный доисторическій періодъ, когда онъ былъ плохимъ стихоплетомъ и записнымъ театраломъ, и что только на шестомъ десяткѣ, подъ вліяніемъ Гоголя и собственныхъ сыновей, онъ вдругъ сдѣлался классическимъ писателемъ, перескочивъ сразу изъ ложно-классицизма прошлаго вѣка къ художественному реализму гоголевскаго періода.

Историкъ русскаго общественнаго развитія взглянетъ на С. Т. Аксакова съ нѣсколькой другой точки зрѣнія. Для него Аксаковъ — не классическій беллетристъ, а мемуаристъ, драгоценный и единственный въ своемъ родѣ; и самая писательская дѣятельность послѣднихъ двухъ десятилѣтій его жизни имѣетъ значеніе постольку, поскольку свидѣтельствуется о прожитомъ и перечувствованномъ за весь прежній „доисторическій періодъ“. Ко всѣмъ дѣйствующимъ лицамъ воспоминаній и къ самому автору можно приложить эти слова, заканчивающія *Семейную хронику*: „вы не великіе герои, не громкія личности; въ тишинѣ и безвѣстности прошли вы свое земное поприще и давно, очень давно его оставили; но вы были люди, и ваша внѣшняя и внутренняя жизнь такъ же любопытна и поучительна для насъ, какъ мы и наша жизнь въ свою очередь будетъ любопытна и поучительна для потомковъ. Вы были такіе же дѣйствующія лица великаго всемірнаго зрѣлища, съ незапамятныхъ временъ представляемаго человѣчествомъ,

такъ же добросовѣстно разыгрывали свои роли, какъ и всѣ люди, и также стоите воспоминанія“.

Какъ художникъ, С. Т. Аксаковъ вызывалъ и будетъ вызывать критику и возраженія; слава его въ этомъ отношеніи сильно поблекла еще раньше окончанія его литературной дѣятельности. Какъ „человѣческій документъ“ нашего прошлаго, онъ будетъ только возвышаться въ цѣнѣ по мѣрѣ удаленія отъ насъ этого прошлаго. Тѣ же самыя свойства,—недостатокъ самостоятельнаго творчества и полная зависимость отъ личныхъ впечатлѣній, которыя помѣшали ему сдѣлаться художникомъ,—увеличиваютъ его значеніе, какъ мемуариста. Для мемуариста С. Т. Аксаковъ представляетъ удивительно счастливое сочетаніе душевныхъ свойствъ. Съ большою силою впечатлительности соединяется у него замѣчательная отчетливость памяти: наканунѣ смерти онъ вполне ясно помнитъ, не только, какихъ онъ наловилъ бабочекъ полвѣка назадъ, и какъ опредѣлилъ каждую по Блюменбаху, но и при какой обстановкѣ пойманы были особенно интересные экземпляры. Еще удивительнѣе, чѣмъ память на внѣшнія событія, его память на собственные впечатлѣнія, движенія чувства. Обыкновенно, мемуары, написанные много времени спустя послѣ событій, страдаютъ невѣрностью освѣщенія, происходящей отъ перемѣны точки зрѣнія у самихъ авторовъ на описываемыя событія; у Аксакова этого почти нѣтъ: прочувствовавъ и переживъ разъ свои впечатлѣнія, онъ уже остается во власти ихъ даже тогда, когда самъ не помнитъ ихъ причины и источника. Въ значительной степени содѣйствовало этому, конечно, то, что нашъ „человѣческій документъ“ тонко наблюдалъ, сильно чувствовалъ, но не размышлялъ и не теоретизировалъ. Различныя, иногда прямо противоположныя наслоенія впечатлѣній такъ и ложились и препарировались рядомъ въ огромномъ запасѣ его памяти; и когда шестидесятилѣтній старикъ развернулъ передъ нами свой гербарій, зрители не могли не удивиться полной сохранности коллекцій, яркости цвѣтовъ и красокъ и нѣкоторой пестротѣ ихъ также; а старикъ выкладывалъ одинъ за другимъ свои рѣдкіе экземпляры съ такой легкостью, съ такимъ отсутствіемъ усилія и искусственности, что ему и въ голову не приходило приписать свѣжесть впечатлѣнія собственному умѣнію. „Могучею силой *письма и печати* познакомлено теперь съ вами (героями *Семейной хроники*) ваше потомство“: такими наивными словами кончаетъ онъ лучшее изъ своихъ произведеній.

Мы, конечно, хорошо знаемъ, что могучая сила, выведшая на сцену семью Багровыхъ, заключалась не въ гусиномъ перѣ и не въ типографскихъ чернилахъ. И, тѣмъ не менѣе, личность автора, дѣйстви-

тельно, совершенно ступевалась въ содержаніи его разсказа,—настолько ступевалась, что критики противоположныхъ направленій должны были дѣлать усилія, чтобъ оцѣнить *форму* изложенія саму по себѣ. Критикъ „Русской Бесѣды“ находилъ, что стиль автора „дѣловой“, что, точнѣе, его стиль незамѣтенъ въ процессѣ чтенія: „выражаемая мысль какъ бы сама становится передъ вами, не давая чувствовать своей словесной оболочки“. Добролюбовъ заявлялъ, что онъ „слишкомъ уважаетъ фактическую правду мемуаровъ Аксакова, чтобы силиться отыскивать въ нихъ еще правду художественную“. Кто-то изъ публики замѣчалъ, что Аксаковъ пишетъ такъ, какъ будто бы онъ никогда не читалъ никакихъ книгъ. Дѣйствительно, между пережитыми впечатлѣніями старины и ихъ литературнымъ выраженіемъ какъ будто не было ничего промежуточнаго, кромѣ „письма и печати“. Ничего не прибавляя къ содержанію, не думая о формѣ, человекъ просто выложилъ, что помнилъ, а въ результатѣ получилась неожиданно свѣжая, животрепещущая тема, художественно обработанная первокласснымъ стилистомъ. „Успѣхъ моей книги удивилъ меня“,—писалъ самъ авторъ, и, принимаясь объяснять этотъ успѣхъ, добавлялъ: „я прожилъ жизнь, сохранилъ теплоту и живость воображенія, и вотъ отчего обыкновенный талантъ производитъ необыкновенное дѣйствіе“. Дѣйствительно, секрета успѣха нельзя искать исключительно въ талантѣ автора. Что тема оказалась свѣжѣе и животрепещущѣе, это было свойствомъ времени, когда появилась *Семейная хроника* (1856 г.); стиль Аксакова мѣнялся изъ десятилѣтія въ десятилѣтіе, совершенствуясь вмѣстѣ съ развитіемъ литературы; что прежній поклонникъ высокаго „штиля“ могъ *такъ* писать, когда литература освободилась отъ классическихъ и романтическихъ условностей,—это почти экспериментъ въ нашей литературѣ; но, конечно, это не личная заслуга Аксакова, хотя и безспорное доказательство его отзывчивости. Наконецъ, то, что вызываетъ впечатлѣніе художественности,—это, несомнѣнно, объективность и чувство мѣры, обнаруженное Аксаковымъ въ *Семейной хроникѣ* и не обнаруженное въ воспоминаніяхъ о позднѣйшихъ временахъ. И для этихъ свойствъ И. С. Аксаковъ находилъ объясненіе, независимое отъ художественнаго таланта отца; по его словамъ, „не разъ говаривалъ С. Т., что если бы онъ вздумалъ писать *Семейную хронику* лѣтъ сорока или сорока пяти, а не шестидесяти, то она вышла бы несравненно хуже: краски были бы слишкомъ ярки“. Краски эти поблѣднѣли по мѣрѣ отдаленія времени и по мѣрѣ наступленія возраста, когда „умъ переходитъ въ мудрость“, когда годы и болѣзни умѣрили пылъ и обуздали страсти“.

Понимая такимъ образомъ причины неожиданнаго литературнаго успѣха шестидесятилѣтняго С. Т. Аксакова, мы можемъ обойтись безъ того искусственнаго дѣленія его жизни на двѣ части, которое часто употребляется нашими историками литературы. Талантливость Аксакова была налицо, конечно, не въ меньшей степени, когда онъ въ теченіе полувѣка дѣлалъ свои наблюденія, чѣмъ когда онъ въ концѣ жизни началъ ихъ излагать. Съ другой стороны, и въ концѣ жизни онъ не обнаружилъ ничего большаго сравнительно со сдѣланнымъ ранѣе запасомъ. Если только въ 1850-хъ годахъ Аксаковъ сдѣлался классическимъ писателемъ, то и вина, и заслуга этого принадлежатъ времени, а не автору. Нѣтъ, слѣдовательно, нужды предполагать какой-то переворотъ въ талантѣ Аксакова и, съ одной стороны, объяснить его поздній расцвѣтъ какою-то искусственною задержкою въ его литературномъ развитіи, а съ другой стороны—преувеличивать вліяніе на развитіе его таланта Гоголя и собственныхъ сыновей. И прежде, и послѣ этого предполагаемаго переворота, оказывающагося, при ближайшемъ разсмотрѣніи, просто ошибкой исторической перспективы, С. Т. Аксаковъ оставался однимъ и тѣмъ же человѣкомъ, живымъ и впечатлительнымъ, совершенно индифферентнымъ къ общественнымъ движеніямъ и партіямъ, чуждымъ теоретической мысли и отзывчивымъ на самые тонкіе оттѣнки чувства. Въ его подвижной натурѣ не было какъ разъ тѣхъ элементовъ, которые даютъ силу и содержаніе общественной дѣятельности человѣка въ данный моментъ и дѣлаютъ его непригоднымъ для всѣхъ другихъ моментовъ: у него не было ни философскаго міровоззрѣнія, ни практической общественной программы, ничего, что могло бы устарѣть или кристаллизироваться,—ничего, кромѣ вѣчно-юной любви къ вѣчно-юной природѣ, свѣтлаго взгляда на жизнь и ея радости и очень широкаго—потому что безформеннаго, безыдейнаго—сочувствія ко всему прекрасному. Этому какъ будто противорѣчить „русское направленіе“ С. Т. Аксакова; но, какъ скоро увидимъ, и оно у Аксакова не есть теорія, а только настроеніе, не только не вызывавшее его на бой, какъ его сыновей, но, напротивъ, побуждавшее его оставаться въ сторонѣ отъ дѣйствительнаго теченія жизни. Въ извѣстномъ стихотвореніи Алексѣя Толстого кievскій богатырь просыпается отъ вѣковой спячки въ разные моменты русской исторіи и становится довольно непріятнымъ для себя образомъ съ дѣйствительностью этихъ моментовъ, которой онъ не можетъ ни понять, ни одобрить. С. Т. Аксаковъ есть такой же Потокъ-богатырь нашей литературы. И онъ стоитъ въ сторонѣ отъ главнаго русла ея, промываемаго борьбой общественныхъ страстей и интересовъ. Сила этихъ страстей

и смѣна различныхъ сочетаній остаются для него непонятны. Изъ своего узкаго угла онъ рискуетъ иногда выходить на свѣтъ Божій; но его путеводители, которыхъ онъ подбираетъ по своему вкусу, перетолковываютъ ему эту дѣйствительность не хуже, чѣмъ Ал. Толстой своему герою. И Аксаковъ снова спѣшитъ уйти въ свой семейный и дружескій уголокъ. Впрочемъ, въ концѣ концовъ, онъ оказывается счастливѣе толстовскаго героя: въ одинъ изъ такихъ выходовъ его настроеніе какъ будто совпадаетъ на минуту съ настроеніемъ окружающей толпы. Польщенный вниманіемъ, онъ принимается разсказывать о томъ, какъ жила встарину дѣды въ привольныхъ степяхъ, только не днѣпровскихъ, а оренбургскихъ; молодежь слушаетъ охотно про чудеса стараго времени; бранятъ его героевъ, но хвалятъ разсказчика. А старику и любо: перебравъ дѣдовскую старину, онъ переходитъ къ временамъ, которыя помнятъ и внуки, и помнятъ не такъ, какъ разсказываетъ дѣдушка. Все, попрежнему, льется плавная и изобразительная рѣчь, и не видитъ расхोдившійся старикъ, какъ начинаетъ зѣвать его оживленная аудиторія, какъ расходится понемногу, оставляя, наконецъ, его одного продолжать свои безконечные разсказы.

Смерть прервала эти разсказы, диктовавшіеся Аксаковымъ не въ хронологическомъ порядкѣ, но, въ общемъ, доведенные до знакомства съ Гоголемъ, разсказъ о которомъ остался недоконченнымъ. Поставленные въ хронологическій порядокъ и дополненные другъ другомъ, эти статьи составляютъ почти полную автобіографію писателя и исторію тѣхъ кружковъ, среди которыхъ онъ жилъ <sup>1)</sup>. На нихъ мы и остановимся теперь, не имѣя, конечно, въ виду повторять много разъ пересказанную біографію С. Т. Аксакова, а желая только отчасти напомнить главныя черты ея, отчасти же подчеркнуть тѣ стороны, которыя недостаточно отмѣчены до сихъ поръ біографами.

Мы не будемъ, конечно, останавливаться на изображеніи той помѣщицкой среды, изъ которой вышелъ С. Т. Аксаковъ. Изъ *Семейной хроники* видно, что авторъ въ общемъ относился къ этой средѣ сочувственно, хотя не скрывалъ и темныхъ сторонъ ея. Очевидно, онъ былъ доволенъ *порядкомъ* и смотрѣлъ на темныя стороны его, какъ на *исключенія*, не стоящія съ нимъ въ причинной связи. Такимъ образомъ, даже семейный деспотизмъ дѣдушки Багрова, взятый въ связи со всею обстановкой, находилъ раціональное объясненіе и являлся естественнымъ коррективомъ данныхъ семейныхъ нравовъ и отноше-

<sup>1)</sup> Всѣ эти статьи занимаютъ I—IV томы *Полнаго собранія сочиненій* С. Т. Аксакова, изд. въ шести томахъ въ 1886 г.

ній. По отношенію къ матери Аксакова этотъ деспотизмъ сослужилъ, дѣйствительно, хорошую службу, защитивъ ее отъ золовокъ; но надо сказать, что и недоброжелательство золовокъ вызвано было всего болѣе борьбой за вліяніе на строгаго дѣдушку. Какъ бы то ни было, *эта* среда не могла создать С. Т. Аксакова, и если бы ему пришлось вырасти въ семьѣ дѣда, изъ него, по всей вѣроятности, вышла бы такая же безличность, какъ его отецъ, съ которымъ у него много общаго по мягкости характера. Лучомъ свѣта, ворвавшимся въ это темное царство, была мать Аксакова, дочь товарища уфимскаго намѣстника Зубова, красавица уфимскаго бомонда, нашедшая въ губернскомъ обществѣ множество поклонниковъ и обожателей, но ни одного жениха, который бы рѣшился ввести въ семью черезчуръ эмансипированную по тому времени дѣвушку. С. Т. Аксаковъ изобразилъ трогательную исторію препятствій, которыя пришлось преодолѣть влюбленному безъ памяти отцу Аксакова, чтобы вынудить согласіе дѣдушки на эту свадьбу и жениться на Зубовой. Послѣдняя приняла, въ силу домашнихъ обстоятельствъ, это единственное предложеніе, хотя успѣла на половину разочароваться въ женихѣ еще до замужества. Разочаровавшись окончательно въ мужѣ, она перенесла всю любовь на сына и употребила всѣ усилія, чтобы изолировать его отъ ненавистой ей деревенской обстановки и воспитать по-своему. Она не могла побороть въ немъ только его инстинктивной любви къ природѣ—и сдѣлала тутъ уступки; но сношенія съ деревенскимъ населеніемъ были прекращены разъ навсегда. Такимъ образомъ, оборонительное положеніе, занятое матерью по отношенію къ деревнѣ, было перенесено и на сына. Изъ окошекъ барской усадьбы мальчикъ долженъ былъ любоваться зимними увеселеніями крестьянскихъ дѣтей и, немного подросши, потихоньку отъ матери бѣгалъ слушать народныя пѣсни. Еще строже былъ изолированъ мальчикъ отъ соприкосновенія съ дворней и отъ дурнаго вліянія дѣвичьей. Внуку Степана Михайловича только разъ видѣлъ и смутно помнилъ пароксизмъ дѣдовскаго гнѣва; въ его собственной семьѣ нравы были до такой степени непохожи на дѣдовскіе, что онъ былъ пораженъ и оскорбленъ до глубины души, когда случайно увидѣлъ, какъ бабушка бьетъ свою дворовую дѣвку или учитель сѣчетъ дѣтей въ народной школѣ. Эти и подобные случаи запечатлѣвались въ его памяти, какъ нѣчто рѣзко-исключительное. Только позже, и больше изъ рассказовъ, чѣмъ изъ собственныхъ наблюденій, познакомился онъ съ темной стороною помѣщичьей жизни;—и этому слѣдуетъ въ немалой степени приписать его оптимизмъ по отношенію къ ней.

Въ помѣщичьемъ хозяйствѣ мать также по принципу не принимала участія, и сынъ былъ воспитанъ въ томъ же духѣ. Позднѣе, женившись, онъ пробовалъ сдѣлаться хозяиномъ, но пришелъ только къ убѣжденію „въ собственномъ безсиліи быть полезнымъ“ и окончательно разстался съ деревней.

Таковы были первыя отношенія къ практической жизни. Конечно, эти только условія сдѣлали возможнымъ нравственное воспитаніе Аксакова, но тѣ же условія, можно думать, положили начало тому индифферентизму къ общественной жизни, какимъ всю жизнь отличался Сергѣй Тимоѣевичъ, по признанію собственнаго сына (Ив. Серг.). Въ искусственной атмосферѣ его дѣтской развивалась усиленно только его чувствительность, подъ вліяніемъ страстныхъ изліяній матери, ревниво искавшей дѣтской взаимности; тамъ же положено было начало его любви къ чтенію. Руководителемъ перваго чтенія мальчика былъ старый либераль екатерининскаго времени, депутатъ екатерининской коммисіи Аничковъ. Выборъ книгъ обусловливался наличнымъ составомъ его библіотеки. Послѣ нѣсколькихъ хрестоматическихъ сборниковъ для дѣтскаго чтенія, Аксаковъ получилъ отъ него (пяти лѣтъ) Сумарокова и Хераскова и упражнялся въ декламированіи *Россіады*. Черезъ годъ онъ прочиталъ многотомную *Жизнь англійскаго философа Клевеланда*, увлекавшую нашихъ предковъ всю вторую половину XVIII в.; еще черезъ годъ познакомился съ *Тысяча и одной ночью*, съ стихотворными сборниками Карамзина и даже—потихоньку отъ матери—съ Ричардсономъ. Одинъ этотъ выборъ чтенія показываетъ, что для своихъ 7—8 лѣтъ Аксаковъ былъ развитъ не по возрасту, и что это развитіе было развитіемъ чувства и сердца, а не мысли.

Далѣе слѣдуютъ учебные годы Аксакова (1800—1807), проведенные въ казанской гимназіи и только что учрежденномъ университетѣ, какъ извѣстно, тѣсно слитомъ въ первые годы своего существованія съ тою же гимназіей. „Я оставилъ университетъ,—писалъ позднѣе С. Т. Аксаковъ,—въ такихъ годахъ, въ которыхъ надлежало бы поступать въ него, слѣдовательно, вынесъ очень мало знаній“. „Во всю мою жизнь,—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ,—чувствовалъ я недостаточность этихъ научныхъ свѣдѣній, особенно положительныхъ знаній“. И сынъ его, И. С., точно также подтверждаетъ, что „отецъ не былъ не только ученымъ, но и не обладалъ достаточною образованностью“. Однако же, гимназическая и университетская жизнь далеко не прошла безслѣдно для развитія личности С. Т. Аксакова. Во-первыхъ, она развила въ немъ чувство товарищества и отвлеченный идеализмъ молодости. „Тамъ царствовало полное презрѣніе ко всему низкому и подлому, ко всѣмъ



своекорыстнымъ разсчетомъ и выгодамъ, ко всей житейской мудрости—и глубокое уваженіе ко всему честному и высокому, хотя бы и безразсудному. Память такихъ годовъ неразлучно живетъ съ человѣкомъ и, непримѣтно для него, освѣщаетъ и направляетъ его шаги въ продолженіе цѣлой жизни, и куда бы его ни затащили обстоятельства, какъ бы ни втоптали въ грязь и тину, она выводитъ его на честную, прямую дорогу. Я, по крайней мѣрѣ, за все, что сохранилось во мнѣ добраго, считаю себя обязаннымъ гимназiи, университету, общественному ученію и тому живому началу, которое вынесъ я оттуда. Я убѣжденъ, что у того, кто не воспитывался въ публичномъ учебномъ заведеніи, остается пробѣлъ въ жизни, что ему недостаетъ нѣкоторыхъ испытанныхъ въ юности ощущеній, что жизнь его неполна“... Такими прочувствованными словами кончаетъ онъ свои школьныя воспоминанія.

Кромѣ развитія чувства общественности, школьные годы прибавили нѣсколько чертъ и къ умственной фiзіономiи Аксакова. Въ этомъ отношеніи, прежде всего, слѣдуетъ отмѣтить вліяніе его воспитателя, тогдашняго учителя и профессора, а впослѣдствіи виднаго дѣятеля по воссоединенію униатовъ и попечителя бѣлорусскаго учебнаго округа, Гр. Ив. Карташевскаго. Къ особенностямъ характера Аксакова принадлежало то его свойство, что, очень легко поддаваясь вліянію людей съ сильною волей, онъ, повидимому, самъ не замѣчалъ своего подчиненія. Такъ, онъ самъ, а вслѣдъ за нимъ и его біографы, считали проявленіемъ ранней оригинальности его гимназическую оппозицію Карамзину. Всматриваясь пристальнѣе, нельзя не заключить, что эта оппозиція, а вмѣстѣ и все то „русское направленіе“, съ которымъ вышелъ Аксаковъ изъ университета, есть дѣло рукъ Карташевскаго. Взявъ въ свои руки воспитаніе Аксакова, Карташевскій, прежде всего, сдѣлалъ строгій выборъ книгъ для его чтенія. Все сантиментально-фривольное,—и прежде всего повѣсти Карамзина,—было устранено. Изъ Державина тоже допущены были только небольшіе отрывки. Только безукоризненно-нравственный Дмитріевъ былъ разрѣшенъ весь. Мальчикъ безусловно слушался наставника и всѣ его совѣты и мнѣнія принималъ какъ святую истину. Въ результатѣ и получилось очень курьезное сочетаніе впечатлѣній, прошедшихъ и не прошедшихъ черезъ цензуру наставника. Мальчикъ зачитывался потихоньку сантиментальными романами и, въ то же время, добросовѣстно громилъ сантиментализмъ; „бралъ прозу Карамзина и былъ въ восторгѣ отъ его плохихъ стиховъ, отъ прощанія Гектора съ Андромахой и отъ „Опытной соломониной мудрости“. Аксаковъ справедливо заключалъ изъ этого: „понятія

мои путались“. Но онъ потерялъ ключъ къ объясненію этой путаницы, который не трудно теперь найти. Стихи Карамзина онъ зналъ раньше, чѣмъ началось воспитательство Карташевскаго, и не могъ передѣлать своего перваго впечатлѣнія, хотя оно и вызвало порицаніе воспитателя; а прозу узналъ уже подъ его угломъ зрѣнія.

Оппозиція противъ сентиментализма поставила Аксакова уже въ университетѣ въ то положеніе къ большинству товарищей, въ которомъ онъ навсегда потомъ остался по отношенію къ русскому обществу. Но мы расскажемъ это словами самого Аксакова. „Я терпѣлъ жестокія гоненія отъ товарищей, которые всѣ были безусловными поклонниками и обожателями Карамзина. Въ одно прекрасное утро, передъ началомъ лекціи, входилъ я въ спальныя комнаты казенныхъ студентовъ. Вдругъ поднялся шумъ и крикъ: „вотъ онъ, вотъ онъ!“ и толпа студентовъ окружила меня. Всѣ въ одинъ голосъ осыпали меня поздравленіями, что „нашелся еще такой же уродъ, какъ я и проф. Городчаниновъ, лишенный отъ природы вкуса и чувства къ прекрасному, который ненавидитъ Карамзина и ругаетъ эпоху, произведенную имъ въ литературѣ; закоснѣлый славянофилъ, старовѣръ и гасильникъ, который осмѣлился напечатать свои старозавѣтныя остроты и насмѣшки“... Народъ былъ молодой, горячій и почти каждый выше и старше меня: одинъ обвинялъ, другой упрекалъ, третій возражалъ, какъ будто, на мои слова, прибавляя: „а, ты теперь думаешь, что ужъ твоя взяла?“ или: „а, ты теперь, пожалуй, скажешь: вотъ вамъ доказательство!“ и проч. и проч. Изумленный и даже почти испуганный, я не говорилъ ни слова и, несмотря на то, чуть-чуть не побили меня за дерзкія рѣчи“. Скоро дѣло объяснилось: одинъ изъ студентовъ получилъ знаменитое *Разсужденіе о старомъ и новомъ слоgъ* Ал. Сем. Шишкова, изданное за два года передъ тѣмъ. Эта-то литературная новинка и вызвала такую бурю въ спальняхъ казенныхъ студентовъ. Конечно, Аксаковъ не замедлилъ достать книгу. „Я увѣровалъ—говорить онъ—въ каждое слово его книги, какъ въ святыню! Русское мое направленіе и враждебность ко всему иностранному упрочилась сознательно, и темное чувство національности выросло до исключительности. Я не смѣлъ обнаруживать ихъ вполнѣ, встрѣчая во всѣхъ товарищахъ упорное противодѣйствіе, и долженъ былъ хранить мои убѣжденія въ глубинѣ души, отчего они, въ тишинѣ и покоѣ, достигли огромныхъ и неправильныхъ размѣровъ“. Такъ развился заложенный Карташевскимъ зародышъ въ страстной душѣ Аксакова.

Зато, съ другой стороны, развитіе литературныхъ вкусовъ Аксакова было, несомнѣнно, самостоятельно. Его старое увлеченіе декламацией

превратилось въ университетѣ, уже помимо воли воспитателя и отчасти даже вопреки его волѣ, въ увлеченіе театромъ. Въ этомъ увлеченіи, въ сущности, не было уже ничего случайнаго: гораздо тѣснѣе, чѣмъ „русское направленіе“, стояло оно въ связи съ индивидуальностью Аксакова, съ его подвижною, впечатлительною натурой. Недостаточно сильно одаренный для самостоятельнаго творчества, Аксаковъ находилъ удовлетвореніе въ воспроизведеніи, въ лицедѣйствѣ. Успѣхъ въ этомъ родѣ дѣятельности подстрекалъ его самолюбіе и честолюбіе. Уже съ середины XVIII вѣка театръ сдѣлался потребностью средней публики столицъ, а къ концу вѣка вкусъ къ театру развился и въ провинціальныхъ центрахъ. Конечно, это была наиболѣе доступная—даже болѣе доступная, чѣмъ чтеніе—форма, въ которой могли возбуждаться и удовлетворяться умственные и нравственные интересы этой публики. Раньше, чѣмъ періодическая пресса, театръ сдѣлался у насъ выразителемъ „всего честнаго и высокаго“; „авторъ драматическій,—по словамъ Аксакова (1828 г.),—долженъ быть наставникомъ (публики)... двигать впередъ образованіе словесности... управлять (волною)“; потому что, „кому возможное ею править, какъ не писателю драматическому, въ единое мгновеніе потрясающему тысячи душъ и умовъ?“

Этими же мыслями одушевленъ былъ, конечно, студентъ Аксаковъ, когда сдѣлался дѣятельнѣйшимъ членомъ и даже режиссеромъ студенческихъ спектаклей. Но нужно сказать, что уже и тогда театръ, какъ *средство* къ достиженію „всего честнаго и высокаго“, заслонялся для Аксакова театромъ, какъ *цѣлью* самой по себѣ. Тогда уже онъ началъ интересоваться не столько тѣмъ, *что* игралось, сколько тѣмъ, *какъ* игралось, и погружался во всѣ тонкости техники актерскаго искусства. Конечно, этому способствовалъ и самый репертуаръ. У казанскихъ студентовъ онъ былъ не хуже, но и не лучше репертуара казенной сцены (и частнаго казанскаго театра). Играли больше всего „коцебятину“, -- мѣщанскую драму, наводнявшую тогда нашу сцену, вопреки протестамъ поклонниковъ ложно-классической трагедіи и комедіи. Рядомъ съ ней продолжали давать иногда и старика Сумарокова, и новаго, тогда блиставшаго представителя ложно-классической трагедіи—Озерова. Товарищи Аксакова „пламенно желали“ также сыграть *Разбойниковъ* Шиллера; но „я—говоритъ Аксаковъ—не слишкомъ горячо хлопоталъ объ этомъ спектаклѣ, потому что... у насъ не было хорошихъ актеровъ для первыхъ ролей“. Въ послѣдній моментъ этотъ спектакль, впрочемъ, былъ запрещенъ начальствомъ.

„Русское направленіе“ и театральныя увлеченія надолго остаются

единственнымъ содержаніемъ умственныхъ интересовъ Аксакова. Пріѣхавъ послѣ университета въ Петербургъ и устроившись тамъ на службу (переводчикомъ въ комиссіи составленія законовъ), Аксаковъ „жилъ въ Петербургѣ уединенно, также мало встрѣчая сочувствія къ своимъ убѣжденіямъ и обнаруживая ихъ еще менѣе“. Но скоро онъ нашелъ друзей по своему вкусу. Черезъ общаго знакомаго онъ получаетъ доступъ къ актеру Шушерину, начинаетъ проводить у него всѣ вечера и проходить „настоящую театральную школу“. За два съ половиной года Шушеринъ, по его расчету, прошелъ съ нимъ „болѣе двадцати значительныхъ ролей, кромѣ мелкихъ“.

Остатокъ дня между службой и вечерами употреблялся на подучиваніе ролей,—и такъ проходило все время Аксакова. Впрочемъ, скоро сосѣдъ по канцеляріи, Казначеевъ, оказавшійся племянникомъ Шишкова, познакомилъ Аксакова съ послѣднимъ; быстро сойдясь съ семьей и понравившись старику, Аксаковъ три раза въ недѣлю обѣдалъ у Шишкова, добросовѣстно и благоговѣнно выслушивая послѣ обѣда его длинныя и не всегда убѣдительныя даже для Аксакова разсужденія.

Любопытно остановиться на этихъ личныхъ сношеніяхъ отца позднѣйшихъ славянофиловъ съ старымъ „славянофиломъ“ („тогда это слово было уже въ употребленіи“, — замѣчаетъ Аксаковъ) александровскаго времени. Опредѣляя содержаніе тогдашняго „русскаго направленія“, Аксаковъ говоритъ, что оно „заключалось въ возстаніи противъ введенія нашими писателями иностранныхъ или, лучше, французскихъ словъ и оборотовъ рѣчи, противъ предпочтенія всего чужого своему, противъ подражанія французскимъ модамъ и обычаямъ и противъ всеобщаго употребленія въ общественныхъ разговорахъ французскаго языка“. Опредѣленіе это интересно тѣмъ, что оно характеризуетъ не самое направленіе Шишкова, а то, что усвоилъ изъ него С. Т. Аксаковъ. Оно невѣрно не тѣмъ, что въ немъ сказано, а тѣмъ, что въ немъ умолчано. Умолчана именно политическая и общественная подкладка пропаганды Шишкова, безъ которой вся пропаганда и для него самого, и для его противниковъ теряла большую часть своего смысла. Подражаніе французамъ въ литературѣ и жизни ненавистно Шишкову, какъ источникъ „вольнодумнаго и якобинскаго яда“, который онъ, по собственнымъ словамъ, уже съ 1804 г. преслѣдовалъ въ русскомъ обществѣ. Другими словами, литературная полемика противъ карамзинскаго слога была лишь орудіемъ борьбы противъ „либералистовъ“ того времени. Это очень хорошо понимала и противная сторона; хорошо понималъ и Карамзинъ, молчаливо перешедшій на сторону своихъ литера-

турныхъ противниковъ и политическихъ единомышленниковъ. Но Аксаковъ въ ту пору не узнавалъ, повидимому, въ Карамзинѣ сторонника того же „русскаго направленія“. Съ нѣскольکو комичною гордостью онъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ, что бывалъ у Карамзина не какъ у литератора, а какъ у сосѣда по имѣнію. Этимъ, конечно, опредѣляется и отношеніе Аксакова ко всему, что было лѣвѣе Карамзина.

Итакъ, „славянофильство“ Шишкова повліяло на Аксакова лишь постольку, поскольку согласовалось съ благодушнымъ характеромъ послѣдняго и съ его политическимъ безразличіемъ. „Чуждый гражданскихъ интересовъ“, онъ не дѣлался воинствующимъ патріотомъ даже въ рукахъ такого фанатика, какимъ былъ Шишковъ, даже въ такое время, какъ войны 1805—1812 гг.

Въ 1850-хъ годахъ Аксаковъ находилъ противъ славянофильства Шишкова и нѣкоторыя возраженія, которыя не менѣе характерны, чѣмъ пониманіе имъ этого славянофильства. Дѣло въ томъ, что „Шишковъ и его послѣдователи возставали противъ нововведеній *тогдашняго* времени, а все введенное прежде, отъ реформы Петра I до появленія Карамзина, признавали русскимъ и себя самихъ считали русскими“; такимъ образомъ, это славянофильство отрицало только культуру XIX в., тогда какъ слѣдовало, съ позднѣйшей точки зрѣнія Аксакова, отрицать и культуру XVIII в., т. е. петербургскій періодъ. Эти замѣчанія даютъ намъ почувствовать, въ какомъ направленіи развилось „русское направленіе“ Аксакова въ послѣдующее время. Оно осложнилось *культулою Москвы*, усвоеннымъ уже во время московской жизни, подъ вліяніемъ, главнымъ образомъ, С. Н. Глинки и Загоскина. Такимъ образомъ, не усвоивъ *полицейской* тенденціи „славянофильства“ Шишкова, Аксаковъ придалъ ему отъ себя тенденцію *археологическую*.

Въ 1811 г. Аксаковъ уѣхалъ изъ Петербурга въ деревню. Лѣтомъ 1812 г. онъ былъ въ Москвѣ и завелъ первыя знакомства съ московскими литераторами, и между ними съ другимъ знаменитымъ дѣятелемъ патріотической литературы 1805—1812 гг., С. Н. Глишкой. Съ своимъ благодушіемъ, съ своимъ легкимъ пафосомъ этотъ большой ребенокъ, Глинка, гораздо ближе подходилъ къ темпераменту Аксакова, чѣмъ узкій и сухой доктринеръ Шишковъ. И его патріотическая теорія, не остановившаяся на критикѣ иноземныхъ нововведеній и впервые, кажется, заговорившая о допетровской Руси, какъ нѣкоторомъ положительномъ національномъ идеалѣ, была какъ разъ тѣмъ шагомъ къ позднѣйшему славянофильству, который мы только-что отмѣтили у Аксакова.

Но увлеченіе Глинки *обязывало* къ соответствующей патріотической дѣятельности или, лучше сказать, переходило въ эту дѣятельность само собою. Зная уже Аксакова, мы легко догадаемся, что здѣсь и былъ предѣлъ вліянія, которое могло оказать на него знакомство съ Глинкой. Въ то время, какъ Москва была полна толками о наступленіи Наполеона и Глинка съ жаромъ предсказывалъ, что Москва будетъ взята, Аксаковъ „всего менѣе думалъ о Наполеонѣ; мы (съ Шущеринымъ) думали о будущемъ его бенефисѣ и о томъ, какъ бы мнѣ въ то время пріѣхать въ Москву“. Пріѣхать опять въ Москву Сергѣю Тимофеевичу удалось, однако, лишь много времени спустя послѣ московскаго пожара, въ 1815 г. Патріотическое настроеніе публики послѣ 1812 г., конечно, еще болѣе усилилось. „Нетерпимость общественнаго мнѣнія, — пишетъ г-жа Свѣчина въ 1813 г., — теперь сильнѣе, чѣмъ когда бы то ни было: горе тому, кто молчитъ, горе тому, кто говоритъ, горе тому, кто не бранится, горе тому, кто не славословить“. Годы освободительной войны, реставраціи и конгрессовъ не ослабили этого настроенія, но они дали ему нѣсколько другое направленіе, расширивъ политическій горизонтъ русской интеллигенціи и довершивъ политическое воспитаніе тогдашняго молодого поколѣнія. Въ воспоминаніяхъ Аксакова эти годы являются почти полнымъ пробѣломъ; и это молчаніе въ данномъ случаѣ такъ же краснорѣчиво, какъ подробное повѣствованіе о предыдущемъ и послѣдующемъ времени. Аксакову, очевидно, нечѣмъ было помянуть эти годы. Были, конечно, для этого и личныя причины. Въ 1814 г. Аксаковъ женился и рѣшилъ десять лѣтъ употребить на устройство своего матеріальнаго положенія. Первую половину этого промежутка времени онъ прожилъ въ домѣ родителей, представлявшемъ теперь совсѣмъ другую картину, чѣмъ во время дѣтства Сергѣя Тимофеевича. „Нѣкогда блистательная, страстная Марья Николаевна (мать С. Т.) превратилась въ старую, болѣзненную, мнительную и ревнивую женщину, до конца жизни мучимую сознаніемъ ничтожества своего супруга и, въ то же время, ревновавшую, ибо она чувствовала, что онъ только ея боится, но что она утратила его сердце. Страстно любимый Сережа былъ разлюбленъ ею, какъ скоро онъ женился. Оба старика чувствовали, что Сереженька вышелъ изъ ихъ среды“. Изъ этой характеристики, сдѣланной И. С. Аксаковымъ, видны и причины того, почему второе пятилѣтіе Аксаковъ жилъ уже отдѣльно въ выдѣленномъ ему селѣ Надежинѣ („Парашинѣ“ *Семейной хроники*). Въ это пятилѣтіе онъ занятъ былъ, кромѣ хозяйства, охоты и картъ, также и начальнымъ воспитаніемъ сына Константина, котораго дер-

жалъ на литературѣ собственнаго дѣтства: Херасковѣ, Княжнинѣ, Ломоносовѣ, И. И. Дмитріевѣ.

Въ Москвѣ Аксаковъ былъ въ началѣ, въ срединѣ и окончательно поселился въ концѣ этого десятилѣтія. Въ 1815—1816 гг. онъ только продолжаетъ завязавшіяся ранѣе отношенія; спѣшитъ возобновить литературные и театральные разговоры, прерванные нашествіемъ Наполеона, и водить знакомство съ „великими“ Николевыми, „великими“ Ильиными и прочею литературною мелюзгою. Въ этомъ обществѣ, смѣшныя стороны котораго онъ очень хорошо видѣлъ и запомнилъ, Аксаковъ, конечно, не могъ подвинуться въ своемъ развитіи, но въ одномъ отношеніи оно имѣло для него важное значеніе. Въ Петербургѣ передъ Шишковымъ и въ 1814 г. передъ Державинымъ онъ только благоговѣлъ и проходилъ свое послушничество. Въ Москвѣ, поощряемый пріятелями, онъ самъ сталъ литераторомъ: именно, за недостаткомъ собственнаго творчества, онъ сталъ переводить для сцены. Черезъ пять лѣтъ, зимой 1820—1821 г. Аксаковъ является въ Москву съ тѣми же интересами; всю зиму онъ проводитъ въ разыгрываніи любительскихъ спектаклей. „Сколько дѣтскаго и, пожалуй, смѣшнаго было въ этомъ увлеченіи,—пишетъ онъ въ 1858 г.,—какъ оно живо выражаетъ отсутствіе серьезныхъ интересовъ!.. Въ тридцать шесть лѣтъ постарѣли не мы одни, не наши только личности,—постарѣло, или правильнѣе сказать, возмужало общество, и подобное увлеченіе теперь невозможно между самыми молодыми людьми“. Эти строки очень любопытны для характеристики конца пятидесятихъ годовъ; но двадцатые годы характеризовать тогдашнимъ настроеніемъ Аксакова или даже московскихъ кружковъ, въ которыхъ онъ вращался, было бы не совсѣмъ правильно. Увлеченіе благороднымъ театромъ, конечно, свидѣтельствуетъ объ отсутствіи болѣе серьезныхъ интересовъ: но только у Аксакова и его друзей, а не у двадцатыхъ годовъ вообще эти интересы отсутствовали. Своей характеристикой Аксаковъ показалъ только то, что уже тогда, въ 20-хъ годахъ, онъ отсталъ отъ вромени.

Прошло еще пять лѣтъ. „Все было тихо и спокойно въ нашей пустынной глуши. Ничто не предвѣщало грядущихъ событій“,—пишетъ С. Т. Аксаковъ. Въ декабрѣ 1825 г. рядъ чрезвычайныхъ происшествій встряхнулъ провинцію. Одно за другимъ получены были извѣстія о кончинѣ императора Александра I, о присягѣ Константину, о 14 декабря, о присягѣ императору Николаю. Уѣздная интеллигенція присягнула вторично безъ всякаго „смущенія“; потолковали раскольники на заводахъ, какъ „сказывалъ“ Сергѣю Тимоѣевичу мѣстный исправникъ, и тѣмъ все кончилось. Осенью слѣдующаго года, побуждаемый

хозяйственными неудачами, необходимостью учить дѣтей и „искать должности“, Сергѣй Тимоѣевичъ переѣхалъ въ Москву навсегда. За пять лѣтъ и здѣсь тоже произошли нѣкоторыя событія, не столь, конечно, шумныя, какъ въ Петербургѣ, и еще менѣе извѣстныя Сергѣю Тимоѣевичу. Подростало новое университетское поколѣніе, воспитывавшееся на новыхъ книжкахъ и на новыхъ теоріяхъ совсѣмъ свѣжаго иностраннаго привоза. Явилось нѣсколько новыхъ профессоровъ, популяризовавшихъ новыя взгляды, и нѣсколько старыхъ знаменитостей каѳедры стали казаться студентамъ устарѣлыми. Появился, наконецъ, новый журналъ, заборная критика и живое содержаніе котораго находилось въ рѣзкой противоположности съ академическою скукой *Вѣстника Европы* Каченовскаго. Но С. Т. Аксаковъ съ этою новою интеллигентною Москвою могъ познакомиться только изъ своего стараго театральнаго кружка. На другой день по пріѣздѣ онъ очутился съ Кокошкинымъ и Загоскинымъ на репетиціи, а, вернувшись домой, засталъ у себя своего друга водевилиста Писарева, который съ раздражительностью больного излилъ передъ нимъ свои жалобы на обиды и жестокую критику неизвѣстнаго Аксакову издателя *Московского Телеграфа*. Такъ старыя отношенія сами собою опредѣляли и новыя; другъ Писарева сдѣлался литературнымъ врагомъ Полевого, въ дерзость, наглость и безнравственность котораго безусловно увѣровалъ; и, наоборотъ, другъ Кокошкина и Загоскина далъ себя убѣдить въ честности и добродушіи кн. Шаховскаго, котораго всегда считалъ дурнымъ человекомъ. Кромѣ театра, карточная игра и „русское направленіе“ сплочивали маленькую компанію: кружокъ довлѣлъ самъ себѣ и, конечно, его интересы не представляли благопріятной почвы для сближенія съ молододо московскою интеллигенціею.

Мы видѣли, что, переѣзжая въ Москву, Аксаковъ имѣлъ въ виду „искать должности“ и службой поправить денежныя дѣла. Въ Москвѣ онъ встрѣтилъ Шишкова, тогда уже министра народнаго просвѣщенія, пріѣзжавшаго на коронацію. „Разсказывая откровенно Шишкову мои обстоятельства, я говорилъ ему, что мнѣ нужно мѣсто въ Москвѣ съ порядочнымъ жалованьемъ. Я говорилъ, въ то же время, о новомъ особомъ цензурномъ комитетѣ въ Москвѣ, о хорошемъ цензурномъ жалованьи и спрашивалъ, кого онъ имѣетъ въ виду для занятія этихъ мѣстъ? Недогадливость Шишкова осталась прежняя. Онъ отвѣчалъ мнѣ, что охотниковъ и просьбъ отъ нихъ много, но самъ онъ еще не выбралъ никого; такъ мы и разстались. Дѣлать было нечего. Дня черезъ два я опять пріѣхалъ къ нему и спросилъ его прямо: не могу ли я занять мѣсто цензора?“ Тогда Шишковъ согласился.



Эпическое спокойствіе и наивность, съ которою разсказанъ этотъ маленькій образчикъ житейской опытности С. Т. Аксакова, обезоруживаетъ читателя. Воздержимся отъ сужденій по существу: другое время, другіе нравы. Но одного вывода изъ цитированнаго отрывка нельзя не сдѣлать: Аксаковъ смотрѣлъ на свои цензорскія обязанности, какъ на службу. А служилъ онъ, по его словамъ, даже черезчуръ усердно. „Пріятели посмѣивались надо мной, и я теперь охотно сознаюсь, что въ самомъ дѣлѣ было нѣчто комическое въ моемъ излишнемъ увлеченіи, усердіи и уваженіи къ моей должности; но таково было ужъ мое свойство“. „Нѣчто комическое“, дѣйствительно, было въ цензорствѣ Аксакова, и, кто знаетъ, можетъ быть, это комическое и было причиной, почему недогадливый старикъ Шишковъ никакъ не могъ соединить представленія о цензорѣ съ представленіемъ о своемъ милomъ декламаторѣ и театралѣ. Во всякомъ случаѣ, оно было не тамъ, гдѣ указываетъ Аксаковъ. Ксенофонтъ Полевой, братъ журналиста, находилъ также, что, кромѣ комическаго, было нѣчто и трагическое; но Ксенофонтъ Полевой не совсѣмъ надежный свидѣтель, и мы должны воздержаться отъ общаго сужденія о цензорствѣ Аксакова, пока не узнаемъ о немъ больше, чѣмъ знаемъ теперь.

Цензорство сдѣлало то, чего не могъ сдѣлать кружокъ: оно свело Аксакова со многими представителями молодой московской интеллигенціи. Но выборъ между ними былъ уже сдѣланъ. Аксаковъ объявилъ Полевому, что „можетъ имѣть съ нимъ сношенія, только какъ цензоръ“, и „очень скоро сблизился“ съ самымъ старообразнымъ изъ молодыхъ дѣятелей, Погодинымъ, и его сотрудникомъ по *Московскому Вѣстнику*, Шевыревымъ; съ этого же времени онъ начинаетъ участвовать и самъ въ журналѣ Погодина. Послѣ изслѣдованія Барсукова мы теперь знаемъ, почему кончилось неудачей это журнальное предпріятіе, задуманное университетскою молодежью и получившее вначалѣ протекцію самого Пушкина. Погодинъ со всѣми разошелся или, точнѣе, всѣ разошлись съ Погодинымъ изъ-за несимпатичныхъ нравственныхъ и умственныхъ качествъ его.

Такимъ образомъ, молодая Москва очень медленно и слабо оказывала свое дѣйствіе на С. Т. Аксакова. Это и немудрено, такъ какъ въ 1832 году Аксакову исполнилось уже сорокъ лѣтъ. Но здѣсь мы подходимъ къ послѣднему и наиболѣе интересному вопросу біографіи Аксакова. Въ томъ же 1832 г. случились два событія, которымъ біографы приписываютъ рѣшительное вліяніе на личность Аксакова. Во-первыхъ, сынъ его Константинъ поступилъ въ университетъ (15 лѣтъ) и столкнулся тамъ съ молодежью, по отношенію къ которой упоми-

навшаяся до сихъ поръ „молодая интеллигенція“ была уже старшимъ поколѣніемъ, поколѣніемъ учителей. Во-вторыхъ, Погодинъ привелъ къ Аксакову Гоголя, извѣстнаго уже семьѣ Аксаковыхъ автора *Вечеровъ на хуторѣ*.

Чтобъ оцѣнить значеніе обоихъ фактовъ въ біографіи Сергѣя Тимоѣевича, мы должны войти въ нѣкоторыя подробности. Константинъ Аксаковъ, дѣйствительно, въ университетѣ скоро сошелся и подружился со студенческимъ кружкомъ Станкевича. Но въ этотъ кружокъ онъ принесъ свою крѣпкую семейную традицію, скоро поставившую его въ противорѣчіе съ воззрѣніями кружка, какъ ни скромны были вначалѣ самыя эти воззрѣнія. „Я былъ пораженъ направленіемъ кружка и мнѣ оно часто было больно,—говоритъ онъ самъ впоследствии,—но, видя постоянный умственный интересъ въ этомъ обществѣ, слыша постоянныя рѣчи о нравственныхъ вопросахъ, я, разъ познакомившись, не могъ оторваться отъ этого кружка и рѣшительно каждый вечеръ проводилъ тамъ“. Какъ видно изъ воспоминаній Панаева, семья косо смотрѣла на новыя знакомства сына, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше. Бѣлинскій, „нѣкогда довольно короткій въ домѣ Аксаковыхъ“, въ концѣ 30-хъ годовъ „заходилъ только къ Константину Аксакову въ мезонинъ“, замѣтивъ, что мать Константина его „не жалуетъ“. Сергѣй Тимоѣевичъ, вѣроятно, еще молчалъ, но друзья не скрывали своего неудовольствія и говорили вслухъ то, что отецъ думалъ про себя. „Тебя, Константинъ, я люблю—говаривалъ Загоскинъ—за то, что ты привязанъ къ матушкѣ святой Руси. Эта привязанность вкоренилась въ тебя потому, что ты воспитывался въ честномъ, хорошемъ, русскомъ дворянскомъ семействѣ,—ну, а ужъ твои пріатели... этихъ бы господъ я“...—и Загоскинъ энергически сжималъ кулаки. Противопоставляя Константину его пріателей, Загоскинъ былъ не совсѣмъ правъ въ одномъ отношеніи. И изъ нихъ многіе „воспитывались въ хорошихъ русскихъ дворянскихъ семействахъ“ и исходили отъ простой вѣры въ семейныя традиціи; очутившись передъ противорѣчіемъ этихъ вѣрованій съ новыми философскими ученіями, и они вынесли жестокую внутреннюю борьбу; только результатъ борьбы былъ различенъ. Одни отказались отъ старыхъ вѣрованій, другіе, съ болѣе крѣпкою традиціей, отказались отъ новыхъ философскихъ ученій или попытались примѣнить ихъ къ старымъ вѣрованіямъ.. Въ числѣ послѣднихъ былъ и Константинъ Аксаковъ.

Итакъ, не только университетскія знакомства К. Аксакова не внесли свѣжихъ идей въ его семью, но, напротивъ, идеи семьи въ значительной степени парализовали вліяніе университетскихъ пріателей.

Но, можетъ быть, съ другой стороны, со стороны товарищей по славянофильству, проникали въ семью новыя вліянія? Какъ ни странно, но приходится и на этотъ вопросъ отвѣчать почти отрицательно. Главные основатели теоретическаго славянофильства, Хомяковъ и И. Кирѣевскій, были значительно старше Константина Аксакова; они обдумывали основы будущей системы въ то самое время, когда К. Аксаковъ еще дружилъ со своими будущими противниками; а когда онъ, пройдя вмѣстѣ съ кружкомъ Станкевича два первые фазиса его развитія, прекраснѣйшіе и правое гегельянство, разошелся съ нимъ,—онъ воспринялъ теоретическія основы ученія уже готовыми. Руководимый и здѣсь семейными традиціями, извѣстнымъ намъ культомъ Москвы и отрицаніемъ петербургскаго періода, онъ сдѣлался русскимъ историкомъ школы и развилъ славянофильскую схему въ приложеніи къ русской исторіи. Не можетъ быть сомнѣнія, что отецъ Аксакова увѣровалъ въ систему, придуманную сыномъ; но нельзя сомнѣваться и въ томъ, что система эта не измѣнила ни на іоту его стараго представленія о содержаніи „русскаго направленія“. Она только дала для него теоретическое обоснованіе, въ которомъ, впрочемъ, по свойству своего характера, онъ врядъ ли и нуждался.

Такимъ образомъ, и въ этомъ отношеніи отецъ болѣе съузиль идеи сына, чѣмъ сынъ расширилъ идеи отца. Благодаря отцовскому вліянію, ни у кого изъ серьезныхъ славянофиловъ философія націонализма не стояла въ такой тѣсной связи съ конкретными формами стариннаго быта, какъ у Константина Аксакова. Благодаря сыновнему вліянію, отецъ только значительно поднялъ тонъ своего „русскаго направленія“, а содержаніе осталось старое. На частномъ примѣрѣ можно наглядно показать характеръ этого взаимодѣйствія. Отецъ воспиталъ сына въ убѣжденіи, что „наружность составляетъ тонъ жизни“; что „освобожденіе отъ западной моды, поэтому, было бы если не полнымъ, то весьма значительнымъ освобожденіемъ отъ вліянія западнаго зла“. Отецъ твердилъ это давно, еще со временъ Шишкова, но, по замѣчанію Ив. Аксакова, у него „не было ни малѣйшаго поползновенія къ пропагандѣ“. Выросъ болѣе импульсивный Константинъ—и вывелъ изъ этого ученія ближайшій практическій выводъ: одѣлъ отца въ русское платье. Надо прочесть въ семейной перепискѣ Аксаковыхъ письма, написанныя по поводу правительственнаго циркуляра 1849 г., запретившаго носить бороды. Въ семейномъ переполохѣ отецъ горячится совершенно тономъ сына, а сынъ воспроизводитъ разсужденія отца (въ только-что цитированныхъ выраженіяхъ). „И такъ, конецъ кратковременному возстановленію русскаго платья, хотя

не на многихъ плечахъ! *Конечъ надеждъ на обращеніе къ русскому направленію!* Все это было предательство. Опасались тронуть, думая, что насъ много, что общество намъ сочувствуетъ. но, увѣрившись въ противномъ, сейчасъ рѣшились задавить наше направленіе. Мнѣ это ничего, я уже прожилъ мой вѣкъ, но тяжело мнѣ смотрѣть на Константина, у котораго *отнята всякая общественная дѣятельность*, даже хоть своимъ наружнымъ видомъ. Мы рѣшаемся закупориться въ деревнѣ навсегда. Это говоритъ смирный, индифферентный Аксаковъ. Мало того, онъ рѣшается писать къ начальнику полиціи, къ министру, къ государю. Въ официальном письмѣ къ первому онъ заявляетъ: „путемъ цѣлой жизни дойдя до убѣжденія, что неслужащему русскому человѣку нужно ходить въ русскомъ платьѣ и съ бородой,—вдругъ торжественно отъ него отказаться, обриться и переодѣться—тяжелѣе, чѣмъ доживать свой вѣкъ въ деревенскомъ уединеніи“. Въ письмѣ же къ графу Орлову онъ даже пускается въ казуистику, подсказанную Константиномъ, и пробуетъ различить запрещающую циркулярномъ „бороду западную (при нѣмецкомъ платьѣ)“ отъ „русской бороды“ при русскомъ костюмѣ. Такъ сочетается политическая и теоретическая ограниченность отца съ фанатизмомъ сына, давая результатъ еще худшій, чѣмъ оба составные элемента этой смѣси.

Намъ остается оцѣнить вліяніе Гоголя на С. Т. Аксакова. Въ этомъ случаѣ, прежде всего, необходимо отличить литературное вліяніе отъ личнаго. Первое несомнѣнно, поскольку дѣло касается художественнаго реализма Гоголя, и весьма вѣроятно, поскольку дѣло касается стиля:—хотя и трудно отдѣлать здѣсь, что принадлежитъ въ измѣненіи стиля Аксакова именно Гоголю. Что касается личныхъ отношеній, въ этомъ случаѣ дѣло рѣшаетъ напечатанная вполнѣ въ 1890 году (въ „Русскомъ Архивѣ“) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*. Читая эту любопытную, хотя, къ сожалѣнію, не законченную *Исторію*, нельзя не вынести нѣсколько двойственнаго впечатлѣнія. Съ одной стороны, рассказъ Аксакова проникнутъ глубокимъ уваженіемъ и любовью къ великому другу. Съ другой, набросанная этимъ знатокомъ человѣческаго сердца картина будничныхъ отношеній жестоко развѣнчиваетъ писателя. Аксаковъ, конечно, не можетъ не замѣтить этой двойственности, но онъ не можетъ и выйти изъ нея, такъ какъ она является неизбѣжнымъ слѣдствіемъ внутренняго противорѣчія, проходящаго красною нитью черезъ все знакомство. Аксаковъ и его семья внесли въ эти отношенія много экспансивности, много готовности любить и предаваться сердечнымъ изліяніямъ. Гоголь принялъ это какъ должную дань гению и снисходительно позволялъ, а потомъ и требовалъ уваженія и услугъ

себѣ отъ своихъ пріятелей. На своемъ почтительномъ языкѣ Аксаковъ называлъ исторію этого знакомства „долговременною и тяжелою исторіей, неполнаго пониманія Гоголя людьми самыми ему близкими“. На дѣлѣ, это была долговременная и тяжелая борьба между добрыми чувствами Аксаковыхъ и постоянными оскорбленіями, наносимыми этимъ чувствомъ поведеніемъ Гоголя. Скрѣпя сердце и отказываясь понимать самые осязательные факты, они упорно поддерживали фикцію искреннихъ и сердечныхъ отношеній до тѣхъ поръ, пока и этой фикціи не разрушили ихъ откровенные отзывы о послѣднемъ направленіи Гоголя. Сплетни А. О. Смирновой подбавили масла въ огонь, и Гоголь имѣлъ жестокость написать С. Т. Аксакову, что онъ всегда „удивлялся излишеству“ любви къ нему Аксаковыхъ, что онъ „никогда не былъ особенно откровененъ (съ ними) и почти ни о чемъ томъ, что было близко душѣ (его), не говорилъ съ (ними), такъ что (они) скорѣе могли узнать (его) только какъ писателя, а не какъ человѣка“. Правда, послѣ этого эпизода отношенія возобновились, и, пожалуй, стали даже болѣе простыми, но вотъ что писалъ С. Т. Аксаковъ два дня спустя послѣ смерти Гоголя въ запискѣ, предназначенной для „однихъ сыновей“: „Я не знаю, любилъ ли кто-нибудь Гоголя исключительно какъ человѣка. Я думаю, нѣтъ; да это и невозможно... Всякому было очевидно, что Гоголю ни до кого нѣтъ никакого дѣла; конечно, бывали исключительныя мгновенія, но весьма рѣдкія и весьма для немногихъ... Вотъ до какой степени Гоголь для меня не человѣкъ, что я, который въ молодости ужасно боялся мертвецовъ, я, постоянно боявшійся до сихъ поръ нѣсколько ночей послѣ смерти каждаго знакомаго человѣка, не могъ произвести въ себѣ этого чувства!“

Итакъ, мы полагаемъ, что и вліяніе молодого поколѣнія, и вліяніе сношеній съ Гоголемъ было сильно преувеличиваемо. Личность Аксакова вполне сложилась къ сорокалѣтнему возрасту. Главнѣйшія измѣненія, происшедшія въ немъ за послѣднія двадцать лѣтъ, произведены были годами и болѣзнями. Старость уравновѣсила страсти; „слѣпота и деревня“ удалили дѣятельнаго и любившаго жизнь старика отъ житейской суеты; воспоминанія о пережитомъ представляли какъ бы нѣкоторую замѣну привычныхъ ощущеній. Болѣзнь сдѣлала то, чего не могли сдѣлать ни совѣты Гоголя, ни ростъ литературы: старикъ принялся за литературную дѣятельность въ единственно для него возможной формѣ воспоминаній. Конечно, эти воспоминанія стоили ему меньше труда, чѣмъ когда-то переводъ Филоктета или сатиръ Буало. Онъ диктовалъ ихъ, повинувшись внутренней потребности, желая поддержать въ себѣ полноту жизни. Литературная слава пришла для него чересчуръ

поздно и столько же удивила, сколько обрадовала. Талантъ, который впервые открыла въ немъ публика, онъ въ себѣ „всегда зналъ“, по его собственному выраженію; но размѣровъ своего таланта онъ не думалъ преувеличивать и послѣ неожиданнаго успѣха, — и это дѣлаетъ величайшую честь его нравственному характеру и его здравому смыслу. Не много найдется писателей, которые до такой степени оставались бы самими собой и въ жизни, и въ литературной дѣятельности, какъ С. Т. Аксаковъ. Выше мы перечислили тѣ качества, которыя дѣлаютъ его сочиненія драгоценнымъ памятникомъ прошедшей жизни. Къ этимъ качествамъ надо прибавить еще одно, и самое главное: правдивость, которая всегда была кореннымъ догматомъ нравственного кодекса Аксакова. Благодаря этому свойству, отъ воспоминаній Аксакова вѣетъ подлинною жизнью, и самъ онъ какъ живой рисуется въ этихъ воспоминаніяхъ. И въ немъ такъ же, какъ въ его герояхъ, есть и темныя и свѣтлыя стороны, и однѣ неразрывно связаны съ другими; и онъ — „не великій герой, не громкая личность“, но гораздо болѣе, чѣмъ они, онъ „жилъ“, жадно впитывалъ въ себя впечатлѣнія жизни и широко подѣлился ими съ потомствомъ. Правда, не только во „всемирномъ зрѣлищѣ“, но и на болѣе ограниченной сценѣ родной исторіи судьба отвела ему сравнительно скромную роль; о достоинствѣ этой роли можно быть разнаго мнѣнія; но нельзя забыть о ней, не рискуя потерять нѣсколькихъ звеньевъ изъ сложнаго процесса нашего общественнаго развитія.



## Любовь у „идеалистовъ тридцатыхъ годовъ“.

Есть дѣятели, для которыхъ подробная біографія, докапывающаяся до самыхъ интимныхъ мыслей, чувствъ и поступковъ героя, можетъ оказаться жесточайшимъ возмездіемъ. Таковы, напр., герои г. Н. Барсукова, сѣренькія и черненькія души которыхъ этотъ самоотверженный біографъ обнажаетъ передъ потомствомъ съ рѣдкими въ наши дни чувствами почтенія и преданности. „Идеалистамъ тридцатыхъ годовъ“ нечего опасаться наивности или коварства подобныхъ біографовъ. И отъ нихъ осталось не мало того, что называютъ „грязнымъ бѣльемъ“; не мало и охотниковъ перемывать его. Но въ результатъ этого перемыванія получается совсѣмъ не то впечатлѣніе, какое производить „житія“ г. Барсукова. Наши „идеалисты“ недаромъ были идеалистами. Каковы бы они ни были по своимъ природнымъ склонностямъ и по своему воспитанію, — они знали себя лучше и судили себя строже, чѣмъ это могло бы сдѣлать самое взыскательное потомство. Со всѣми своими недостатками, слабостями и паденіями — они остаются для насъ лучшими людьми своего времени, и мы чтимъ въ нихъ духовныхъ отцовъ и дѣдовъ лучшихъ людей нашего времени. Конечно, по мѣрѣ ближайшаго знакомства съ ними наше преклоненіе перестаетъ быть безусловнымъ; можетъ быть, иной разъ оно даже перестаетъ быть и преклоненіемъ. За героями мы начинаемъ разглядывать людей; иконописныя черты, которыми запечатлѣлись ихъ лики въ нашей фантазіи, начинаютъ ступшевываться, и передъ нами тѣмъ ярче выступаютъ живыя человѣческія фигуры. Въ концѣ концовъ они становятся ближе къ намъ, эти „идеалисты“, — настолько ближе, что у иныхъ критиковъ возникаетъ непреодолимая потребность похлопать ихъ по плечу и пожурить ихъ по-пріятельски.

Зачѣмъ же, однако, непременно наткаться на Сциллу, чтобы избѣгнуть Харибды? Излишнюю фамильярность можно понять развѣ какъ

своего рода реваншъ за излишнее поклоненіе. Но оправдать ее нельзя и этимъ соображеніемъ. Въ нашихъ этюдахъ мы стараемся воздержаться и отъ того, и отъ другого. Будемъ лучше помнить, что заблужденія и ошибки того поколѣнія — это наши собственные ошибки, ошибки нашего общества; и что если мы не повторяемъ ихъ теперь въ той же формѣ, то только потому, что за насъ ихъ продѣлали „идеалисты тридцатыхъ годовъ“. Отвлеченный характеръ идеализма — такова главная ошибка, которую ставятъ обыкновенно на счетъ поколѣнію тридцатыхъ годовъ. Мы возьмемъ для наблюденій ту область интимной жизни, — можетъ быть, единственную область, — въ которой отвлеченный идеализмъ тридцатыхъ годовъ поневолѣ соприкасался съ ~~жизненными~~ интересами, — область сердечныхъ отношеній „идеалистовъ тридцатыхъ годовъ“. Насъ будетъ интересовать здѣсь, конечно, не скандальная хроника амурныхъ приключеній, а то душевное настроеніе, которымъ сопровождались у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ ихъ романы. Мы постараемся прослѣдить, какъ отразилась на сердечныхъ связяхъ того поколѣнія его общая, основная ошибка и какъ она разнообразилась у различныхъ представителей поколѣнія сообразно ихъ личнымъ особенностямъ.

### І.—Н. В. Станкевичъ.

Чрезвычайно благодарный источникъ мы имѣемъ для сердечной исторіи родоначальника идеализма тридцатыхъ годовъ. Въ письмахъ къ другу, недавно умершему Я. М. Невѣрову, Станкевичъ сохранилъ намъ непрерывную исповѣдь души почти за все время своей сознательной душевной жизни: отъ студенчества почти до самой кончины (1831—1840 гг.). Правда, въ письмахъ этихъ описываются больше душевныя настроенія, чѣмъ реальныя причины, ихъ вызвавшія. Однако, съ помощью біографа Станкевича (Анненкова), мы можемъ прослѣдить по нимъ шагъ за шагомъ возникновеніе, развитіе и исходъ всѣхъ трехъ романовъ, изъ которыхъ состоитъ сердечная біографія Станкевича. Въ первый разъ это была очень юная дѣвушка, „безъ дальняго образованія, неглупая, простодушная“. 18-лѣтній Станкевичъ едва успѣлъ влюбиться въ нее, какъ уже замѣтилъ, что онъ влюбленъ, собственно, въ созданіе своей фантазіи. Въ ея груди, по его словамъ, онъ „нашелъ сердце иное, чуждое тѣхъ святыхъ думъ, которыя такъ любишь“; онъ даже готовъ былъ заподозрить въ ея взаимности „простой интересъ, чувство занимательнаго“: „подвергалъ ее тяжелымъ испытаніямъ“ и кончилъ, послѣ нѣсколькихъ тяжелыхъ сценъ, рѣши-



тельнымъ разрывомъ. Онъ винилъ себя въ томъ, что не принялъ вовремя мѣръ противъ развитія чувства, и рѣшилъ впредь быть осторожнѣе. Это, однако, не помѣшало ему сейчасъ же втянуться въ новый романъ, съ которымъ раздѣлаться оказалось не такъ легко. Съ свѣжей раной въ сердцѣ Станкевичъ не могъ отказать себѣ въ удовольствіи „наслаждаться братской бесѣдой“ съ дѣвушкой, которую на этотъ разъ нельзя было обвинить въ неспособности „глубоко чувствовать“. Горячая и порывистая, готовая то принести себя въ жертву, то устроить сцену ревности, новая поклонница Станкевича скоро показала ему, что дѣло идетъ вовсе не о „братской любви“. Станкевичъ снова давалъ себѣ обѣты благоразумія, прекращалъ бесѣды и визиты и снова возобновлялъ ихъ, но все было напрасно. Дѣло дошло до того, что его стали обвинять въ неосторожности, въ неблагородствѣ, въ простомъ волокитствѣ и даже въ желаніи обмануть. Исходъ изъ этого страннаго положенія помогла найти сама увлеченная Станкевичемъ дѣвушка. Въ одномъ изъ порывовъ своего великодушія, — за которымъ, конечно, послѣдовалъ опять приливъ бѣшеннаго чувства, — она возбудила симпатію къ Станкевичу въ одной изъ своихъ подругъ. Этому чувству суждено было оказаться взаимнымъ; разными перипетіями, то вспыхивая, то погасая, оно длилось у Станкевича до самаго отъѣзда за границу. Принесла много огорченій прежней поклонницѣ Станкевича, доведя ее до серьезнаго нервнаго расстройства, этотъ романъ не принесъ счастья и ея соперницѣ. На этотъ разъ Станкевичъ очнулся отъ своего чувства уже слишкомъ поздно, чтобы отступать назадъ: онъ уже объяснился и оставалось сдѣлать послѣдній шагъ. Но этого шага Станкевичъ не сдѣлалъ. Онъ не повелъ, однако, дѣла и къ разрыву, такъ какъ это слишкомъ дорого стоило бы отдавшей ему сердце дѣвушкѣ, къ тому же серьезно заболѣвшей. Отъѣздъ за-границу былъ однимъ изъ удобныхъ предлоговъ отсрочки; а объ остальномъ позаботилась судьба. Незадолго до своей собственной смерти Станкевичъ получилъ извѣстіе о томъ, что его невѣста умерла, и принялъ его, какъ вѣсть объ освобожденіи себя отъ тяжелаго нравственнаго долга. Біографъ Станкевича намекаетъ, что на исходъ болѣзни могло имѣть вліяніе и охлажденіе Станкевича.

Какъ видимъ, романы Станкевича сложились довольно грустно. Изъ трехъ участницъ своихъ романовъ одну онъ призналъ недостойной себя; другая была достойна, но къ ней не лежало его сердце; третья, наконецъ, и была достойна, и успѣла овладѣть его сердцемъ, но не успѣла привязать его къ себѣ всецѣло. Такимъ образомъ, при всемъ разнообразіи внѣшнихъ поводовъ, исходъ и, какъ увидимъ, самый ходъ

романовъ былъ у Станкевича довольно однообразенъ. Оставимъ же теперь внѣшніе поводы въ сторонѣ и углубимся въ состояніе души Станкевича: можетъ быть, здѣсь мы найдемъ объясненіе этого однообразнаго сердечнаго процесса, такъ быстро приводившаго отъ увлеченія къ разочарованію.

„Любовь“ — это слово, кажется, чаще какого-либо другого упоминается въ письмахъ Станкевича до середины 30-хъ годовъ (т. е. до 22-хъ лѣтняго возраста). Но далеко не всегда оно имѣетъ у него свой обыкновенный смыслъ. Любовь для Станкевича—это прежде всего мировая сила, давшая жизнь міру и всему, что въ немъ живо. Въ человѣкѣ любовь—это высшій и лучшій способъ чувствовать свое единство съ міромъ; въ то же время это и высшее проявленіе преимущества человека, какъ существа сознательнаго, надъ остальными частями мірозданія. Культивируя въ себѣ *человѣческое*, т. е. то, что возвышаетъ человека надъ вселенной, мы исполняемъ высочайшую задачу, возложенную на насъ Провидѣніемъ. А это *человѣческое* заключается въ любви, дружбѣ и искусствѣ. Итакъ, любовь, какъ реальное, грѣшное чувство, есть только поводъ испытать чисто человѣческія ощущенія; и, конечно, эти ощущенія сами по себѣ несравненно выше-вызывающаго ихъ повода. Въ концѣ концовъ, любовь для Станкевича есть только „игра души съ самой собой“. Имѣя въ запасѣ этотъ аргументъ, онъ смѣло идетъ навстрѣчу всѣмъ разочарованіямъ; онъ даже открыто предпочитаетъ разочарованіе очарованію. Чувство должно постоянно возвышать душу; а для этого лучше, если оно будетъ всегда оставаться неудовлетвореннымъ. „Наше мечтательное счастье лучше дѣйствительнаго уже и потому, что мы, вѣроятно, наслажденія въ этомъ такъ называемомъ счастьи не нашли бы“. „Какъ прекрасно отказаться отъ счастья толпы, создать себѣ свой міръ и стремиться къ нему, хотя не достигая!“ Для этихъ цѣлей совершенно не годится бурное, сильное чувство; достаточно „прекраснаго призрака въ душѣ“. „Пусть искра остаётся: она освѣщаетъ мракъ жизни; но не раздувай ее до пламени: она сожжетъ тебя! Лучше потушить вовсе—взойдетъ другое, кроткое сіяніе“.

Въ этомъ правилѣ, формулированномъ раньше завязки перваго романа, заключается ключъ къ объясненію всѣхъ сердечныхъ исторій Станкевича. Во всѣхъ ихъ онъ искалъ „прекрасныхъ призраковъ“, находилъ „земное чувство“ и торопился „разбить упоительный сосудъ, поднесенный любовью“, чтобы имѣть право почувствовать себя „выше толпы счастливецъ“. Такимъ образомъ, и испытанныя по дорогѣ „жизненные нецрїятности“ обращались на пользу душѣ, будучи „разведены

поэзіей сердца“. Единственное, съ чѣмъ не могъ примириться Станкевичъ, это то, что и его слабое сердце упорно не хотѣло ограничиваться одной „поэзіей“. „Право, въ нашъ глупый вѣкъ трудно отличить чувство отъ фантазіи,—пишетъ онъ;—по крайней мѣрѣ въ нашъ вѣкъ фантазія такъ скоро обращается въ дѣйствительное чувство, что можетъ сдѣлаться дѣйствительнымъ несчастьемъ... Лелѣй призракъ два, три года,—и онъ сдѣлается тебѣ жизнью, и тебѣ больно будетъ разстаться съ этимъ сномъ, какъ съ вѣрнымъ другомъ, котораго существованіе необходимо для твоего счастья“. Но съ этимъ обиднымъ несовершенствомъ природы Станкевичъ усердно боролся и успѣшно „удушаль свое чувство“, очищая мѣсто въ душѣ для игры „чисто человѣческихъ“ ощущеній.

Послѣ этихъ замѣчаній намъ нетрудно будетъ представить себѣ общую схему всѣхъ сердечныхъ исторій Станкевича. Дѣло начинается съ неопредѣленнаго душевнаго томленія. Это „неопредѣленное, полупоэтическое состояніе“ часто служитъ предметомъ описаній въ письмахъ Станкевича. „Въ моемъ чувствѣ господствовала безнадежность соединиться съ тѣмъ, къ чему душа стремилась, а къ чему—ей-ей не знаю“,—такъ характеризуетъ онъ это свое состояніе наканунѣ перваго романа. Позднѣе это настроеніе становится опредѣленнѣе. „Дай Богъ, чтобы нашлось существо, которое бы достойно замѣнило для меня красоту всего созданія, сосредоточило бы на себѣ и усилило бы святое, врожденное чувство любви“,—пишетъ Станкевичъ передъ третьимъ романомъ. „Странно подумать, другъ мой, что оно (чувство любви) истощится въ тщетномъ стремленіи къ необъятному, къ безотвѣтному, или—что таинственный отвѣтъ этого необъятнаго, наконецъ, не будетъ слышимъ душѣ, требующей близкаго, видимаго, ощутительнаго!.. Не пожмешь руки великану, называемому вселенной; не дашь ей страстнаго поцѣлуя; не подслушаешь, какъ бьется ея сердце! Быть можетъ, есть путь къ ней,—но если есть, то онъ лежитъ черезъ бездну уничтоженія, а ей предшествуетъ подвигъ жизни!“ Такимъ образомъ, космическая любовь принимаетъ человѣческія очертанія и переносится въ „diesseits“. Но порывы неудовлетвореннаго чувства не останавливаются и на этомъ. Станкевичъ молить у Провидѣнія бури, грозы, хочетъ „любви грозной, палящей“. „Пускай бы опустошительный огонь ея прошелъ по всему ничтожному бытію моему, разрушилъ слабыя узы, которыми оно опутано, испепелилъ томительное горе и разсѣялъ безпокойные призраки, блуждающіе во мракѣ душевномъ“. Однако, въ этомъ пароксизмѣ сердечной горячки Станкевичъ не забываетъ ввести „въ бесѣду съ Богомъ хитрыя ограниченія“. Пусть душевная

бура не разрушаетъ „красоты внутренней жизни“ и не обращаетъ въ прахъ „высокаго сознанія души“; или, лучше, „да будетъ воля Божья! Можетъ быть, я не постигаю бѣдствій такой любви“.

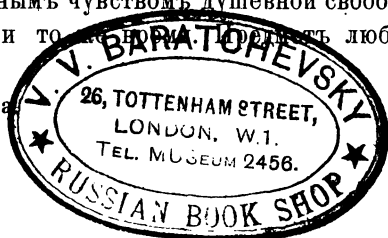
Но вотъ, наконецъ, вымаливаемое у Провидѣнія чувство посѣщаетъ душу Станкевича. Оно встрѣчаетъ здѣсь различный приемъ. Въ первый разъ Станкевичъ имѣетъ видъ человѣка, котораго „не надуешь“. „На этой недѣлѣ имѣлъ удовольствіе видѣть одну прекрасную даму, — пишетъ онъ пріятелю. — Ты помнишь стихи Гёте: *Doch welch ein Glück geliebt zu werden, und lieben—Götter, welch ein Glück!* Увы, при этомъ случаѣ не могу повторять этихъ стиховъ! Эти глупыя нѣжности для меня скучны“. Скоро, однако, „прекрасная дама“, къ удивленію Станкевича, оказывается дамою его сердца. Въ другой разъ онъ будетъ осторожнѣе. „Что можетъ быть отраднѣе, какъ бесѣда съ нѣжною, кроткою душою, послѣ волненія бурнаго, послѣ разрыва съ міромъ“. Но „міръ“ и тутъ подстерегаетъ Станкевича. „Кроткое существо, котораго дружба могла бы быть такъ сладостна“, хочетъ не дружбы, а любви, и начинаетъ упорно „преслѣдовать“ Станкевича земною страстью и ревностью. Въ третій разъ, наконецъ, Станкевичъ сознательно идетъ навстрѣчу новому чувству.

Каковъ бы ни былъ, однако, приступъ къ сердечной исторіи, самая исторія постоянно развивается у Станкевича одинаковымъ образомъ. Онъ начинаетъ „рефлектировать“. И чувство, и предметъ, его вызвавшій, подвергаются самому строгому анализу. На первый разъ, впрочемъ, достаточно было проанализировать предметъ, и изъ недостаточности причины можно было вывести недостаточность слѣдствія. „Условій (нужно) слишкомъ много, чтобы искренно интересоваться дѣвушкой, любить ея душу и погружаться въ наслажденіе ея образомъ, видѣть въ ней истинно-прекрасное произведеніе и льстить самолюбію своему, что это прекрасное умѣетъ меня цѣнить и чувствуетъ ко мнѣ влеченіе“. „Если найдется идеалъ, и если я не буду имъ отвергнуть, если любовь ея будетъ равна моей, — то одну только ее осчастливить моя любовь, но за-то ее—сдѣлаетъ богиней“. И во второй разъ Станкевичъ продолжаетъ дожидаться своей „богини“, но на этотъ разъ онъ уже не имѣетъ основаній объяснять недостаточность чувства недостойнствомъ сюжета; порой онъ даже готовъ считать себя „существомъ, не стоящимъ любви и не могущимъ платить ни за чью женскую любовь“. Но такое настроеніе скоро проходитъ, и Станкевичъ возвращается къ прежнему объясненію. „Я мелкимъ чувствомъ довольствоваться не могу, а для высокаго чувства нужна женщина съ высокими достоинствами“. И Станкевичъ принимается разсчитывать, сколько должно

быть лѣтъ его идеалу, и черезъ сколько лѣтъ онъ съ нимъ встрѣтится. А до тѣхъ поръ „жизнь моя станетъ стремленіемъ къ одной цѣли — быть достойнымъ ея“, этого „единственнаго созданія, которое совершенно наполнить душу“. Наконецъ, Станкевичъ встрѣчаетъ это созданіе, видитъ впереди новую жизнь, готовъ проникнуться чувствомъ, — и опять разочарованіе, — разочарованіе въ своемъ чувствѣ, а не въ предметѣ его. „Это была фантазія, а не чувство во всей силѣ, которое неистребимо... Я истребилъ въ душѣ моей образъ, который могъ только растерзать ее. Можетъ быть, съ нимъ истребилось во мнѣ и много хорошаго; но если бы я позволилъ жить въ себѣ этому чувству, тогда истребилось бы во мнѣ все. Но это была фантазія! Любовь не забывается такъ скоро. Я право вдвое больше думаю о Кантѣ, меня вдвое больше мучить выводъ категорій, чѣмъ это чувствованье, которое было и прошло“... На этотъ разъ Станкевичъ ошибался. „Чувствованье“ его снова вспыхнуло, привело его къ объясненію, — и опять потухло, успѣвши, однако, вызвать взаимность. Станкевичъ рассуждалъ: „любовь — вѣдь это родъ религіи, которая должна наполнять каждое мгновеніе, каждую точку жизни. Иначе нельзя понимать любовь человѣку, уже приведенному къ какой-либо степени сознанія. Но для того, чтобы испытывать подобную любовь, надо быть болѣе развитымъ. Любовь должна исходить отъ душевнаго богатства, а не отъ душевной бѣдности... Естественно, что такой любви я чувствовать не могу“. Такъ старался объяснить себѣ Станкевичъ недостаточность своего чувства, которую совсѣмъ уже нельзя было на этотъ разъ объяснить себѣ несовершенствомъ предмета любви. „Сколько святости, прекраснаго душевнаго развитія имѣетъ Л. Б. <sup>1)</sup>. Я вправѣ спрашивать себя: почему ты ея не любишь?.. Но отъ этого не больше любви въ моемъ сердцѣ, и я остаюсь при прежнемъ рѣшеніи, закрывая себѣ глаза предъ слѣдствіями... Бракъ не по любви есть лицемерство“.

Много „прозаическаго, существеннаго горя“ приносили Станкевичу эти непредвидѣнные вмѣшательства „міра“ во внутреннюю „поэзію“ его души. Онъ мучился угрызеніями совѣсти, терзалъ себя, упрекалъ въ неосторожности, въ вѣтренности и т. д. Но, въ концѣ концовъ, „мірской“ элементъ былъ выпроваживаемъ изъ того „алтаря души“, въ который могъ „входить изрѣдка одинъ первосвященникъ“. Въ душѣ Станкевича водворялось снова привычное равновѣсіе. Сперва это состояніе осложнялось своеобразнымъ чувствомъ душевной свободы, пріятнымъ и грустнымъ въ одно и то же время. Но любовь стано-

1) Одна изъ сестеръ Бакунина



вился снова „дороже сердцу“, превращаясь въ „прекрасный призракъ“, достаточный для того, чтобы сохранить душу отъ нравственного усыпленія, но слишкомъ отвлеченный для того, чтобы нарушить душевный покой и помѣшать игрѣ „человѣческихъ“ ощущеній. Шиллеръ заранее санкціонировалъ это состояніе души, и его Resignation постоянно подвергается подъ перо Станкевича въ такія минуты. „Zwei Blumen — Hoffnung und Genuss... Два цвѣтка существуютъ для человѣка — надежда и наслажденіе; кто сорвалъ одинъ цвѣтокъ, тотъ не требуй другого... Безъ перваго, безъ надежды, по крайней мѣрѣ безъ сознанія правоты своей, для меня нѣтъ счастья: слѣдовательно, другого цвѣтка я не долженъ срывать“. „Мнѣ кажется, я собьюсь съ пути моего, если стану наслаждаться молодою жизнью, если яркими цвѣтами усыплю мою юность“. Мало-по-малу, однако, удовлетворенность побѣды надъ низшими стремленіями проходить и смѣняется томящимъ чувствомъ душевной пустоты. Надежда, дѣйствительно, остается единственнымъ огонькомъ, мерцающимъ въ этой пустынѣ; и подъ ея вліяніемъ пустыня скоро начинаетъ населяться новыми созданіями фантазіи. Другими словами, почва созрѣваетъ постепенно для новой сердечной исторіи.

Съ годами и съ быстрымъ развитіемъ болѣзни, сведшей 27-лѣтняго Станкевича въ могилу, нѣсколько монотонная періодичность его душевныхъ настроеній осложняется, однако, новымъ элементомъ. „Затворять для міра душу“ легко было юношѣ, у котораго вся жизнь была впереди; но чѣмъ дальше, тѣмъ отчетливѣе становилось у Станкевича горькое сознаніе, что жизнь, дѣйствительно, уходитъ безвозвратно, и что этой дѣйствительной жизни не могутъ замѣнить ея отраженные призраки. Слишкомъ поздно для себя Станкевичъ началъ понимать, что „человѣческое“ его романтическаго кодекса и „человѣческое“ дѣйствительной жизни должны, пожалуй, помѣняться мѣстами. Онъ соглашается, наконецъ, признать, что, „кажется, нужно что-то *отъ міра* для полноты счастья“. Его вкусъ къ „отвлеченной поэзіи“ уступаетъ въ послѣдніе два-три года жизни обновленному интересу къ „положительному“. Онъ начинаетъ теперь даже осуждать „лишнее занятіе собой“, „грѣшную любовь къ спокойствію“ и все настойчивѣе и настойчивѣе повторяетъ въ своихъ письмахъ постоянный припѣвъ: „не рефлектируй много“; „если трудно становится рѣшить что-нибудь, переставай думать и *живи*“. „Какъ чувствовалъ Гёте, что мы *много*, слишкомъ много готовимся къ жизни — и не успѣваемъ жить! Онъ чувствовалъ это, а мы — *прочіе*?“ И Станкевичъ ставитъ одинъ вопросительный знакъ и два восклицательныхъ.



Н. В. Станкевичъ.





Но, увы, этотъ вопль души вырывается слишкомъ поздно. Нового настроенія Станкевича хватаетъ только на то, чтобы безъ всякихъ рефлексій предаться (заграницей) послѣднему — на этотъ разъ вполне реалистическому — роману съ хорошенькой и живой нѣмкой, Бертой. „Поэзія души“ остается въ этомъ романѣ совсѣмъ въ сторонѣ. А затѣмъ приходитъ смерть и какъ будто нарочно пресѣкаетъ эту богатую и тонкую душевную жизнь наканунѣ новаго фазиса въ ея развитіи — и въ развитіи всего интеллигентнаго русскаго общества.

## II.—В. Г. Бѣлинскій.

### I.

Мы видѣли, что отвлеченный идеализмъ какъ нельзя болѣе подходилъ къ мягкой, болѣзненной натурѣ Станкевича. Это былъ, выражаясь словами Герцена, „побѣднѣй вѣнокъ на предсмертномъ челѣ юноши“. Самъ Станкевичъ, подводя итоги своей жизни, выражался объ этомъ суровѣе. „Я никогда не любилъ“, — писалъ онъ въ письмѣ къ Бакунину (9-го января 1838 г.). „Любовь у меня всегда была прихоть воображенія, потѣха праздности, игра самолюбія, опора слабодушія — интересъ, который одинъ могъ наполнить душу, чуждую подлыхъ потребностей, но чуждую и всякаго истиннаго, субстанціальнаго (говоря языкомъ философскимъ) содержанія. *Дѣйствительность есть поприще настоящаго, сильнаго человека*—слабая душа живетъ въ jenseits, въ стремленіи — и стремленіи неопредѣленномъ; ей нужно что-то (потому что въ ней самой нѣтъ ничего опредѣленнаго, что бы составляло ея натуру и потребность); (но,) какъ скоро это неопредѣленное сдѣлалось etwas, опредѣленнымъ, душа опять выбивается за предѣлы дѣйствительности. Это моя исторія; вотъ явная причина всей бѣды“. Какъ видимъ, Станкевичъ очень отчетливо понималъ причину своихъ неудачъ въ любви и формулировалъ ее совершенно такъ, какъ могли бы заключить о ней и мы сами изъ предыдущей характеристики.

Мы теперь переходимъ къ „настоящему, сильному человѣку“, натурѣ котораго вовсе не былъ сроденъ отвлеченный идеализмъ. Намъ предстоитъ узнать, какимъ образомъ этотъ представитель романтическаго поколѣнія ушелъ отъ той „бѣды“, — приложенія къ жизни романтическаго кодекса, — отъ которой не удалось уйти Станкевичу, и какимъ образомъ изъ міра фантазіи ояъ выбрался на „поприще дѣйствительности“.

Что Бѣлинскій отъ увлеченія метафизикой перешелъ къ увлеченію „дѣйствительностью“, сперва „разумной“, а потомъ и „реальной“, — это извѣстно всѣмъ. Очень часто повторяется также и то, что свои теоретическія убѣжденія Бѣлинскій пережилъ сердцемъ и что всякая перемѣна взглядовъ стоила ему тяжелыхъ душевныхъ страданій. Въ этомъ видятъ особенность цѣльной натуры Бѣлинскаго и доказательство замѣчательной добросовѣстности его мысли. Но никто изъ повторяющихъ эти наблюденія біографовъ Бѣлинскаго не указалъ, до какой степени реальны были причины душевныхъ страданій Бѣлинскаго и какъ непосредственно діалектика его мысли вытекала изъ „діалектики жизни“. Сердечная исторія Бѣлинскаго до сихъ поръ остается нерасказанной; а въ ней, какъ мы думаемъ, надо искать ключа къ правильному объясненію развитія его теоретическихъ взглядовъ. Большая часть матеріала, необходимаго для такого объясненія, была уже въ рукахъ А. Н. Пыпина. Но время, когда почтенный историкъ писалъ свою біографію Бѣлинскаго, не позволило ему воспользоваться этой частью собраннаго имъ матеріала. Съ тѣхъ поръ, однако, прошло цѣлыхъ двадцать лѣтъ. Обнародованіе матеріаловъ, подобныхъ письмамъ Бѣлинскаго къ женѣ, показываетъ, что теперь пора уже снять завѣсу, скрывавшую отъ потомства душевную жизнь одного изъ замѣчательнѣйшихъ нашихъ общественныхъ дѣятелей. Попытавшись разработать содержаніе этихъ писемъ, авторъ настоящей статьи скоро увидѣлъ, что правильно освѣтить ихъ можно только съ помощью предыдущей сердечной исторіи Бѣлинскаго. Важнѣйшимъ матеріаломъ для этой исторіи служить неизданная переписка Бѣлинскаго съ семействомъ Бакуниныхъ. Благодаря любезному содѣйствію П. А. (нынѣ покойнаго) и Н. С. Бакуниныхъ, авторъ не только имѣлъ возможность воспользоваться этимъ матеріаломъ, но получилъ также немало драгоценныхъ словесныхъ указаній и разъясненій по поводу его содержанія. Въ уединенномъ ялтинскомъ домикѣ и на него пахнуло атмосферой Прямухина, очаровавшей когда-то Бѣлинскаго. Пожелтѣвшіе почтовые листки развернули передъ нимъ неожиданно-яркую картину былого: казалось, жизнь въ этихъ четкихъ строкахъ все еще трепещетъ и старыя сердечныя раны все еще сочатся кровью...

## II.

Бѣлинскій началъ съ той же ультраромантической теоріи любви, которую мы видѣли у Станкевича. Любовь, по этой теоріи, была средствомъ для сліянія съ духомъ, проникающимъ міръ, — средствомъ воз-

выситься до „абсолютной жизни духа“. Самъ по себѣ, „въ идеѣ“, этотъ духъ есть нѣчто отвлеченное, неуловимое,—философствовалъ Бѣлинскій: постигнуть его можно только „въ явленіи“. „Нуженъ, слѣдовательно, извѣстный образъ“, въ которомъ бы воплотился духъ; а всего полнѣе онъ воплощается въ „образъ человѣческомъ“. „Почему же нуженъ человѣкъ другого пола“,—это пріятели объясняли себѣ приблизительно такъ же, какъ объясняли происхожденіе любви одинъ изъ собесѣдниковъ въ платоновскомъ „Пирѣ“. Природа создала людей расколотыми на двѣ половины: любовь есть встрѣча такихъ предназначенныхъ судьбой другъ для друга „двойчатокъ“, „половинчатыхъ натуръ“; подобная любовь обязательно должна быть взаимной и вести къ полному сліянію „родныхъ душъ“. Встрѣча съ „родной душой“ приобрѣла, такимъ образомъ, въ глазахъ друзей мистическій характеръ; такой встрѣчи ждали тѣмъ съ большимъ нетерпѣніемъ, что, по теоріи, только съ ея помощью можно было „перейти въ полную жизнь духа“. Житейскій опытъ заставилъ въ послѣдствіи ввести поправки въ эту теорію или и вовсе отъ нея отказаться. Бѣлинскій въ концѣ 1837 г. призналъ, что „у міродержавнаго промысла нѣтъ лабораторій для подобныхъ двойчатокъ“ и что для каждого существуетъ не одна, а множество болѣе или менѣе родственныхъ душъ; встрѣча съ каждой изъ нихъ можетъ возбудить любовь, болѣе или менѣе счастливую и раздѣленную. Станкевичъ въ началѣ слѣдующаго года шелъ еще далѣе: „Я не держусь за старыя мечты о любви,—писалъ онъ,—не вѣрю половинчатымъ натурамъ; человѣкъ развитой, свободный, способный любить, встрѣчаетъ случайно женщину и начинаетъ любить ее—точно такъ же онъ могъ встрѣтить и полюбить другую. Если въ ней начинаютъ ему нравиться всѣ пустяки—это не значить „половинчатая душа“ или что-нибудь родное, а привычка. Высочайшее въ ней для него есть она сама, т. е. ея человѣческая душа, душа въ тѣлѣ, въ образѣ, вся она—но уже зная ее долго, очень натурально, что отдаешь ей преимущество передъ всѣми, что другая съ тѣми же достоинствами никогда не можетъ истребить памяти первой, рѣдко замѣнить ее“.

Отъ подобныхъ „натуральныхъ“ объясненій любви пріятели были еще далеки въ тотъ моментъ, съ котораго начинается нашъ рассказъ. Любовь была окружена ореоломъ чего-то таинственнаго, чего-то скрывающаго въ себѣ глубокую мистическую тайну природы.

Дѣйствительность далеко не соотвѣтствовала требованіямъ теоріи. Въ дѣйствительности, сердечная исторія друзей представляла въ то время рядъ „падений“ и „возстаній“, вспышекъ чувственности и приливовъ раскаянія. Весной 1836 г. Бѣлинскій былъ въ періодѣ одного

изъ такихъ „паденій“ и готовъ былъ „впасть или въ бѣшеное, изступленное отчаяніе, или въ мертвую апатію“. Въ это время новый другъ, М. Бакунинъ, „принялъ искреннее участіе“ въ его сердечныхъ дѣлахъ. Онъ „призывалъ Бѣлинскаго къ возстанію, говоря, что видитъ въ немъ зародышъ великаго“, и „настоятельно звалъ“ къ себѣ въ тверскую деревню Бакуниныхъ, Прямухино. Тамъ онъ рассчитывалъ „пробудить“ Бѣлинскаго „отъ его постыднаго усыпленія и указать ему на новый для него міръ идеи“. Извѣстную роль въ этомъ „пробужденіи“ должно было сыграть и женское общество сестеръ Михаила Александровича. Бѣлинскій пріѣхалъ въ концѣ лѣта и провелъ въ Прямухинѣ цѣлыхъ три мѣсяца. Результаты этой поѣздки для внутренней жизни Бѣлинскаго оказались огромные, хотя и не совсѣмъ такіе, на которые рассчитывалъ „Мишель“. „Я ощутилъ себя въ новой сферѣ, увидѣлъ себя въ новомъ мірѣ“, — такъ характеризовалъ свое впечатлѣніе Бѣлинскій; „душа моя смягчилась, ея ожесточеніе миновало и она сдѣлалась способною къ воспріятію благихъ впечатлѣній, благихъ истинъ“ (см. продолженіе этой цитаты у Пыпина, I, 171). Бѣлинскій, дѣйствительно, „воскресъ“ въ Прямухинѣ; но „не новыя утѣшительныя идеи“ фиктианства, которыя проповѣдывалъ Мишель, были главной причиной пробужденія Бѣлинскаго, а непосредственныя и новыя для него ощущенія, вызванныя „гармоніей“ прямухинской жизни. Ощущенія были, впрочемъ, далеко не „гармоничны“; ихъ сложность самъ Бѣлинскій характеризуетъ впоследствии словами: „Эти три мѣсяца 36 года, всѣ до одного дня и часа... были для меня адомъ, но и теперь отъ одного воспоминанія о нихъ я чувствую вѣяніе рая“.

Дѣло въ томъ, что, чѣмъ больше идеализировалъ Бѣлинскій „гармонію и блаженство“ прямухинской жизни, тѣмъ въ болѣе яркомъ свѣтѣ выступало передъ нимъ его собственное „недостойство“. Что такое былъ онъ для нихъ,—безпріютный бѣднякъ, не прирученный семейной лаской, болѣзненно самолюбивый и болѣзненно робкій, съ сердцемъ, не облагороженнымъ правильнымъ воспитаніемъ, съ умомъ, не культивированнымъ правильной школой? Ему казалось, въ его мнительности, что всѣ, такъ же какъ и онъ, чувствуютъ это разстояніе между нимъ и собою; понятно, каково было его чувство, когда самъ Мишель, недавній другъ, избиралъ его недостатки предметомъ своихъ остротъ и шутокъ. „О, ты вонзалъ мнѣ ножъ въ сердце и, вонзая, поворачивалъ его, какъ бы веселясь моими муками... Я любилъ и ненавидѣлъ тебя... Я долженъ тебѣ напомнить случаи, гдѣ ты рѣзалъ меня... Не буду говорить, какое дѣйствіе это производило на меня. Въ первое мгновеніе это всегда бывало страданіемъ, бѣшенствомъ... а за всѣмъ этимъ слѣдовала апатія,

отупѣніе, отвращеніе отъ жизни и самого себя. И каждый разъ, когда ты унижалъ меня передъ всѣми нами своими грубыми выходками, я чувствовалъ къ тебѣ болѣе нежели досаду, болѣе нежели негодованіе.— что-то похожее на ненависть. Я писалъ вторую мою статью, оканчивалъ ее, не могъ себя уяснить хорошо идеи любви къ женщинѣ, начало которой чувствовалъ въ самомъ себѣ; два дня жилъ я въ себѣ, сосредоточенный, съ сладкою болью въ груди, съ сладкимъ страданіемъ въ душѣ, я чувствовалъ, мыслилъ, я ощущалъ въ себѣ присутствіе внутренней жизни; два дня, Мишель, два дня, съ неохотою, съ досадою отрывался отъ пера даже для того, чтобы идти *туда* (къ сестрамъ),— и что же! Въ эти два дня ты нарочно преслѣдовалъ меня кощунствомъ, смѣхомъ, пошлыми шутками“. „Самыя лютыя мои минуты были“,— пишетъ Бѣлинскій въ другомъ письмѣ,— „когда ты читалъ съ ними по-нѣмецки: тутъ уже не лихорадку, но цѣлый адъ ощущалъ я въ себѣ, особенно когда ты имѣлъ армейскую не деликатность еще подтрунивать надо мной при всѣхъ, не догадываясь о состояніи моей души“. Надо прибавить, что и Бѣлинскій не догадывался о состояніи души своего друга; ему не могло придти въ голову, что Мишель уже ревнуетъ его къ своимъ сестрамъ; онъ и не подозрѣвалъ того остраго и тяжелаго чувства, которое заставляло друга бѣжать отъ общества въ тѣ минуты, когда индивидуальность Бѣлинскаго проявлялась въ выгодномъ свѣтѣ,— когда онъ декламировалъ, увлекался импровизаціей или читалъ сестрамъ Бакунина свои статьи о любви. Мишель, въ свою очередь, дѣлалъ надъ собой усилія, „хвалилъ статьи, улаживалъ ихъ чтеніе“,— „зная, что мои статьи есть самая лучшая, блестящая и самая сильная моя сторона, что только тутъ-то я могу высказать мой энтузіазмъ, мою *прекрасную душу*, и что только этимъ я въ состояніи увлечь женщину“...; но въ концѣ-концовъ онъ не выдерживалъ, исчезалъ и приходилъ къ концу чтеній „въ тоскѣ и апатіи“, „приписывая эту апатію отсутствію въ себѣ эстетическаго чувства“.

Къ страданіямъ оскорбленнаго самолюбія и неудовлетвореннаго чувства присоединился еще „грозный призракъ внѣшней жизни“ (т. е. матеріальной нужды), который въ свою очередь „отравлялъ“ Бѣлинскому всѣ „лучшія минуты“ пребыванія въ Прямухинѣ. Въ этихъ „житейскихъ“ тревогахъ Бѣлинскому еще труднѣе было признаться другу, чѣмъ въ мукахъ своего сердца, такъ какъ по романтическому кодексу подобныхъ вульгарныхъ причинъ для душевныхъ волненій не полагалось. Такимъ образомъ, Бѣлинскій тщательно старался скрывать отъ всѣхъ свое душевное состояніе и тѣмъ еще болѣе усиливалъ въ себѣ сознаніе своего одиночества, своей оторванности отъ окружавшей его жизнерадостной моло-

дежи. Съ обычной своей склонностью къ самообвиненію онъ рѣшилъ, что хорошо и истинно все то, чѣмъ живутъ и во что вѣрятъ его молодые хозяева, а дурно и ложно все то, что его отъ нихъ отдѣляетъ. „Прямухинская гармонія и знакомство съ идеями Фихте“, — пишетъ онъ нѣсколько позже М. Бакунину, — „благодаря тебѣ, въ первый разъ убѣдили меня, что идеальная-то жизнь есть именно жизнь дѣйствительная, положительная, конкретная, а такъ называемая (на философскомъ жаргонѣ друзей) дѣйствительная жизнь есть отрицаніе, призракъ, ничтожество, пустота. И я узналъ о существованіи этой конкретной жизни для того, чтобы узнать свое безсиліе усвоить ее себѣ; я узналъ рай для того, чтобы удостовѣриться, что только приближеніе къ его воротамъ,—не наслажденіе, но только предощеніе его гармоніи и его ароматовъ,—есть единственно возможная моя жизнь“. И даже это приближеніе къ райскимъ воротамъ приводило Бѣлинскаго въ самое добросовѣстное смущеніе, „какъ человѣка, который бы вздумалъ надѣть на себя царскую порфиру, тогда какъ настоящее и дѣйствительное его одѣяніе было — одинъ развѣ рогожечный кулъ“. Съ такими чувствами Бѣлинскій вернулся изъ Прямухина въ Москву. Понятно, что подобныя ощущенія не могли дать пищи чувству, „начало котораго“ ощутилъ въ себѣ Бѣлинскій по отношенію къ одной изъ сестеръ своего друга. „Чувство моего недостойнства было слишкомъ глубоко во мнѣ, и мнѣ казалось, что смѣхъ и презрѣніе всѣхъ и каждого ожидали меня за мою дерзость“. Но... „никакое чувство не естественно безъ надежды“; и надежда, скрываемая даже отъ самого себя, жила въ душѣ Бѣлинскаго и постепенно разгоралась, по мѣрѣ того, какъ испытанныя страданія отодвигались въ прошлое, а услужливая фантазія восполняла то, чего не хватало въ дѣйствительности. Съ трепетнымъ ожиданіемъ, не лишеннымъ нѣкотораго любопытства, Бѣлинскій прислушивался къ голосу сердца; то ему казалось, что чувство его „возрастетъ, освятитъ и просвѣтитъ все бытіе“ его, „дастъ силу и волю, жизнь и блаженство, вытѣснитъ все призрачное“ и введетъ въ высшую, дѣйствительную жизнь духа; то, напротивъ, онъ убѣждался, что чувство его „стоитъ на одномъ мѣстѣ“, что „это призракъ, обманъ“: „но именно въ то-то время“,—прибавляетъ Бѣлинскій,—„я и ощущалъ что-то въ себѣ, когда увѣрялся, что во мнѣ ничего не было“. Шутки знакомыхъ барышень, получившихъ отъ Мишеля самыя точныя свѣдѣнія, — ихъ „аллегоріи и иносказанія“ довершили дѣло. Бѣлинскій уединился отъ друзей, ему „было тяжело и бессмысленно все, что было чуждо Прямухина“; словомъ, онъ самымъ настоящимъ образомъ заболѣлъ тою „отрадною болѣзнію, которая лучше всякаго здоровья“. „Вопросами,

полувопросами и намеками“ онъ старался разузнать у Мишеля что-нибудь относящееся къ предмету его чувства. Но Мишель, какъ нарочно, продолжалъ дразнить и мучить своего пріятеля, хотя „въ инныя минуты“ и „лилъ въ болѣющую душу“ Бѣлинскаго „бальзамъ участія“. Выражаясь прозаически, Бѣлинскій ловилъ „кой-какія выраженія“ Бакунина, которыя могли подать ему „далекую и темную надежду“. Въ такомъ положеніи было дѣло, когда Бакунинъ снова поѣхалъ въ деревню. „Отъ твоего пріѣзда я ожидалъ чего-то важнаго для себя, — такого, въ чемъ не могъ сознаться самому себѣ.—Ты возвратился, и твоя поѣздка ничего не рѣшила для меня; но ты сказалъ, что онѣ любятъ меня, что я вошелъ въ ихъ жизнь“. Кажется, вскорѣ послѣ этого случился эпизодъ, который долженъ былъ положить конецъ мечтаніямъ Бѣлинскаго. „Однажды я остался ночевать у Боткина“,—такъ рассказываетъ объ этомъ Бѣлинскій. Боткинъ завелъ съ гостемъ разговоръ, неожиданно разоблачившій передъ Бѣлинскимъ дѣйствительное положеніе дѣла. „Послушай, Бѣлинскій, давно хотѣлъ я тебѣ сказать: Мишель мнѣ сказывалъ, что ты любишь его сестру, но что, по несчастію, она тебя не любитъ: не это ли причина твоего безсилія перейти въ полную жизнь духа?“ „Я никогда не питалъ увѣренности и въ то же время всегда ожидалъ отрицательной развязки“,—увѣряетъ Бѣлинскій; „но, несмотря на то, слова Боткина болѣзненно потрясли меня“. Къ сердечному огорченію присоединились опять денежные затрудненія, займы у пріятелей, которые „жгли руки и душу“; кончилось все это новымъ „паденіемъ“ Бѣлинскаго. „Ужасное время“, — вспоминаетъ онъ объ этомъ. „Дома я жить не могъ, потому что видѣлъ тамъ нужду. Заниматься не могъ, потому что червь подтачивалъ во мнѣ корень жизни. Съ постепеннымъ ожесточеніемъ моей души усиливалась во мнѣ чувственность“... Бѣлинскимъ овладѣло какое-то спокойствіе отчаянія; къ лучшимъ друзьямъ онъ чувствовалъ полную холодность, равнодушно разстался съ ними и вывелъ изъ этого заключеніе о полномъ своемъ нравственномъ банкротствѣ. Въ довершеніе всего онъ заподозрилъ въ себѣ опасную болѣзнь и рѣшился ѣхать лѣтомъ 1837 г. на Кавказъ, чтобы лѣчиться минеральными водами.

### III.

Поѣздка на Кавказъ была для Бѣлинскаго началомъ новаго нравственного „возстанія“, болѣе прочнаго, чѣмъ предыдущія. Уже на полу-пути, съ первымъ вѣяніемъ весны, душа его вновь „растворилась для любви“. Онъ замѣчалъ въ себѣ давно небывалую отзывчивость къ

искусству и жизни. „Душа болѣла сознаніемъ гадости прошедшей жизни“, но это прошедшее какъ-то сразу далеко отодвинулось. Въ своемъ далеѣ, на досугѣ, Бѣлинскій могъ спокойно осмотрѣться среди обломковъ, уцѣлѣвшихъ отъ его нравственнаго крушенія, и попытаться склеить изъ нихъ новую систему жизни. Надъ вопросомъ о своей „чувственности“ онъ всего менѣе задумывался: побѣда надъ ней представлялась ему дѣломъ нетруднымъ. Труднѣе было привести въ порядокъ свои матеріальныя обстоятельства; временами они продолжали доводить Бѣлинскаго до отчаянія. Но и тутъ онъ давалъ себѣ обѣты быть аккуратнымъ. Главнымъ вопросомъ оставалась, конечно, „внутренняя жизнь духа“. Бѣлинскій ни на минуту не поколебался еще въ увѣренности, что „жизнь духа“ есть единственное, что „существенно и реально“; все прочее есть „мечта, призракъ“. Попрежнему онъ былъ увѣренъ и въ томъ, что къ внутренней жизни духа должна вести философія и любовь,—„что одно и то же, потому что высшая степень любви есть *ощущеніе* безконечнаго“,—а философія есть *сознаніе* безконечнаго. Судьба не дала ему войти посредствомъ любви въ сознаніе безконечнаго, но по теоріи кружка, въ этомъ случаѣ оставался еще исходъ—страданіе. Страданіе есть, правда, только „низшая, неполная ступень къ истинной жизни духа“; но Бѣлинскій „вѣритъ“, что этимъ путемъ онъ „выстрадаетъ“ себѣ полную и истинную жизнь духа“. Итакъ, „не счастья, не блаженства, какъ прежде, а страданія“ молитъ онъ теперь себѣ у Провидѣнія на всѣ лады и при всякомъ удобномъ случаѣ. Въ этомъ „высокомъ страданіи“ нераздѣленной любви „духъ“ долженъ перегорѣть какъ въ горнилѣ, и приготовиться къ той же цѣли, но только другимъ путемъ—къ абсолютному блаженству“.

Съ возстановленіемъ душевнаго равновѣсія вернулась и жажда къ дружескимъ изліяніямъ. Бѣлинскій написалъ Бакунину письмо, въ которомъ „раскрылъ душу“, и въ „чаяніи утѣшенія“ нетерпѣливо ждалъ отвѣта. Наконецъ, отвѣтъ пришелъ, но онъ „обдалъ холодомъ“ Бѣлинскаго. Мишель рѣзко отдѣлялъ себя отъ друзей (Бѣлинскаго и Станкевича), сообщалъ о своемъ окончательномъ и полномъ возрожденіи и въ то же время заявлялъ имъ о своемъ рѣшительномъ намѣреніи разойтись съ ними, какъ съ безнадежно падшими. Себя Бѣлинскій готовъ былъ причислить къ „падшимъ“, но Станкевичъ—падшій—это было уже слишкомъ. Все существо Бѣлинскаго возмутилось противъ гордыни Мишеля. „Я вспомнилъ, что за разность убѣжденій ты разрывалъ и не такія связи... Въ первый разъ представилось мнѣ, что идея для тебя дороже челоѣка“. Оно такъ и слѣдовало по теоріи; но тутъ непосредственное чувство Бѣлинскаго въ первый разъ возстало противъ теоре-





В. Г. Бѣлинскій (1837—1838 г.).



тическихъ выкладокъ ихъ кружковой философіи. Непосредственное чувство говорило Бѣлинскому, что „человѣкъ дороже идеи, что основаніемъ дружбы, какъ и всякой любви, должна быть безсознательная симпатія, *влечение*—родъ недуга“. Бѣлинскому, конечно, еще не приходило въ голову, каковы могутъ быть дальнѣйшія послѣдствія этого инстинктивного протеста; но подъ первымъ впечатлѣніемъ письма Мишеля онъ написалъ ему рѣзкую отвѣдь. Тутъ вылилось все, что цѣлый годъ скоплялось въ душѣ Бѣлинскаго, со времени его поѣздки въ Прямутино. Бакунинъ былъ задѣтъ за живое и тронутъ. На признанія онъ отвѣчалъ признаніями, не менѣе интимными и трудными. Это снова помирило съ нимъ Бѣлинскаго. По возвращеніи въ Москву друзья одно время поселились даже на одной квартирѣ. „Никогда наша дружба не была въ лучшемъ состояніи, какъ тогда“, писалъ впоследствии Бѣлинскій.

Разумѣется, примиреніе состоялось не только на почвѣ чувствъ, а также и на почвѣ мысли. Основной предметъ спора выяснился уже во время переписки (въ ноябрѣ 1837 г.), до личнаго свиданія. Бѣлинскій, какъ мы видѣли, давалъ себѣ обѣты благоразумія и высказывалъ твердое намѣреніе привести въ порядокъ свою „внѣшнюю жизнь“; въ этомъ онъ видѣлъ „единственное для себя условіе и возможность перехода въ абсолютную жизнь“. Но Бакунинъ взглянулъ на дѣло иначе. Не быть въ состояніи отрѣшиться отъ „внѣшней жизни“ значило, въ глазахъ пріятелей, принадлежать къ толпѣ, быть „пошлякомъ“, человѣкомъ, неспособнымъ возвыситься до высшей жизни духа. Вотъ почему обѣты воздержности и аккуратности, которые давалъ себѣ Бѣлинскій на Кавказѣ, показались Бакунину не лѣкарствомъ отъ „паденія“, а, напротивъ, несомнѣннымъ доказательствомъ того, что паденіе было полнымъ и окончательнымъ. Воздержность, аккуратность—развѣ это не есть точка зрѣнія ходячей нравственности, или, какъ пріятели говорили сокращенно, „нравственная точка зрѣнія“? Для высшей нравственности, для „жизни въ духѣ“, предписанія обыденной морали не только необязательны: подчиняться имъ прямо безнравственно и равняется убійству въ себѣ духа, грѣхомъ противъ духа. И Бѣлинскій горячо протестовалъ противъ обвиненія его въ этомъ грѣхѣ; нужно прочесть тирады, которыми онъ разражается по этому поводу противъ филистерства (Пыпинъ, I, 186). Онъ готовъ былъ согласиться, что ошибся, „слишкомъ много ожидая себѣ отъ перемѣны внѣшней жизни“,— что „только *благодать* есть основа и условіе истинной жизни“ и что „нравственная точка зрѣнія“ должна быть „уничтожена во имя благодати“. Но, принявъ эту сектантскую терминологію своего друга,

Бѣлинскій никакъ не могъ рѣшить вопроса о своемъ личномъ положеніи. Междѣ „нравственной точкой зрѣнія“ *толпы* и состояніемъ „благодати“, въ которомъ находились *избранные*, не могло быть ничего средняго. Къ которой же изъ двухъ неравныхъ половинокъ челоуѣчества долженъ былъ причислить себя Бѣлинскій? Состояніе „нравственности“ было „пошло“; это было,—онъ чувствовалъ,—не его состояніе. Но, положивъ руку на сердце, онъ никакъ не могъ утверждать и того, что находится въ состояніи „благодати“, въ которомъ такъ привольно чувствовалъ себя Мишель. Мишель, по его тогдашнему сознанию, былъ безконечно выше его, и самую дружбу къ себѣ Бакунина онъ „почиталъ снисхожденіемъ“ съ его стороны. Итакъ, Бѣлинскій находился въ какомъ-то промежуточномъ состояніи, не предусмотрѣнномъ философіей друга. Естественнo, что всѣ силы своей мысли и чувства онъ употребилъ на то, чтобы выяснитъ самому себѣ это промежуточное состояніе. Была ли это подготовительная ступень къ высшей жизни? Было ли это доказательство невозможности ея достигнуть? И какъ возвыситься до полной жизни духа? И виновать ли онъ, если для него она недостижима?

Одно было, прежде всего, ясно для Бѣлинскаго—это то, что его личная жизнь сложилась иначе, чѣмъ жизнь друзей, и что, отсюда вытекаетъ и разница въ приѣмахъ самовоспитанія. „Кто развивался ненормально, тому необходима борьба съ внѣшностью, потому что привычки цѣлой жизни глубоко въѣдаются въ наше существо“. „У тебя, напр., темпераментъ *гармоническій*, а отчего?“ — обращался онъ къ Мишелю. „Оттого, что твой отецъ“ и т. д.—слѣдовалъ анализъ условій наслѣдственности и воспитанія Бакунина. „А мой отецъ пилъ, велъ жизнь дурную...; и оттого я получилъ темпераментъ *нервическій*“, и поэтому „мнѣ труднѣе, нежели тебѣ, достиженіе совершенства“. Отсюда Бѣлинскій дѣлалъ выводъ, что „судя о ближнемъ, чтобы не отклониться отъ истины, должно брать въ соображеніе всѣ обстоятельства, органическія, природныя, воспитанія и внѣшней жизни...; исключительность въ этомъ случаѣ есть деспотизмъ“. Но, дальше,—„принявъ въ соображеніе всѣ обстоятельства“, — что же слѣдовало заключить? Способенъ или неспособенъ былъ Бѣлинскій къ „высшей жизни духа?“ Этотъ самый жгучій вопросъ вызывалъ, конечно, и самыя мучительныя колебанія. То Бѣлинскій признавалъ себя „столько же способнымъ къ жизни абсолютной, сколько наклоннымъ къ чувственности“; то за одной изъ этихъ сторонъ своей натуры признавалъ возможность перевѣса. „Я не хочу доказывать,—говорилъ онъ одинъ разъ,— что кто не рожденъ съ гармоническимъ темпераментомъ, тому нѣтъ полной жизни; нѣтъ, я увѣренъ и увѣ-

жденъ, что духъ всегда долженъ торжествовать надъ матеріею, что онъ можетъ переимѣнить самый темпераментъ, на зло природѣ“. Но другой разъ, на промежуткѣ нѣсколькихъ недѣль, мы слышимъ отъ Бѣлинскаго діаметрально противоположное признаніе. „Иногда приходитъ мнѣ мысль, очень подлая, если она есть глухой голосъ моего эгоизма (т. е. способъ самооправданія); мысль, что такъ какъ развитіе чело-вѣка (совершается) во времени и въ обстоятельствахъ общественныхъ, то ужъ не должно ли мнѣ быть именно такою дрянью, каковъ я есть, чтобы жить не даромъ для общества, среди котораго я рожденъ? Вѣдь все, что ни есть, есть вслѣдствіе законовъ необходимости, и должно быть такъ, какъ есть?“ Такимъ образомъ, „глухой голосъ собственнаго эгоизма“ подсказываетъ Бѣлинскому первое практическое приложеніе знаменитаго гегелевскаго положенія, что „все дѣйствительное разумно“. Тотчасъ же являются и признаки душевнаго облегченія, вызываемаго этой „подлой“ мыслью. „Повторять цѣлую жизнь: „я неучъ, я дуракъ, я жалокъ, я смѣшонъ“,—глупо и пошло. Буду хорошъ и дуренъ молча... Къ чорту жалобы, немощь, отчаяніе; надежда, твердость, сила—вотъ что я долженъ ощущать теперь въ себѣ; и въ самомъ дѣлѣ, если я ихъ еще и не ощущаю теперь, то увѣренъ, что ощущу“. Но насколько еще не прочно у Бѣлинскаго и это новое настроеніе,—такъ же, какъ и теорія, на которой оно основано,—видно изъ того, что въ томъ же письмѣ, въ сосѣднихъ строкахъ, мы встрѣчаемъ опять и старыя мысли. Бѣлинскій опять возвращается къ идеѣ, что онъ переживаетъ подготовительную ступень къ „абсолютной жизни“ и что за неимѣніемъ „любви“ онъ долженъ поднестись на высшую ступень съ помощью „страданія“. „Борьбы, страданія, слезъ, затаенныхъ мукъ сердца—вотъ чего прошу теперь я у судьбы и вотъ черезъ что надѣюсь я очиститься и перейти въ высшую жизнь духа“. Высшая жизнь духа все еще остается для Бѣлинскаго единственнымъ царствомъ истинной „дѣйствительности“, тогда какъ „пошлая“ жизнь толпы попрежнему считается „призрачной“. Для промежуточнаго состоянія, открытаго въ себѣ Бѣлинскимъ, онъ начинаетъ теперь употреблять слово „прекраснодушіе“—терминъ, заимствованный Станкевичемъ изъ лексикона нѣмецкаго романтизма. Вслѣдъ за Станкевичемъ, и Бѣлинскій придаетъ этому термину смыслъ *поричанія* прежняго настроенія друзей. „Прекраснодушно“ все, что не естественно, не просто, не нормально, не дѣйствительно, а только призрачно; словомъ, „я теперь понимаю“,—пишетъ Бѣлинскій, — „отчего Станкевичъ въ письмѣ своемъ ко мнѣ сказалъ, что прекраснодушіе есть самая подлѣйшая вещь въ мірѣ“. И онъ подводитъ подъ понятіе

„прекраснодушія“ сплошное отрицаніе Бакунинымъ условій внѣшней жизни. Мишель порицалъ его за идеи объ „аккуратности“; Бѣлинскій нападаетъ на его неаккуратность или вѣриѣ дѣтскую довѣрчивость и къ обстоятельствамъ и къ людямъ. Бакунинъ презрительно выражался по поводу заботы Бѣлинскаго о „гривенникахъ“; Бѣлинскій поднимаетъ перчатку, рисуешь ему ту тяжелую обстановку, въ которой вопросъ о „гривенникахъ“ принимаетъ острый характеръ, и рѣзко критикуетъ безцеремонное отношеніе Мишеля къ пріятельскому карману. „Да, Мишель, по своимъ дѣйствіямъ, ты истинно „прекрасная душа“, а это совсѣмъ не гармонируетъ съ твоими идеями; это значитъ, что ты еще не перенесъ въ жизнь своихъ убѣжденій“. Въ какую жизнь?—долженъ былъ спросить Бакунинъ: въ пошлую, призрачную жизнь толпы? Но до этой жизни ему не было дѣла; а Бѣлинскій этой жизнью не могъ пожертвовать отвлеченной идеѣ. На этомъ пунктѣ друзья никакъ не могли понять другъ друга и расходились, не окончивъ спора. Мишель въ самыя благодушныя свои минуты не могъ въ душѣ не считать Бѣлинскаго неисправимымъ грѣшникомъ противъ „духа“; а Бѣлинскій, при всемъ своемъ поклоненіи авторитету друга, начиналъ догадываться, что „дѣйствительность“ совсѣмъ не тамъ, гдѣ ищетъ ея Мишель. Его „духъ“ утомился отвлеченностью и жаждалъ сближенія съ дѣйствительностью“, ему знакомой и доступной. Такимъ образомъ, всѣ элементы переворота были уже налицо къ осени 1837 года, — къ тому времени, когда Бѣлинскій и Бакунинъ, послѣ взаимныхъ объясненій, поселились на одной квартирѣ.

За лѣто Бакунинъ прочелъ нѣсколько сочиненій Гегеля, и его новыя идеи оказали Бѣлинскому совершенно неожиданную помощь. Онѣ окончательно утвердили Бѣлинскаго въ тѣхъ мысляхъ, которыя уже приходили ему въ голову, какъ самое естественное разрѣшеніе его теоретическихъ и личныхъ сомнѣній. Въ гегеліанской „дѣйствительности“ Бѣлинскій нашелъ средство избавиться отъ отвлеченности „фихтианства“. „Ты первый уничтожилъ въ моемъ понятіи цѣну опыта и дѣйствительности, втащивъ меня въ фихтианскую отвлеченность“, — писалъ Бѣлинскій въ послѣдствіи Бакунину, — „и ты же первый былъ для меня благовѣстникомъ этихъ двухъ великихъ словъ“. „Фихтианизмъ“ Мишеля послужилъ основой „прекраснодушія“ Бѣлинскаго; теперь гегеліанство Бакунина должно было сдѣлаться началомъ его освобожденія изъ философскаго плѣна. Фихтианизмъ, съ его автономіей личности, съ его признаніемъ личнаго „я“ за единственную дѣйствительность, естественно приводилъ къ тому раздѣленію людей на овецъ и на козлищъ, на возрожденныхъ и падшихъ, просвѣтленныхъ

жизнью духа и погрязшихъ въ пошлой житейской прозѣ,—на которомъ основывалось философское высокомеріе Бакунина. Напротивъ, міровой духъ Гегеля, развивающійся въ „конкретной“ дѣйствительности, общающій ей „необходимость“ и „разумность“,—одинаково оправдывалъ существованіе высокаго и низкаго, возвышеннаго и пошлаго, совершеннаго и несовершеннаго, какъ различныхъ „моментовъ“ проявленія одной и той же абсолютной субстанціи. „Подлая“ мысль Бѣлинскаго, что и ему найдется хотя и скромное, но все-таки законное мѣстечко въ этомъ безконечно развивающемся мірѣ конкретныхъ явленій, казалось, получала въ новомъ ученіи философское оправданіе. А всѣ разногласія его съ друзьями и съ самимъ собой являлись необходимыми „моментами“ въ развитіи духа.

Сказанное достаточно объясняетъ ту страстность, съ которой Бѣлинскій ухватился за свое толкованіе гегелевской „дѣйствительности“. Это толкованіе окончательно освобождало его отъ „немоши и отчаянія“, окончательно давало ему „твердость и силу“. Но понятно такъ же, какъ долженъ былъ отнестись къ подобному толкованію Бакунинъ. Для него это было только новое доказательство безсилія философской мысли Бѣлинскаго. „Конкретная“ (т. е. цѣлостная) дѣйствительность Гегеля для Бакунина, разумѣется, не имѣла ничего общаго съ „реальной“ дѣйствительностью обыденной жизни. Искать въ этой реальной дѣйствительности какой-то „разумности“ значило—признаваться въ своей приверженности къ ней и въ неспособности возвыситься до истинной жизни духа. Съ такимъ человѣкомъ Бакунинъ не хотѣлъ больше жить подъ одной кровлей. Воспользовавшись переѣздомъ Бѣлинскаго въ институтъ (гдѣ тотъ получилъ учительское мѣсто), Мишель, „какъ бы украдкою“, „не сказавши объ этомъ“ Бѣлинскому ни слова, переселился къ Боткину. „Противъ меня начинается сепаратная коалиція“, „обо мнѣ начинаются толки и пересуды, моя особа подвержена анализу“, такъ изображаетъ это время Бѣлинскій. Мишель „сталъ наказывать“ его „явнымъ презрѣніемъ и присоединилъ къ коалиціи Аксакова“. Скоро друзья вынесли противъ Бѣлинскаго обвинительный вердиктъ. Они объявляли ему, что у него нѣтъ эстетическаго чувства. Они доказывали Бѣлинскому, что онъ не имѣетъ права „писать и печататься—по недостатку объективнаго наполненія“. Словомъ, они „добивались“ до такихъ тайниковъ души Бѣлинскаго, которыхъ даже онъ самъ не касался въ самомъ разгарѣ своихъ самообвиненій. Впечатленіе получилось совершенно противоположное тому, на какое можно было рассчитывать. Бѣлинскій изнемогалъ отъ недовѣрія къ самому себѣ, пока дѣло не касалось его „задушевныхъ убѣжденій“,—тѣхъ сторонъ

его натуры, гдѣ онъ „ощущалъ въ себѣ присутствіе Божіе“, и отъ прикосновенія къ которымъ его „маленькое я исчезало, и слова, полныя жара и силы, рѣкой лились съ языка“ его. Правда, онъ чувствовалъ себя безоружнымъ противъ философскихъ аргументовъ Мишеля, но эти „парадоксы“ его не убѣждали болѣе, а только выводили изъ себя, приводили въ „бѣшенство и досаду“. Подъ вліяніемъ усиленныхъ нападковъ пріятелей Бѣлинскій окончательно въ себя увѣровалъ. „Мѣсяцемъ раньше“,—признавался онъ по поводу всѣхъ этихъ обличеній,—„это меня зарѣзало бы; но по мнѣ уже совершился великій процессъ духа, и я въ первый разъ созналъ свою силу, самобытность и *дѣятельность*“. „Я былъ въ новомъ для меня состояніи,—и торжествовалъ свѣтлый праздникъ воскресенія, въ которомъ не было ни тѣни горя и грусти, но одна чистая, безграничная и святая радость, словомъ, это было лучшее время моей жизни, цвѣтъ моего бытія“. Благодаря этому настроенію, Бѣлинскій, неожиданно для себя и для друзей, нашелъ въ себѣ силу „опереться на самого себя“. На приговоръ друзей онъ апеллировалъ Станкевичу; Боткинъ скоро перешелъ на его сторону. За то нерасположеніе Мишеля тѣмъ болѣе усилилось; а скоро обстоятельства сложились такъ, что нерасположеніе это сдѣлалось для Бѣлинскаго источникомъ новыхъ сильныхъ страданій.

#### IV.

Въ іюнѣ 1838 г. въ Москву пріѣхало семейство Бакуниныхъ. Чувство Бѣлинскаго вспыхнуло съ новой силой. Первая встрѣча послѣ двухъ лѣтъ разлуки вызвала, правда, довольно неопредѣленные ощущенія. „Помню: мой приходъ жестоко смутилъ ее,—такъ жестоко, что я не могъ не замѣтить этого, хотя мое смущеніе было еще больше, такъ что я едва держался на ногахъ и мнѣ казалось, что полъ подо мною колеблется. Это смущеніе я принялъ въ хорошую сторону; но чувство всегда вѣрно, никогда не обманываетъ въ дѣлахъ сердца: во мнѣ было только смутное движеніе радости, какое-то не вытанцовывающееся ощущеніе, какъ будто мысль недоговоренная, прекрасные стихи безъ конца. На другой день я вспоминалъ объ этомъ случаѣ уже безъ всякаго движенія, какъ о встрѣчѣ съ знакомымъ, не больше,—и выводилъ изъ этого, что моя любовь мелка, пошла и недостойна даже меня самого“. Но не прошло нѣсколькихъ дней, какъ Бѣлинскій долженъ былъ убѣдиться, что это заключеніе невѣрно. „Пытка началась“ снова. „Я рѣшительно въ ложномъ положеніи: или въ состояніи равнодушія, очень похожаго на бездुшіе, или въ тоскѣ безотрадной, въ какомъ-то пла-



ксивомъ созерцаніи моего дряннаго я“. „Я не могу любоваться ею объективно, какъ чуднымъ, прекраснымъ созданіемъ Божиимъ: я могу или смотрѣть на нее безчувственно, апатически, или съ смертельною тоскою. Неужели же видѣть ее—есть условіе того небольшого счастья, которое еще дано на мою долю?..“ „Оставалось бы наслаждаться объективнымъ созерцаніемъ и блаженствовать имъ, оставалось бы читать про себя эти стихи: „ужель не можно мнѣ глазами слѣдовать за ней и въ тишинѣ благословлять ее на радость и на счастье и сердцемъ ей желать всѣ блага жизни сей: веселый миръ души, безпечные досуги, все—*даже счастье того, кто избранъ ей, кто милой дѣвѣ дастъ названіе супруги*“. Но увы! мнѣ приходили на память другіе стихи, вотъ эти—„я не могу скитаться одинокимъ, въ страданьяхъ жить надеждою одной, духъ оболящать наградою вѣнцомъ далекимъ,—я не могу... увы! я весь земной! Мнѣ грудь нужна, мнѣ надобны объятія, мнѣ надо сердца вѣрнаго отвѣтъ, чтобъ темные расчеты, предпріятыя грѣль, освѣщаль души невинной свѣтъ!“—Это думалъ я—животное, пошлякъ!“ „Нѣтъ, братъ, „недоступно свята для людскихъ вожделѣній, дорога для земли и ея наслажденій!“.. Нѣтъ, никакую женщину въ мірѣ не страшно любить, кромѣ ея. Всякая женщина, какъ бы ни была она высока, есть женщина: въ ней и небеса, и земля, и адъ,—а это чистый, свѣтлый херувимъ Бога живаго, это небо, далекое, глубокое, безпредѣльное небо, безъ малѣйшаго облачка, одна лазурь, осіянная солнцемъ!“

Передъ этой любовной тоской блѣднѣло даже впечатлѣніе новаго удара, нанесеннаго Бѣлинскому Мишелемъ. Тотчасъ послѣ свиданія съ семействомъ Бакуниныхъ Бѣлинскій прочелъ у Боткина письмо Мишеля, въ которомъ тотъ выключалъ его изъ числа своихъ ближайшихъ друзей и, наоборотъ, включалъ одного общаго знакомаго, который даже не чувствовалъ къ Бакунину никакой особой симпатіи. Это „такъ живо тронуло и оскорбило“ Бѣлинскаго, что Боткинъ „сталъ утѣшать“ его „всѣми доводами логики“. Чувство обиды держалось, однако, недолго. „Проснувшись на другой день, я вдругъ ощутилъ себя въ свободномъ элементѣ жизни, гдѣ исчезаютъ всѣ личности, случайности, гдѣ все понимаешь, все любишь“... Дѣло въ томъ, что эта обида была послѣдней каплей, переполнившей чашу. Переворотъ, назрѣвавшій въ Бѣлинскомъ съ осени 1837 г., наконецъ, совершился. Бакунинъ далъ ему новое яркое доказательство того, что можно жить „въ духѣ“—и совершенно не понимать явленій дѣйствительности. Философскій авторитетъ пріятеля быстро падалъ, и самая личность его входила въ рамки явленій дѣйствительности, внутри которой для Бѣлинскаго все становилось понятно и законно. „Все старое только теперь предстало

мнѣ объективно“, пишетъ онъ немедленно Бакунину. „Я былъ, я сто-  
налъ подъ твоимъ авторитетомъ. Онъ былъ тяжель для меня, но и  
необходимъ. Я освободился отъ него только 16-го числа этого мѣсяца  
(письмо писано 20-го іюня),—т. е. созналъ свое освобожденіе“. И онъ  
спѣшитъ развить свою новую философію личныхъ отношеній. „Огра-  
ниченность есть условіе всякой силы... Такъ и человѣкъ: его достоин-  
ства есть условіе его недостатковъ, его недостатки есть условіе его  
достоинствъ. Меня оскорбляло твое безграничное самолюбіе, а теперь  
оно для меня залогъ твоего высокаго назначенія... Да, я теперь люблю  
тебя такимъ, каковъ ты есть, люблю тебя съ твоими недостатками,  
твоею ограниченностью... Мишель, люби и ты меня такимъ, какъ я  
есть... уважай мою индивидуальность, мою субъективность, будь снис-  
ходителенъ къ самой моей непросвѣтленности. Люби меня въ моей  
сферѣ, на моемъ поприщѣ, въ моемъ призваніи, каковы бы они ни  
были... Другъ М., мы оба не знали, что такое уваженіе къ чужой лич-  
ности... Я простилъ тебя за все, потому что понималъ необходимость  
всего, что было“. „Теперь я глубоко понимаю,—развиваетъ Бѣлинскій  
ту же мысль въ позднѣйшемъ письмѣ,—что всякій правъ и никто не  
виноватъ, что нѣтъ ложныхъ, ошибочныхъ мнѣній, а есть лишь мо-  
менты духа. Кто развивается, тотъ интересенъ каждую минуту, даже  
во всѣхъ своихъ уклоненіяхъ отъ истины. Пошли только тѣ, кото-  
рыхъ мнѣнія и мысли не есть цвѣтки, плоды ихъ жизни, а грибы, на-  
растающіе на деревьяхъ“. Но,—спѣшитъ прибавить Бѣлинскій,—„и эти  
люди мнѣ теперь не пошли, даже не жалки, въ презрительномъ смыслѣ  
этого слова... Когда въ душѣ любовь, то и ихъ любишь объективно,  
какъ необходимое явленіе жизни“. Таково было происхожденіе и пер-  
воначальный смыслъ увлеченія Бѣлинскаго „разумной дѣйствитель-  
ностью“. Онъ самъ хорошо чувствовалъ, что увлекается, и самъ ука-  
зывалъ источникъ своей односторонности. „Тутъ вмѣшалась моя лич-  
ность“, пишетъ онъ въ томъ же письмѣ; „тутъ говорили раны, глу-  
бокія раны моей души“.

Едва ли Бакунинъ удовлетворился всѣми этими объясненіями. На  
теоретическія упражненія Бѣлинскаго онъ смотрѣлъ довольно пренебре-  
жительно, а личныя побужденія, ихъ вызывавшія, продолжали казаться  
ему довольно низменными. Миръ состоялся, но безъ тѣхъ изліаній, ко-  
торыми въ былое время друзья уничтожали взаимныя недоразумѣнія.  
У обоихъ остался смутный осадокъ взаимнаго недовольства другъ  
другомъ.

При этихъ условіяхъ Бѣлинскій не сразу повѣрилъ искренности  
полученнаго имъ приглашенія снова навѣстить Прямухино. Однако же

онъ поѣхалъ. Къ чему повела эта вторая поѣздка, легко догадаться по только-что изображенному душевному состоянію Бѣлинскаго. За два года въ немъ многое перемѣнилось. Онъ уже не былъ больше той „прекрасной душой“, которая въ 1836 г. жадно упивалась прямухинскою „гармоніей“. Онъ уже зналъ себя, больше вѣрилъ своему инстинктивному чувству и гораздо меньше — своимъ философскимъ построениямъ. Онъ несравненно яснѣе видѣлъ, что совершалось кругомъ него, и гораздо труднѣе поддавался склонности идеализировать окружающее. Сравнивая свои новыя впечатлѣнія въ Прямухинѣ со старыми, онъ не могъ не почувствовать, что точно завѣса спала съ его глазъ: онъ находилъ теперь бѣлымъ многое, что привыкъ считать чернымъ по старой памяти, и наоборотъ. Прежде они съ Мишелемъ никакъ не могли понять сердечныхъ страданій старшей сестры Бакунина, происходившихъ не отъ философскихъ сомнѣній, а просто отъ неудачнаго брака. Теперь Бѣлинскій только удивлялся дерзости, съ какой онъ позволялъ себѣ тогда изрекать сужденія и осужденія по этому поводу. Прежде простая, но глубокая привязанность другой сестры къ Станкевичу казалась для пріятелей недостаточно проникнутой идеей; теперь Бѣлинскій только такую любовь и готовъ былъ считать надежной и очень подозрительно относился къ попыткамъ другихъ сестеръ жить не только чувствомъ, но и мыслью, подъ вліяніемъ Мишеля. Прежде, наконецъ, Бѣлинскій вмѣстѣ съ Мишелемъ будировалъ противъ отца семейства, старика, воспитаннаго на энциклопедистахъ и старавшагося охранить дочерей отъ вреднаго вліянія сына и его неблаговоспитаннаго пріятеля. Теперь онъ рѣшительно принялъ сторону родителей противъ Мишеля и проникся уваженіемъ къ старику Бакунину. „Давно уже знаю“, — пишетъ онъ Бакунину-отцу, вернувшись изъ Прямухина, — „что я худо зарекомендовалъ себя вамъ въ первый пріѣздъ въ Прямухино... и только недавно узналъ, что многое, очень многое оправдывало ваше обо мнѣ мнѣніе и ваше ко мнѣ чувство. Прошедшаго не воротить и я не буду говорить объ немъ. Жизнь есть великая школа, и благо тѣмъ, которые умѣютъ понимать ея мудрые, хотя иногда и жестокіе уроки!... Не удивляйтесь же, почтенный старецъ, если и во мнѣ вы нашли значительную перемѣну, не выдавши меня почти два года... Въ эти два года я узналъ много такого, чего прежде и не подозревалъ. У меня есть убѣжденія, за которыя я готовъ отдать жизнь мою, но... я уже умѣю уважать чужія убѣжденія и любить людей каждаго на его мѣстѣ и въ его сферѣ“.

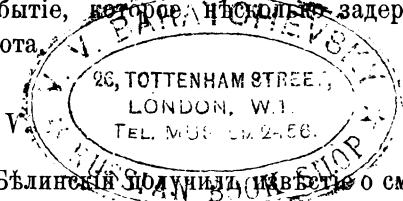
Исходъ сердечной исторіи Бѣлинскаго зависѣлъ теперь отъ того, на чью сторону склонятся сестры Бакунина. При огромномъ вліяніи Ми-

шеля, естественно было, что онѣ стали смотрѣть на Бѣлинскаго его глазами. Скоро Бѣлинскій получилъ несомнѣнные доказательства этого. Передадимъ этотъ эпизодъ его собственными словами. „Зашелъ разговоръ о порывѣ, который увлекаетъ летать по звѣздамъ. Какъ-то, не помню, замѣчено было, что смерть удовлетворитъ вполнѣ этому порыву. Я замѣтилъ А. А. (имя сестры, интересовавшей Бѣлинскаго), что нельзя опредѣлить, *какъ* мы будемъ безсмертны, хотя и можно вѣрить, что будемъ безсмертны и что будемъ безсмертны въ тѣлѣ, при условіи пространства и времени, и что, слѣдовательно, летаніе по звѣздамъ есть *мечта*, а не *мысль*. Вдругъ отвѣчаютъ на мое замѣчаніе, но отвѣчаютъ не мнѣ и никому, а всякому и каждому, кто бы ни почелъ это отвѣтомъ себѣ. Отвѣтъ или *возраженіе* состояло въ томъ, что ничего нельзя и не должно опредѣлять, потому что когда что-либо опредѣлить <sup>1)</sup>, то станетъ самому гадко и пошло, *какъ говорить Мишель*. Этотъ отвѣтъ мнѣ, адресованный безлично, былъ со-всѣмъ не возраженіемъ, потому что я именно это-то и замѣтилъ;—но что нужды, отвѣтъ или возраженіе было тѣмъ не менѣе сказано такимъ тономъ, въ которомъ выказывались и совершенное уничтоженіе моей мысли, безъ всякаго уваженія къ ней, и совершенное убѣжденіе въ справедливости своей мысли, и, наконецъ, какая-то жалость, какое-то состраданіе къ моей слѣпотѣ и что-то вродѣ наставленія мнѣ и что-то такое, какъ будто нелѣпость моего мнѣнія оскорбительна для слуха другихъ. Но я никогда не сумѣю выразить того, что было лестнаго для меня, моей личности и моего самолюбія въ этомъ тонѣ, а въ немъ было много, много... и говоря все это, были такъ прекрасны, такъ очаровательны, что тяжелое и непріятное впечатлѣніе, смутившее и поразившее меня, было тѣмъ тяжелѣе и непріятнѣе“. Словомъ, это былъ—Мишель, говорившій устами сестеръ; и этого было достаточно, чтобы сразу вернуть Бѣлинскому всю трезвость сужденія. „Онѣ“ были для него неприкосновенны; „всякое ихъ слово, всякій поступокъ“ Бѣлинскій готовъ былъ „принимать на вѣру“; *изъ* онѣ „не смѣлъ судить“; имъ онѣ „смѣлъ только удивляться“. Но на *Мишеля* въ нихъ онѣ смѣло обрушился всею силою своей безпощадной критики. Въ этомъ заключалось и оправданіе его святотатства: „если я приписалъ имъ нѣчто призрачное, недостойное ихъ, то причину этого нашелъ въ тебѣ“, заявлялъ онѣ позже Мишелю; „а все святое, прекрасное приписалъ одной ихъ дивной субстанціи и *божественной непосредствен-*

1) „Опредѣленіе“ на философскомъ языкѣ друзей противопологалось „субстанціи“, какъ единичное явленіе—общей сущности.

ности". Въ первый моментъ Бѣлинскій не замѣтилъ, что результаты его критики идутъ гораздо дальше, чѣмъ готовъ былъ признать самъ онъ въ приведенной фразѣ. Въ самомъ дѣлѣ, это была формулировка его впечатлѣнія въ терминахъ *старой* теоріи. По *новой* выходило не такъ: „призрачное“ въ ней не противопологалось „субстанціальному“ и „недостойное“ — „прекрасному и святому“. По новой теоріи хорошее неразрывно связано съ дурнымъ въ „конкретной дѣйствительности“; недостатки и достоинства людей составляютъ одно живое цѣлое. И Бѣлинскій скоро долженъ былъ замѣтить, что его новыя чувства лучше формулируются по новой, чѣмъ по старой теоріи. Очарованіе было разрушено; въ „нихъ“ онъ видѣлъ теперь людей, а не идеалы. Въ другомъ мѣстѣ писемъ онъ это призналъ невольно. „Цѣнить—значить понимать, а понимать—значить видѣть не призракъ, отвлеченный отъ живого образа, а самый живой образъ...“

Такимъ образомъ, вторая поѣздка въ Прямухино освободила Бѣлинскаго отъ того преклоненія, къ которому его обязывали сердечныя воспоминанія первой поѣздки; это преклоненіе только и могло держаться на памяти сердца, такъ какъ съ новымъ настроеніемъ Бѣлинскаго оно совѣмъ не вязалось. Последняя живая нить, связывавшая Бѣлинскаго съ его недавнимъ прошлымъ, была теперь порвана и переворотъ въ немъ долженъ былъ окончательно совершиться, когда произошло въ семьѣ Бакуниныхъ событіе, которое ~~поскольку~~ задержало открытое признание этого переворота.



Въ серединѣ августа 1838 г. Бѣлинскій получилъ извѣстіе о смерти одной изъ сестеръ Бакунина,-- той самой невесты Станкевича, о которой мы упоминали въ предыдущемъ очеркѣ. Эта смерть „глубоко и религиозно потрясла“ Бѣлинскаго и на время отвлекла его отъ его собственной внутренней исторіи; она вызвала въ то же время наружу весь тотъ запасъ нѣжности и любви, который Бѣлинскій свято хранилъ въ глубинѣ своей души по отношенію къ обитателямъ Прямухина. Цѣлую недѣлю онъ не могъ ни о чемъ думать, кромѣ смерти Л. А. За невозможностью прямыхъ, личныхъ изліяній „рука тянулась невольно къ перу“, и письма Бѣлинскаго къ Мишелю превращаются въ непрерывный дневникъ, проникнутый такимъ душевнымъ пафосомъ и согрѣтый такимъ горячимъ чувствомъ, передъ которымъ даже письмо самого Мишеля по тому же поводу кажется слабымъ и блѣднымъ. Отъ воспоминаній Бѣлинскій постоянно переходитъ къ разсужденіямъ и отъ

разсужденій къ воспоминаніямъ; ему представляются „эти тонкія по-синѣлыя уста“, чудится „этотъ грустный голосъ“, напѣвавшій печальныя пѣсни, возстаютъ въ воображеніи различныя подробности ея похоронъ... „Ни за что не хочется приняться—все бы думалъ о ней или писалъ къ тебѣ,“—пишетъ Бѣлинскій на третій день по полученіи скорбной вѣсти; а на слѣдующій день опять встрѣчаемъ: „Душа рвется къ тебѣ, къ вамъ. Вѣдь я твой, вашъ, родной всѣмъ вамъ? Да, теперь я узналъ это очень ясно... Мнѣ кажется, что я бы долженъ былъ у васъ быть эти дни“. На другой день все то же: „Засыпаю съ мыслию о ней и просыпаюсь съ тѣмъ же. Иногда и самъ не знаю, о чемъ именно думаю, знаю только, что о чемъ-то важномъ, вникаю—и вижу, что все о томъ же“.

Какъ мы только-что сказали, новый подъемъ чувства Бѣлинскаго замедлил его разрывъ съ прошлымъ; но тотъ же подъемъ чувства скоро сдѣлалъ этотъ разрывъ неизбежнымъ и окончательнымъ. Дѣло въ томъ, что со стороны Мишеля это чувство не только не встрѣтило сочувственнаго отклика, но въ своихъ „сухихъ“ отвѣтахъ онъ все яснѣе и яснѣе давалъ понять Бѣлинскому, что его участіе въ семейныхъ дѣлахъ Бакунина является неумѣстнымъ и непрошеннымъ. Въ одномъ изъ послѣдующихъ писемъ онъ прямо заявлялъ, что „сестры для него слишкомъ святой предметъ, чтобы онъ могъ говорить о нихъ *со всякимъ*“. Снова Бѣлинскій былъ оскорбленъ въ лучшихъ своихъ чувствахъ; но теперь онъ былъ уже далекъ отъ того недовѣрія къ себѣ, которое заставляло его смирять свое самолюбіе передъ самыми обидными приговорами пріятеля. Теперь онъ уже не могъ „добродушно повѣрить“, что онъ „пошлякъ, ничтожный человѣкъ“—потому только, что его „кровь горяча, а сердце требуетъ любви и сочувствія“. Впечатлѣнія друзей (Боткина и Ключникова) подтвердили его собственное впечатлѣніе относительно Бакунина; Станкевичъ изъ-за границы какъ бы санкционировалъ возстаніе противъ романтическаго прекраснодушія, противъ философской нетерпимости и претензій на гениальность. Бѣлинскій вступилъ въ рѣшительную борьбу съ прежнимъ своимъ авторитетомъ и „изумилъ“ его тономъ своихъ писемъ, языкъ которыхъ долженъ былъ показаться Бакунину „новымъ, неожиданнымъ, смѣлымъ“. „Во мнѣ вдругъ выговорилось то, что только прежде чувствовалось“,—говорилъ Бѣлинскій впослѣдствіи про этотъ моментъ своей жизни. И какъ бы стѣша высказать бывшему другу все то, что накопилось въ душѣ, Бѣлинскій опять принимается писать ему огромныя письма—„длинные диссертаци“,—какъ называетъ ихъ Мишель,—полныя тѣхъ разсужденій о разумной дѣйствительности, которыя читатель можетъ

найти у А. Н. Пыпина (I, 227—237). Теперь и его сердечная исторія представилась ему въ совсѣмъ иномъ свѣтѣ, чѣмъ прежде. Въ своемъ чувствѣ онъ видѣлъ теперь вовсе не средство перейти въ высшую жизнь духа, а просто-на-просто „болѣзнь“, отъ которой „хотѣлъ начать лѣчиться“. Въ своемъ гоненіи на всякую претензію и ходульность онъ готовъ былъ даже заподозрить самый источникъ своего чувства; онъ находилъ теперь, что это чувство онъ „развивалъ въ себѣ насильственно“, что оно „не развивалось безсознательно, не закрадывалось въ сердце украдкой, непосредственно, *нормально и просто*“. „За это я и поплатился подѣломъ: будь простѣе и добросовѣстнѣе съ собою и самовольно не давай себѣ того, въ чемъ судьба отказываетъ“. Бѣлинскій подвергнулъ теперь анализу и все то, что мучило его въ отношеніяхъ къ нему сестеръ Бакунина, — и нашелъ, ему казалось, простую разгадку, которую скрывалъ отъ него до сихъ поръ лишь авторитетъ Мишеля. „Отвѣчать на вопросы о *нихъ* и о *ней* по отношенію ко мнѣ ты не могъ потому, что нечего было отвѣчать; и ты, чтобы не остаться въ неизвѣстности насчетъ „дѣйствительности“, сочинилъ или вывелъ изъ разума своего, увѣряя меня, что „я *имѣю* родной по духу, и духъ мой сталъ ближе къ ихъ духу и онѣ замѣтили и почувствовали это приближеніе“. Можетъ быть, это и такъ, только я ничего этого не замѣтилъ и не почувствовалъ. Слитіе духомъ, какого бы рода оно ни было, всегда найдетъ себѣ форму, въ которой и выразится. Для этого довольно слова, взгляда, движенія; но я ничего этого не видѣлъ, а что видѣлъ, то и теперь заставляетъ меня глубоко и тяжело страдать... Есть безконечно мучительное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, безконечно отрадное блаженство узнать, что насъ не любятъ, но тѣмъ не менѣе цѣнять, намъ сострадаютъ, признаютъ насъ достойными любви и, можетъ быть, въ иныя минуты, живо созерцая глубину и святость нашего чувства,—горько страдаютъ отъ мысли, что не въ ихъ волѣ его раздѣлить... Такое къ намъ отношеніе трепетно, свято боготворимаго нами предмета особенно важно для насъ и для того, чтобы, переживя эпоху испытанія, успокоивши и уравнивши порывы мучительной страсти, мы могли бы, какъ магометанинъ къ Меккѣ, обращать на этотъ боготворимый предметъ взоры нашего духа съ грустнымъ, но сладостнымъ чувствомъ, и въ святилищѣ своего духа носить его образъ свѣтлымъ, безъ потемнѣнія, всегда достойнымъ обожанія, во всемъ лучезарномъ поэтическомъ блескѣ его святого значенія; чтобы, при воспоминаніи о немъ, въ минуту грустнаго раздумья, у насъ въ душѣ было свѣтло, легко, блаженно, а не возставало какое-то жгучее чувство обиды, оскорбленія... И что же?—мое чувство... говоритъ мнѣ, что не мой удѣлъ даже и эта печальная радость и это грустное утѣ-

шеніе. Какъ нарочно, Боткинъ подкрѣпилъ во мнѣ это чувство фактомъ. Ты сказала ему, что она писала къ тебѣ изъ Москвы, что мой приходъ смутилъ ее и что, зная о моемъ къ ней чувствѣ, ей *непріятно* (или тяжело, можетъ быть) было меня видѣть. Понятно! Такъ непріятно видѣть человѣку собаку, которую онъ изуродовалъ пулею, подстрѣливъ ее по ошибкѣ вмѣсто зайца... Я могу о себѣ думать и меньше, чѣмъ стѣю, и больше, чѣмъ стѣю, но какъ бы то ни было, но у меня душа человѣческая, и она стояла бы лучшаго отзыва, большаго вниманія "... „Смѣшно жаловаться“, прибавляетъ Бѣлинскій, „но я не жалуюсь: я только хочу обогатить тебя фактомъ дѣйствительности; смѣшно просить, чего не хотятъ дать, но я ничего и не прошу: я только хочу показать тебѣ, что не все то бываетъ, чтѣ бы, казалось, должно быть... Всякій чувствуетъ, мыслить и поступаетъ, какъ знаетъ и какъ хочетъ: смѣшное на сторонѣ того, кто этимъ огорчается и хочетъ для себя перевернуть дѣйствительность. Но я ничего этого не хочу. Я не плакса—я умѣю страдать и не падать, я много могу вынести"... „Да, я *снова* начинаю вѣрить, что и моя буря пройдетъ мимо, чтобы ярче засіяло солнце моего духа, и при одной этой мысли его лучи, еще слабые и блѣдныя, пробиваются сквозь мгlistыя тучи, заволокшія его“. „Не всѣмъ суждено любить (т. е. *влюбиться*), быть любимыми и жениться по любви, почувствованной и сознанный прежде, чѣмъ вошла въ голову мысль о женитьбѣ; но“... „кромѣ пошлаго разсчета, есть еще разсчетъ человѣческой;... разсудокъ не есть единственный выходъ изъ состоянія чувства, но то и другое можетъ дѣйствовать въ ладу, не мѣшая одно другому“. Иначе говоря, Бѣлинскій началъ признавать возможность для себя другой любви, болѣе „простой“ и „нормальной“. „Любовь, основанная на сознательномъ пониманіи любимаго субъекта“, кажется теперь ему „порожденіемъ логическихъ хитросплетеній и самолюбивыхъ эгоистическихъ потребностей. Женщина не мужчина, и чтобы понимать и любить ее, надо понимать и любить ее, какъ женщину, *просто*, а не какъ идеалъ или героиню. Кто видѣлъ въ любимой женщинѣ идеалъ, того любовь могла заключать въ себѣ много глубоко-истинныхъ элементовъ, но въ своей цѣлости было что-то уродливое, неестественное“. И сравнивая *простое*, пожалуй, даже чересчуръ простое чувство одного изъ своихъ пріятелей съ своимъ, Бѣлинскій рѣшается выговорить: „я еще не увѣренъ, на которое (чувство) взаимность или отвѣтъ женщины возможныѣ, на *мое* или на *его*“.

Все это значило, что сердечная исторія Бѣлинскаго становилась для него пережитымъ фактомъ его жизни. Но, несмотря на всѣ пере-



несенныя страданія, онъ ни за что не согласился бы вычеркнуть этотъ фактъ изъ своего прошлаго. „Благодарность ей, благодарность имъ,“ — писалъ онъ, какъ бы прощаясь съ прошлымъ и подводя итоги своей исторіи; „она и онъ возбудили всѣ силы моего духа, открыли самому мнѣ все богатство моей природы, привели въ движеніе всѣ тайные родники заключенной во мнѣ безконечной силы, безконечной любви и заставили ихъ бить и разливаться обильными волнами... Пусть онъ меня забудутъ, вычеркнуть мое имя и мой образъ изъ списка своихъ воспоминаній — что нужды? — Оно во мнѣ, хотя и не со мной. Таинство совершено, великій актъ духа совершился, остальное не такъ важно. *Моего* у меня никто не отниметъ, потому что *мое* въ духѣ. Да, въ моемъ духѣ, въ его невѣдомыхъ, сокровенныхъ глубинахъ и она, и онъ, и я буду носить ихъ въ душѣ моей, доколѣ буду жить, доколѣ будетъ биться и трепетать и пламенѣть огнемъ жизни горячее сердце“. И этого письма Бѣлинскаго (10 сентября 1838 г.) его другъ не оцѣнилъ, какъ должно. Въ отвѣтъ, онъ называлъ Бѣлинскаго „жалкимъ добрымъ малымъ, котораго ожидаетъ скорая и неизбежная гибель въ пошлой дѣйствительности“; попытки теоретическаго самооправданія его считалъ смѣшными и несносными, обвинялъ Бѣлинскаго въ непрошенномъ вмѣшательствѣ въ семейныя дѣла, упрекалъ его въ томъ, что сестры „перестали быть для него святынею“, и выражалъ отъ ихъ и своего лица чувство оскорбленія по поводу „обвиненій“ Бѣлинскаго. Бѣлинскій отвѣчалъ письмомъ отъ 12 октября съ эпиграфомъ: „еще одно послѣднее сказанье и лѣтопись окончена моя“. Дружбу съ Мишелемъ Бѣлинскій объявлялъ здѣсь поконченной навсегда, а продолженіе спора считалъ бесполезнымъ: „въ логикѣ я не силенъ, а фактовъ ты не любишь... Погодимъ, посмотримъ — пусть теорію cadaго изъ насъ оправдаетъ наша жизнь“. На предсказанія Бакунина о его жалкой будущности онъ отвѣчалъ той тирадой, полной чувства собственнаго достоинства, которая приведена отчасти Пыпинымъ на стр. 236—237. Тѣмъ же чувствомъ проникнуть и отвѣтъ его по поводу личныхъ отношеній. „Во мнѣ, Мишель, тоже есть и самолюбіе и гордость. Не только съ оправданіями и разъясненіями, но даже и съ любовью, дружбою и даже простымъ знакомствомъ ни къ кому навязываться не буду. У меня есть даже и сила—это я недавно узналъ: я, хотя съ кровью, но могу оторвать на-чисто отъ сердца все, что составляло его жизнь, оторвать навсегда. Если меня не поняли, не умѣли или не хотѣли понять моего поступка — или, наконецъ, не хотѣли дать себѣ труда отдѣлать его отъ побужденія, если самъ по себѣ онъ показался дурень,—то жаль, а дѣлать нечего“. „Онъ никогда

не понимали меня, поэтому неудивительно, что не поняли и теперь. Я, можетъ быть, и виновать передъ ними, что не понялъ моихъ отношеній къ нимъ, тѣмъ болѣе, что онѣ никогда не говорили мнѣ, чтобы между мною и ими существовало какое-нибудь родство и дружескія отношенія. Онѣ оскорбились—и этимъ открыли мнѣ глаза на дѣйствительныя отношенія между мной и ими: быть такъ! но я все-таки передъ ними чистъ и правъ и, кромѣ ошибки въ понятіи отношеній, *ни въ чемъ не виноватъ передъ ними*“. „Попрежнему, онѣ — лучшее видѣніе моей жизни, лучшее чудо ея, первѣйшій и главнѣйшій интересъ, и я люблю, уважаю ихъ и интересуюсь ими гораздо болѣе, нежели сколько то нужно для моего счастья и спокойствія“.

Этимъ объясненіемъ отношенія между Бѣлинскимъ и семействомъ Бакуниныхъ оборвались на нѣсколько лѣтъ. Когда они возобновились, характеръ этихъ отношеній былъ уже совсѣмъ иной. Намъ необходимо будетъ познакомиться и съ этими позднѣйшими отношеніями для выясненія послѣдующей сердечной исторіи Бѣлинскаго. Но предварительно мы должны нѣсколько остановиться: уже въ этомъ мѣстѣ нашего разсказа мы можемъ точнѣе формулировать тѣ поправки въ біографіи Бѣлинскаго, которыя вытекаютъ изъ сопоставленныхъ нами данныхъ.

Обыкновенно изображаютъ увлеченіе Бѣлинскаго теоріей „разумной дѣйствительности“, какъ результатъ вліянія его друзей; нѣкоторые критики думали даже объяснить временный оптимизмъ Бѣлинскаго воздѣйствіемъ той соціальной среды,—обезпеченной и самодовольной,—въ которыхъ воспитались его друзья. Въ дѣйствительности оказывается, что Бѣлинскій выработалъ свою теорію *въ противоположность воззрѣніямъ друзей*, однихъ склонилъ на свою сторону, съ другими поссорился по поводу этой теоріи. А „философскій другъ“ (Бакунинъ), внушившій, по общему мнѣнію, свою теорію Бѣлинскому,—на дѣлѣ считалъ ее, въ обработкѣ Бѣлинскаго, *искаженіемъ* своей подлинной мысли и доказательствомъ низменности натуры Бѣлинскаго. Наконецъ, разница соціального положенія Бѣлинскаго и его друзей была признана имъ *съ самаго начала* и послужила *первымъ толчкомъ* къ созданію имъ особой теоріи.

Обыкновенно считаютъ, затѣмъ, то же увлеченіе Бѣлинскаго теоріей „разумной дѣйствительности“—вышимъ проявленіемъ отвлеченности идей кружка, апогеемъ господствовавшего въ кружкѣ преклоненія передъ нѣмецкой абстрактной философіей. На дѣлѣ „разумная дѣйствительность“ Бѣлинскаго сохранила очень мало философскаго и была, наоборотъ, реакціей его натуры *противъ отвлеченности* кружковыхъ

теорій,—ближайшимъ средствомъ выхода изъ этой отвлеченности, за которое онъ и ухватился со свойственнымъ ему жаромъ. Важно было изъ „фихтианской“ метафизической дѣйствительности выбрать на широкое поле „конкретной“ дѣйствительности — хотя бы подъ знаменемъ Гегеля. Оріентироваться среди явленій этой конкретной дѣйствительности и приложить къ нимъ нравственный и общественный критерій было уже не такъ трудно, какъ совершить этотъ первый теоретическій скачокъ. „Разумѣется, кто къ инстинктуальному проникновенію присоединитъ сознательное, черезъ мысль, тотъ вдвойнѣ овладѣетъ дѣйствительностью; но главное—знать ее, какъ бы ни знать, и этого знанія нельзя достигнуть одною мыслью — надо жить, надо двигаться въ живой дѣйствительности, быть естественну, *просту*“. Такъ опредѣлялся для Бѣлинскаго смыслъ его перехода къ новой точкѣ зрѣнія. „Напрасно ты твердишь, что я отложилъ мысль въ сторону, отрекся отъ нея навсегда и пр. и пр... Ты создалъ себѣ призракъ и колотишь себѣ по немъ, въ полной увѣренности, что бьешь меня. Это, наконецъ, смѣшно и скучно. Повторяю тебѣ: уважаю мысль и цѣню ее, но только мысль конкретную, а не отвлеченную“. Этотъ результатъ навсегда остался прочнымъ приобрѣтеніемъ Бѣлинскаго, тогда какъ фаталистическое толкованіе ученія о необходимости всего существующаго очень скоро было имъ брошено.

Естественнымъ выводомъ изъ двухъ сдѣланныхъ поправокъ является третья. Часто представляютъ, что теоретическій фатализмъ, пережитый Бѣлинскимъ, былъ чѣмъ-то въ родѣ цѣлаго фазиса, пережитаго развитіемъ русскаго общества,—необходимымъ послѣдствіемъ гегеліанства и его господства у насъ въ извѣстные годы. На дѣлѣ, фатализмъ Бѣлинскаго не вытекалъ самъ собой изъ гегеліанства и не былъ изъ него выведенъ даже ближайшими друзьями Бѣлинскаго. Такимъ образомъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло не столько съ неизбежной данью, отданной нашимъ обществомъ нѣмецкой метафизикѣ, сколько просто съ *чертой изъ біографіи* Бѣлинскаго, объясняемой особенностями его *личной* исторіи.

Наконецъ, истолкованное въ этомъ смыслѣ, увлеченіе разумной дѣйствительностью не можетъ болѣе считаться какой-то несчастной случайностью, временнымъ отклоненіемъ въ развитіи Бѣлинскаго. Это—скорѣе *необходимая ступень* и несомнѣнный *шагъ впередъ* по пути къ реализму позднѣйшихъ годовъ Бѣлинскаго: первый зрѣлый плодъ, органически созданный его жизнью; первый прочный результатъ тяжелой душевной борьбы за міровоззрѣніе, наиболѣе подходившее къ его психическому складу. Въ своей теоріи Бѣлинскій только подвелъ итоги

своего жизненного опыта; уже и потому онъ не могъ отъ нея отказаться, что это значило бы для него отказаться отъ знанія самого себя, своей „силы“ и своей „ограниченности“.

Но пора вернуться къ эпилогу первой сердечной исторіи Бѣлинскаго, служащему въ то же время вступленіемъ ко второй исторіи, которую намъ еще предстоитъ изложить.

## VI.

Прошло три года послѣ описаннаго разрыва съ М. Бакунинымъ. Бѣлинскій успѣлъ пройти всѣ ступени увлеченія „разумной дѣйствительностью“, сдѣлалъ изъ этого взгляда самые крайніе выводы и почувствовалъ, что зашелъ въ тупой уголъ. Его томило глухое чувство недовольства самимъ собою, и къ этому чувству присоединилось все болѣе и болѣе обострившееся ощущеніе душевной пустоты. Его слава, какъ критика, достаточно упрочилась въ литературныхъ кругахъ, чтобы создать ему болѣе обезпеченное матеріальное положеніе. Но и съ этой стороны его все болѣе начинала тяготить обязательная журнальная работа къ сроку, тѣмъ больше, что съ этимъ связывалось чувство зависимости отъ издателя, — „клевавшего его сердце, какъ коршунъ Прометея“. Первое чувство удовлетворенности литературной славой прошло и смѣнилось скептически равнодушнымъ отношеніемъ къ читателю. Въ довершеніе всего, здоровье Бѣлинскаго, чѣмъ дальше, тѣмъ больше расклеивалось. Въ итогѣ, Бѣлинскій снова переживалъ въ 1841 году то же переходное состояніе, въ какомъ мы его видѣли въ 1837—38 гг.

Въ Прямухинѣ тоже произошло не мало перемѣнъ. Предметъ сердечной страсти Бѣлинскаго сдѣлался предметомъ такой же и столь же неудачной страсти его друга В. П. Боткина. На этотъ разъ, впрочемъ, причина неудачи заключалась въ самомъ Боткинѣ. Это была какая-то странная исторія. Послѣ довольно бурнаго объясненія Боткинъ получилъ согласіе — и самымъ комическимъ образомъ растерялся. Такая быстрая развязка, какъ мы уже знаемъ изъ исторіи романовъ Станкевича, была не въ правилахъ романтическаго кодекса. Разница была только въ томъ, что у Боткина не было того тонкаго самоанализа, какой мы видѣли у Станкевича, что обычную въ кружкѣ *Grübeleien* онъ примѣнялъ, не только какъ средство добросовѣстной работы надъ самимъ собою, но и какъ весьма практическій способъ выйти изъ затруднительнаго житейскаго положенія. Наконецъ, у него было больше чувственности, хотя въ рѣшительные моменты онъ удивительно легко

подчинялъ ея порывы разсудочному разсчету. Все это и отразилось на его исторіи съ А. А. Бакуниной. Получивъ согласіе на бракъ, Боткинъ усердно сталъ предлагать своему предмету братскую любовь и поклоненіе вѣрующаго. Голосъ страсти вернулся къ нему не раньше, чѣмъ ему удалось уговорить А. А. отложить окончательное рѣшеніе подъ предлогомъ необходимости—провѣрить чувство. И снова, какъ только новый порывъ вызывалъ новый откликъ чувства, Боткинъ пугался и принимался—довольно неискренно—толковать о благоразуміи. Дѣло кончилось, послѣ долгихъ страданій А. А., вмѣшательствомъ родителей и формальнымъ предложеніемъ, которое было принято, послѣ нѣкоторыхъ колебаній по поводу купеческаго происхожденія жениха. Но этотъ исходъ только окончательно испортилъ взаимныя отношенія Б. и А. А. и едва не привелъ къ довольно трагической развязкѣ съ ея стороны. Послѣ этого Боткинъ формально отказался отъ своихъ претензій, по-видимому, не безъ участія Мишеля: Въ теченіе всей исторіи Бѣлинскій, кажется, стоялъ на сторонѣ Боткина; надо думать, что онъ только и зналъ эту исторію въ томъ видѣ, какъ передавалъ ее послѣдній. Какъ бы то ни было, эта исторія, по собственнымъ словамъ Бѣлинскаго, „окончательно добила въ немъ всякую вѣру въ чувство“.

При такихъ обстоятельствахъ завязались у Бѣлинскаго новыя сношенія съ обитателями Прямухина. Посредникомъ послужилъ на этотъ разъ младшій братъ М. Бакунина, молодой офицеръ, расположившій къ себѣ Бѣлинскаго своимъ умѣньемъ жить, не справляясь ни съ какими отвлеченными теоріями. Въ немъ Бѣлинскій видѣлъ какъ бы второе исправленное изданіе своей собственной юности; онъ переживалъ съ нимъ душой тѣ радости жизни, которыхъ лишила его въ свое время „проклятая рефлексія“. Въ шутивно-покровительственномъ тонѣ, который установился въ сношеніяхъ Бѣлинскаго съ Н. А. Бакунинымъ, было много нѣжности отца или старшаго брата; но было и нѣчто другое. Въ бесѣдѣ съ юнымъ другомъ Бѣлинскій безсознательно искалъ средства расшевелить ослабѣвшія струны своего собственного сердца, и быстрое сближеніе съ Н. А. было первымъ предвѣстіемъ того, что въ опустошенномъ сердцѣ Бѣлинскаго скоро вновь зазеленѣютъ свѣжіе молодые побѣги. Окончательный разсчетъ съ прошлымъ долженъ былъ послужить предисловіемъ къ этому новому сердечному расцвѣту. Разсчетъ этотъ былъ оконченъ только съ одной стороны,—со стороны самого Бѣлинскаго. Но что, если въ Прямухинѣ его встрѣтятъ не какъ „наглеца, самовольно ворвавшагося“ въ семейныя тайны, а какъ стараго добраго друга, если ему скажутъ, что „всѣ его любятъ“ тамъ; если, въ отсутствіе Мишеля (бывшаго за границей), сама А. А. рѣ-

шится написать ему, что она „открыла въ себѣ новую способность ненавидѣть то, передъ чѣмъ раньше преклонялась?“ Поздно, очень поздно приходитъ это вырванное горькимъ опытомъ жизни признаніе; но, можетъ быть, лучше поздно чѣмъ никогда? Отвѣтъ мы найдемъ въ перепискѣ Бѣлинскаго съ прямухинскими обитателями.

Обернуться на прошлое—такова была первая потребность сердца, вызванная въ Бѣлинскомъ сближеніемъ съ Н. А. Бакунинымъ. Мы не слышимъ, однако, примиряющихъ нотъ въ этомъ первомъ обращеніи къ прошедшему. Нѣтъ въ немъ и проклятій, а только одно горькое чувство обиды за неудавшуюся личную жизнь. „Недавно заглянулъ въ книгу моихъ писемъ, возвращенныхъ мнѣ Мишелемъ, и былъ пораженъ“,—пишетъ Бѣлинскій 6-го апрѣля 1841 г. „Боже мой, сколько жизни изжито,—и все по пустякамъ! И какую глупую роль игралъ я, какъ много было во мнѣ любви и какъ мало благородной гордости“... „Малаго я не хотѣлъ и лишился всего, и нечѣмъ помянуть юность. Назадъ и впереди пустыня, въ душѣ холодъ, въ сердцѣ перегорѣлыя уголья“... „Въ душѣ страсти огонь разгорался не разъ, но въ бесплодной тоскѣ онъ сгорѣлъ и погасъ“. „Да,—ни одного образа, который бы я могъ назвать *своимъ* и *милымъ*, я одинъ въ мірѣ, мое сердце ни для кого не бьется, потому что для него не билось ни одно сердце... Я очерствѣлъ, огрубѣлъ, чувствую на себѣ ледяную кору... Внутри все оскорблено и ожесточено; въ воспоминаніи одни промахи, глупости, униженія, поруганное самолюбіе, бесплодные порывы, безумныя желанія. Я никого, впрочемъ, не виню въ этомъ, кромѣ себя самого и еще судьбы. Такова участь всѣхъ людей съ напряженной фантазіей, которые не довольствуются землею и рвутся въ облака. Мой примѣръ долженъ быть для васъ поучителенъ. Спѣшите жить, пока живется“. И Бѣлинскій полу-шутя, полу-серьезно развиваетъ философію наслажденія жизнью, въ которой „женщинѣ“ достается не особенно почетная роль. „Было время, когда женщина была для меня божествомъ, и мнѣ какъ-то странно было думать, что она можетъ снизойти до любви къ мужчине, хотя бы онъ былъ гений, а теперь—это уже не божество, а просто—женщина... существо, на которое я не могу не смотрѣть съ нѣкотораго рода сознаніемъ своего превосходства... Хороши и мы, но *онъ* еще лучше... Одной нужна перетянутая талія и черненькіе усики, другой—умъ, талантъ, гений, героизмъ, и почти ни одной—простое любящее сердце, здравый, но не блестящій умъ, благородство,—словомъ, мужчина, которому довѣрчиво и безопасно могла бы она отдаться, на котораго спокойно и увѣренно могла бы опереться. Поэтому, часто онъ не любитъ тѣхъ, которые ихъ любятъ, и отдаются тѣмъ, которые ихъ

обманываютъ... Сколько въ жизни встрѣчается прекраснѣйшихъ женственныхъ личностей въ обладаніи у скотовъ—и спросите каждую изъ нихъ—рѣдка не сознается въ томъ, что ее любилъ достойный человекъ, котораго она отвергла... Все ложь и обманъ,—все, кромѣ наслажденія,—и кто уменъ, будучи молодъ и крѣпокъ, тотъ возьметъ полную дань съ жизни, и въ лѣта разочарованія у него будетъ богатый запасъ воспоминаній“ (ср. другіе отрывки у Пыпина, II, 129—130).

„Ледяная кора“ начинаетъ таять въ концѣ 1841 г. Бѣлинскій получаетъ отъ Н. А. приглашеніе пріѣхать въ Прямухино. Собственно-ручныя приписки сестеръ Н. А. къ этому письму вызываютъ въ душѣ Бѣлинскаго цѣлый взрывъ заснувшаго чувства. „Я все тотъ же, что и былъ“, увѣряетъ Бѣлинскій, „все та же *прекрасная душа*... сердце мое еще не отказалось отъ вѣры въ жизнь, ни отъ мечтаній“. И онъ мечтаетъ о томъ, чтобы „забыться дня на два отъ мученій жизни, отдохнуть усталою душой, снова увидѣть такъ давно милые душѣ образы, которые иногда видятся сквозь житейскій туманъ, словно ангельскіе лики въ облакахъ“. Но „сознаніе“ тотчасъ вступаетъ въ свои права и „покоряетъ сердце“. Сознаніе напоминаетъ Бѣлинскому, что эти мечты не должны отвлекать его отъ дѣйствительности. „У всякаго человека долженъ быть свой уголокъ, куда бы онъ могъ укрываться отъ ненастья жизни; вашъ уголокъ особенно прекрасенъ. Но уголокъ и долженъ быть уголкомъ, а не міромъ“. „Такъ вонъ же изъ мирной и тихой пристани, гдѣ только плѣсень зеленая, тина мягкая да квакающія лягушки. Дальше отъ нихъ—туда, гдѣ только волны да небо,—предательскія волны, предательское небо! Конечно, разсудокъ говорить, что гдѣ бы ни утонуть, все равно; но я лучше хотѣлъ бы утонуть въ морѣ, чѣмъ въ лужѣ. Море — это дѣйствительность; лужа — это мечты о дѣйствительности. Вы, о мой плетенецъ неоперенный,... ушли отъ жизни въ свой маленькій уголокъ: боюсь за васъ. Въ этомъ уголкѣ хорошо быть гостемъ и отдыхать отъ борьбы съ жизнью, но не жить въ немъ“.

И Бѣлинскій снова сдѣлался прямухинскимъ гостемъ, и душѣ его опять становилось „больно и сладостно“ при одномъ воспоминаніи о проведенномъ тамъ времени. „Зимняя поѣздка меня переродила; я поздоровѣлъ и помолодѣлъ“,— писалъ онъ въ мартѣ 1842 г. Боткину. Появилось и чувство, „давно знакомое“ Бѣлинскому и предвѣщавшее у него потребность въ сердечной жизни. „Ноетъ грудь, но такъ сладко, такъ сладострастно... Словно волны пламени то нахлынуть на сердце, то отхлынуть внутрь груди; но эти волны такъ влажны, такъ освѣжительны“... Причины „новой болѣзни“ не могли быть непонятны для

Бѣлинскаго: недаромъ „опытъ сорвалъ“ для него „покровъ съ жизни“ и „разоблачилъ“ ея тайны. „Мучительный зензухтъ“ Бѣлинскаго на этотъ разъ принялъ самую конкретную форму. „Знаешь ли что“, — пишетъ онъ Боткину въ томъ же письмѣ; „да что и говорить—знаешь... Отъ того-то я такъ и люблю говорить съ тобою, что не успѣешь сказать перваго слова, какъ ты уже выговариваешь второе... Знаешь ли, когда пора человѣку жениться?—Когда онъ дѣлается неспособнымъ влюбиться, перестаетъ видѣть въ женщинѣ „ее“, а видитъ въ ней просто (имя рекъ)“, и т. д. Мысль о женитьбѣ съ этихъ поръ все болѣе овладѣваетъ Бѣлинскимъ. Какъ нарочно, въ ноябрѣ 1842 г. молодой Бакунинъ увѣдомляетъ его о своей помолвкѣ. Шутливый отвѣтъ Бѣлинскаго чрезвычайно характеренъ для его тогдашняго настроенія. „Зарѣзали, осрамили, опозорили вы насъ“, — пишетъ онъ Н. Бакунину. „Женится, онъ женится! А мы-то что же, чѣмъ же мы-то хуже васъ? Вотъ, поди ты, служи отечеству и проливай за него рѣки чернильныя! Какой-нибудь эдакой глуздырь женится, а ты посвистывай въ страшной, холодной пустотѣ своей ненавистной квартиры, въ пріятномъ сообществѣ съ своимъ лакеемъ. Велишь поставить самоваръ, и что положишь въ чайникъ, да и велишь выпить его человѣку, а самъ одѣваться, да и бѣжать куда-нибудь отъ самого себя. Ахъ вы, негодный глуздырь! Надулъ, зарѣзалъ!... Это однакожъ страшно — я за васъ дрожу. Мнѣ кажется, что въ вашемъ положеніи у меня шумѣло бы въ ушахъ, все вертѣлось бы въ глазахъ, кровь прорвала бы жилы и хлынула бурнымъ потокомъ. Я думаю, вы вынете карманъ изъ платка (sic), и въ карманѣ жена и въ платкѣ жена. Я бы на вашемъ мѣстѣ умеръ съ голода—не сталъ бы ничего ѣсть, боясь въ каждомъ кускѣ видѣть жену... Воображаю, какъ я былъ бы хорошъ въ вашемъ положеніи!.. Ну, полно врать! Руку вашу, любезнѣйшій Н. А.! Вы готовитесь выпить лучшій бокалъ жизни; отъ души желаю вамъ на днѣ его найти не улетучивающуюся пѣну божественнаго напитка, а счастье, простое, тихое, въ себѣ самомъ замкнутое, ни для кого не бросающееся въ глаза, счастье! Все великое на землѣ божественно, а все божественное просто. Боже сохрани не понять этого и ожидать отъ любви чудесъ—сама любовь есть чудо... Одно почитаю долгомъ сказать вамъ: страшитесь, какъ вѣрной гибели, *все* найти въ одномъ. Я насчетъ этого „одного“ только фантазировалъ, и теперь *отчасти радъ, что все кончилось фантазіями*, ибо я глупо фантазировалъ, заключая все въ одномъ“.

Эти размышленія не помѣшали Бѣлинскому стремиться еще разъ побывать въ Прямухинѣ. „Вы видѣли меня совсѣмъ не тѣмъ, что я



теперь <sup>1)</sup>, и тѣмъ сильнѣе во мнѣ желаніе вновь познакомить васъ съ собою и вновь познакомиться съ вами“, писалъ онъ сестрамъ 8-го марта 1843 г., послѣ того какъ ему не удалось осуществить своего намѣренія. „За невозможностью личныхъ сношеній“ между ними и Бѣлинскимъ завязалась „письменная бесѣда“, въ которой онъ договорилъ то, что оставалось еще недоговореннаго во взаимныхъ отношеніяхъ. Прошлое остается прошлымъ: таковъ смыслъ этихъ разъясненій со стороны Бѣлинскаго. „Вы правы,—пишетъ онъ А. А.,—въ томъ и жизнь, что она безпрестанно нова, безпрестанно измѣняется: это и мой основной принципъ жизни, и я радъ, что онъ также и вашъ. Только тѣ и живутъ, которые такъ думаютъ. Старое—Богъ съ нимъ: оно хорошо и прекрасно только въ той мѣрѣ, въ какой было прямою или косвенною причиною новаго, а само-по-себѣ — прочь его!“ И въ слѣдующемъ письмѣ Бѣлинскій опять возвращается къ этому деликатному пункту, съ тѣмъ, чтобы уже не оставить насчетъ его никакихъ сомнѣній: „Мое робкое самолюбіе, -- къ чему таиться, -- не чуждо опасенія, чтобы тѣнь моего прошедшаго, въ глазахъ вашихъ, когда-нибудь и какъ-нибудь, благодаря моей неловкости и тому, что я называю въ себѣ страстностью, не отбросилась на мое настоящее и будущее“. Въ виду этого онъ объясняетъ страстность, какъ вообще господствующую черту своей натуры. „Естественно, что въ отношеніи къ женщинамъ эта страстность ярче и эксцентричнѣе; но перетолковать ее чѣмъ-нибудь другимъ, болѣе серьезнымъ, или оскорбиться ею — значить не понять меня... Я, меньше чѣмъ кто другой, могу ручаться въ будущемъ за свою изрѣдка довольно сильную, но чаще расплывающуюся натуру; но я за одно уже смѣло могу ручаться—это за то, что если бы Богъ снова излилъ на меня чашу гнѣва Своего и, какъ египетскою язвою, вновь поразилъ меня этою тоскою безъ выхода, этимъ стремленіемъ безъ цѣли, этимъ горемъ безъ причины, этимъ страданіемъ, презрительнымъ и унижительнымъ даже въ собственныхъ глазахъ, — я уже не могъ бы выставлять наружу гной душевныхъ ранъ, и нашелъ бы силу навсегда бѣжать отъ тѣхъ, кого могъ бы оскорбить или встревожить мой позоръ. Я и прежде не чуждъ былъ гордости, но она была парализована многими причинами, въ особенности же романтизмомъ и религіознымъ уваженіемъ къ такъ называемой „внутренней жизни“, — этимъ исчадіемъ нѣмецкаго эгоизма и филистерства... Прежде, чѣмъ западетъ въ душу чувство, я выговаривалъ его всего, такъ что ни-

<sup>1)</sup> Дѣло въ томъ, что къ этому времени колебанія и сомнѣнія Бѣлинскаго закончились переходомъ его въ „новую вѣру“ и выработкой окончательнаго „соціального міровоззрѣнія“.

чего и не оставалось. Это значить, что не было ни одного могучаго чувства, которое охватило бы все существо мое и отняло бы языкъ. Теперь ужъ такое чувство даже страшно, хотя я солгалъ бы, увѣряя, что не желаю его. Чтò бы я съ нимъ сталъ дѣлать, съ моею дряблою душою, съ моимъ дряннымъ здоровьемъ, моею бѣдностію и моею совершенною расторженностію съ дѣйствительностію нашего общества. Я человѣкъ не отъ міра сего. И потому вполне убѣдился, что для меня не можетъ быть никакого счастья, и что въ самомъ счастьи для меня было бы одно несчастье... Но отказаться отъ желанія счастья, котораго невозможность такъ математически ясна для меня,—еще нѣтъ силъ, и сохрани Богъ, если не станетъ ихъ на совершеніе этого послѣдняго и великаго акта“.

## VII.

Самочувствіе не обманывало Бѣлинскаго. Если ни реставрировать старое чувство, ни обойтись вовсе безъ чувства было невозможно, оставался единственный выходъ—въ *новомъ чувствѣ*. Всѣ признаки возрастающей потребности въ этомъ чувствѣ были налицо. „Семейнаго знакомства у меня мало, однакожъ я часто бываю въ обществѣ женщинъ, очень добрыхъ и очень милыхъ, но которыя только возбуждаютъ во мнѣ глубокую, тоскливую жажду женскаго общества“. „Съ горя, чтобы любить хоть что-нибудь, завелъ себѣ котенка и иногда... играю съ нимъ“. Наконецъ, оно пришло, это чувство, и оказалось такимъ, какого и жаждалъ Бѣлинскій, какъ основы „простого, тихаго счастья“.

Это была не „влюбленность“ въ старомъ смыслѣ, а то, чтò Бѣлинскій назвалъ въ одномъ изъ цитированныхъ выше писемъ „человѣческимъ расчетомъ“. „Въ моей любви къ вамъ“,—пишетъ онъ къ своей будущей женѣ <sup>1)</sup>,—„нѣтъ ничего огненнаго, порывистаго, но есть все чтò нужно для тихаго счастья и благороднаго человѣческаго (а не апатическаго) спокойствія. Только съ вами могъ бы я трудиться, работать и жить не безъ пользы для себя и для общества, только съ вами не тратились бы понапрасну мои лучшіе дни и не тонулъ бы я въ апатической лѣни. Только съ вами любилъ бы мой тѣсный уголъ, неохотно бы оставлялъ его и радостно, нетерпѣливо возвращался бы въ него“. И въ другомъ письмѣ Бѣлинскій такъ же откровенно, и почти тѣми же словами формулируетъ свои надежды. „Я отъ брака съ вами

<sup>1)</sup> Объ этой перепискѣ съ невѣстой см. ниже отдѣльную статью.

никогда не ожидалъ восторговъ, да и Богъ съ ними, съ этими восторгами; не стоятъ они того, чтобы гнаться за ними; я ожидалъ отъ жизни вдвоемъ съ вами существованія мирнаго, яснаго, теплаго, охоты къ труду и любви къ своему углу, или, какъ французы говорятъ, къ своему очагу“. Бѣлинскій усталъ дожидаться и хотѣлъ, наконецъ, съ боя взять то счастье, въ которомъ такъ долго отказывала ему судьба. Онъ, который былъ твердо увѣренъ, что для него, „составляющаго что-то среднее между мужчиной и женщиной“, добиваться женской любви—„напрасные хлопоты“,—вдругъ вызвалъ къ себѣ женскую симпатію. Теперь представлялся случай приложить къ дѣлу ту философію, которую онъ проповѣдовалъ молодому Бакунину. Конечно, мы встрѣтимъ ту же философію и въ письмахъ къ невѣстѣ. „Жизнь коротка и обманчива—ловите ее или послѣ не раскаивайтесь“. „Всякое важное обстоятельство въ жизни есть лоттерея, особенно бракъ. Нельзя, чтобы рука не дрожала, опускаясь въ таинственную урну за страшнымъ билетомъ; но неужели же слѣдуетъ отторгивать руку потому, что она дрожитъ?“ „Кто не стремится, тотъ не достигаетъ; кто не дерзаетъ, тотъ не получаетъ“. „И потому, пойдемъ впередъ безъ оглядокъ и будемъ готовы на все—быть человѣчески достойными счастья, если судьба дастъ его намъ, и съ достоинствомъ, по-человѣчески, нести несчастье, въ которомъ никто изъ насъ не будетъ виноватъ“.

Всѣ обстоятельства сложились такъ, чтобы побудить Бѣлинскаго вести свою новую исторію къ возможно быстрой развязкѣ: и острое чувство одиночества, все болѣе овладѣвавшее имъ, и стремленіе упорядочить свою жизнь и свой трудъ—спасти отъ убивавшей его работы запоемъ и отъ отдыховъ за преферансомъ; къ тому же вели и „страстность“ его натуры и созданная имъ философія „дѣйствительности“. Еще весной 1843 г., какъ мы видѣли, онъ ждалъ и боялся новаго чувства, жаждалъ его и „математически“ доказывалъ его невозможность; осенью онъ былъ уже „женихомъ“ („какой гнусный терминъ“) и вызывалъ этимъ шутивыя преслѣдованія знакомаго женскаго общества. Весной онъ еще порывался въ Прямухино; въ концѣ августа онъ послалъ туда только запоздалый отвѣтъ въ нѣсколькихъ строкахъ, въ которомъ сухо увѣдомлялъ, что его намѣреніе „не можетъ сбыться“. И даже переводъ, Consuelo, сдѣланный А. А. какъ будто съ цѣлю доказать, что новая вѣра Бѣлинскаго, „пророчицей“ которой была Жоржъ-Зандъ, не осталась безъ вліянія на женское населеніе Прямухина,—и этотъ переводъ, не во-время отданный на попеченіе Бѣлинскаго, никогда не увидѣлъ свѣта. Тѣни прошлаго окончательно отступили передъ новой дѣйствительностью.

Бѣлинскій такъ снѣшилъ овладѣть этой дѣйствительностью, что даже форсировалъ естественное развитіе своего чувства. Его отношенія къ будущей женѣ развивались лѣтомъ 1843 г. гораздо быстрѣе, чѣмъ ихъ знакомство другъ съ другомъ. Въ самомъ дѣлѣ, что онъ зналъ о ней въ то время? Ей было уже 32 года. Бѣлинскаго это только радовало, какъ гарантія болѣе прочной привязанности, облегчало сближеніе и снимало отвѣтственность за послѣдствія союза. Она находила себя некрасивой: Бѣлинскій рѣшительно былъ противоположнаго мнѣнія. Она считала себя дикаркой: и это было на руку Бѣлинскому, всегда чувствовавшему себя неловко въ большомъ обществѣ. Она была бѣдна и не умѣла хозяйничать: эти возраженія съ ея стороны вызывали въ Бѣлинскомъ только веселое настроеніе. Серьезнѣе было то, что она гадала Бѣлинскому на картахъ объ ихъ будущемъ счастьѣ: но Бѣлинскій и это готовъ былъ считать милой наивностью. Наконецъ, онъ находилъ въ ней тѣмъ душевныхъ достоинствъ, которыя она въ себѣ отрицала: этотъ вопросъ должно было рѣшить будущее. Понятно, что при этихъ условіяхъ будущее было темно, и условленный между знакомыми незнакомцами союзъ, дѣйствительно, сильно походилъ на „лотерею“. Бѣлинскій, разумѣется, не могъ не замѣчать и не тревожиться этимъ. „А вѣдь А. В. (сестра невѣсты) была права,—замѣчаетъ онъ однажды,—упрекая васъ, что вы не говорили со мною откровенно о будущемъ. Я было не разъ думалъ начинать такіе разговоры, да какъ-то все прилипалъ языкъ къ гортани... Эти разговоры... болѣе и болѣе сближали бы насъ другъ съ другомъ. А то меня всегда и постоянно мучила мысль, что мы не довольно близки другъ къ другу, что мы рѣбячимся, сбиваясь немного на провинціальный идеализмъ“.

Дѣйствительно, слѣды „провинціального идеализма“ не вполне еще изгладились въ первыхъ письмахъ Бѣлинскаго къ невѣстѣ. Въ своемъ новомъ положеніи Бѣлинскій, очевидно, чувствуетъ себя довольно неловко. „Вы думаете, привычка дѣло легкое и скорое?“ „Все былъ не женатъ, а то вдругъ женатъ“, повторяетъ Бѣлинскій подколесинскую фразу, и вообще Подколесинъ такъ и просится подъ перо обоихъ корреспондентовъ. „Всякій мужчина передъ женитьбой есть Подколесинъ; только одинъ лучше, другой хуже умѣетъ скрывать это. Я, разумѣется, всѣхъ хуже“. Нѣжности рѣшительно не удаются Бѣлинскому, а шутки выходятъ ужасно тяжелы; онъ, наконецъ, принимается подробнѣйшимъ образомъ описывать свою квартиру, петербургскую погоду, разсчитывать, когда придетъ его письмо и когда получится отвѣтъ, и т. п. „Странное дѣло! въ мечтахъ я лучше говорю съ вами, чѣмъ на письмѣ, какъ нѣкогда заочно я лучше говорилъ съ вами, чѣмъ при свиданіяхъ“. И

не замѣчая, что это указываетъ на то, какая еще разница остается между „мечтами“ и дѣйствительностью, Бѣлинскій приходитъ къ успокоительному выводу. „Теперь я понялъ, что мы лучше всего умѣемъ говорить о томъ, чего у насъ нѣтъ, и что мы совсѣмъ не умѣемъ говорить о томъ, чѣмъ мы полны“.

Скоро, однако, опытъ представилъ Бѣлинскому „тысячу первое доказательство, „что нѣтъ ничего общаго между міромъ фантазіи и міромъ дѣйствительности“. Чувству Бѣлинскаго предстояло „выдержать строгій экзаменъ“. Какъ видно изъ писемъ, Бѣлинскій настаивалъ на ускореніи свадьбы. Возникъ вопросъ, гдѣ вѣнчаться, въ Москвѣ ли, при всемъ синклитѣ родственниковъ невѣсты, или въ Петербургѣ, изъ котораго Бѣлинскій не могъ выѣхать по своимъ отношеніямъ къ *Отечественнымъ Запискамъ*. Будущая жена Бѣлинскаго доказывала необходимость вѣнчаться въ Москвѣ—такими аргументами, которые подняли страшную бурю въ душѣ Бѣлинскаго, довели его чуть не до смертельныхъ припадковъ и временами заставляли его дѣлать „тщетныя усилія—вспомнить, кого же и что же любилъ я въ васъ“. „По всѣмъ соображеніямъ, союзъ съ вами сулилъ мнѣ тихое и спокойное счастье. Но увы!—мы еще не соединены, а я уже глубоко несчастенъ и страдаю такимъ страданіемъ, котораго и возможности прежде не подозрѣвалъ. Я получилъ ударъ съ такой стороны, съ которой никогда и не ожидалъ его“. „Меня убиваетъ мысль, что вы, кого считалъ лучшею изъ женщинъ, что вы, въ рукахъ которой теперь счастье и бѣдствіе всей моей жизни, что вы, которую я люблю,—вы раба мнѣній московскихъ кумушекъ, салонницъ и тетюшекъ. Вотъ чѣмъ Богъ наказалъ меня за мои грѣхи. а не тѣмъ, что вамъ 32 года и что вы больны... И тяжка наказующая меня десница“.

Такимъ образомъ, „съ облаковъ“ Бѣлинскій „упалъ на землю и больно ушибся“. „Но любовь побѣдила все“. „Никогда такъ глубоко и живо не сознавалъ и не чувствовалъ я неразрывности узъ, которыми связанъ съ вами—не даннымъ словомъ, не тѣмъ, что далеко зашелъ въ моихъ отношеніяхъ къ вамъ,—а моимъ къ вамъ чувствомъ“. И Бѣлинскій обнаруживаетъ все то богатство нѣжности, на какое способна была его кристалльная душа. Онъ подыскиваетъ смягчающія обстоятельства, онъ находитъ ихъ въ условіяхъ воспитанія, въ житейской обстановкѣ Москвы, этой „дистанціи огромнаго размѣра“. Къ внѣшнимъ условіямъ онъ относитъ все дурное въ личности невѣсты, а все хорошее записываетъ въ активъ ея собственной натуры; онъ общается себѣ въ будущемъ полную перемену, онъ готовъ даже ожидать ее въ настоящемъ, каждую минуту, въ каждомъ новомъ письмѣ, котораго

дожидается съ обычнымъ своимъ нетерпѣніемъ. Онъ, наконецъ, беретъ назадъ всѣ свои обвиненія, кается во всѣхъ своихъ грубостяхъ, улаживаетъ всѣ препятствія, достаетъ денегъ, документы, нужные для вѣнчанія, дописываетъ днемъ и ночью срочныя статьи для журнала и назначаетъ день своего отъѣзда въ Москву. Въ этотъ моментъ, наконецъ, является желанное согласіе невѣсты прійхать въ Петербургъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ обрывается и переписка, такъ что намъ остается совершенно неизвѣстнымъ, какой осадокъ остался въ душѣ Бѣлинскаго отъ всѣхъ испытанныхъ имъ тревоженій и перестали ли ему „лѣзть въ голову“ пушкинскіе стихи:

Смирились вы, моей весны  
Высокопарныя мечтанья,  
И въ поэтический бокаль  
Воды я много подмѣшаль.<sup>1)</sup>

### III.—А. И. и Н. А. Герцены.

#### I.

И по своей натурѣ, и по складу своихъ идей А. И. Герценъ занимаетъ въ семьѣ „идеалистовъ тридцатыхъ годовъ“ совсѣмъ особое мѣсто. Онъ жилъ, пока они мечтали, и занимался политикой, въ то время какъ они философствовали. Ту „чашу наслажденій“, передъ которой они стояли въ нерѣшительности, онъ смѣло выпилъ до дна; и если на днѣ онъ нашелъ горькій осадокъ, то эта горечь ничего не имѣла общаго съ позднимъ сожалѣніемъ о пропущенной даромъ жизни. Это, напротивъ, давали себя знать старыя, плохо залѣченные раны, нанесенныя подлинными фактами жизни, богатой и мыслями, и чувствами. Такимъ образомъ, на этотъ разъ мы будемъ имѣть дѣло съ дѣйствительными, а не воображаемыми страданіями сердца; мы увидимъ, что и причины, вызвавшія эти страданія, были безчуждо даже реальны. И, тѣмъ не менѣе, и въ этомъ случаѣ изучаемое нами душевное настроеніе носить несомнѣнный колоритъ идеализма тридцатыхъ годовъ. Герценъ былъ первый, который нанесъ этому идеализму самые рѣшительные удары; но прежде, чѣмъ онъ съ нимъ раздѣлался, ему тоже пришлось его пережить. Любопытно, что въ этомъ случаѣ

<sup>1)</sup> Кое-какія дополнителныя указанія см. въ статьѣ о перепискѣ Б. съ невѣстой.

первенствующая, активная роль принадлежала не *ему*, а *ей*. Измученный житейскими тревоженіями, Герценъ на минуту склонился передъ силой сосредоточенной женской любви. Можно себѣ представить, какъ велика была эта сердечная сила, покорившая себѣ энергичную натуру Герцена. Но, при всемъ томъ, его подчиненіе было непродолжительно, и столкновеніе реалистическаго взгляда на чувство съ идеалистическимъ привело къ тяжелой семейной драмѣ.

Можетъ быть, покажется чрезчуръ смѣлымъ, что мы хотимъ пересказывать, послѣ „Былого и Думъ“, личную исторію ихъ автора. Оправданіе этой рѣшимости заключается въ самомъ характерѣ герценовской автобіографіи. „Думы“ слишкомъ заслоняютъ въ ней „былое“; написанная много времени спустя, она часто смотритъ на прошлое глазами послѣдующаго времени; помимо воли автора, „Dichtung“ часто получаетъ въ ней перевѣсъ надъ „Wahrheit“. Вотъ почему добросовѣстный біографъ Герцена долженъ будетъ провѣрить и пополнить „Былое и Думы“ другими автобіографическими показаніями, современными описываемымъ событіямъ и имѣющими поэтому характеръ непосредственности. Первое мѣсто среди этихъ первоисточниковъ біографіи Герцена принадлежитъ перепискѣ его съ невѣстой, Нат. Ал. Захарьиной, на протяженіи 1835—1838 гг. Продолжаясь почти непрерывно изо дня въ день, не прекращаясь иногда ни днемъ, ни ночью, ни утромъ, ни вечеромъ,—эта переписка представляетъ единственный въ своемъ родѣ „человѣческій документъ“. Ея значеніе для біографіи призналъ самъ Герценъ. „Письма — важнѣйшій документъ нашего развитія и моей жизни,—пишетъ онъ невѣстѣ въ началѣ 1838 года. *Тутъ я весь, какъ былъ*“<sup>1)</sup>. Дальнѣйшимъ, тоже непосредственнымъ памятникомъ душевнаго настроенія Герцена служить его „Дневникъ“ 1842—1845 годовъ. Наконецъ, сообщенія подруги ранняго дѣтства Герцена, Т. П. Пассекъ<sup>2)</sup>, также пополняютъ нашъ свѣдѣнія нѣсколькими важными чертами. Мы разумѣемъ здѣсь чисто фактическія показанія Пассекъ, такъ какъ противъ общаго освѣщенія фактовъ въ ея воспоминаніяхъ можно еще спорить; не мѣшаетъ здѣсь вспомнить и то, что отношенія самого Герцена къ автору воспоминаній были очень неровныя. Въ двадца-

1) Часть переписки А. И. Герцена съ Н. А. Захарьиной (1835, 1836 и первые 2 мѣсяца 1837 гг.) напечатана въ *Русской Мысли* за 1893, №№ 1, 3, 4, 6—8, 11, и 1894, №№ 1, 4, 8. Продолженіе начато печатаніемъ въ *Новомъ Словѣ*, 1896, №№ 4, 5. Благодаря любезности редакціи, которой приносимъ глубокую благодарность, мы имѣли возможность ознакомиться и съ остальной, очень значительной частью переписки (1837—1838) въ рукописи.

2) „Изъ дальнихъ лѣтъ“, 3 тома. Спб. 1878—1889.

тыхъ годахъ онъ сердечно привязанъ къ кузинѣ, въ тридцатыхъ охлаждаетъ и послѣ ея брака начинаетъ даже относиться къ ней враждебно; потомъ возвращеніе обоихъ въ Москву и личныя несчастія Т. П. (смерть мужа) возстановляютъ въ сороковыхъ годахъ дружескія отношенія; близкими эти отношенія никогда уже не дѣлаются, но это не мѣшаетъ Герцену отдавать Т. П. должное въ его воспоминаніяхъ о раннемъ дѣтствѣ и первой юности.

Главный нашъ источникъ, переписка, начинается со времени вятской ссылки Герцена. Прежде чѣмъ воспользоваться этимъ источникомъ мы должны представить себѣ, какъ сложились личности обоихъ корреспондентовъ къ началу переписки.

## II.

„Одна мысль ярко свѣтитъ въ моей фантазіи“, писалъ Герценъ невѣстѣ въ февралѣ 1858 года: „мы—жертвы искупленія всей ихъ (т. е. родителей) фамиліи, и наши страданія смываютъ ихъ пятна“. Въ религиозную одежду облечена здѣсь глубоко-вѣрная мысль. Дѣйствительно, сердечныя страданія обоихъ Герценовъ были отдаленнымъ послѣдствіемъ ихъ происхожденія и воспитанія; оба они платились за грѣхи предковъ и за ту социальную обстановку, продуктомъ которой они были. Барская прихоть дала имъ жизнь; эта же прихоть оставила ихъ ранніе годы совершенно различными условіями воспитанія, одинаковыми только въ томъ отношеніи, что оба вспоминали объ этихъ годахъ съ отвращеніемъ и ненавистью. Александръ Герценъ воспитывался въ домѣ своего отца, стараго чудака и богача И. А. Яковлева; возлѣ него оставалась и его мать, простодушная и мягкосердечная нѣмка. Отецъ Наташи рано умеръ, а старшій законный братъ поспѣшилъ отправить маленькихъ дѣтей съ ихъ матерями въ глухую деревню; только случайно, изъ милости, Наташа осталась въ Москвѣ на хлѣбахъ у старой княгини Хованской, которой понравилось, что дѣвочка ласково на нее смотрѣла своими большими, не по лѣтамъ серьезными глазами. Постороннимъ людямъ должно было казаться, что кузень, и кухня устроились какъ нельзя лучше. Александръ былъ баловнемъ всего дома; за Наташей княгиня готова была дать въ приданое треть своего очень значительнаго состоянія. Но, какъ видно, воспитатели черезчуръ настойчиво требовали „благодарности“ и слишкомъ подчеркивали свое „великодушіе“, чтобы упрочить себѣ мѣсто въ сердцахъ дѣтей. Естественнымъ результатомъ этой политики было то, что дѣти слишкомъ рано узнали, чей хлѣбъ они ѣдятъ, и хлѣбъ этотъ сталъ имъ горекъ.



Послѣдствія этого открытія для Александра и Наташи были такъ же различны, какъ непохожи были ихъ натуры, ихъ положеніе и личности ихъ воспитателей; но въ обоихъ случаяхъ результатомъ было одностороннее и болѣзненное развитіе природныхъ задатковъ.

По-своему отецъ любилъ Герцена; но эта любовь оставалась тайной для сына до самаго его ареста въ 1834 году, т. е. до 22-хъ лѣтъ. До этого времени, по собственнымъ словамъ Герцена, онъ былъ „совершенно чужой въ родительскомъ домѣ“ и „на каждомъ шагѣ“, ежеминутно рисковалъ встрѣтить „оскорбленія,—да такія, которыя могли бы отправить въ сумасшедшій домъ взрослога“. Съ какой-то особенной изобрѣтательностью отецъ употреблялъ весь свой недюжинный умъ, все свое тонкое знаніе людей, чтобы преслѣдовать все и всѣхъ въ домѣ, отыскивая у каждаго самую слабую струну, самую больную мѣста. За что мучилъ людей и самого себя этотъ озлобленный чудакъ и чѣмъ именно онъ былъ озлобленъ,—этого вопроса такъ и не могъ рѣшить самъ Герценъ. „Унесъ онъ съ собой въ могилу какое-нибудь воспоминаніе, которое никому не довѣрилъ, — или это было просто слѣдствіе встрѣчи двухъ вещей, до того противоположныхъ, какъ XVIII вѣкъ и русская жизнь,—при посредствѣ третьей, ужасно способствующей капризному развитію,—помѣщичьей праздности?“ Послѣдними словами Герценъ наводитъ насъ на историческое объясненіе, которое послѣ него повторялось не разъ. „Въ Россіи,—говоритъ онъ,—люди, подвергнувшіеся вліянію этого мощнаго западнаго вѣянія (XVIII столѣтія), не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы дома, иностранцы въ чужихъ краяхъ, праздные зрители, испорченные для Россіи западными предразсудками, для Запада — русскими привычками, они представляли какую-то *умную ненужность* и терялись въ искусственной жизни, въ чувственныхъ наслажденіяхъ и въ нестерпимомъ эгоизмѣ“. Нельзя не согласиться съ вѣрностью этого наблюденія; оно безусловно правильно относительно той соціальной среды, надъ которой сдѣлано Герценомъ.

Какимъ же сдѣлала Герцена обстановка его дѣтства? Двадцати пяти лѣтъ онъ еще вспоминаетъ объ условіяхъ своего воспитанія, какъ объ одномъ изъ „чудищъ, которыя сосутъ его сердце“. Къ этому времени онъ относитъ происхожденіе всѣхъ тѣхъ чертъ своей натуры, которыя онъ въ себѣ осуждалъ. „Оскорбленія и обиды развили во мнѣ жгучее самолюбіе и стремленіе къ власти, и съ тѣмъ вмѣстѣ дали мнѣ эту притворную наружность, по которой рѣдко можно догадаться, что происходитъ въ моей душѣ“. Отсюда же онъ ведетъ свою склонность къ сарказму. „У людей истинно добродѣтельныхъ,—находимъ въ письмѣ

30-го января 1838 г.,—иронія нѣтъ; также нѣтъ ея и у людей, живущихъ въ эпохи живыя. Иронія или отъ холода души (Вольтеръ), или отъ ненависти къ міру и людямъ (Шекспиръ и Байронъ). Это отзывъ на обиду, отвѣтъ на оскорбленіе, но отвѣтъ гордости, а не христіанина“. Легко догадаться, откуда выведены эти психологическія наблюденія.

Привыкнувъ выносить, на половинѣ отца, „благосклонность и милосердіе“ своихъ легитимныхъ родственниковъ, Герценъ за то бралъ свой реваншъ на половинѣ матери, а также въ людской и дѣвичьей. Здѣсь развивалась въ немъ на свободѣ привычка властвовать; здѣсь онъ привыкъ также не знать удержа своимъ страстямъ и ни въ чемъ себѣ не отказывать. Этому нисколько не противорѣчатъ его собственныя утвержденія, что здѣсь же развилась у него и ненависть къ барскому деспотизму и къ холодному разврату. То были проявленія вишняго насилія, противъ которыхъ онъ становился на сторону „простыхъ и слабыхъ“; но среди этихъ самыхъ слабыхъ и простыхъ онъ первенствовалъ по праву, испытывая на этомъ силу и огонь своей натуры. Послѣ, въ университетѣ, онъ съ такой же удачей пріобрѣталъ вліяніе на „равныхъ“ себѣ, и сознаніе своего торжества, по его собственнымъ признаніямъ, было однимъ изъ главныхъ побужденій, втянувшихъ его въ студенческую жизнь. При этихъ условіяхъ въ Герценѣ рано сложились увѣренность въ себѣ и опытность сердца. Онъ даже готовъ былъ, лѣтъ въ восемнадцать, считать себя состарившимся душой и свысока смотрѣлъ на всякое простое, непосредственное, наивное движеніе сердца.

Но гдѣ же были элементы идеализма, сдѣлавшіе Герцена такимъ, какимъ мы его знаемъ? Этихъ элементовъ было слишкомъ достаточно въ натурѣ Герцена, но въ жизнь они должны были пробиваться, какъ контрабанда, *вопреки* всѣмъ условіямъ воспитанія. Прежде всего, надо замѣтить, что религія не принадлежала къ числу этихъ элементовъ. Въ домѣ стараго вольтеріанца соблюдали лишь изъ приличія одни обряды, и маленький Герценъ вспоминалъ о религіи только разъ въ годъ, на Страстной недѣлѣ. Романовъ Герценъ поглотилъ достаточное количество въ самые ранніе годы; двѣнадцати лѣтъ онъ уже испыталъ романтическое чувство къ одной шестнадцатилѣтней барышнѣ, пріѣзжавшей къ нимъ въ домъ изъ пансіона по воскресеньямъ. Такимъ образомъ, въ любви онъ привыкъ съ дѣтства видѣть не одну чувственность. Но кругомъ него долго не было никакого женскаго общества, кромѣ общества кузины Тани, у которой уже былъ къ тому времени свой Евгеній Онѣгинъ. Нѣсколько лѣтъ спустя Герценъ пробовалъ переѣ-

нить роль конфидента на болѣе нѣжную роль, но девятнадцатилѣтней барышнѣ не было интереса поощрять чувство семнадцатилѣтняго кузена. Оставалась дружба, которой Герценъ и предался со всѣмъ пыломъ своей души, „потому что, кромѣ нея, уже некуда было дѣть пламени“. Близкимъ другомъ Герцена съ 13 лѣтъ на всю жизнь сдѣлался его младшій сверстникъ, Н. П. Огаревъ. Они сошлись на мечтахъ о славѣ, о дѣятельности на пользу человѣчества.

Драмы Шиллера и запрещенные стихи Пушкина были знакомы обоимъ; но на ряду съ Карломъ Моромъ и съ маркизомъ Позой у Герцена явились и болѣе реальные герои. Французскій учитель научилъ его поклоняться дѣятелямъ великой революціи, а приговоръ надъ декабристами окончательно „разбудилъ ребяческій сонъ души“ и далъ мечтамъ самое реальное направленіе. Съ этимъ багажомъ молодой Герценъ явился въ университетъ — первымъ глашатаемъ политической мысли среди поколѣнія, только-что принимавшагося искать въ метафизикѣ не то руководства, не то лѣкарства отъ сердечныхъ влеченій. Метафизика была Герцену совершенно чужда; господствовавшая тогда натурфилософія Шеллинга вызвала въ немъ только интересъ къ естественнымъ наукамъ. Что же касается сердечныхъ влеченій, онъ отводилъ имъ очень второстепенное мѣсто въ своей будущей жизни. Въ то время какъ другіе даровитые сверстники искали въ любви мистическаго средства—слиться со вселенной, Герценъ съ Огаревымъ давали другъ другу на Воробьевыхъ горахъ свою знаменитую клятву—пожертвовать жизнью борьбѣ за общественныя идеи.

Такимъ вышелъ Герценъ изъ своего дѣтскаго возраста. Совсѣмъ иную печать положили годы воспитанія въ домѣ княгини на его будущую подругу. „Душа женщины большею частью несравненно чище души мужчины,—писалъ ей впослѣдствіи Герценъ, сравнивая свое и ея воспитаніе.—Чего мужчина не переиспытаетъ до окончанія школьныхъ лѣтъ: чувства притупляются, эгоизму раздолье, религіи нѣтъ. А дѣва въ своемъ затворничествѣ чиста, какъ ласточка; неопредѣленная мечта ея религіозна, свята,—такова и любовь, и эгоизму мало доступна“.

Жизнь у княгини Хованской была, дѣйствительно, настоящимъ затворничествомъ для маленькой сироты. И ея воспитаніе „началось съ упрековъ и оскорбленій“; и здѣсь послѣдствіемъ было „отчужденіе отъ людей, недовѣрчивость къ ихъ ласкамъ, отвращеніе отъ ихъ участія, углубленіе въ самое себя“. Семилѣтнимъ ребенкомъ дѣвочка хотѣла бѣжать отъ своей „благодѣтельницы“; потомъ она обтерпѣлась, научилась безпрекословно повиноваться всѣмъ внѣшнимъ ограниченіямъ, ко-

торами до мелочей обставлена была ея жизнь, но душой осталась чужда всему, что ее окружало. По наружности—это было болѣзненное, молчаливое, забитое существо, никогда не улыбавшееся, ко всему равнодушное: „холодная англичанка“, какъ прозвалъ ее одно время бойкій кузенъ. Но въ душѣ у нея совершалась упорная, мучительная внутренняя работа. Воображеніе дополняло то, чего недоставало въ жизни; мало-по-малу дѣвочка создала себѣ свой внутренній міръ, привыкла имъ довольствоваться и вводила въ него только самыхъ близкихъ людей. Весь запасъ сердечной теплоты, которую не на что было расходовать, она внесла въ свое отношеніе къ религіи. Очень рано поэтому религія перестала быть для нея простымъ обрядомъ и сдѣлалась средоточіемъ всѣхъ помысловъ, всѣхъ движеній ея сердца. Это была единственная область, въ которой оффиціальныя обязанности дѣвочки совпадали съ ея душевными потребностями; немудрено, что она отдалась исполненію этихъ обязанностей съ горячностью, которая озадачивала и даже шокировала ея покровителей. „Съ тѣхъ поръ, какъ помню себя,—пишетъ она въ 1838 г., —я была чрезвычайно богомольна, не смотря на то, что мнѣ не хотѣлось вытверживать молитвъ наизусть, когда приказывали, не хотѣлось по порядку креститься и кланяться. Лѣтъ 13—14 молитва моя была уже совершенно безсловесна, безжеланна;... слезы лились рѣкой, я обращала взоръ къ Нему, но уста молчали. Я не находила, не знала, чего просить *себѣ* и на что, *я жила Имъ и ждала Его*, настолько, насколько могла тогда обнять душа“. Даже во снѣ продолжалось иногда это состояніе религіознаго экстаза и облекалось въ конкретныя формы. Десятилѣтнимъ ребенкомъ, напр., Наташа видитъ сонъ: она одна среди поля въ маленькой тѣсной хижинѣ. Ей страшно, она чего-то ждетъ и смотритъ въ окошко. Вдругъ слышенъ голосъ: идетъ Спаситель. И дѣйствительно, Спаситель,—„такой, какъ пишется“,—приближается къ ней въ сіяніи, онъ ее благословляетъ и самъ передъ ней преклоняется; ей легко и весело, и она просыпается. И на-яву она начинаетъ грезить о комъ-то, кто придетъ и освѣтитъ сіяніемъ ея жизнь. „Найти существо, въ которомъ бы все носило печать Создателя, печать яркую, не стертую землею, душу, достойную вполнѣ быть храмомъ божества—однимъ словомъ, существо, которому бы я не видала подобныхъ,—вотъ единственное желаніе, которое я имѣла съ 14 лѣтъ“. Читателю припоминается что-то знакомое при сопоставленіи этихъ цитатъ. Я помогу ему: передъ нами героиня *Le Rêve*, перенесенная изъ обстановки готическаго храма и средневѣковыхъ мистическихъ вѣяній въ захолустную Москву двадцатыхъ годовъ.

Ученіе Наташи велось очень плохо и, такъ же какъ двоюродный

братъ, она усвоивала изъ него только то, что подходило къ ея настроенію. Въ то время, какъ учителя Герцена знакомили его съ запрященнымъ Пушкинымъ и съ декабристами, съ Дантономъ и Робеспьеромъ, отецъ Павелъ развивалъ въ Наташѣ вкусъ къ религіозному мистицизму. Это былъ старый дьяконъ, бѣднякъ, обремененный семьей, но сохранившій полное равнодушіе къ благамъ міра сего. Въ домѣ княгини его считали немного полоумнымъ и побаивались его вліянія на Наташу. Еще незадолго до ея замужества высказывалось опасеніе, какъ бы онъ не увлекъ ее въ монастырь. Для Наташи это былъ посланникъ изъ другого міра, родного ея душѣ; по цѣлымъ часамъ она заслушивалась его вдохновенныхъ рѣчей, уносившихъ ее далеко отъ окружавшей прозы и мелочей жизни. Въ этой напряженной внутренней жизни заключалась разгадка ея кажущейся апатіи и равнодушія ко всему „внѣшнему“.

Вліяніе религіозно - восторженнаго отца Павла скоро осложнилось другимъ вліяніемъ — романтически - восторженной институтки, приглашенной въ учительницы къ подраставшей Наташѣ. Живая, увлекающаяся, Эмилія Аксбергъ мечтала совсѣмъ не о небесныхъ радостяхъ, и монастырь представлялся ей вовсе не ступенью къ высшей жизни, а развѣ только могилой неудачной любви. О любви она и заговорила съ своей молодой ученицей, и при томъ о любви весьма реальной, потому что предметомъ ея служилъ Герценъ. Это было лучшимъ способомъ постепенно открыть глаза Наташѣ на ея собственную сердечную тайну. Когда ей было только девять лѣтъ, четырнадцатилѣтній кузенъ подарилъ ей Священную Исторію, написавъ на первомъ листѣ: „милой сестрицѣ въ знакъ памяти“. „Ко мнѣ ходилъ діаконъ (извѣстный намъ о. Павелъ),—разсказываетъ Наташа о послѣдствіяхъ этого подарка;—тутъ же я и начала каждый урокъ читать съ нимъ (эту Священную Исторію), и непременно посмотрю на первый листокъ. Потомъ Езоповы басни, и тамъ „милой сестрицѣ“—и тамъ глядѣла, не наглядѣлась на эту подпись, потому что меня никто не звалъ ни сестрой, ни милой. Эта подпись смягчала и страхъ, который я имѣла къ тебѣ; повѣришь ли, больше всѣхъ на свѣтѣ боялась и стыдилась (тебя)“. Естественно, что дѣвочка жадно прислушивалась къ разсказамъ о братѣ и горячо привязалась къ „большой кузинѣ“ Танѣ, которая сдѣлалась для нея источникомъ всѣхъ свѣдѣній о томъ, „что говоритъ и какъ думаетъ Александръ Ивановичъ“. Но скоро Татьяна Петровна вышла замужъ и уѣхала изъ Москвы; въ этотъ моментъ явилась Эмилія, которая совсѣмъ уже иначе рѣшалась мечтать объ Александрѣ. „Сначала она испугала меня,—пишетъ Наташа,—

потомъ я увидѣла въ ней также поклонницу твою еще до меня; съ этимъ счастьемъ не могло тогда ничто сравниться. Классы наши, бесѣды, прогулки, все это начиналось и кончалось тобою. Потому-то я ничему и не выучилась, что учила только тебя. Бывало, ночь цѣлую насквозь мы проведемъ съ ней, не спавши, говоря только о тебѣ. Легко представить себѣ тему этихъ долгихъ бесѣдъ. Пылкая институтка то мечтала о себѣ, то великодушно уступала Александра смущенной ученицѣ. О дѣйствіи этихъ разговоровъ тоже не трудно догадаться. Нѣсколько времени спустя Эмилиа писала уже своей молодой подругѣ: „Наташа, ты *любишь* Александра, я давно говорила, что твое чувство къ нему выше дружбы, теперь это ясно. Будь счастлива!“ „Прощай, когда такъ, Emilie,—ты не понимаешь меня, спрячу мою святыню. мнѣ больно, когда называютъ ее обыкновеннымъ, пошлымъ именемъ любви... И какъ она могла настолько пасть, чтобы мое чувство, эту высокую дружбу къ брату, дружбу, изъ которой я не хочу ни капли удѣлить никому на свѣтѣ, которой нѣтъ подобной на землѣ,—а она называется любовью! Какая глупость,—я слыхала и читала о любви, насколько выше мое чувство этой любви! Я никогда не буду любить: никогда не пойду замужъ,—оттого, что Александръ мнѣ братъ, что мое чувство—дружба“. Такъ размышляла Наташа и настойчиво „принялась всѣмъ на свѣтѣ увѣрять и доказывать *дружбу*“. „Не помогало“,—прибавляетъ она тутъ же.

Какъ видимъ, дѣтскіе годы Наташи развили въ ней преимущественно потребности сердца; потребности эти удовлетворялись религіей и тѣмъ, что она называла дружбой. Подводя итоги своему воспитанію, она писала за два мѣсяца до свадьбы: „Друзья мнѣ замѣнили все то, что составляетъ жизнь, отъ азбуки до перваго шага въ свѣтѣ. Мнѣ было все чуждо, кромѣ чувства. Другіе учили буквы, я учила сердце, тѣ учили памятью, я учила душою, и внутренній міръ ширился; другіе, выходя изъ школы, вступаютъ въ залу Благороднаго Собранія; я—прямо изъ теплыхъ объятій дружбы перешла въ твои, Александръ“.

Сравнивъ эти итоги съ итогами развитія Герцена, мы найдемъ полнѣйшій контрастъ. Въ этомъ контрастѣ заключается объясненіе всѣхъ послѣдующихъ отношеній обоихъ кузеновъ. Прежде чѣмъ пойти дальше, мы еще разъ резюмируемъ его словами Герцена.

„Вотъ юноша—пылкій пламенный. Огромный гипподромъ открытъ передъ нимъ, онъ полонъ надеждъ, силенъ какими-то пророчествами, увлеченъ дикими страстями, которыя еще не привыкли тѣсниться, скрываться въ груди,—гордъ, независимъ, ничему не покорится, все хочетъ себѣ покорить, самолюбивъ. Слава—его цѣль; міръ идей—его

міръ. Чтò можетъ этого юношу покорить, обуздать? Несчастія,—онъ ихъ принимаетъ какъ средство закалить душу; счастье—это дань ему, онъ его принимаетъ какъ заслуженное“.

„При самомъ началѣ юношества встрѣчаетъ онъ ребенка, оставленнаго всѣми, несчастнаго, котораго первое воспоминаніе—гробъ, котораго первое впечатлѣніе—гнѣтъ постороннихъ людей. Онъ его встрѣчаетъ со слезою на глазахъ, въ траурномъ платьѣ. И юноша проходитъ, страсти не дозволили ему видѣть ангела въ этомъ ребенкѣ... Кто скажетъ, что этому ребенку предоставлено будетъ пересоздать юношѣ?“

### III.

Пересоздать Герцена любовью—до этого было еще далеко въ первой половинѣ тридцатыхъ годовъ. „Тогда еще любовь не могла проникнуть сквозь тройную броню—гордости, славы и общихъ идей“, замѣчаетъ самъ Герценъ. Въ 1833 году онъ писалъ Огареву: „Любовь меня не поглотитъ; это занятіе пустого мѣста въ сердцѣ; идеи со мной, идеи—я“. Такая декларация слишкомъ противорѣчила и мягкому темпераменту Огарева и романтическому кодексу времени. Огаревъ отвѣчаетъ: „Герценъ, ты или шутишь, или не понимаешь ни любви, ни самого себя. Вникни въ идею этого слова—любовь. Если она и поглотитъ тебя, то не уничтожитъ ничего благороднаго; она очиститъ тебя, какъ жрецы очищали жертвы, которыя готовились богу“. Это возраженіе не уничтожило, однако, настроенія Герцена; еще въ 1835 году, въ началѣ своей переписки съ Наташей, онъ пишетъ ей (по поводу любви Эмилиі къ его пріятелю Сатину): „у него душа не моя,—онъ можетъ быть счастливъ въ тѣснотѣ семейнаго круга, а мнѣ, мнѣ нуженъ просторъ“.

Нужно было, чтобы изъ этого взгляда, т. е. изъ отношеній къ женщинамъ, бывшихъ его послѣдствіемъ, вытекъ цѣлый рядъ поступковъ, изъ которыхъ каждый легъ тяжелымъ камнемъ на совѣсти Герцена: тогда только самоувѣренность покинула Герцена, и ему пришлось, для облегченія нравственныхъ терзаній, ухватиться за соломинку, протянутую ему „ребенкомъ“. Случай устраивалъ такъ, что любовь Наташи неожиданно являлась на выручку въ моменты самыхъ тяжелыхъ душевныхъ коллизій. Вотъ та причина, по которой Герценъ „склонялся болѣе и болѣе“ передъ любовью Наташи и „наконецъ палъ на колѣни передъ ея высотой“.

Первый изъ этихъ поступковъ прошелъ для Герцена довольно

легко, — „едва оцарапав“, чтобы выразиться его же словами, сказанными по другому поводу. Среди довольно разсѣянной жизни, „нечистой душой“, онъ обратилъ вниманіе на сестру одного изъ своихъ друзей. Она тосковала по жениху, онъ не могъ отказать себѣ въ удовольствіи сдѣлаться утѣшителемъ, заставилъ ее забыть жениха, увлекся сердечными бесѣдами и довелъ ее до признанія. Потомъ онъ охладѣлъ, она не воздержалась отъ упрековъ, онъ сталъ ею тяготиться. Кузина Таня доказывала, что разрывъ разобьетъ сердце молодой дѣвушки; Герценъ возражалъ, что было бы бессмысленно рѣшиться на бракъ безъ любви. Въ дурномъ расположеніи духа онъ встрѣтился, вскорѣ послѣ ареста Огарева и наканунѣ своего собственнаго ареста, съ Наташей, и тутъ въ первый разъ убѣдился, къ своему удивленію, что можетъ найти у нея помощь. Правда, она отсылала его за утѣшеніемъ къ небу, до котораго ему тогда было еще далеко, и приписывала его настроеніе аресту Огарева, что было только отчасти вѣрно. Но главное, Наташа оказалась не флегматичной и не холодной, какою онъ представлялъ ее себѣ раньше, и горячо поддержала его своимъ сочувствіемъ. Въ то же самое время Таня его осуждала, Огаревъ сидѣлъ въ тюрьмѣ, а больше никого не было близкихъ. Это была, конечно, еще не развязка; о развязкѣ позаботились обстоятельства. „Я обрадовался, когда меня взяли— писалъ онъ Наташѣ спустя полтора года изъ Вятки,—думая, что разлука заставитъ ее забыть (меня)“. Этотъ расчетъ, по свидѣтельству Т. П. Пасекъ, не оправдался. „Съ разбитой жизнью, она тихо догорала, отдавшись одной религіи... она осталась вѣрна воспоминанію, а, можетъ быть, и чувству“. Самъ Герценъ сперва колебался между самообвиненіемъ и самооправданіемъ. „Развѣ я виноватъ, что ошибся, принявъ неопредѣленное чувство любви за любовь къ ней? Развѣ я виноватъ, что она такъ далека отъ моего идеала?“ Съ послѣднимъ Наташа была безусловно согласна: кто же могъ быть близокъ къ идеалу ея Александра? Но тогда Герценъ начиналъ обвинять себя. „Нѣтъ, я неправъ,—писалъ онъ ей,—ибо ты не знаешь всѣхъ обстоятельствъ. Я былъ далекъ отъ обмана; но я видѣлъ, что она еще не удовлетворяетъ тому требованію, которое я дѣлаю существу, съ конимъ я могъ бы слить свою жизнь. Зачѣмъ же я увлекъ ее? Зачѣмъ не остановилъ, прежде нежели она, убѣжденная въ моей любви, сказала, что она любитъ меня? Можетъ въ этомъ участвовало самолюбіе?“ Впрочемъ, когда Герценъ дѣлалъ эти признанія, съ нимъ происходили уже новыя событія, въ которыхъ признаться было труднѣе. Передъ важностью этихъ свѣжихъ событій поблѣднѣли и стерлись воспоминанія прошлаго. Годъ черезъ два Герценъ уже смѣлѣе отзывался о своемъ увлеченіи. „Тутъ,



собственно, дурного ничего нѣтъ!.. Это — юношеская выходка, это — потребность любви, принимающая плоть въ уродливомъ опытѣ... Я не обманывалъ ее, я обманывалъ себя... Она прежде любила кого-то съ усами, потомъ меня безъ усовъ; есть надежда, что теперь любить третьяго... (Всего) страннѣе, какъ могъ я думать объ этой бѣлокуренькой дѣвочкѣ, знавши тебя“. Эти обидныя строки непохожи на поэтическую страницу, посвященную воспоминанію о „Гастанѣ“ въ „Быломъ и Думахъ“... Время не вывѣтрило еще изъ нихъ всего раздраженія, вызваннаго въ душѣ Герцена сознаніемъ собственной виновности.

Девять мѣсяцевъ тюремнаго заключенія закрѣпили у Герцена впечатлѣніе, произведенное Наташей наканунѣ ареста. „Это лучшая эпоха моей жизни, — писалъ онъ изъ Вятки, — она была горька для моихъ друзей, но я былъ счастливъ... Тамъ я былъ высокъ и благороденъ... твердо переносилъ все и... твердо выдержалъ искушенія...“ Онъ не имѣлъ теперь поводовъ упрекать себя за „развратъ, несовѣсть порочный“ только потому, что „не былъ холоднымъ“. Исторія его любви развязывалась сама собою. Онъ успѣлъ узнать, какое мѣсто занимаетъ въ сердцѣ двоюродной сестры, которую считалъ прежде ребенкомъ. Сперва онъ былъ тронутъ, потомъ заинтересовался ею. Такимъ образомъ, къ слѣдующему свиданью, наканунѣ ссылки (9 апрѣля), онъ былъ уже подготовленъ, и оно сразу сократило разстояніе между нимъ и Наташей. Онъ не могъ не замѣтить, какое напряженное чувство Наташа внесла въ это послѣднее свиданье передъ долгой разлукой. „Ты правду пишешь, — писалъ онъ ей мѣсяць спустя, — что въ послѣднее свиданье ты, забывъ говорить, высказала все. Да, Наташа, я все понималъ, — и на что были слова. Можетъ, не все сказала бы ты, можетъ, они ослабили бы то, что мы понимали тою высшею симпатіей, тою гармоніей душъ, которая такъ сблизила наши существованія“. „Я все понималъ“, — чего только не могли значить эти слова для Наташи? Въ сущности, это значило, какъ выразился Герценъ почти три года спустя: „я былъ увѣренъ въ твоей любви, прежде нежели ты сказала“.

Впечатлѣніе, произведенное на Герцена, было сильно, но оказалось очень непрочнымъ. Въ Вяткѣ потянулася опять старая жизнь. „Душа, натянутая 9 мѣсяцевъ, опустилась“, и Герценъ снова получилъ основаніе себя упрекать. По цѣлымъ мѣсяцамъ Наташѣ приходилось тщетно ждать писемъ изъ Вятки. Наконецъ, Герценъ кончилъ „эту оргію нѣсколькихъ мѣсяцевъ преступленіемъ“, и „преступленіе“, какъ это ни странно, рѣшило судьбу его отношеній къ Наташѣ. Дѣло въ томъ, что онъ опять почувствовалъ живѣйшую потребность въ ея чувствѣ, какъ въ противоядіи противъ неудовлетворившихъ его отношеній.

„Здѣсь есть одна премиленькая дама,—писалъ Герценъ Наташѣ осенью 1835 года,—а мужъ ея больной старикъ, она сама здѣсь чужая, и въ ней что-то томное, милое,—словомъ, довольно имѣеть качествъ, чтобы быть героиней маленькаго романа въ Вяткѣ, — романа, коего авторъ честь имѣеть пребыть, заочно цѣлуя тебя“. Мало-по-малу, „героиня маленькаго романа выросла въ большое угрызеніе совѣсти“, — такое, какія Герценъ не привыкъ испытывать раньше. Побѣда далась слишкомъ легко, чтобы Герценъ успѣлъ узнать и оцѣнить душевныя качества отдавшей ему женщины. Онъ узналъ ихъ позже, по той широтѣ чувства, съ какой она перенесла разрывъ. Тогда сильнѣе заговорила и совѣсть. На первый разъ онъ испыталъ только острое чувство неудовлетворенности. „Опостылѣли мнѣ эти объятія, которыя сегодня обнимаютъ одного, а завтра другого, гадокъ сталъ поцѣлуй губъ, которыя еще не простыли отъ вчерашнихъ поцѣлуевъ“, — такъ писалъ Герценъ Наташѣ уже въ началѣ декабря 1835 года, не открывая еще ей вполнѣ своей новой тайны. Въ этомъ настроеніи надо искать причины того, что его чувство къ сестрѣ, остановившееся на точкѣ замерзанія или даже увядшее послѣ 9-го апрѣля, вдругъ начинаетъ развиваться неровными и, какъ онъ самъ выразился, „судорожными“ скачками. 12-го октября онъ рассказываетъ Наташѣ свой сонъ, въ которомъ вятскій пріятель сомнѣвается, что она ему сестра и называетъ его „дружбу“ „однимъ обманомъ себя и другихъ“. Черезъ день у него вырываются, при сильнѣйшемъ возбужденіи, „сумасшедшія“ рѣчи. „Я дошелъ до величайшей нелѣпости. Любить—можно ли жить съ моею душою, съ моимъ бѣшенствомъ безъ любви? Любить—стало быть. Но мысль соединить свою жизнь съ жизнью женщины обливаетъ меня холодомъ. Понимаешь ли ты глупость любви, которая не ищетъ полнаго обладанія предметомъ своимъ? Это чортъ знаетъ что! Вотъ тутъ сейчасъ и откроется нелѣпость, до которой я дошелъ: есть среднее чувство между земной любовью и дружбой“. И затѣмъ, черезъ нѣсколько строкъ, онъ въ упоръ ставитъ своей Наташѣ вопросъ: „Вѣришь ли ты этому чувству между любовью и дружбой? Еще болѣе, я сдѣлаю вопросъ страшный. Оттого, что я теперь, въ сію минуту, безумный, иначе онъ не сорвался бы у меня съ языка. Вѣришь ли ты, что чувство, которое ты имѣешь ко мнѣ, одна дружба? Вѣришь ли ты, что чувство, которое я имѣю къ тебѣ, одна дружба? Я не вѣрю“.

Каковъ же былъ отвѣтъ Наташи и какъ у нея перешла „дружба“ въ „любовь“? „Слава Богу, — пишетъ Александръ, получивши этотъ отвѣтъ,—твоя душа такъ высока и чиста, что она не поняла *вполнѣ* (моего безумнаго письма)“. Дѣйствительно, Наташа поняла это письмо



А. И. Герценъ.



Тит. Н. Осмо, Нотамтская, 13.



по-своему. Она поняла, что въ немъ рѣчь идетъ о двухъ совѣсахъ разныхъ вещахъ: во-первыхъ, Герценъ говоритъ о необходимости любви *для себя*, а во-вторыхъ, спрашиваетъ ее о силѣ и глубинѣ ея чувства. На первое она напоминаетъ ему его прежнія выраженія въ письмахъ: „Нѣтъ, любить я не долженъ; это исковеркаетъ меня всего“... Я очень боюсь этого чувства, оно либо потухнетъ, либо сожжетъ меня“. „Прочитавъ это,—прибавляетъ она,—я еще болѣе склонилась передъ тобою, ты еще выше сталъ,—что за душа! До какой степени самоотверженіе! Съ твоимъ огненнымъ характеромъ... отдать себя вовсе человѣчеству. побѣдить страсти, заглушить... голосъ сердца!“ Теперь ей становится страшно за Александра. „Ты забылъ, что ты уже не свой... нѣтъ, погоди любить, мой Александръ, докончи начатое тобою“. Немного спустя она готова примириться и съ любовью, но все еще не доходитъ до мысли, что это—любовь *къ ней*. „Люби, люби, плыви по морю любви... можетъ, волны его вознесутъ корабль твой къ небесамъ!.. Приди иногда взглянуть на чистыя, безмятежныя струи ручья... прислушайся къ журчанію его, ты узнаешь голосъ знакомый, родной, голосъ твоего друга, твоей Наташи“. На второй вопросъ, какъ глубоко ея чувство, она отвѣчаетъ смѣло, безъ колебаній, безъ страха; она только удивляется, что Александръ точно не вѣритъ ея чувству, точно боится, что она не выдержать экзамена. „Вѣрую, вѣрую, что насъ съ тобою соединяетъ дружба, дружба самая высокая, которой нѣтъ примѣра... Ежели это чувство болѣе, выше дружбы, я не умѣю назвать его, но вѣрю ему“... „Да что же такое любовь? Неужели это выше того, какъ я люблю тебя, неужели идеалъ любви можетъ быть прекраснѣе тебя, неужели я могу любить болѣе?.. нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!“ „Въ душѣ моей одно чувство выше любви къ тебѣ—любовь къ Богу; но эти два чувства такъ тѣсны, такъ соединены между собою; безъ любви къ Богу я не могу любить тебя; безъ любви къ тебѣ—не могу любить Бога. Если дружба не можетъ такъ сблизить два существа, ни подняться такъ высоко,—пусть это будетъ чувство между землею любовью и дружбой“.

Можно было понимать это какъ угодно. Можно было понять и буквально, что Наташа предоставляетъ Александру плавать по „морю любви“, сама оставаясь на берегу. Мечтала же она о „соединеніи въ небѣ“. На землѣ это развязывало руки. Цѣлый мѣсяцъ спустя послѣ этой переписки, въ самомъ концѣ года, Герценъ утѣшалъ Наташу своимъ портретомъ, писалъ ей, что разлука ихъ не кончится Вяткой и гдѣ-то въ отдаленной перспективѣ мечталъ, „когда все пройдетъ“, — склонить свою голову на грудь Наташи, „ежели она не будетъ принадлежать другому“ („Фу, мерзость какая“,—замѣтилъ самъ Герценъ

по поводу послѣдняго выраженія, перечитавъ его два слишкомъ года спустя). Отвѣтъ Наташи былъ все тотъ же. Ей было все равно, *когда и какъ* совершится земное соединеніе. „Самъ Богъ обручилъ наши души, онъ создалъ насъ другъ для друга, и если здѣсь намъ суждена разлука, *тамъ*, мой другъ, намъ вѣчное соединеніе,—тамъ, въ отчизнѣ“!

О земномъ соединеніи скоро заговорилъ самъ Герценъ. Чувство его, послѣ новой остановки, снова сдѣлало судорожный скачекъ впередъ, и опять этотъ скачекъ былъ вызванъ развитіемъ вятскаго романа. 18-го января 1836 года умеръ старый мужъ вятской героини. 15-го января Герценъ пишетъ страстное и рѣшительное письмо Наташѣ. Теперь онъ больше не боится соединить свою жизнь съ жизнью женщины. „Я удрученъ счастьемъ, моя слабая земная грудь едва въ состояніи перенести все блаженство, весь рай, которымъ даришь ты меня. Мы поняли другъ друга! Намъ не нужно, вмѣсто одного чувства, принимать другое. Не дружба, любовь! Я тебя люблю Natalie, люблю ужасно, сильно, насколько душа моя можетъ любить. Ты выполнила мой идеалъ, ты забѣжала требованіямъ моей души... Да, наши души обручены,—да будутъ и жизни наши слиты вмѣстѣ. Вотъ тебѣ моя рука, она твоя, вотъ тебѣ моя клятва,—ея не нарушить ни время, ни обстоятельства“.

Конечно, эта клятва являлась логическимъ выводомъ изъ всего хода переписки, хотя для Наташи въ клятвѣ не было надобности. Она нужна была Александру; едва ли случайно онъ связывалъ себя обѣтомъ въ то самое время, какъ его вятская подруга освобождалась отъ своего. Романъ его не удовлетворилъ; по его словамъ, онъ давно „разглядѣлъ, что это не любовь, что ему такое чувство узко, что отъ него пахнетъ помадой, а не живой розой“. „Тогда-то,—прибавляетъ онъ къ этимъ словамъ,—судорожно требовалъ я себѣ иной любви, и на всѣ эти требованія душа отвѣтила —Наталія“. Этотъ отвѣтъ явился теперь еще болѣе кстатн, чѣмъ въ исторіи съ Гаэтаной. Опираясь на любовь Наташи и на свою клятву. Герценъ приобрѣталъ право писать впоследствии: „Когда умеръ старикъ. я опомнился; тогда поступилъ я какъ честный человѣкъ; я давалъ ей руку друга... много разъ говорилъ довольно ясно о тебѣ, показывалъ браслетъ, медальонъ“. Кто же былъ теперь виноватъ, что „она не умѣла принять“ дружеской руки и дѣлала видъ, что не понимаетъ герценовскихъ намековъ? „Ея взоръ, — рассказываетъ Герценъ позднѣе,—останавливался съ какой-то взысканной пытливостью на мнѣ, будто она ждала чего-то—вопроса... отвѣта... Я молчалъ“...

Мы уже имѣли случай видѣть, что Герценъ неохотно останавли-

вался на самообвиненіи. У него какъ-то всегда находились смягчающія обстоятельства; отъ самообвиненія онъ незамѣтно переходилъ къ самозащитѣ, а затѣмъ и вообще — изъ обороны къ наступленію. Обвинять себя онъ могъ только тогда, когда его прощали и оправдывали. Такъ случилось на этотъ разъ; вотъ причина, почему непривычное для него чувство собственной виновности разрослось теперь до небывалыхъ размѣровъ и причинило ему сильнѣйшія душевныя страданія. „Эта встрѣча, — признавался онъ позднѣе, — проскользнула бы, едва оцарапавъ; надо было, чтобы, какъ *улика*, былъ передъ глазами человѣкъ во всей славѣ, сіяніи, ... и я смирился“. Такимъ образомъ, вятская исторія объясняетъ самому Герцену, какимъ образомъ онъ, сильный, опытный, увѣренный въ себѣ, склонился передъ „ребенкомъ“ и подчинился настроенію Наташи. „Сначала я считалъ себя равнымъ тебѣ, — пишетъ онъ весной 1838 года, — сначала я гордо полагался на свое вліяніе и достоинство (35 и 36 годы), съ того времени ты все росла, и я уже очутился на колѣняхъ, не смѣя стать рядомъ, — и это-то глубокое чувство смиренія передъ ангеломъ преобладаетъ теперь въ каждой строкѣ. Откуда оно? *Вымарай изъ моей жизни исторію Медвѣдовой* (вятской героини) — и любовь далеко не приняла бы религіознаго направленія“.

„Религіозное направленіе“, которому мало-по-малу подчинился Герценъ, было съ самаго начала господствующимъ у Наташи. Любовь Герцена явилась для нея исполненіемъ дѣтскихъ сновъ и дѣвическихъ мечтаній. Любить — значило въ ея глазахъ просто повиноваться Божьей волѣ, предназначившей ее для *Него* („Его“ и „Тебя“ она всегда пишетъ съ большой буквы въ своихъ письмахъ). „Любовь моя не родилась во мнѣ уже на землѣ, нѣтъ; я была рождена съ нею, я принесла ее въ міръ съ собой, она существовала до рожденія моего“. Недаромъ, умирая, отецъ благословилъ малолѣтнюю сироту образомъ св. Александра. Александръ былъ, слѣдовательно, предназначенъ судьбой быть руководителемъ ея на землѣ; опираясь на него, ей суждено было перейти изъ временной жизни въ вѣчную. Вотъ почему она относилась такъ твердо и спокойно ко всѣмъ случайностямъ земной любви. Собственно говоря, все, что было ей нужно, давала ей дружба Александра. „Я чувствовала, что я сестра тебѣ, и благодарила за это Бога... Но Богъ хотѣлъ открыть мнѣ другое небо, хотѣлъ показать, что душа можетъ переносить больше счастья, что нѣтъ границъ блаженству любящимъ его, что любовь выше дружбы... О, мой Александръ, тебѣ знакомъ этотъ рай души, ты слыхалъ пѣснь его, ты самъ пѣвалъ ее, а мнѣ въ первый разъ освѣщаетъ душу его свѣтъ, я — благоговѣю, молюсь, люблю“. Такимъ образомъ, декларацію Александра Наташа приняла съ чувствомъ глубокаго смиренія

и съ сознаніемъ собственного недостатка, — съ тѣмъ сознаніемъ и чувствомъ, которое продиктовало нѣкогда ея любимыя слова: „откуда мнѣ сіе... се раба твоя; буди мнѣ по глаголу твоему“.

Небесное и земное совершенно перемѣшалось теперь въ чувствѣ Наташи. Прежде въ молитвѣ она отогрѣвала душу; теперь вся жизнь сдѣлалась одной непрерывной молитвой, „не сжатой назначеннымъ часомъ, не связанной словомъ“. Религіозные экстазы превратились въ какія-то мистическія видѣнія любви. Портретъ Александра сдѣлался иконой, „животворнымъ образомъ“, передъ которымъ Саша (горничная), повѣренная ея любви, зажигала лампаду подъ праздникъ. Его письма — она называла ихъ „посланія Апостольскія и Твои“. „Со взглядомъ на письмо твое ужъ я поднимаюсь, свѣтлѣю... и потомъ съ каждымъ словомъ свѣтъ увеличивается, съ каждымъ словомъ я выше, выше, наконецъ, все измѣняется, самый воздухъ, окружающій меня, наполняется какою-то святостью, какимъ-то небеснымъ ароматомъ“. И сходить послѣ этихъ минутъ внизъ, къ княгинѣ, — это то же, что съ Сіона возвращаться къ идолопоклонникамъ. Наташа не всегда умѣетъ надѣть личину, часто она и внизу безпричинно улыбается, не слышитъ разговоровъ, не отвѣчаетъ на вопросы; говорить съ людьми кажется ей унижительнымъ, такъ же какъ употреблять пищу.

„Обыкновенная моя жизнь пересоздалась любовью къ тебѣ въ чистѣйшій гимнъ“, — пишетъ Наташа въ августѣ 1836 г. Дѣйствительно, съ середины этого года ея письма проникнуты глубокимъ лиризмомъ, настроены на самый высокій тонъ. „Почти каждое письмо — поэма, — характеризуетъ ихъ Герценъ; — чувство вырывается изъ души стройно, какъ изъ арфы и, главное, ты не чувствуешь, что пѣснь льется. Это такъ естественно въ тебѣ, какъ любовь ко мнѣ“. Вотъ, для примѣра, нѣсколько этихъ стихотвореній въ прозѣ.

„Часто вечеромъ сижу на берегу одна, и думы несутся къ тебѣ, несутся толпою, какъ жаворонки улетаютъ въ зеленые края. Иногда, кажется, ты теперь въ раздумѣ на конѣ, или стрѣлою разсѣкаешь воздухъ, иль, усталый, тихо ѣдешь домой, а дома нѣтъ никого: никто не летитъ тебѣ навстрѣчу, ничьи поцѣлуи не стираютъ пыли съ лица твоего, нѣтъ груди склонить голову... грустно тебѣ, ангелъ мой, грустно! Ну, воображай же за то, что я мыслями, душою лечу къ тебѣ и стираю пыль съ тебя и не смѣюдохнуть, чтобы не помѣшать заснуть тебѣ“...

„Востокъ мой заалѣлъ, и душа блѣднѣла въ твоихъ лучахъ и купалась въ твоемъ сіяніи, и теперь она потонула въ тебѣ, какъ та звѣздочка въ солнцѣ. И что намъ земля, люди, тысяча верстъ, смерть,



когда мы вѣчно вмѣстѣ, вѣчно одна душа, одна любовь, одинъ ангелъ, вѣчно, вѣчно! О божество мое, мой Александръ, вѣришь ли, иныя минуты я готова летѣть на небо, не выдавшись съ тобой на землѣ? Не въ душевнѣйшей кельѣ, не въ земныхъ оковахъ встрѣтить тебя, а чистымъ, небеснымъ ангеломъ и тамъ у Бога уготовать жилище тебѣ!..“

„Вчера, исповѣдавшись священнику, я долго послѣ читала, исповѣдовалась Самому Богу, молилась, молилась... и заснула. Вдругъ такъ ясно и громко говорятъ мнѣ, что ты пріѣхалъ. Лечу, кажется тѣла на мнѣ нѣтъ, такъ легко; и вотъ ты, мой Александръ... На тебѣ былъ видъ просвѣтленный, выражающій цѣлое небо любви... ты простеръ ко мнѣ руки, я бросилась въ твои объятія, какъ во врата небесныя, и легкую, какъ перо, ты взялъ меня на руки и принесъ въ комнату, гдѣ слышалась музыка... Тихо отворила Саша ко мнѣ дверь, но я проснулась, сердце билось громко, часто, небо уже свѣтлѣло, розовая лента перепоясывала лазурь, благовѣстили къ заутрени, и мысль сообщенія со Христомъ обняла все существо мое“...

„Наступаетъ вечеръ—меня беретъ тоска—какъ долго ждать еще утра... Восходитъ солнце—сердце замираетъ, отъ нетерпѣнія готова плакать; скоро-ль увижу конецъ дня. И такъ медленно, медленно переступаетъ время, и я все жду то утра, чтобы *ждать* вечера, то вечера, чтобы *ждать* утра!.. Страшно смотрѣть на эту сцену, на хлопоты, на всѣ дѣйствія людей,—казалось бы, все должно умолкнуть и съ благоговѣйнымъ трепетомъ ждать твоего пріѣзда. Люди, люди—вы всегда люди“...

„Сколько передумаешь, перечувствуешь, и въ одинъ часъ сколько пролетитъ тайныхъ невѣдомыхъ міровъ, прекрасныхъ, дивныхъ;—а дни цѣлые проходятъ безъ того, чтобы перелить тебѣ хоть одну мечту, и всѣ онѣ отлетаютъ безъ отзыва опять туда, къ своему источнику. Хотя бы и люди дали просторъ писать <sup>1)</sup>, но развѣ мертвое слово, которое, Богъ знаетъ, въ чьихъ не было устахъ, кѣмъ не было писано, — есть сосудъ, могущій вмѣстить столько жизни и свѣта? Что предприметъ человѣчество, чтобы выразить *любовь*?.. Ангелъ мой! я забыла писать. Гдѣ я сижу, оттуда не видно ничего, кромѣ неба и чуть-чуть краевъ кровель домовъ. Наши куда-то уѣхали, передо мною твой портретъ.— Что предприметъ человѣчество, чтобы выразить любовь? эта мысль такъ заняла меня, я положила перо, черты твои слились съ небомъ, съ солнцемъ... забудь, забудь хоть на минуту все и представь себѣ, во-

<sup>1)</sup> Корреспонденція велась тайно и была обставлена всяческими затрудненіями.

образы... но какъ же назвать это, не умѣю выразить, Александръ, и слова такого нѣтъ... но, все равно, какъ ни скажу, ты поймешь меня! Итакъ, все забудь, куда не смотри кромѣ вотъ на это небо, на солнце... что прекраснѣе ихъ въ природѣ? Вообрази теперь, какъ черты твои, изображенные карандашемъ на бумагѣ, отдѣляются... свѣтлѣютъ... горять... горять огнемъ святой любви; о, какъ горять... сливаются съ голубымъ свѣтомъ, съ огненными лучами... и вотъ, ты — небо, ты — солнце; солнце и небо—твой образъ!.. вся природа—твой ликъ, огненный, лучезарный. Я не могла сносить свѣта, закрыла глаза; не могла выносить своего ничтожества — заплакала, и эти капли слезъ еще не высохли; вотъ онѣ—на полу.—Прощай, ѣдутъ“.

Можно было бы безъ конца выписывать цѣлыми страницами эти грезы, сливающія въ одно небо и землю, любовь и молитву, напоминающія тѣ иллюстраціи къ дантовскому „раю“, въ которыхъ ангелы рѣютъ крылами въ безпредѣльномъ воздушномъ пространствѣ, полномъ сіянія и блеска, — гдѣ даже тѣнь есть только меньшая степень свѣта.

„Когда Данте терялся въ обыкновенной жизни, ему явился Виргилій и рядомъ бѣдствій повелъ его въ чистилище; тамъ слетѣла Беатриче и повела его въ рай. Вотъ моя исторія, вотъ Огаревъ и ты“. Такъ писалъ Герценъ въ сентябрѣ 1836 года, въ началѣ того перерожденія, на которое онъ надѣялся при помощи любви. Теперь намъ пора познакомиться съ тѣмъ, въ какой степени это перерожденіе совершилось.

#### IV.

„Тройная броня—славы, гордости и общихъ идей“ все еще охраняла Герцена въ началѣ переписки съ Наташей отъ подчиненія непосредственному чувству. Какъ таяла *гордость* передъ уроками жизни, это мы отчасти уже знаемъ. Остается узнать, что случилось съ мечтами о *славѣ* и съ прежнимъ строемъ *общихъ идей*.

Очень долго Герценъ стоитъ на прежней, извѣстной намъ точкѣ зрѣнія. „Твоя жизнь,—пишетъ онъ Наташѣ въ октябрѣ 1836 года,—нашла себѣ цѣль, предѣлъ, твоя жизнь выполнила весь земной кругъ, въ моихъ объятіяхъ должно исчезнуть твое отдѣльное существованіе отъ меня, въ моей любви потонуть должны всѣ потребности, всѣ мысли... Но жизнь моя еще неполна... Сверхъ частной жизни на мнѣ лежитъ обязанность жизни всеобщей, универсальной, дѣятельности во благо человѣчества, и *мнѣ одного чувства было бы мало*“. И въ ян-

варѣ 1838 г. та же параллель выражена въ еще болѣе рѣзкой формѣ. „Что жизнь дѣвы безъ любви? Молитва или любовь, третьяго *вамъ* нѣтъ. Мужчинѣ поприще—слава“. И Наташа съ нимъ совершенно согласна. „(Въ тебѣ) вся моя наука, все образованіе, вся жизнь... Я ничего не знаю, ничего не видала, кромѣ тебя“. „У меня одинъ талантъ—любовь“; „въ письмахъ моихъ все одно и то же,—только то у меня и есть“. *Gehorsam ist des Weibes Pflicht*—вспоминается ей въ горькую минуту; и Александръ, сообразно съ этимъ, въ рѣшительныя минуты посылаетъ ей „приказанія“. Въ его глазахъ она—„прелестное дитя“, которому „не дано плодовъ дерева добра и зла“, которое незнакомо съ „страданіемъ отъ мысли“. Когда онъ строитъ проекты путешествія вдвоемъ,—ей онъ оставляетъ наслажденіе природой, себѣ—наблюденія надъ людьми. Когда онъ составляетъ проектъ ея дальнѣйшаго образованія, въ программу входятъ поэзія и религія, романы и исторія. „Пуще всего—не науки“,—прибавляетъ онъ.—„Богъ съ ними; всѣ онѣ сбиваются на анатомію и рѣжутъ трупъ природы; науки холодны и худо идутъ къ идеальной жизни, которой я хочу тебѣ“.

Мало-по-малу это сознаніе умственного превосходства уступаетъ сознанію нравственной несостоятельности. Все враждебнѣе Герценъ начинаетъ относиться къ своему „холодному воспитанію“, направившему всю страсть души на теорію и науку, развившему умъ, но не образовавшему сердца. „Благодаря высокому направленію, которое дала твоя любовь моей душѣ,—пишетъ онъ въ іюлѣ 1837 года,—я всякое чувство ставлю гораздо выше мысли и ума“. Теперь и слава, какъ торжество ума, кажется ему недостойной задачей жизни, и онъ готовъ пожертвовать ею чувству. „Въ сторону всѣ прочія, прежнія мечты подъ клеймомъ самолюбія и эгоизма. Ты мнѣ нужна—больше ничего не нужно. Скажи, чѣмъ ты хочешь меня,—тѣмъ я и сдѣлаюсь. Хочешь ли славы—я приобрѣту ее и брошу къ твоимъ ногамъ, хочешь ли, чтобы весь родъ человѣческій не зналъ, что я существую, чтобы мое существованіе все было для одной тебя,—возьми его, оно твое“. Вотъ отвѣтъ Наташи на это письмо. „Ни твоя слава, ни твое отшельничество не нужны мнѣ; все равно для меня, царь ты или пастухъ—выбирай самъ“. Но выборъ не такъ легокъ, какъ это сгоряча показалось Герцену; и тотчасъ же начинается въ немъ борьба. „Странная вещь,—замѣчаетъ онъ мѣсяцъ спустя:—душа человѣческая похожа на маятникъ, сдѣланный изъ разныхъ металловъ, которые влекутъ его по разнымъ направленіямъ въ одно и то же время... Одинъ элементъ моей души требуетъ поэзіи, гармоніи, т. е. тебя и больше ничего не требуетъ, и голосъ его сладокъ, чистъ... Но рядомъ съ этимъ голосомъ — другой, отъ котораго, сколько я самъ себя

ни увѣрю, не могу отдѣлаться и который силенъ... онъ требуетъ власти, силы, обширный кругъ дѣйствія. Бѣда, кто въ ранней юности былъ такъ неостороженъ, что пустилъ этотъ голосъ въ свою душу, когда онъ незамѣтно похвалами товарищей, школьными успѣхами прокрадывался въ нее... Малѣйшій успѣхъ—это проклятое чувство „я оцѣненъ“ будить его, опять раздаются литавры и пламенная фантазія чертитъ вдали воздушные замки... Ну, молчи же голосъ самолюбія... отъ тебя душа трепещетъ и волнуется болѣзненно“. И опять Наташа первая идетъ навстрѣчу этому чувству, признаетъ законность этого голоса. „О, Александръ, вижу, со всею высотой и святостью Наташи — тебѣ мало Наташи. Мало; что хочешь, говори. Боюсь я, будешь ли ты вполнѣ счастливъ, когда и разлуки не будетъ, когда и голову свою ты сложиши ко мнѣ на грудь“. И она готова уничтожиться, „исчезнуть“, чтобы не стоять на пути Александра. Она первая находитъ, что быть чиновникомъ—для него слишкомъ обыкновенно, что онъ долженъ писать, она убѣждена въ великомъ значеніи его будущихъ литературныхъ трудовъ. Такимъ образомъ, она наводитъ Герцена на болѣе спокойную оцѣнку его призванія. „Неужели это одно броженіе буйной, неугомонной гордости? Нѣтъ ли чего-нибудь высшаго,—не есть ли это сознаніе силы, не есть ли и это голосъ Провидѣнія, повелѣвающаго быть дѣятельнымъ звеномъ... Вѣдь есть же люди, которыхъ не манитъ обширная дѣятельность, оттого, что они не могутъ отпечатать свою физиономію на обстоятельствахъ, оттого что и физиономіи у нихъ своей нѣтъ... Есть люди высокіе, можетъ быть, самые высочайшіе изъ людей, которые внутри своей души находятъ міръ жизни и дѣятельности, въ созерцаніи проводятъ жизнь, и эти-то созерцанія развиваются теоріями, пересоздающими понятія человѣчества... Къ этимъ людямъ принадлежитъ Огаревъ, *но не я*. Во мнѣ съ ребячества поселилась огненная дѣятельность, дѣятельность внѣ себя. Отвлеченной мыслью я не достигну высоты, я это чувствую; но могу представить себѣ возможность большаго круга, которому бы я могъ сообщить огонь души. Какой это кругъ, все равно, лишь бы не ученый; мертвая буква и живое слово раздѣлены цѣлымъ моремъ. Разумѣется, я подъ ученымъ занятіемъ не понимаю литературы. Однако, и въ самой литературной дѣятельности нѣтъ той полноты, которая есть въ практической дѣятельности“. И что же отвѣчаетъ на эти признанія Наташа? „О, дивный, дивный Александръ!.. Нѣтъ, не страшитъ меня буря души твоей; не сись, не сись туда, куда влечетъ тебя ея стремленіе; *ея голосъ ст-ренъ*“...

Проходитъ съ полгода, и Герценъ дѣлаетъ уступку, которой отъ

него не требовала Наташа. За это время изъ Вятки онъ переведенъ былъ во Владиміръ, а изъ Владиміра тайно ѣздилъ въ Москву. Послѣ трехъ лѣтъ разлуки Наташа свидѣлась съ своимъ Александромъ (3-го марта 1838 г.). Едва вернувшись во Владиміръ, весь охваченный впечатлѣніемъ свиданія, Герценъ пишетъ 5-го марта: „Вздоръ мое литературное призваніе, Богъ съ нимъ, писать можно отъ скуки, мое призваніе—ты... О Наташа, что ты сдѣлала со мной, послѣднее свиданіе кончила пересозданіе; возьми же своего Александра, онъ рассчитался со всѣми, онъ весь твой, владѣй имъ, Natalie“... И теперь очередь плакать наступаетъ для Александра... Черезъ мѣсяцъ опять встрѣчаемъ въ его письмѣ: „Еще двѣ огромныя побѣды въ моей душѣ. Во-первыхъ, я равнодушенъ сталъ къ прощенью, Владиміръ, Неаполь,—все равно, ты будешь со мною. Чѣмъ независимѣе человѣкъ можетъ стать отъ людей, тѣмъ выше. Во-вторыхъ, вопросъ, о которомъ я тебѣ писалъ много разъ,—служить или нѣтъ („службу“ Герценъ тогда считалъ необходимымъ средствомъ для „практической дѣятельности“), — вовсе исчезъ; онъ больше, нежели разрѣшился—уничтожился“.

„По мѣрѣ возраста нашего въ мѣрѣ духовномъ, — писала Наташа около того же времени,—мы должны уничтожаться въ здѣшнемъ мѣрѣ: по мѣрѣ увеличенія *тамъ*, должны умаляться *здѣсь*. Потому-то намъ и необходимо отречься отъ всего, что утучняетъ внѣшняго человѣка“. Такимъ образомъ, отреченіе отъ земной славы было, по мысли Наташи, лишь внѣшнимъ признакомъ постепеннаго переселенія на небесную „родину“. Отъ дѣтскихъ лѣтъ эта мечта доживаетъ до самой свадьбы. Четырнадцатилѣтняя дѣвочка обратилась когда-то, подъ вліяніемъ нахлынувшего чувства, къ „большой кузинѣ“ съ неожиданнымъ предложеніемъ: „умремте, Татьяна Петровна“. И двадцатилѣтняя влюбленная проситъ своего жениха: „послушай, умремъ *тогда*, пожалуйста, умремъ, по исполненіи всего; невозможно жить на землѣ“... Кажется, ни одна мысль такъ не проникаетъ всей переписки, не чувствуется такъ за всякимъ словомъ, какъ эта. Когда у ней нѣтъ надежды на свиданіе, она твердитъ стихъ Козлова: „не дождалась, и умерла“. Когда надежда является, она мечтаетъ о томъ, чтобы съ однимъ взглядомъ, съ однимъ долгимъ поцѣлуемъ перейти въ другую жизнь. Дождавшись, наконецъ, свиданія, она переживаетъ минуты недоумѣнія; „Не сонъ ли? нѣтъ... я дождалась, и не умерла... жить ли еще?.. Или ждать еще?.. Да развѣ у Бога есть еще?.. Ты сказалъ „жить“... Если бы ты не сказалъ „жить“, я бы лежала теперь въ гробу“... И, дѣйствительно, она сильно заболѣваетъ. „Они боялись эти дни, что я сойду съ ума, плакали обо мнѣ, умоляли меня ужинать, пить лѣкарство“... И когда рѣшена, наконецъ,

свадьба, эта мечта не уничтожается, а принимает только новую форму.

Въ этомъ вопросѣ Герцену труднѣе было сойтись съ Наташей, чѣмъ въ вопросѣ о славѣ. Онъ не могъ принять первой буквы той аксіомы, на которой она строила свое отношеніе къ жизни, „Твои дѣтскія уста привыкли къ молитвѣ, — писалъ онъ ей весной 1837 года, — ты вдохнула вѣру при первой мысли, можетъ, еще до нея; она тебѣ далась, какъ всему міру, откровеніемъ; ты ее приняла чувствомъ, и это чувство наполнило и мысль, и любовь. Со мною было обратно... До 1834 года у меня не было ни одной религіозной идеи; въ этотъ годъ, съ котораго начинается другая эпоха моей жизни, явилась мысль о Богѣ; что-то неполонъ, недостаточенъ сталъ мнѣ казаться міръ, долженствовавшій вскорѣ грозно наказать меня. Въ тюрьмѣ усилилась эта мысль, потребность евангелія была сильна, со слезами читалъ я его, но не вполне понималъ: доказательствомъ тому „Легенда“ <sup>1)</sup>. Я выразумѣлъ самую легкую часть—практическую нравственность христіанства, а не самое христіанство. Уже здѣсь, въ Вяткѣ, шагнулъ я далѣе, и моя статья „Мысль и Откровеніе“ выразила религіозную фазу гораздо высшую... Но при всемъ томъ—до молитвы далеко“... „Я говѣлъ дурно, разсѣянно,—прибавляетъ Герценъ черезъ нѣсколько дней,—нѣтъ, намъ уже трудно сродниться съ церковными обрядами; все воспитаніе, вся жизнь такъ противоположны этимъ обрядамъ, что рѣдко сердце беретъ въ нихъ участіе“. И Герценъ спокойно подписываетъ свое письмо: „твой до гроба“, не подозревая, что наноситъ этимъ ударъ въ самое сердце Наташи. Только за гробомъ начиналось для нея полное торжество любви. И она съ грустью пишетъ однажды: „Ты постигаешь меня, но это желаніе, это стремленіе туда останется тебѣ чуждо навсегда“.

Дѣйствительно, протестъ противъ загробныхъ фантазій былъ первымъ движеніемъ Герцена. Онъ грозилъ разсориться навсегда съ Эмилией, которая въ 36-мъ году продолжаетъ вести бесѣды 30-го года и желаетъ Наташѣ умереть. Въ октябрѣ 1837 года онъ читаетъ выговоръ по тому же поводу самой Наташѣ. „Мы похожи на дитя, которое, не понимая хорошо слѣдствій, высѣкаетъ огонь надъ бочкой пороха; смотри, какъ легко нѣсколько разъ въ нашей перепискѣ являлось слово смерть, а вѣдь это слово ужасное... Нѣтъ, перестанемъ играть этой чудовищной мыслью“. Но и съ „чудовищной мыслью“ онъ начинаетъ мало-по-малу свыкаться, особенно съ тѣхъ поръ, какъ прини-

<sup>1)</sup> Легенда о св. Теодорѣ напечатана дважды: въ первоначальномъ видѣ въ воспоминаніяхъ Т. П. Пассекъ и въ исправленной редакціи въ *Русской Мысли*, 1881, декабрь.

маеть аксіому, на которой она построена у Наташи. „Я переплавленъ тобою въ другую форму, — пишетъ Герценъ въ февралѣ 1838 г., — ...религіозность твоей любви — вотъ что имѣло такое вліяніе... Поглощающая любовь, я вмѣстѣ поглощала молитву и сдѣлался христіаниномъ“.

Теперь и мысль о смерти перестаетъ казаться Герцену „чудовищной“. Въ письмѣ 11-го октября 1837 г. мы уже встрѣчаемъ уступку взгляду Наташи, хотя и съ оговоркой. „Я боялся прежде смерти, она худо согласовалась съ моими самолюбивыми мечтами, но когда явилась истинная любовь, проникнутая вѣрой, — выше и чище понята была жизнь, и гробъ потерялъ свой ужасъ“. Въ началѣ января 1838 г. въ письмѣ изъ Владиміра онъ уже окончательно усваиваетъ мечту Наташи. „Теперь я весь твой, нѣтъ людей, и они мнѣ не нужны. Я всѣмъ друзьямъ сказалъ прощайте, такъ какъ сказалъ мечтамъ о славѣ, о поприщѣ, о дѣятельности—прощайте... Кончено! Я искалъ великаго, и нашелъ въ тебѣ, я искалъ святого и изящнаго, и нашелъ въ тебѣ. Итакъ, прощай весь міръ... теперь моя жизнь—одна апотеоза Наташи... Великій Боже, въ прахъ повергаюсь, благодарю я Тебя; возьми тогда мою душу въ пѣтѣ лѣтъ, я узналъ Тебя и міръ въ ней... Одинъ поцѣлуй, одинъ... и съ нимъ смерть“. „Да, Александръ,—писала Наташа, прочтя эти торжественныя слова,—ты за полгода не похожъ былъ на теперешняго Александра; не могу тебѣ выразить, что со мною было, какъ я получила отъ тебя письмо отъ 5-го января — оно лучшее изъ всѣхъ... въ немъ ты божественъ, великъ, славенъ, святъ, въ немъ ты мой совершенный Александръ“.

## V.

Мы не поняли бы вполне переворота, совершившагося въ „полгода“ съ Герценомъ, если бы не приняли въ расчетъ внѣшнихъ обстоятельствъ, при которыхъ этотъ переворотъ произошелъ. Назрѣвалъ онъ давно, но совершился окончательно только послѣ перевода во Владиміръ. „Хорошо, что я переведенъ,—признавалъ самъ Герценъ.—Надобно было круто перевернуть мою жизнь“. Возвращеніе изъ Вятки, такъ же какъ и высылка туда, пришлось удивительно кстати. „Выѣхавъ за вятскую заставу, я много земли стряхнулъ съ себя“, пишетъ Герценъ, перебравшись во Владиміръ... „Какъ перемѣнилось наше положеніе съ тѣхъ поръ, какъ я оставилъ Вятку,—замѣчаетъ онъ еще мѣсяцъ спустя,—не только 800 верстами, но 800 обстоятельствами мы стали ближе... Тамъ... я былъ слишкомъ веселъ, и слишкомъ грустенъ; здѣсь я воскресъ“.

Въ послѣднихъ словахъ Герценъ намекаетъ на свой вятскій романъ, который и былъ самымъ главнымъ изъ обстоятельствъ, замедлявшихъ его „возрожденіе“. Дѣло въ томъ, что, оставаясь въ Вяткѣ, онъ никакъ не могъ рѣшиться съ этимъ романомъ покончить: отсюда цѣлый рядъ терзаній, постоянно возраставшихъ и подъ конецъ доведшихъ его до невыносимаго нравственнаго состоянія. Рядъ признаній по этому поводу тянется черезъ всѣ вятскія письма. Въ сентябрѣ 1836 года Герценъ пишетъ: „Правда, съ самой весны она (Медвѣдева) не слыхала отъ меня ни одного слова, которое бы могло ее болѣе завлечь; но и то правда, что она отъ этого страдаетъ, отъ этого больна; она, безъ того столь несчастная, не зная о тебѣ, воображаетъ, что я влюбленъ въ Полину (одну молодую дѣвушку, пріятельницу Герцена въ Вяткѣ). Я думалъ сказать ей о тебѣ прямо, но это все равно, что дать рюмку яда. Вотъ твой идеальный Александръ“. Къ ноябрю преступленіе и наказаніе вырастаютъ въ душѣ Герцена. „Я въ моихъ глазахъ преступникъ, еще хуже—обманщикъ, и это пятно я скоблю съ сердца, а оно непрерывно выступаетъ. Всего хуже, что я не имѣлъ твердости сказать ей прямо о тебѣ. Тысячу разъ я былъ готовъ на это и не могъ. Что же за роль теперь моя—роль того человѣка, котораго ты называешь совершеннымъ, божественнымъ? Выбора нѣтъ: или убить ее однимъ словомъ, или молчаніемъ и полуобманомъ играть подлую роль, выжидая время. Я рѣшился на послѣднее. Тутъ вполне я наказанъ“. Въ слѣдующемъ 1837-мъ году ни факты, ни настроенія не измѣняются. „Вотъ я опять черенъ какъ ночь, вотъ опять темная мгла обняла душу,—встрѣчаемъ въ письмѣ отъ 6-го сентября,—не могу стереть съ памяти этотъ гадкій проступокъ, — и тѣмъ хуже, что, кромѣ раскаянія, не сдѣлано *ни одного шага* къ ея спасенію“.

Наконецъ, въ ноябрѣ наступаетъ кризисъ. Отъ Наташи приходятъ вѣсти, одна другой тревожнѣе. Ее сватаютъ, женихъ торгуется, наконецъ сторговался, готовятъ приданое, возятъ по магазинамъ, заставляютъ сидѣть съ женихомъ. Наташа молчитъ, въ ужасѣ ждетъ прямого вопроса, готовится къ тому, что ее, послѣ отказа, выбросятъ на улицу. Старая княгиня замѣчаетъ по ея адресу, что „тотъ будетъ убійцей, кто ее (княгиню) огорчить“, знакомые наперерывъ убѣждаютъ ее подумать о выгодѣ предложенія; священникъ, на вопросъ княгини, — не грѣхъ ли будетъ обвинять насильно, отвѣчаетъ, что „это будетъ богоугодно — пристроить сироту“ и т. п. На Герцена все чаще находятъ пароксизмы бѣшенства. „Удивительное созданіе человѣкъ,— пишетъ онъ 13-го ноября,—обремененный горемъ онъ ѣстъ, пьетъ, еще больше смѣется, когда рассказываютъ смѣшное,—и иной стоитъ возлѣ



и не примѣчаетъ, что раздражающій огонь готовъ сверкнуть изъ черепа и что вмѣсто крови льется въ сердцѣ зажженная сѣра. А люди говорятъ, что кошки живучи“... На слѣдующій день напряженіе разражается „первый разъ отроду“ слезами и истерикой передъ вятскими друзьями. Правда, къ вечеру Герценъ узнаетъ изъ письма Наташи, что „туча прошла“,—женихъ отказался; но дѣйствіе кризиса продолжается. Съ ощущеніемъ больного, оправляющагося отъ тяжелой болѣзни (и онъ въ самомъ дѣлѣ только-что пережилъ физическую болѣзнь и послѣ 14-го ноября опять двѣ недѣли болѣлъ), Герценъ передумываетъ въ уединеніи всѣ тѣ мысли, которыя приносятъ свой плодъ послѣ переселенія во Владимірѣ. И онъ находитъ опять, что вятскій романъ всему стоитъ на дорогѣ. „Вотъ третій годъ продолжается комедія съ Медвѣдовой... Гдѣ же твердость? Сказалъ ли я ей: идите своей дорогой, любви у меня къ вамъ нѣтъ, я люблю ангела и послѣ этой любви ваша—глупость, нелѣпость или развратъ. Нѣтъ... *Я дѣлалъ намеки*—какъ будто для того, чтобы сдѣлаться интереснѣе. Ха, ха, ха... а они-то удивляются мнѣ. Grasse, grasse pour moi. Уроды, тѣни, отойдите прочь, раздайтесь передъ образомъ небеснымъ, передъ ангеломъ!“ Словомъ, Герценомъ овладѣла та потребность искупленія вины, которая приводитъ людей къ публичному покаянію. Черезъ нѣсколько дней онъ получилъ извѣстіе о своемъ переводѣ во Владимірѣ. „Медвѣдова больна съ тѣхъ поръ, какъ узнала о моемъ отъѣздѣ,—и я долженъ смотрѣть на ея страданія, какъ человѣкъ, который бы обокралъ отца семейства, пропилъ бы деньги и послѣ долженъ смотрѣть, какъ тѣ умираютъ съ голода Утѣшить я не могъ и не хотѣлъ... Вечеромъ я пошелъ къ Витбергу (извѣстному художнику, сосланному въ Вятку) въ кабинетъ и рассказалъ ему *все*, и кончивъ, я всталъ передъ нимъ, какъ осужденный на казнь. Да, я хотѣлъ до послѣдней капли выпить униженіе и наказаніе; я заслужилъ его! Но душа высокая у Витберга; я ждалъ камень, а онъ бросился въ мои объятія и мы плакали. Онъ взялся послѣ моего отъѣзда все уладить, т. е. сказать ей о тебѣ <sup>1)</sup>. Когда кончился нашъ разговоръ, за которымъ я пять разъ утиралъ потъ, я пришелъ въ свою комнату... блѣдный, руки дрожать, грудь налита огнемъ, даже глаза сдѣлались мутны. Я глубоко страдалъ... гордость унижена... Но надобно разъ пройти черезъ все это,—и оно ужъ будетъ прошедшее“.

И дѣйствительно, все это быстро сдѣлалось прошедшимъ для Герцена во Владимірѣ. „Вятка — какъ тѣнь въ фантазмагоріи, — пишетъ

<sup>1)</sup> Изъ „Былаго и думъ“ видно, что Герценъ объяснился съ М. письменно накануне исповѣди Витбергу; въ этотъ день „она не выходила и сказалась больной“.

онъ черезъ 2½ мѣсяца послѣ переѣзда, — меньше, меньше: точка, ничего. Будто все это я гдѣ-то читалъ, и въ книгѣ этой величественныя черты Витберга, слезы Медвѣдовой, улыбка Полины; читая, я увлекся, воображалъ, что все это въ самомъ дѣлѣ; дочиталъ — явилась прежняя жизнь, и книга оставила смутное воспоминаніе“. Во Владимірѣ онъ постоянно твердитъ, что доволенъ собою. „Здѣшняя жизнь моя строга, какъ въ монастырѣ, я очень доволенъ собою съ пріѣзда во Владимір“. Онъ увѣренъ теперь, что „не падеть низко“, и не разъ общается Наташѣ, что старое не повторится. Весь пылъ души сосредоточивается теперь на мысли о Наташѣ. Сперва его цѣль — свиданіе. Онъ назначаетъ его на лѣто — въ деревенской обстановкѣ, въ имѣніи княгини. Но скоро этотъ срокъ начинаетъ ему казаться черезчуръ долгимъ. „Теперь я и эти нѣсколько мѣсяцевъ не могу переждать, необходимость видѣть тебя жжетъ. До мая долго — хочу ѣхать на-дняхъ и работаю, но все еще безъ успѣха, и душа стонетъ, сердце рвется. Я баловень, Наташа“. Наконецъ, тщетно прождавъ разрѣшенія ѣхать, онъ устраиваетъ, совершенно экспромптомъ, тайное свиданіе 3-го марта, о которомъ мы упоминали выше. Для Наташи, мы видѣли, это свиданіе — все, о чемъ она могла мечтать на землѣ; для Александра это только начало новыхъ, еще болѣе жгучихъ желаній. „Я не могу больше быть съ тобой въ разлукѣ, — твердитъ онъ теперь въ своихъ письмахъ, — не могу ничѣмъ заниматься, все поглотилось великою мыслью... Не знаю, какъ убить время... Какъ нѣкогда мысль близкаго свиданія поглощала все, такъ теперь мысль соединенія“. И онъ рѣшается прямо заговорить съ отцомъ о своей любви; получая изъ Москвы уклончивые отвѣты, онъ скоро осваивается съ мыслью, которая вначалѣ кажется ужасною Наташѣ, — жениться „безъ благословенія“. Исторія новаго сватовства ведетъ событія впередъ съ головокружительной быстротой. Княгиня принимаетъ предложеніе новаго жениха, объявляетъ Наташѣ, что „все кончено, слово дано“, и поздравляетъ ее „помѣщицей третьей части ея имѣнія“. Наташа спокойно и даже весело отказывается; ее запираютъ наверху, и она празднуетъ тамъ начало освобожденія, пока внизу идутъ семейные совѣты родственниковъ и оханья приживалокъ. „Я восхищаюсь своимъ заточеніемъ... Это совершенно новое чувство независимости тѣшитъ меня“. На Александра, напротивъ, эти событія дѣйствуютъ какъ удары бича. Онъ ѣдетъ въ Москву и, вернувшись ни съ чѣмъ, опять переживаетъ пароксизмы бѣшенства. Наконецъ, все готово, нѣтъ только метрическаго свидѣтельства Наташи, безъ котораго священникъ не соглашается вѣнчать. О свидѣтельствѣ хлопочутъ московскіе друзья, со дня-на-день оно придетъ; но Герценъ не можетъ ждать и нѣсколькихъ

дней. „Нѣтъ, довольно страданій, не могу больше, вся моя чугунная твердость раздробилась, я гибну безъ тебя, гибну, гибну... Фу, какая буря метется въ душѣ, и какъ больно, больно... Я схватилъ бутылку вина и выпилъ ее заразъ, — этого я давно не дѣлалъ... Кончите же, Бога ради, Бога ради, кончите. Приѣзжай *на авось*, авось-либо сладимъ... Ну слушай, ежели не сладимъ, — ты, мой ангелъ, тверда, — есть средство... выпьемъ вмѣстѣ, ты слабѣе, ты выпьешь меньше и тогда въ одинъ мигъ „къ Богу Отцу“. Эти строки написаны 30-го апрѣля 1838 года; черезъ нѣсколько дней Герценъ снова скакалъ въ Москву, 7-го мая совершился побѣгъ Наташи изъ княжескаго дома и 9-го мая Герцены обвинялись во Владимірѣ.

Цѣлая полоса жизни была теперь отжита: со свадьбы Герценъ начиналъ новую эпоху своего существованія. Подводя итоги прошлому, онъ любилъ представлять себѣ въ это время контрастъ его съ настоящимъ, какъ противоположность языческаго и христіанскаго міра. Юность, съ которой онъ прощался, — это былъ, по архитектурному сравненію одного изъ первыхъ владимірскихъ писемъ, — его Акрополь, — „такой же изящный, какъ аѳинскій, такой же вольный, такой же языческій“. Возмужалость, въ которую онъ вступалъ, это былъ „Сіонъ“. Къ Акрополю вели „Пропилеи“ — его дѣтство; къ Сіону привели годы ссылки, бывшіе его „путемъ къ святымъ мѣстамъ“. Во Владимірѣ Герценъ еще разъ вернулся къ этой параллели и разработалъ ее въ великолѣпномъ, пластическомъ, глубоко продуманномъ и прочувствованномъ отрывкѣ „Изъ римскихъ сценъ“ <sup>1)</sup>. Въ двухъ дѣйствующихъ лицахъ діалога воплощены два противоположныхъ міровоззрѣнія, которыми Герценъ привыкъ отмѣчать два фазиса своей жизни. Молодой философъ Мевій, „классикъ со всѣмъ реализмомъ древняго міра“, преклоняется передъ жизнью природы, передъ „великимъ закономъ, великой энергіей ея развитія“. Его другъ, Лициній, представитель „романтическаго воззрѣнія“, посылаетъ той же природѣ проклятія за ея „нелѣпное“ рѣшеніе — „вложить духъ, разумъ въ безволосую обезьяну и оставить ее обезьяной“. Одинъ спѣшитъ насладиться жизнью и находитъ полное удовлетвореніе въ мысли, что жизнь — сама себѣ цѣль; другой носитъ въ себѣ чувство глубокаго оскорбленія за то, что онъ, разумное существо, есть безцѣльный и бессмысленный продуктъ природы. Одинъ успокаивается на мысли, что человѣкъ есть часть природы, что матерія есть „чрево, изъ котораго духъ развился“, и что, какова бы ни была

<sup>1)</sup> Напечатанъ въ воспоминаніяхъ „Изъ дальнихъ лѣтъ“ Т. П. Пассекъ, т. II, стр. 71 и слѣд.

судьба отдельной личности, — „для вселенной нѣтъ смерти“. Другой, исходя изъ убѣжденія, что человѣкъ важнѣе всей природы, не можетъ примириться съ ограниченностью его организаціи въ пространствѣ и времени, съ необходимостью полного исчезновенія его, съ тѣнностью всѣхъ его стремленій, мыслей и чувствъ. Оба одинаково перестали чтить старыхъ боговъ; но первый водворилъ на покинутомъ олимпійцами престолѣ языческій „Разумъ“, второго не удовлетворяетъ ни философскій скептицизмъ, ни научный агностицизмъ, ни даже отвлеченный деизмъ; онъ груститъ по потерянной вѣрѣ и готовъ поклониться христіанскому „Логосу“. Отъ философіи бесѣда переходитъ къ общественнымъ вопросамъ; и здѣсь *политическіе* идеалы Мевія блѣднѣютъ передъ *соціальными* идеалами Лицинія. Защитникъ республиканской свободы древняго Рима раздѣляетъ предразсудки оптимата противъ „дешевой крови“ римскаго пролетарія; напротивъ, провозвѣстникъ грядущей религіи любви, братства и равенства становится на сторону бѣдныхъ и угнетенныхъ. Такимъ образомъ, перенося въ эпоху своего романтизма самый зрѣлый плодъ своего предыдущаго политическаго развитія, Герценъ-мистикъ торжествовалъ сердцемъ полную побѣду надъ Герценомъ-реалистомъ. Этому торжеству не пришлось, однако, быть окончательнымъ. Немного лѣтъ прошло, и Герценъ-реалистъ снова восторжествовалъ умомъ надъ Герценомъ-мистикомъ. Законность „романтическаго возрѣнія“ онъ продолжалъ признавать, но подъ условіемъ, чтобы это возрѣніе не выходило изъ предѣловъ извѣстнаго возраста: „Однѣ сухія и недаровитыя натуры не знаютъ этого романтическаго періода, — писалъ онъ гораздо позже, въ 50 годахъ; — ихъ столько же жалъ, какъ и тѣ слабыя и хилыя существа, у которыхъ мистицизмъ переживаетъ молодость и остается навсегда. Въ нашъ вѣкъ съ реальными натурами этого не бываетъ“.

Не случилось этого и съ реальной натурой Герцена. Ея, этой натуры, онъ не могъ передѣлать, несмотря на всѣ требованія сердца; и она, естественно, тотчасъ вступила въ свои права, какъ только голосъ сердца сдѣлался менѣе настойчивъ и громокъ.

## VI.

Чувство, овладѣвшее такъ всецѣло Герценомъ, развилось въ немъ и окрѣпло подъ вліяніемъ совершенно исключительныхъ обстоятельствъ. Этими обстоятельствами были его вятскій романъ, разлука съ друзьями, удаленіе отъ руководящихъ литературныхъ и общественныхъ круговъ, словомъ, все то, что заставляло его поневолѣ оставаться наединѣ съ

собой и погружаться въ совершенно несвойственное его натурѣ занятіе, которое хорошо было извѣстно московскимъ романтикамъ подъ нѣмецкимъ названіемъ — Grubelei. Друзья и знакомые Герцена, не знавшіе и не принимавшіе во вниманіе этихъ исключительныхъ обстоятельствъ, очень единодушно раздѣляли мнѣніе, что подобное чувство для Герцена невозможно — или что оно должно быть у него случайнымъ и временнымъ. „Витбергъ увѣрялъ, — пишетъ Герценъ Наташѣ, — что я никогда не буду сильно любить и что мои мечты самолюбія всегда возьмутъ верхъ надъ мечтами любви“. Другая знакомая старушка, П. А. Эрнъ, — „искренно жалѣетъ о тебѣ (Наташѣ), ...потому что я вѣтренный чловѣкъ и слишкомъ молодъ“. Въ другой формѣ то же самое думаютъ и друзья. „Кетчеръ говоритъ, что никогда не предполагалъ столько чувствъ во мнѣ“. Еміліе считаетъ даже нужнымъ предупредить объ этомъ Наташу. „Наташа, любовь проходитъ... вѣрь мнѣ“, — говоритъ она ей. Да и самъ Герценъ не можетъ отдѣлаться отъ той же мысли въ черныя свои минуты. „Что будетъ со мною, — думалъ я, и холодъ бѣжалъ по членамъ, — ежели черезъ много лѣтъ я скажу: „любовь — прелестная мечта юности, но она не переходитъ, какъ и всѣ мечты, въ совершеннолѣтіе“ — и утрачу любовь и вѣру?“ Наташа далека отъ подобныхъ мыслей и наведенная на нихъ Герценомъ, она отворачивается отъ нихъ съ трепетомъ. „Что за мысль посѣтила твою душу, вотъ страшная, вотъ, о какая мысль... я невольно вздрагиваю, вспоминая о ней“, — такъ отвѣчаетъ Наташа на только что приведенныя слова. „Тебѣ потерять вѣру и любовь! Никакъ не могу я представить этого живо, а и то отъ ужаса ломить грудь. „Ты не переживешь любовь“, сказалъ мнѣ голосъ съ неба. „Ты не переживешь любовь“, говорю я тебѣ. Прежде я могла вообразить, какъ бы ты пересталъ меня любить... Теперь не могу вообразить этого: знаю, что ты разлюбить не можешь, вѣрю этому, какъ тому, что есть Богъ“.

Было что-то трагическое въ этомъ столкновеніи сомнѣнія и увѣренности, — сомнѣнія, основаннаго на хорошемъ знаніи себя, и увѣренности, основанной на томъ же, хотя и не опиравшейся на знаніе жизни. Слова Наташи, какъ и слова Герцена оказались пророчествомъ: одинъ не сохранилъ напряженности чувства, другая не пережила любви.

Такой хорошій наблюдатель, какъ Герценъ, не могъ, конечно, не видѣть зародыша драмы въ глубокой разницѣ натуръ ихъ обоихъ. Переписка начинается и кончается однимъ и тѣмъ же сравненіемъ: Наташа соединенная съ Александромъ — это „голубь, привязанный къ ракетѣ“, по образному выраженію Герцена. И на протяженіи всей переписки Герценъ дѣлаетъ безуспѣшныя попытки предупредить драму,

познакомивъ Наташу заранѣе съ настоящимъ, а не идеальнымъ Александромъ. „На что же ты, Наташа, въ письмахъ такъ хвалишь меня,—пишетъ онъ въ самомъ началѣ 1836 года,—это тяжело читать; увѣряю тебя, что только въ твоей небесной, божественной душѣ отразился я такимъ совершеннымъ... Люби меня такъ, какъ я есть, люби меня съ недостатками, Наташа, и объ этой-то любви говори мнѣ... Не придавай мнѣ болѣе, нежели сколько есть въ душѣ моей, чтобы послѣ съ горестью не увидѣть недочета. Горько смотрѣть художнику на свое произведеніе, когда оно не вполне выразило его идеалъ. Но что произведеніе для художника? Одна мысль, одна фантазія—и другія мысли уже толпятся въ головѣ. А любить такъ, какъ ты любишь меня, можно разъ. Страшно тутъ видѣть невыполненный идеалъ,—страшно, ибо на него потрачена не одна мысль, а вся душа, вся жизнь... Возьми меня земного, люби меня, я отдаю тебѣ себя, но *болѣе не могу сдѣлать*... Я хотѣлъ бы быть ангеломъ, чтобы увеличить этотъ даръ,—но я человѣкъ, и далеко не совершенный. Самыя эти огненные страсти, которыя такъ жгутъ мою грудь, такъ направляютъ ее къ изящному и великому, — часто влекутъ меня въ пороки и... *послѣ я раскаиваюсь, но не имѣю силъ прямо стать противъ нихъ*“. И онъ не разъ повторяетъ въ своихъ письмахъ: „остановись, довольно; ежели еще шагъ, тебѣ надобно будетъ оставить Александра на землѣ“... Но Наташѣ трудно сойти съ своей высоты и стать на точку зрѣнія Александра. Міръ, созданный ея воображеніемъ и чувствомъ, для нея единственно-возможный. И эту жизнь мечты она ни за что не хочетъ промѣнять на жизнь дѣйствительности. Иногда это восторженное настроеніе, это чувство счастья такъ сильно охватываетъ ее всю, что самая тоска разлуки блѣднѣетъ передъ нимъ, Наташа становится почти равнодушной къ свиданію и готова предпочесть свое настоящее безвѣстному будущему. Понятно, что признанія Александра сначала скользятъ въ ея сознаніи, не возбуждая никакого отзыва. Она очень скоро мирится съ его грѣхами: „одинъ Христосъ безгрѣшенъ“. Потомъ она начинаетъ доказывать, что онъ преувеличиваетъ, что, наконецъ, самое сознаніе вины есть уже искупленіе и что, подкрѣпленный ея любовью, онъ болѣе падать не будетъ. Когда и послѣ всего этого доносятся къ ней изъ Вятки все тѣ же болѣзненные стоны, она останавливается въ недоумѣніи; потомъ недоумѣніе переходитъ въ страхъ, въ ужасъ, у ней опускаются руки, она не знаетъ, что дѣлать, и ощущаетъ приступы смертельной тоски. Пока она не чувствуетъ серьезности положенія, у ней еще есть охота протестовать, возмущаться, ободрять. „Неужели въ самомъ дѣлѣ, Александръ, горсть людей, ихъ шумъ, ихъ пустое веселье могутъ хотя

насколько-нибудь заставить тебя забыться, облегчить твое сердце, — спрашивает она.— Это—черта не твоей души! Оправданье ли пишешь ты: „Не могу, я не ты!“ Кто же „Александр“, кто этот Александр?— Онъ братъ, онъ другъ, онъ отецъ, онъ образователь, спаситель и хранитель Наташи, онъ все ея, она безъ него ничто... а ты говоришь: я не ты!... Дай Богъ, чтобы это было только сказано, а не подумано и еще менѣе почувствовано! Возстань. что спиши, восприни, Александръ мой Александръ! Я не могу выносить этого „я не ты“, я даже зачеркнула это на письмѣ. Я не ты, — то есть я не люблю тебя, мы чужіе... И весь день, и всю ночь Наташу преслѣдуютъ эти три слова. Два мѣсяца спустя (26-го января 1838 г.), она вновь ломаетъ голову надъ словами Герцена „я мраченъ, какъ ночь“. „Улетѣла-ль твоя Наташа домой, оставивъ тебя одного скитаться въ чужбинѣ, иль больна она, грустна, иль тебя разлучаютъ съ нею? Взгляни, она надъ тобою, прислушайся“ и т. д. И она рисуетъ ему близкое свиданіе и молить его улыбнуться. Все это пишется нѣсколько дней послѣ того, какъ Наташа прочла въ письмѣ Герцена слѣдующія строки: „страдальческій голосъ мой неся къ тебѣ иногда, и ты его не понимала. Да, это я вижу по твоимъ отвѣтамъ: ты въ себѣ искала причину мрачныхъ минутъ моихъ, тогда какъ ясно изъ какого источника онъ шелъ“. И вотъ, свиданье (3-го марта) приходитъ и проходитъ, а источникъ угрызений Герцена продолжаетъ точить попрежнему слезы. Еще черезъ два мѣсяца у Наташи вырывается какой-то вопль въ отвѣтъ на эти постоянныя самообвиненія. „Неужели и Его кровь, и Его смерть, и мои слезы, молитва, любовь—ничто не исцѣляетъ!... Кончено... ради Бога, конечно! Твоя грусть послѣ 3-го марта сдѣлалась мнѣ еще невыносимѣе. Александръ, сжался, не страдай, то есть не заставляй страдать Наташу!... Что еще нужно для твоего искупленія? Говори, говори, вѣдь неужели же никакою цѣною нельзя выкупить? О, чего бы то ни стоило,—все приношу на крестъ. ...Ну, вотъ какъ я льюсь слезами... Ну, скажи же мнѣ: „Наташа, твой Александръ чистъ какъ серафимъ, въ немъ ничего, кромѣ свѣта, любви, Бога и смиренія“. Ну, скажи же мнѣ это, ангель мой. О... тяжело“.

И не успѣвъ увѣрить Наташу въ своемъ несовершенствѣ, Герценъ, дѣйствительно, сдѣлалъ надъ собой, какъ мы знаемъ, рѣшительное усиліе убѣдить себя, что онъ перелить Наташей въ новую форму. Въ дѣйствительности, разницы темперамента и всего склада мыслей никогда не обнаруживались въ перепискѣ такъ ясно, какъ именно послѣ свиданія 3-го марта. Прежде этому мѣшала слишкомъ возвышенный тонъ писемъ, къ которому какъ-то не шли реальные подробности. Те-

перь, послѣ свиданія, тонъ сразу становится проще, ребячливѣе. „Вдали манилъ призракъ, теперь онъ превратился въ дѣйствительность“, — такъ формулируетъ Герценъ свое впечатлѣніе свиданія; и относительно Наташи онъ замѣчаетъ: „ты начинаешь любить свою жизнь, даже свое лицо,—и во всемъ этомъ ты любишь меня“. Но и пріобрѣтѣя болѣе реальный характеръ, чувство обоихъ корреспондентовъ, такъ же, какъ и ихъ мысли, продолжаютъ оставаться глубоко различными; и различіе становится тѣмъ виднѣе, чѣмъ мельче подробности, по поводу которыхъ оно обнаруживается. Герценъ, напримѣръ, полусутоливо-полусерьезно обвиняетъ невѣсту въ кокетствѣ, потому-что въ ранній часъ свиданія она была не въ папильоткахъ. „Я не вижу доблести,—прибавляетъ онъ по этому поводу,—не заботиться о красотѣ. Покуда душа въ формѣ, форма должна быть изящна“. Но на этотъ разъ и психологія Герцена, и его оправданіе совершенно не попадаютъ по адресу. Наташа сидѣла всю ночь передъ свиданіемъ, не раздвываясь, у окна, изъ котораго можно было замѣтить приходъ Герцена. „Пожалуй, тебѣ непременно хочется, чтобы совершенное забвеніе не только туалета, но и себя называлось кокетствомъ“,—отвѣчаетъ она: „да будетъ“. Но Герценъ серьезно озабоченъ этимъ равнодушіемъ Наташи къ своей внѣшности и къ нарядамъ. „Ты слишкомъ хлопочешь о моихъ нарядахъ; на чтѣ они тебѣ“,—пишетъ она ему. „Зачѣмъ ты вовсе отворачиваешься отъ жизни,—возражаетъ онъ ей.—Ты худо понимаешь поэзію роскоши... Признаюсь откровенно, люблю пышность“. „Я сама полюбовалась бы собою (въ брилліантахъ),—отвѣчаетъ Наташа,—да вотъ эта вѣчная, неразлучная съ роскошью мысль: на головѣ моей брилліанты, а тысячи несчастныхъ не имѣютъ чѣмъ голову прикрыть отъ стужи... при этой мысли я съ ужасомъ сброшу съ себя украшенія“. Различіе обнаруживается и въ мечтахъ о будущей семейной жизни. „Будущее... является мнѣ почти всегда *безъ людей*,—пишетъ Наташа...—Чтобы никого не было... ни даже друзей... Послѣ, долго спустя, пусть придутъ... Цѣлую ночь, далеко отъ всѣхъ, чтобы не слышать никого было, открытое окно, вся стѣна открытая, иль вся природа открытая, я подлѣ тебя, ты мнѣ будешь говорить, будешь глядѣть на меня... Потомъ день, я не отойду прочь, нѣтъ, нѣтъ,—о какъ страшно будетъ тогда и на мигъ оставить тебя, день, цѣлый день... потомъ опять ночь, опять день... и потомъ *родина!*... Ну какъ ты мнѣ скажешь: Наташа, поѣдемъ туда-то? Зачѣмъ? *Имъ* надо ѣздить въ гости. Скажешь: поѣдемъ обѣдать—о нѣтъ!... Жили же пустынники въ лѣсахъ, одни, не имѣя никакого сообщенія съ людьми, почему же мы не можемъ жить такъ?“. Жизнь отшельника, конечно, была не по вкусу Герцену. Объ



уединеніи и онъ писалъ не разъ, но объ уединеніи на время, за которыми видѣлось ему возвращеніе не „на родину“ (т. е. на небо), а въ кипучую общественную жизнь. Противъ беззаботной жизни онъ ничего не имѣлъ, но напоминалъ, что такую жизнь можетъ дать только богатство... „Тебѣ незнакома жизнь; богатство это свобода... свобода не заниматься *хозяйствомъ*, а хозяйство пятнаетъ саломъ...“ Такъ или иначе, относительно ближайшаго будущаго оба были согласны; разница во взглядахъ угрожала на этомъ пунктѣ только въ туманномъ далекѣ.

Но былъ другой пунктъ, и самый важный, въ которомъ это столкновеніе совершилось немедленно и причинило не мало страданій Наташѣ. Она смотрѣла все по старому на характеръ ихъ чувства. „Ты представишь меня Богу такой, какою онъ хочетъ,—пишетъ она въ серединѣ марта 1838 г.,—ежели бы я не имѣла этой вѣры, какъ бы любовь моя ни была необъятна, я не отдала бы себя тебѣ—даже сказавши: „люблю“. Чувство Герцена выражается совершенно иначе. „Я не могу болѣе переносить разлуку,—твердитъ онъ,—чувствую, что пылающая душа жжетъ тѣло, я весь боленъ, огонь льется въ жилахъ. Нѣтъ, Наташа, ты не знаешь этой стороны любви... У тебя поднимается рука писать: „ну, такъ послѣ поста (т. е. свадьба)“. А я смотрю на эти слова, и слезы, и кровь струятся. Зачѣмъ мы видѣлись послѣ 3-го марта, зачѣмъ я цѣловалъ тебя, зачѣмъ рука моя смѣла обвить твой станъ?.. Да неужели ты спокойна?“—„Въ этомъ письмѣ ты недостойна меня,—отвѣчаетъ Наташа.—Все это любовь, но гдѣ же вѣра, гдѣ Богъ? Была ли бы я твоя Наташа, если бы я была не покойна? Любовь моя до того сильна и свята, что я часто забываю, что ты не подлѣ меня. Я такъ тѣсно слита съ тобою, что незамѣтна разлука. До твоего письма я была покойна, теперь мучусь... *Нѣтъ, ты не любишь меня моей любовью...* Я знаю, это любовь, но отбрось изъ нея то, что мучитъ тебя; люби, какъ я люблю“. И еще черезъ нѣсколько дней она прибавляетъ: „Я не прощаю тебѣ этой любви... Обними еще достойно твою невѣсту, и не раскаивайся, что обнялъ... Ахъ, Александръ, я не могу постигнуть тебя!..“

Эта маленькая размолвка, за нѣсколько дней до свадьбы, какъ бы резюмируетъ основной диссонансъ всей переписки. Она потонула скоро въ ощущеніяхъ новой жизни, но для этой жизни она была нехорошимъ предзнаменованіемъ. „Вѣрь, — писалъ Герценъ осенью 1837 года.—недолго еще продолжится первый томъ твоихъ страданій, а *второй—онъ еще не начинался*“. Нечаянно Герценъ сказалъ здѣсь горькую правду. Второй томъ начался послѣ свадьбы, и страданія были въ этомъ томѣ не тѣ, какъ въ первомъ. Про прежнія Герценъ могъ выразиться: „надобно признаться, что въ нашихъ страданіяхъ больше

блаженства, нежели горести“. Ко „второму тому“ эта характеристика была бы совсѣмъ неподходящей.

Между первымъ и вторымъ актомъ семейной драмы Герценовъ на-ступаетъ, впрочемъ, довольно продолжительный антрактъ. Первый актъ мы возстановили по „Перепискѣ“ 1835—1838 гг.; второй становится намъ извѣстенъ изъ „Дневника“ 1842—1844 гг. Между „Перепиской“ и „Дневникомъ“ проходятъ четыре долгіе года, богатые событіями и очень слабо освѣщенные сохранившимися біографическими матеріалами. Когда занавѣсъ снова поднимается надъ личной исторіей Герценовъ, мы уже застаемъ совсѣмъ иную обстановку, иныя положенія дѣйствующихъ лицъ, иныя чувства и мысли. Какъ въ плохой драматической пьесѣ, насъ оповѣщаютъ заднимъ числомъ о томъ, что случилось въ промежуткѣ. Чтобы судить объ этомъ самостоятельно, намъ остается попробовать самимъ проникнуть за кулисы. Это не совсѣмъ невозможно. Напечатанная въ разныхъ мѣстахъ переписка обоихъ Герценовъ съ третьими лицами даетъ отрывочные штрихи, вскользь брошенные намеки, изъ сопоставленія которыхъ можно получить нѣкоторое понятіе объ утраченной полной картинѣ. Сюда относятся письма Герцена къ Витбергу, обоихъ Герценовъ къ Огареву и къ женѣ владимірскаго губернатора Куруты, съ семьей котораго они сошлись довольно близко, письма Натальи Александровны къ ея московской подругѣ Кліентовой.

Слабѣ всего освѣщаютъ эти источники первый годъ семейной жизни Герценовъ: и это молчаніе—такъ же краснорѣчиво, какъ могъ бы быть самый подробный рассказъ. „Заброшенные въ маленькомъ городкѣ, тихомъ и мирномъ, мы вполнѣ были отданы другъ другу“,—вспоминаетъ объ этомъ времени Герценъ. Мечты объ уединенной жизни вдвоемъ, которымъ предавалась Наташа, казалось, были теперь осуществлены вполнѣ. Полное пренебреженіе къ „хозяйству“, долгія прогулки за городомъ, среди природы, длинные зимніе вечера вдвоемъ за книгой, ни одного утаеннаго чувства, ни одной нераздѣленной мысли,—чего же было больше желать? И все это давалось само собой, казалось такимъ естественнымъ, какъ кажется здоровье человѣку, который никогда не болѣлъ. Когда все это прошло, тогда только Герцену стало ясно, что это былъ „крайній предѣлъ возможнаго личнаго счастья“ и что „коснуться“ этого предѣла можно было только нечаянно. Пока онъ просто былъ доволенъ и спокоенъ. Старые грѣхи были отпущены, новыхъ еще не успѣло накопиться. Проблема жизни, казалось, была разрѣшена мировоззрѣніемъ, которое отдавало распоряженіе жизнью въ руки верховной воли. „Мои желанія остановились,—говоритъ Герценъ;—

мнѣ было довольно, я жилъ въ настоящемъ, ничего не ждалъ отъ завтрашняго дня, беззаботно вѣрилъ, что онъ и не возьметъ ничего“. Весной 1839 г. пріѣхалъ во Владиміръ Огаревъ съ своей молодой женой, и состоялось давно желанное свиданіе друзей. Нѣсколько писемъ, написанныхъ къ Огареву по этому поводу, освѣщаютъ намъ тогдашнее настроеніе Герценовъ: оно все то же, какъ и настроеніе переписки съ Наташей; въ теченіе года въ немъ ничего не измѣнилось. Если бы даже у насъ не было этихъ писемъ, о томъ же самомъ свидѣтельствоvalo бы знаменитое колѣнопреклоненіе четверыхъ друзей передъ распятіемъ,—преклоненіе, показавшееся Огаревымъ такимъ театральнымъ, хотя его искренность наглядно доказывалась радостными слезами свиданія. Настроеніе друзей, дѣйствительно, было такъ сильно и искренно, что самъ наблюдательный Герценъ не замѣтилъ ничего принужденнаго въ поведеніи жены Огарева. Само собою разумѣлось, что губернаторская племянница, блиставшая на провинціальныхъ раутахъ, должна стоять на высотѣ мистической экзальтаціи, созданной нѣсколькими годами вятской переписки. То же самое настроеніе обнаруживается и въ тогдашнихъ литературныхъ произведеніяхъ Герцена. Это было время созданія религіозно-соціальныхъ драмъ, въ которыхъ апостолъ Павелъ воскрешалъ для новой вѣры разочарованнаго оптимата Лицинія и сапожникъ-квакеръ (Фоксъ) воспитывалъ въ аристократѣ Пеннѣ творца диссидентской „Утопіи“, перенесенной на дѣвственную почву Америки. Любовь и вѣра переплетались въ этихъ драмахъ съ идеями соціальной реформы: Герценъ былъ правъ, когда говорилъ впоследствии, что никогда,—даже въ пору самого пышнаго расцвѣта личнаго счастья,—общественныя стремленія его не оставляли.

Увы, эти драмы были такъ же недолговѣчны, какъ и создавшее ихъ настроеніе. 9-го мая 1840 г. Герценъ все еще праздновалъ вторую годовщину своей свадьбы, какъ „день полного духовнаго возрожденія, начало гармонической жизни и блаженства, *которому конца не видать*“. Но между первой и второй годовщиной протѣснилось уже немало обстоятельствъ, которыя грозили подкопать „гармоническую жизнь и блаженство“ въ самой основѣ. Конецъ имъ наступилъ даже слишкомъ скоро.

## VII.

13-го іюня 1839 года у Натальи Александровны родился первенецъ Сама. Около того же времени Герценъ получилъ разрѣшеніе жить въ столицахъ; во второй половинѣ 1839 года и въ началѣ слѣдующаго

онъ уже успѣлъ побывать въ Москвѣ и Петербургѣ по два раза. Оба эти факта положили конецъ безоблачной владимірской идилліи. Для Натальи Александровны начались материнскія заботы и огорченія; по неволѣ и по охотѣ, она сосредоточила всѣ свои интересы на дѣтской. Для Герцена кончился періодъ одиночества; онъ вернулся къ старымъ друзьямъ, завелъ новыя отношенія и принялъ самое горячее участіе въ борьбѣ литературныхъ и общественныхъ партій. Естественнымъ послѣдствіемъ этого должно было быть ослабленіе интереса къ семейной жизни,—и такимъ образомъ была подготовлена почва для драмы.

„Я не люблю разсѣянную жизнь,—пишетъ Наташа владимірскимъ друзьямъ, только-что приѣхавъ въ Москву;—она лишаетъ истинныхъ, душевныхъ удовольствій и дарить за нихъ пустыми, сухими“. И въ дальнѣйшихъ письмахъ повторяется все то же. „Я еще рѣшительно не была нигдѣ, и нѣтъ желанія, но Александръ непременно хочетъ свозить меня въ театръ“... „Я до сихъ поръ не вижу ничего, кромѣ дѣтской“... „Далѣе десяти шаговъ отъ своего крыльца я не была нигдѣ“. И Герценъ пишетъ: „Много видѣлъ я здѣсь, живу разсѣянно, а бѣдная Наташа такъ вполне посвятила себя Сашѣ, что *не участвуетъ ни въ чемъ*“. Такимъ образомъ, съ первыхъ же шаговъ по возвращеніи въ столицу Герценъ опять зажилъ отдѣльной духовной жизнью. Наташа „ничего не видитъ“; онъ, напротивъ, видитъ очень много, и всѣ эти впечатлѣнія ложатся, накаплиются и растутъ преградой между нимъ и ею. „Я въ хлопотахъ, дѣла и бездѣлья много, то и другое отнимаетъ у меня, право, часовъ 28 въ сутки“. Сначала онъ еще минутами то-скуетъ по Владиміру. Москва встрѣтила его непривѣтливо; отъ нея пахнуло чѣмъ-то чужимъ, и онъ временами не прочь перенестись мыслью въ только-что брошенный уголокъ, отдохнуть тамъ „не отъ усталости, а отъ треска, шума и хлопотливаго бездѣлья“. Но скоро это чувство улегается: Герценъ рѣшительно отдается впечатлѣніямъ столичной жизни. Изъ Владиміра Наташа въ восхищеніи писала когда-то своей московской подругѣ, что Александръ не разстается съ ней даже и на два часа въ теченіе цѣлой недѣли. Теперь, въ письмахъ изъ Москвы къ владимірскимъ друзьямъ она, напротивъ, нѣсколько разъ повторяетъ: „Александра вовсе не вижу“... „Александра почти не вижу здѣсь, не живетъ вовсе дома, сдѣлалъ много новаго знакомства“. Какъ же она къ этому относится? До времени, она совершенно спокойна. „Слава Богу,—пишетъ она,—Александръ помирился съ Москвой“. Ей только самой не хочется пускаться, вслѣдъ за нимъ, въ свѣтъ; не хочется даже, чтобы слишкомъ часто ходили къ ней и нарушали ея одиночество. „Мнѣ ни секунды не дають остаться одной“,—пишетъ она

съ легкой досадой, подъ впечатлѣніемъ частыхъ визитовъ. Естественно, что, при всѣхъ общественныхъ талантахъ Герцена, его домъ не сдѣлается салономъ. У Свербеевыхъ, у Елагиныхъ онъ будетъ встрѣчаться, нѣсколько лѣтъ спустя, съ московскими литературными знаменитостями; но когда, сверхъ обыкновенія, ему захочется принять у себя одну изъ этихъ знаменитостей (Чаадаева), его будетъ шокировать собственная домашняя обстановка. Для параднаго обѣда онъ нарочно купить серебряные канделябры, а жену посадить за особый столъ—съ дѣтьми.

Въ 1840-мъ году, впрочемъ, такой исходъ едва ли представлялся воображенію Герценовъ. Московская суетня—это было положеніе временное: съ окончательнымъ устройствомъ жизни оно должно было прекратиться. „Я жду съ нетерпѣніемъ того времени, когда наша жизнь польется опять тихо, стройно“, писала Наталья Александровна. И, казалось, ея ожиданіямъ суждено было сбыться. По волѣ отца, Герценъ поступилъ на службу и переселился въ Петербургъ,—чужой, незнакомый городъ, непріятно оттолкнувшій его отъ себя при первомъ знакомствѣ. Поневолѣ онъ сталъ отдавать больше времени семьѣ; опять начались уединенныя прогулки, катанья на взморье, домашнія tête-à-tête. „Побывавши въ Петергофѣ, въ Парголовѣ, нагулявшись до-сыта, мы сѣли дома и забываемъ, что мы въ Петербургѣ: опять тихая, уединенная, трудолюбивая жизнь“, пишетъ Н. А. въ сентябрѣ 1840 года, четыре мѣсяца спустя послѣ пріѣзда.

Это было такъ только по видимости; на дѣлѣ основы личнаго счастья были уже подкопаны. Послѣ московскихъ впечатлѣній Герценъ не могъ больше находить полного удовлетворенія въ семейной жизни. Онъ принялъ чувство Наташи какъ существующій фактъ, какъ что-то должное, неизмѣнное и необходимое: принялъ, сложилъ его въ архивъ и предался другимъ, новымъ ощущеніямъ окружающей жизни. Между тѣмъ, любовь Наташи была требовательнѣе, чѣмъ ему казалось и чѣмъ казалось ей самой. Эта любовь требовала не простого признанія, а постоянного дѣятельнаго обнаруженія, и не встрѣчая — или, встрѣчая все рѣже—активные проявленія чувства, она оскорблялась. Въ Москвѣ и даже въ Петербургѣ обстановка жизни не давала развиваться этимъ скрытымъ диссонансамъ; но скоро условія перемѣнились, и внутренний разладъ быстро вышелъ наружу.

Какъ извѣстно, одно вскрытое на почтѣ письмо повело за собой новую ссылку Герцена. Изъ Петербурга ему пришлось въ срединѣ 1841 года переѣхать въ Новгородъ. На этотъ разъ впервые судьба распорядилась Герценомъ *противъ* его желанія. Пробываніе въ Вяткѣ, во Владимірѣ, какъ мы знаемъ, вполне удовлетворяло потребностямъ

его внутренней жизни. Ссылкой онъ спасался отъ прошлой жизни и готовился къ будущей. Теперь эта подготовка была закончена: въ сознаніи полного расцвѣта своихъ силъ Герценъ хотѣлъ теперь дѣйствовать,—и Новгородъ являлся на пути досадной, невыносимой помѣхой. Черныя мысли бродили въ его головѣ; онъ скрывалъ ихъ отъ Наташи, но глухое недовольство жизнью невольно отражалось въ неровностяхъ настроенія. На Наташу, больную двумя неудачными родами, это не могло не вліять; она должна была видѣть, что безсильна поддержать въ немъ бодрость, — и тоже приучилась скрывать отъ него свое огорченіе. Такимъ образомъ, онъ сердился, она грустила; оба таились другъ отъ друга. Герценъ сталъ повѣрять свои мысли дневнику; чувства Наташи выливались слезами.

„Господи, какіе невыносимо тяжелые часы грусти разѣдаютъ меня“, встрѣчаемъ въ дневникѣ. „Слабость ли это, или послѣдствіе того развитія, которое приняла душа моя, или, наконецъ, мое законное право — образъ отраженія во мнѣ окружающаго? Неужели считать мою жизнь оконченною, неужели все волнующее, занимающее меня, всю готовность труда, всю необходимость обнаруженія—схоронить, держать подъ тяжелымъ камнемъ, пока приучусь къ нѣмотѣ, пока заглохнуть потребности?... Я *долженъ* обнаруживаться,—ну, пожалуй, по той же необходимости, по которой питить сверчокъ“. „Мнѣ одиночество въ кругу звѣрей вредно“, замѣчаетъ Герценъ въ другомъ мѣстѣ дневника. „Моя натура по превосходству социабельная. Я назначенъ для трибуны, форума, какъ рыба для воды. Тихій уголокъ, полный гармоніи и счастья семейной жизни, не наполняетъ всего, — и именно въ ненаполненной долѣ души, за неимѣніемъ другого, бродитъ цѣлый міръ—безплодно и какъ-то судорожно... Я чувствую психологическую необходимость ѣхать въ большой городъ; надобны люди, я вяну, во мнѣ бродитъ какая-то неупотребленная масса возможностей, которая, не находя истока, поднимаетъ со дна души всякую дрянь, мелочи, нечистыя страсти“.

Но куда же дѣлось мировоззрѣніе, примирявшее Герцена съ неизвѣстностью будущаго? Увы, отъ этого мировоззрѣнія въ Новгородѣ не осталось и слѣда. Герценъ завидуетъ „дѣтски-религіознымъ людямъ“, которымъ „жить чрезвычайно легко“. Самъ онъ не принадлежитъ къ нимъ больше. Позднѣе онъ разсказалъ подробно этотъ переворотъ, совершившійся съ нимъ въ Новгородѣ и круто приведшій его отъ мистицизма къ самому неумолимому реализму. Чтеніе Фейербаха („*Wesen des Christenthums*“) окончательно санкціонируетъ эту ломку убѣжденій, временно навѣянныхъ обстоятельствами. Новыя убѣжденія являются для Герцена своего рода возвращеніемъ къ старымъ привычкамъ мысли,

усвоеннымъ съ дѣтства. Вотъ почему онъ разорвалъ со старымъ рѣзче и рѣшительнѣе, чѣмъ кто-либо другой изъ людей его поколѣнія. Бѣлинскій, мы видѣли, вышелъ въ одно время съ Герценомъ на путь реализма. Но у Бѣлинскаго это была реакція жизни противъ системы; у Герцена — это полная замѣна одной системы другой. Встрѣтившись, они не поняли въ первую минуту другъ друга, и Герценъ рѣзко протестовалъ во имя жизненныхъ требованій противъ теоретическаго увлеченія Бѣлинскаго „разумной дѣйствительностью“. Но скоро разъяснилось, что въ „дѣйствительности“ Бѣлинскаго нѣтъ ничего философскаго; напротивъ, за „реальностью“ Герцена стояло цѣлое міропониманіе, шедшее гораздо дальше и отрицавшее гораздо послѣдовательнѣе старыя заблужденія и предразсудки.

„Если глубоко всмотрѣться въ жизнь,—такъ резюмируетъ дневникъ эти новыя мысли,—конечно, высшее благо есть само существованіе... Когда это поймутъ,—поймутъ, что въ мірѣ нѣтъ ничего глуше, какъ пренебрегать настоящимъ въ пользу грядущаго. Настоящее есть реальная сфера бытія. Каждую минуту, каждое наслажденіе должно ловить, душа непрерывно должна быть раскрыта, наполняться, всасывать все окружающее и разливать въ него свое. *Цѣль жизни — жизнь*“. И съ этой точки зрѣнія Герценъ рѣшительно возстаетъ противъ „фантомовъ“, которыми „піэтисты“ устрашаютъ человѣческое воображеніе. Зачѣмъ бороться противъ „страстей?“ Чтò можетъ быть грѣховнаго въ этомъ дарѣ природы? „Въ огнѣ увлеченія есть прелесть: живешь вдесятеро“; больше человѣчности — въ страсти, побѣдившей человѣка, чѣмъ въ страсти, имъ побѣжденной. И во имя чего нужно побѣждать въ себѣ страсти? Во имя отвлеченной морали? Но это сухо, нечеловѣчно. Во имя общественнаго порядка? Но онъ можетъ измѣниться и изъ неразумнаго стать раціональнымъ: общественный порядокъ — не цѣль, а средство для удовлетворенія цѣли, которая состоитъ въ достиженіи человѣческаго счастья. Правда, люди часто ищутъ счастье въ стремленіи къ тѣмъ же „фантомамъ“: въ пожертвованіи будущему настоящимъ, въ подчиненіи законамъ, извнѣ наложеннымъ на человѣческую волю. Въ дѣйствительности, счастье заключается въ „полнотѣ наслажденія“, и чтобы оно было полно, человѣкъ долженъ сливаться съ общей жизнью. Привязывать свое счастье къ жизни отдѣльнаго человѣка или къ отдѣльному чувству — значитъ вѣряться слѣпой судьбѣ и ставить себя въ зависимость отъ ея случайныхъ, бессмысленныхъ ударовъ. „Неужели для человѣка только и дано въ удѣлъ, что *любитъ*ся, и развѣ одна любовь дастъ Grundton всей жизни? На все есть время. Зачѣмъ этотъ человѣкъ не раскрылъ свою душу общимъ, человѣческимъ интересамъ,

зачѣмъ онъ не доросъ до нихъ? Зачѣмъ и женщина эта построила весь храмъ своей жизни на такомъ песчаномъ грунтѣ? Какъ можно имѣть единымъ якоремъ спасенія индивидуальность чью-нибудь?—Все отъ того, что мы дѣти, дѣти и дѣти“.

Знала ли Наташа, что пишетъ Александръ въ книгѣ, которую она подарила ему для дневника? Во всякомъ случаѣ, если она даже только предполагала это изъ случайныхъ оговорокъ Герцена, то для ея грусти была на лицо достаточная причина. Отъ ея мировоззрѣнія, усвоивъ которое, Александръ сдѣлался *ея Александромъ*,—здѣсь не оставалось камня на камнѣ. Какъ будто совсѣмъ никогда не было ни вятской переписки, ни прежнихъ „паденій“, ни прежнихъ мистическихъ экстазовъ. Все было разрушено сразу и безвозвратно. Если только *это* старое мировоззрѣніе продолжало, въ глазахъ Наташи, придавать смыслъ ихъ союзу, то теперь союзъ долженъ былъ лишиться всякаго смысла. Что же дѣлалъ Герценъ, чтобы возстановить идейную связь; скрывалъ ли онъ свои новыя мысли или, напротивъ, старался, чтобы Наташа ихъ возможно полнѣе усвоила? Повидимому,—ни то, ни другое. Герценъ былъ слишкомъ занятъ своей собственной внутренней работой и не присматривался къ тому, что дѣлалось въ душѣ его жены. „Часто заставлялъ я ее у кровати Саши съ заплаканными глазами“, писалъ онъ много времени спустя; „она увѣряла меня, что все это отъ разстроенныхъ нервовъ, что лучше этого не замѣчать, не спрашивать... я вѣрилъ ей“... черезчуръ охотно. Конечно, не теоретическія разногласія сами по себѣ вызывали у Наташи эти слезы; но ея теоретическія воззрѣнія были слишкомъ тѣсно переплетены съ ея любовью: Герценъ одновременно подвергалъ испытанію то и другое. Какъ прежде, горе Наташи приняло форму самообвиненій. „Я чувствую, вижу, что не могу развлечь тебя, тебѣ скучно—я понимаю это, я оправдываю тебя, но мнѣ больно... Я знаю, что ты меня любишь, что тебѣ меня жаль, но ты не знаешь, откуда у тебя тоска, откуда это чувство пустоты, ты чувствуешь бѣдность своей жизни, и въ самомъ дѣлѣ, что я могу сдѣлать для тебя?“ И разъ высказанныя, эти „Grübeleien“ снова и снова возвращались: „только что я забывалъ ихъ,—говорить Герценъ,—они снова поднимали голову, совершенно ничѣмъ не вызванные, и когда они проходили, я впередъ боялся ихъ возвращенія“. Только позднѣе онъ понялъ, что эти „черные призраки“—не случайность, не простое недоразумѣніе и даже не слѣдствіе одного только болѣзненнаго состоянія Наташи; что „корни“ ихъ лежали „глубже, въ ея характерѣ, въ ея воспитаніи“. И тогда ему приходилось винить себя за то, „что не умѣлъ осторожно, нѣжно ихъ вырвать“. По позднѣйшему замѣчанію



Герцена, „это былъ кризисъ, болѣзненный переходъ изъ юности въ совершеннолѣтіе; она не могла сладить съ мыслями, точившими ее“, и „я“, прибавляетъ Герцень, „не только не помогъ ей въ это время, а напротивъ, далъ поводъ развиться сильнѣе и глубже всѣмъ“ этимъ терзаніямъ, которые „поставили ее на край чахотки“.

## VIII.

О „поводѣ“, на который намекаетъ здѣсь Герцень, рассказано въ III томѣ воспоминаній Т. П. Пассекъ (стр. 87). Это случилось тотчасъ послѣ переселенія изъ Новгорода въ Москву. Подъ 29-мъ іюля 1842 года находимъ въ дневникѣ слѣдующую замѣтку. „Ничего не дѣлаю, а внутри сдѣлалось и дѣлается много. Я увлекался, не могъ остановиться—и послѣ ахнулъ. Но въ самомъ раскаяніи есть что-то защищающее меня передъ собою. Не тѣ ли единственно удерживаются, которые не имѣютъ сильныхъ увлеченій? И почему мое увлеченіе было полно упоенія, безумнаго *bien-être*, на которое обращаясь, я не могу его проклясть... Пусть положительное законодательство назначаетъ плети и цѣпи,... мы должны съ иной точки взглянуть на паденіе, на искушеніе... Люди, развившіеся до современности, не хотятъ... безсознательныхъ уступокъ положительному законодательству, преданію etc. Все хотятъ провести черезъ горнило сознанія; съ этимъ вмѣстѣ дѣтскія вѣрованія, готовые понятія о добрѣ и злѣ уничтожаются“. Мы видимъ, Герцень очень скоръ на оправданіе своего поступка; онъ даже подводитъ его подъ свой новый моральный кодексъ. Но, какъ въ исторіи съ Медвѣдовой, „наказаніе идетъ рядомъ съ проступкомъ“. „Подъ 13-мъ августа Герцень говоритъ объ „угрызеніяхъ за послѣднюю глупость“. Пока—это для него все еще только „глупость“; и позднѣе онъ замѣчаетъ: „я никогда не придавалъ бы огромной важности гадкому, но безслѣдному поступку, если бы онъ не прибавилъ ей страданія“. Настоящая казнь начинается, когда узнаетъ о поступкѣ Наташа. По обыкновенію, она молчитъ и плачетъ. Герцень приписываетъ это потрясенію, произведенному третьими неудачными родами. Сперва онъ тоже молчитъ, „не находитъ силъ вынести этотъ видъ“ нѣмого страданія, „отъ него приходитъ въ какое-то горячее состояніе“ и „уходитъ съ какою-то тяжестью въ груди, въ головѣ“. Но, наконецъ, онъ хочетъ объясниться—и встрѣчаетъ прежніе *Grübeleien*. „Я тебѣ не нужна, напротивъ, всегда больная, страдающая. Я тебѣ порчу жизнь, лучше было бы избавить отъ себя“. Опять всплываетъ у ней увѣренность, что она не подходитъ для Герцена, что ему нужна другая, болѣе

энергичная натура. Герценъ просить, убѣждаетъ, требуетъ, но скоро ему приходится убѣдиться, что у него „нѣтъ больше той самодержавной власти, съ которой“ онъ „могъ прежде заклинять мрачныхъ духовъ“. „У ней *нѣтъ вѣры* въ меня“,— замѣчаетъ онъ, раньше чѣмъ догадывается, почему это такъ вышло. Наконецъ, онъ догадывается, ходитъ нѣсколько дней, какъ „колодникъ, приговоренный къ кнуту, передъ наказаніемъ“, и рѣшается въ концѣ концовъ на полную исповѣдь. Подъ 21-мъ января (1843) находимъ замѣтку: „Вчера мы долго, долго и скорбно говорили. Я раскрывалъ всѣ раны, всѣ угрызения, нанесенныя минутами паденія. Мало-по-малу становилось на душѣ свѣтлѣе; я какъ-то выросъ, ощущалъ всю мощь свою, всю любовь свою и всю ея любовь, обнявшую нимбомъ существо мое. И мы провели минуты высокаго блаженства, все прошедшее было забыто, мы были хороши, какъ въ день свадьбы“. И онъ спокойно переходитъ къ своимъ книгамъ, къ своимъ литературнымъ работамъ, къ салоннымъ встрѣчамъ и спорамъ, которыми полонъ дневникъ. Скоро оказывается, однако, что забвеніе прошлаго онъ торжествовалъ слишкомъ поспѣшно. 4-го марта въ дневникѣ записано „еще ужасное и тяжелое объясненіе съ Наташей“. „Я думалъ, все окончено, давно окончено; но въ сердцѣ женщины не скоро пропадаетъ такое оскорбленіе. Она плакала,—отчаянно, горько плакала, я уничтожалъ себя: состраданіе, любовь, мучительное угрызение, бѣшенство, безуміе—все разомъ терзало меня“. Въ этомъ смѣшанномъ чувствѣ обвиненіе себя все еще перемѣшивается съ обвиненіемъ ея, и порывы страсти чередуются съ минутами апатіи, въ которыя Герценъ готовъ все бросить. „Что же ей, когда я такъ чисто покаялся, когда это уже давнопрошедшій фактъ? Зачѣмъ подрываться подъ другого?..“ „Человѣкъ съ глубокимъ сознаніемъ своей вины... просить, чтобы его судили, распяли; онъ... понимаетъ, что наказаніе должно быть... онъ не возмутится, а просто приметъ казнь“, потому что „подозрѣваетъ, что ему легче будетъ по ту сторону наказанія, что казнь примиряетъ, отрѣзываетъ прошедшее отъ грядущаго... Но сила карающая должна на томъ и остановиться; если она будетъ продолжать карать, если она безпрестанно будетъ ему напоминать гнусность его поступка,—по страшному реактивному дѣйствию падшій возмутится, онъ самъ себя начнетъ реабилитировать... Чтò онъ прибавитъ къ своему раскаянію? Чѣмъ ему иначе примириться?.. Человѣкъ, которому нѣтъ прощенія, долженъ зарѣзаться или глубже погрязнуть въ пороки—иного выхода ему нѣтъ“. И у Герцена совершенно опускаются руки. „Въ такія минуты я, долго изнемогая, дохожу до мыслей слабыхъ. Мнѣ бы хотѣлось уѣхать одному изъ Москвы, не видать, не знать и отдохнуть такъ. Мнѣ становится

страшно въ комнатѣ“. Нѣсколько дней спустя выдается опять день свѣтлый, какъ день свадьбы; а затѣмъ, черезъ мѣсяцъ,—снова пароксизмъ грусти, еще болѣе сильный. „Ея грусть принимаетъ видъ безвыходнаго отчаянія. Бывало за слезами слѣдовали свѣтлыя слова. Я не знаю, что мнѣ дѣлать. Ни моя любовь, ни молитва къ ней—не помогаетъ. Я гибну нравственно уничтоженный, флетрированный. Каплю елея на раны, каплю воды на алканье... изнемогаю. Я шути, безсознательно, буйствуя, развязалъ руки низкой натурѣ своей, разбилъ зданіе всей жизни, и не умѣлъ сохранить, потому что слишкомъ много дано было... Она бываетъ жестка, беспощадна со мной,—много надобно было, чтобы довести до этого ангельскую доброту“. Заставить себя чувствовать иначе—оказывается совѣтъ не въ волѣ Наташи; не разъ Герценъ замѣчаетъ, что она хочетъ простить—и не можетъ, что у ней „нѣтъ силъ и средствъ забыть, примириться истинно, простить безслѣдно“.

Въ довершеніе всего, Герцену приходится дрожать за самую жизнь Наташи. „Ея здоровье разрушается наглазно; она тлѣетъ—одна надежда у меня на лѣто и путешествіе“. „Я стою со всѣмъ благомъ моей жизни... на весеннемъ льду, и эти минуты внутренняго трепета—ихъ ничѣмъ ничто не вознаградить. Страшный скептицизмъ остается результатомъ всего этого, и ни занятія, ничто не мощно побѣдить боль“.

Въ этомъ тяжеломъ душевномъ настроеніи застала Герценовъ пятая годовщина ихъ брака. „Этотъ пятый годъ былъ тяжелъ,—пишетъ Герценъ,—онъ раздавилъ послѣдніе цвѣты юности, послѣднія упованія... Да, да, послѣдніе листы облетѣли: будетъ ли весна и новый листъ, могучій по возврату,—кто скажетъ?“

Гораздо позже Герценъ вотъ какъ отвѣтилъ на этотъ вопросъ. „Разумѣется, мы не могли возвратиться къ весеннему, юному владимірскому отшельничеству. Шиллеръ правъ: „май жизни цвѣтетъ одинъ разъ“, но есть еще другіе цвѣты,—не майскіе,—которые распускаются въ іюнѣ, іюлѣ, августѣ; они на своемъ мѣстѣ такъ же красивы и благоуханны, какъ весеннія віолетки и ландыши на своемъ“. Прежнее чувство было убито тѣми испытаніями, которыя поставилъ ему Герценъ; но оно замѣнилось новымъ, которое имѣло свою привлекательность. „Ихъ существованіе удержалось сожалѣніемъ другъ о другѣ; одно утѣшеніе, доступное имъ, состояло въ глубокомъ убѣжденіи необходимости одного для другого, для того чтобы какъ-нибудь нести крестъ... Это уже не былъ бракъ, ихъ связывала не любовь, а какое-то глубокое братство въ несчастіи; ихъ судьба тѣсно затягивалась и держалась вмѣстѣ тремя маленькими, холодными рученками и безнадежной

пустотою около и впереди“. Кажется, Герценъ имѣлъ въ виду свои собственныя отношенія, когда писалъ эту прочувствованную характеристику одной знакомой новгородской семьи.

Время затянуло мало-по-малу свѣжія раны. Герцены оба утомлены были нравственно и физически, оба знали теперь цѣну страданіямъ, оба нуждались въ покоѣ и отдыхѣ. Онъ научился лучше цѣнить свое семейное счастье; она постепенно мирилась съ крушеніемъ юношескихъ идеаловъ. Одна меньше требовала, другой больше готовъ былъ дать. Чѣмъ невозвратимѣе были утраты въ прошломъ, тѣмъ больше дорожили оба остаткомъ жизни. „Душа, какъ корабль,—замѣчаетъ Герценъ,—что ни побѣжденная буря, то ближе къ разрушенію. Матросы становятся лучше, а дерево хуже“.

Успокоившись отъ домашнихъ бурь, Герценъ тѣмъ энергичнѣе могъ теперь предаться литературной и общественной дѣятельности. Эпизоды личной исторіи все рѣже и рѣже попадаютъ въ дневникъ 1844 и 1845 годовъ. Герценъ весь погруженъ въ борьбу. Прежде онъ спорилъ, старался убѣдить и убѣдиться самъ; теперь онъ убѣжденъ, споры ему надобли, литературные противники превращаются для него въ общественныхъ враговъ, разногласія приводятъ къ разрыву, партіи опредѣляются окончательно и во всеоружіи стоятъ другъ противъ друга. Но Герцена уже перестаетъ удовлетворять и эта чернильная и словесная война. „Дѣйствительнаго дѣянія, на которое мы бы были призваны, нѣтъ; выдыхаться въ вѣчномъ плачѣ, въ сосредоточенной скорби—не есть дѣло. Что же мнѣ дѣлать въ Москвѣ?.. Мнѣ даже люди выше обыкновенныхъ начинаютъ быть противны: этотъ суетный, сорокалѣтній парень Хомяковъ, просмѣявшійся цѣлую жизнь и ловившій нелѣпый призракъ русско-византійской церкви, дѣлающейя всемірною,—повторяющій одно и то же, погубившій въ себѣ гигантскую способность,—и Аксаковъ, безумный о Москвѣ, ожидающій не нынче-завтра воскресенія старинной Руси, перенесенія столицы и чортъ знаетъ что“. „Всякій разъ, какъ я вижу Чаадаева, — записываетъ Герценъ черезъ нѣсколько дней,—я содрогаюсь. Какая благородная и чистая личность, и что же? Тяжелая атмосфера сѣверная сгибаетъ (эту личность) въ ничтожную жизнь маленькихъ преній, пустой траты себя словами о ненужномъ, ложной замѣной истиннаго дѣла и слова... Чѣмъ больше, чѣмъ внимательнѣе всматриваешься въ лучшихъ, благороднѣйшихъ людей, тѣмъ яснѣ видишь, что это неестественное распаденіе съ жизнью ведетъ къ нѣдосинкрзіямъ, ко всякимъ субъективнымъ блаженіямъ... Одинъ никого не любитъ, а влюбленъ, теоретически хочетъ жениться во что бы то ни стало, другой выдумываетъ другую мнимую



Н. А. Герценъ (1847 г.).



муку и носится съ нею; все это одинаковымъ образомъ свидѣтельствуеъ о совершенномъ недостаткѣ истинныхъ, всепоглощающихъ занятій... Ни у кого нѣтъ собственно практическаго дѣла, которое было бы принимаемо за дѣло истинное, увлекающее въ себя всѣ силы души. И Герцена тянетъ подальше отъ этой жизни, отъ этихъ людей. Въ Москвѣ ему становится такъ же душно, какъ было душно въ Новгородѣ. Старая мысль о путешествіи въ теплые края, въ Италію, снова начинаетъ дразнить воображеніе. „Вхоть вдаль“ — нужно было и для того, чтобы поправить здоровье Наташи, и для того, чтобы удовлетворить этимъ порываніямъ души на европейскій просторъ, и, наконецъ, для того, чтобы очистить атмосферу разнаго рода личныхъ отношеній. Въ 1845 году Герценъ окончательно разорвалъ съ славянофилами, которые стали теперь для него политическими врагами. Въ 1846 году начался разладъ съ ближайшими друзьями, Грановскимъ и другими, которые не хотѣли разстаться съ „фантомами“ юности и не рѣшались принять всѣхъ выводовъ герценовскаго реализма. Съ своимъ философскимъ и политическимъ радикализмомъ Герценъ оставался одинъ или почти одинъ: его сторону приняли только Огаревъ и Наташа, — послѣдняя, кажется, не безъ оговорокъ по адресу личнаго характера Герцена, сыгравшаго свою роль въ портѣ дружескихъ отношеній. Конечно, на сторонѣ Герцена стояло молодое поколѣніе, внимательно слѣдившее за его журнальной проповѣдью реализма. Но личныхъ связей съ молодежью у него было немного, и онѣ не могли удерживать его на родинѣ. Послѣ смерти отца (6-го мая 1846 г.) не удерживалъ его и недостатокъ денежныхъ средствъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ заграничный паспортъ былъ у Герцена въ карманѣ, и 21-го января 1847 года онъ двинулся въ путь. За границей раздиралъ эпилогъ семейной драмы.

## IX.

Попытка изобразить эпилогъ семейной драмы Герценовъ у насъ сдѣлана П. В. Анненковымъ <sup>1)</sup>. Но, несмотря на то, что Анненковымъ остается преимущество очевидца, — мы рѣшаемся думать, что картина ему не удалась. Если вѣрить его наблюденіямъ, скромная, робкая хозяйка дома превратилась за границей въ блестящую туристку и, освободившись раньше самого Герцена отъ старыхъ основъ нравственнаго быта, бросилась въ погоню за сильными ощущеніями. Намъ

<sup>1)</sup> Въ его статьѣ въ *В. Евр.* „Замѣчательное десятилѣтіе“, перепечатанной въ „Воспоминаніяхъ и очеркахъ“, т. III.

кажется, что, рисуя эту банальную фигуру взбалмошной женщины, бросающей добродѣтельнаго мужа для демоническаго любовника, Анненковъ вовсе не зналъ того, что было у Герценовъ въ прошломъ, и совершенно не понималъ того, что видѣлъ въ настоящемъ. О томъ и другомъ намъ извѣстно теперь гораздо больше, чѣмъ могло быть извѣстно Анненкову; вотъ почему мы можемъ спокойно игнорировать его рассказъ. Остается еще одна, высшая инстанція, въ которой истина должна быть окончательно восстановлена. Мы разумѣемъ неизданную до сихъ поръ часть „Былого и думъ“,—ту, „для которой“ Герценъ „писалъ всѣ остальные“, которую онъ самъ еще въ 1866 году предполагалъ опубликовать въ болѣе или менѣе непродолжительномъ времени и которая, къ сожалѣнію, до сихъ поръ остается подъ спудомъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что содержаніе этой части будетъ гораздо ближе къ подлиннымъ документамъ, чѣмъ къ впечатлѣніямъ сторонняго наблюдателя.

Настроение, овладѣвшее Натальей Александровной за границей, очень ярко рисуется въ письмахъ къ Н. А. Тучковой, второй женѣ Огарева, тогда еще очень молодой дѣвушкѣ. „Неудовлетворенность“—вотъ общій тонъ этого настроенія: этотъ тонъ замѣтилъ и Анненковъ, но онъ не могъ видѣть почвы, на которой „неудовлетворенность“ Наташи возникла и выросла. И это немудрено, потому что Наталья Александровна съ своей обычной замкнутостью таила въ себѣ секретъ этого настроенія и высказывалась одной только Тучковой. „Только съ тобой я такъ могу говорить“,—пишетъ она своей новой подругѣ; *ты меня поймешь, оттого что такъ же слаба, какъ я*; но съ другими, кто сильнѣе и слабѣе, я бы не хотѣла такъ говорить, не хотѣла бы, чтобы они слышали, какъ я говорю; для нихъ я найду сюжетъ другой“. И не разъ она сама удивляется порывамъ своей откровенности.

Откуда же явилась эта потребность сердечныхъ изліяній другому? Что лежало на душѣ Наташи, что ей необходимо было перелить въ родную душу? Почему этимъ повѣреннымъ души былъ теперь не мужъ, а подруга? Все это объяснять намъ сами письма.

Прежде всего, въ этихъ письмахъ мы встрѣчаемъ все ту же, хорошо знакомую намъ Наташу московской „переписки“; въ 1848 году она остается такой же, какой была десять лѣтъ раньше. Содержаніе внутренней жизни, конечно, совершенно иное, чѣмъ прежде; но попрежнему внутренняя жизнь преобладаетъ надъ внѣшней; попрежнему калейдоскопъ впечатлѣній гнететъ и давитъ Наташу, и ей бы хотѣлось уйти отъ житейской суеты въ тѣсный кругъ близкихъ людей. „Меня пугаетъ мое равнодушіе“,—пишетъ она; „такъ немного, такъ немного меня интересуетъ: природа—только не въ кухнѣ; исторія—только



не въ камерѣ, потомъ семья, потомъ еще двое, трое, вотъ и все“... „Всѣ республики, революціи, все въ этомъ родѣ—мнѣ кажется чуждымъ вязаньемъ; то же дѣйствіе производятъ на меня, ну, Кавеньякъ, Наполеонъ, тамъ еще не знаю кто: это спицы, на которыхъ нанизаны маленькія, самомалѣйшія петли,—и вяжутся, вяжутся... нитки тонкія, гнилыя, тамъ порвется, здѣсь порвется, всѣ ахаютъ, кричатъ, бросаются поднимать, а петли рвутся и распускаются больше; узелъ на узелѣ—да какой грязный чулокъ-то!“ „Наше общество теперь, какъ арлекинъ—ужасная пестрота. Я люблю разнообразіе, а арлекиновъ не люблю. Двое, трое — это много, съ кѣмъ хочется поговорить немного; съ другими у меня дѣлается удушье. Въ ихъ присутствіи я чувствую только тягость существованія“... „Мнѣ надоѣли китайскія тѣни; я не знаю, зачѣмъ и кого я вижу; знаю только, что слишкомъ много вижу людей, не могу сосредоточиться ни на одну минуту... Приходить вечеромъ, дѣти укладываются: ну, кажется, отдохну,—нѣтъ, пошли бродить хорошіе люди, — и отъ этого пуще тяжело, что хорошіе люди... Чувствую, будто дымъ кругомъ бродитъ, глаза ѣсть, дышать тяжело, а уйдуть—ничего не останется. Настаетъ завтра—все то же“... Мы видимъ, никакіе интересы не привязываютъ Наташу къ окружающей жизни; она находитъ въ ней только внѣшнюю суету, „мышиную бѣготню“; люди и факты идутъ мимо нея, какъ „китайскія тѣни“; они только утомляютъ ее, не развлекая, — точно „капѣль весною“. Но эта жизнь становится для нея рѣшительно невыносимой, когда въ душѣ начинается что-то новое, что-то такое, къ чему надо прислушаться, въ чемъ надо разобраться, — а всему этому стоитъ на дорогѣ житейская суетолака. Ей хочется уйти куда-нибудь подальше, быть „совершенно одной“, чтобы „не мѣшало“ никакое „прикосновеніе“,—*„ни милое, ни постылое“*: только тогда она можетъ „дышать полнѣе и шире“. „Я немногаго хочу, нѣсколько часовъ въ день себѣ, себѣ, т. е. чтобы я могла другому ихъ отдать, *какъ я хочу*,—остальное время я готова слушать, пожалуй“.

Все это были симптомы рѣшительнаго нравственнаго переворота, подготовленнаго всей предыдущей жизнью. Надо себѣ представить положеніе женскаго поколѣнія тридцатыхъ годовъ, для того чтобы понять значеніе и необходимость этого переворота въ Наташѣ.

Положеніе женской молодежи того времени было очень нелегко. Лишенная высшей и даже средней школы, дома учившаяся только языкамъ, читавшая въ лучшемъ случаѣ только романы, она не имѣла достаточной подготовки, чтобы жить жизнью вѣка и идти, въ мысли и въ чувствѣ, объ руку съ мужской молодежью. Къ участію въ серьезныхъ

чтеніяхъ и спорахъ молодыхъ людей не допускали дѣвушекъ простыя требованія приличія, не говоря уже о подготовкѣ. Между тѣмъ, результаты юношескихъ споровъ были далеко не безразличны для барышень. Женщина играла въ этихъ спорахъ очень важную роль; теоретически ей предоставлялась роль высшаго существа, предназначеніемъ котораго было пересоздать мужчину. Среди табачнаго дыма и за стаканами вина рѣшались вопросы, какъ женщина должна любить: то отъ нея ждали любви по Шиллеру, то она должна была чувствовать по Гегелю, то ей рекомендовалось проникнуться настроеніемъ Жоржъ-Зандъ. И все это предъявлялось одному и тому же женскому поколѣнію на очень короткомъ промежуткѣ времени въ одинаково безусловной, догматической формѣ. Сколько же нужно было такта и искренности, мягкости и врожденнаго благородства, чтобы, не прибѣгая къ лицемѣрію, удовлетворить ожиданіямъ молодыхъ людей — и остаться въ то же время самими собою? Очень часто происходили, въ результатѣ, тѣ трагическія недоразумѣнія, которыя Герценъ такъ мѣтко охарактеризовалъ по поводу брака Огарева. Молодой человѣкъ замѣчалъ послѣ свадьбы, что существо, которое онъ считалъ самымъ близкимъ, не понимаетъ первыхъ буквъ того языка, на которомъ онъ говоритъ съ ней. „Онъ принимался наскоро будить женщину, но большей частью только пугалъ или путалъ ее. Оторванная отъ преданій, отъ которыхъ она не освободилась, и переброшенная черезъ какой-то оврагъ, ничѣмъ не наполненный, она вѣрила въ свое освобожденіе... Ея растрепанныя мысли, безсвязно взятые изъ Жоржъ-Зандъ, изъ нашихъ разговоровъ, никогда ни въ чемъ не дошедшія до ясности, вели ее отъ одной нелѣпости къ другой, къ эксцентричностямъ, которыя она принимала за оригинальную самобытность, къ тому женскому освобожденію, въ силу котораго онѣ отрицаютъ изъ существующаго и принятаго *на выборъ*, чтѣ имъ не нравится, сохраняя упорно все остальное“. „А мы“, — прибавляетъ Герценъ, — „думаемъ, что сдѣлали дѣло и проповѣдуемъ ей, какъ въ аудиторіи“.

Совсѣмъ иначе совершилась эмансипація Наташи. Для нея переходъ былъ особенно крутъ отъ мистицизма переписки къ герценовскому реализму сороковыхъ годовъ. О новомъ міровоззрѣніи она догадалась только тогда, когда въ кругу близкихъ ей отношеній явились факты, сами по себѣ разрушавшіе старое міровоззрѣніе. „Не въ книгѣ и съ книгой освободилась она, а ясновидѣніемъ и жизнію. Неважныя испытанія, горькія столкновенія, которыя для многихъ прошли бы безслѣдно, провели сильныя борозды въ ея душѣ и были достаточнымъ поводомъ внутренней глубокой работы. Довольно было легкаго намека, чтобы отъ

послѣдствіа къ послѣдствію она доходила до того безбоязненнаго пониманія истины, которое тяжело ложится и на мужскую грудь. Она грустно разставалась съ своимъ иконостасомъ, въ которомъ стояло такъ много заветныхъ святынь, облитыхъ слезами печали и радости; она покидала ихъ не краснѣя, какъ краснѣютъ большія дѣвочки своей вчерашней куклы. Она не отвернулась отъ нихъ, она ихъ уступила съ болью, зная, что она станетъ отъ этого бѣднѣе..., что она дружится съ суровыми, равнодушными силами, глухими къ лепету молитвы, глухими къ загробнымъ упованіямъ. Она тихо отняла ихъ отъ груди, какъ умершее дитя, и тихо опустила ихъ въ гробъ, уважая въ нихъ прошлую жизнь,—поэзію, данную ими... Она и послѣ не любила холодно касаться до нихъ, — такъ какъ мы минуемъ безъ нужды ступать на земляную насыпь могилы“.

## X.

Мы отчасти уже видѣли, чего стоила Наташѣ эта „внутренняя ломка и перестройка всѣхъ убѣжденій“. Принесла ли она эту жертву на алтарь любви или истины, мы навѣрное не знаемъ; какъ бы то ни было, жертва была слишкомъ тяжела. На нѣсколько лѣтъ Наташа совершенно обезсилѣла; все въ ней точно замерло и оцѣпенѣло. Поѣздка за границу понемногу освободила ее отъ этого моральнаго столбняка. „Въ Италіи было мое возрожденіе“,—пишетъ она Тучковой; это была для нея „вторая молодость, которая ярче, реальнѣе и богаче первой“. вмѣстѣ съ этимъ обновленіемъ души явилась и потребность чувства,—но новаго, свѣжаго и вполне свободнаго чувства. Эта-то потребность *своей собственной*, личной жизни и просится неудержимо наружу въ письмахъ Наташи къ Тучковой. „Довольно умирать, хотѣлось бы жить“,—твердитъ она. „Хочу жить, жить своей жизнью, жить, насколько во мнѣ жизни“. И вотъ совѣты, которые она теперь даетъ своей молодой поклонницѣ, жертвующей собою—роднымъ. „Въ тебѣ такая бездна жизни, но какое произвольное самоуничтоженіе! Это страшно больно ставить во мнѣ вверхъ дномъ все... Оскорбительно предоставлять жизни сдѣлать изъ тебя, чтó она захочетъ или чтó ей случится; я бы хотѣла сдѣлать изъ жизни твоей, чтó ты хочешь... Наконецъ, какъ человѣкъ, ты не имѣешь права уничтожать себя, оттого что окружающіе не удовлетворяютъ тебя. Чтó тебѣ до нихъ, развѣ ты — не ты? Помоги имъ сочувствіемъ, снисхожденіемъ, а бросать себя подъ ноги...!“ Легко догадаться, почему у Наташи явилась „страшная потребность“ написать эти строки: содержаніе ихъ такъ близко и больно чувствовалось ею

самой. Она тоже жаждала теперь независимости отъ всякихъ стѣсненій и привязанности по свободному выбору. „Иль у сокола крылья связаны, иль пути ему всё заказаны“, — цитируетъ она; „отчего жъ на свѣтъ глядѣть хочется, облетѣть его душа просится?“ „Чувствую себя свѣжо, ярко и юно“, — встрѣчаемъ въ другихъ, нѣсколько позднѣйшихъ письмахъ; „жизнь хороша, не правда ли?“

Это размягченное настроеніе требовало выхода, обнаруженія, а подѣлиться имъ было рѣшительно не съ кѣмъ. Знакомые Александра не искали сближенія съ Наташей и ограничивались общимъ любезностями. „Вѣдь какіе все добрые“, — иронически замѣчаетъ Наташа, — „какъ занимаются моимъ здоровьемъ, коликой, глухотой. Прекрасный случай показать участіе“. Самый интересный посѣтитель Герцена — Тургеневъ, но... „странный человѣкъ,... часто, глядя на него, мнѣ кажется, что я вхожу въ нежилую комнату: сырость на стѣнахъ, и проникаетъ эта сырость тебя насквозь, ни сѣсть, ни дотронуться ни до чего не хочется, хочется выйти поскорѣе на свѣтъ, на тепло. А человѣкъ онъ хорошій“.

Свѣтъ и тепло Наташа встрѣтила въ молоденькой Тучковой — и буквально въ нее влюбилась. „Только въ тебѣ“, — пишетъ она ей, — „нашла я товарища, только такой отвѣтъ на мою любовь, какъ твой, могъ удовлетворить меня; я отдалась съ увлеченіемъ, страстно, — а они всё такъ благоразумны, такъ мелки“. Но и эта „утѣшительница души“ (*Consuelo de mia alma*, называла ее Наташа) скоро уѣхала, и Наташа опять осиротѣла. Осенью 1848 года она снова сближается съ женой горячаго поклонника Герцена, нѣмецкаго поэта Гервега, только-что нашумѣвшаго у себя на родинѣ представителя молодой Германіи. „Мало женщинъ, съ которыми мнѣ такъ хорошо, какъ съ ней“, — пишетъ Наташа. Она „любитъ“ и ея мужа: „широкая натура, съ нимъ мнѣ даже хорошо молчать, мысль не задѣваетъ за него, не спотыкается“, — не то, что съ Тургеневымъ. Присутствіе Гервега, стало быть, не тяготитъ ее, не стѣсняетъ ея потребности въ свободѣ, въ уединеніи. Скоро онъ становится своимъ человѣкомъ. Получивъ письмо о соединеніи Тучковой съ Огаревымъ, вотъ какъ она празднуетъ эту радостную новость. „День былъ чудесный, я одѣлась, надѣла бѣлыя, чистыя перчатки, не могла дожидаться другихъ, пошла гулять, накупила цвѣтовъ, отнесла ихъ Эммѣ (женѣ Гервега); мнѣ хотѣлось весь свѣтъ усыпать цвѣтами, взяла съ собой Георга (такъ его звали) и пошла съ нимъ по *Champs Elysées*. Это единственные люди, съ которыми я не могла не подѣлиться тѣмъ, что происходило во мнѣ... Эмма въ постели, у нея родилась дочь Ада. — Ну, такъ вотъ попли мы съ

Георгомъ, веселые, какъ дѣти, дѣлали тысячу плановъ, шли, шли, и пришли въ погребокъ и выпили съ нимъ на радости бутылочку. Я смотрю на все съ гордостью, — республика и публика мнѣ кажутся вздоромъ, — у меня почти нѣтъ желаній, хотѣлось бы погулять съ вами въ хорошенькомъ мѣстѣ и только“.

Можно ли было бы догадаться, что это веселое скерцо служить прелюдией къ мрачному финалу? Какъ видимъ, въ Георгѣ не было ничего демоническаго, — и это оказалось хуже, чѣмъ если бы въ немъ демоническое было. Но мы должны поневолѣ остановиться; здѣсь изсякаетъ нашъ матеріалъ, и занавѣсъ опять на два года опускается надъ отношеніями Герценовъ. Онъ открывается далѣе только для двухъ короткихъ сценъ, но и ихъ достаточно, чтобы судить о развязкѣ пьесы.

Теплая итальянская ночь съ 7-го на 8-е іюля 1851 года. На пустынной площади въ Туринѣ Герценъ, только-что пріѣхавшій изъ Парижа, ждетъ карету, въ которой должна вернуться къ нему изъ Ниццы его жена. Она теперь тоже несетъ въ родную пристань остатки разбитой жизни, спасается отъ сознанія непоправимой ошибки. „Одного взгляда, двухъ—трехъ словъ было за глаза довольно... все было понято и объяснено; я взялъ ея небольшой дорожный мѣшокъ, переброемъ его на трости за спину, подаль ей руку и мы весело пошли по пустымъ улицамъ въ отель... На накрытомъ столѣ стояли двѣ незажженные свѣчи, хлѣбъ, фрукты и графинъ вина; мы зажгли свѣчи и, сѣвши за пустой столъ... разомъ вспомнили владимірское житье... Много, долго говорили мы... точно послѣ разлуки въ нѣсколько лѣтъ; день давно съвозилъ яркими полосами въ опущенныя жалюзи, когда мы встали изъ-за пустого стола“... „Теперь мы подавали другъ другу руку, не какъ заносчивые юноши, самонадѣянные и гордые вѣрой въ себя, вѣрой другъ въ друга и въ какую-то исключительность нашей судьбы, — а какъ ветераны, закаленные въ бою жизни, испытавшіе не только свою силу, но и свою слабость“... „Прошедшее не корректурный листъ, а ножъ гильотины; послѣ его паденія многое не сростается и не все можно поправить... Оно остается, какъ отлитое въ металлъ... Дайте иному забыть два—три случая, такіа-то черты, такой-то день, такое-то слово, — и онъ будетъ юнъ, смѣлъ, силенъ... а съ ними онъ идетъ, какъ ключъ ко дну. Не надобно быть Макбетомъ, чтобы встрѣчаться съ тѣнью Банко. Тѣни — не уголовные судьи, не угрызения совѣсти, а *несокрушимыя событія памяти*... Да забывать и не нужно: это слабость, это своего рода ложь. Прошедшее имѣетъ свои права, оно *фактъ*, съ нимъ надобно *сладить*, а не забыть его, — и мы шли къ этому дружными шагами... Вновь отправляясь въ путь, мы, не считаясь, раздѣ-

лили печальную ношу былого... Внутри наболѣвшихъ душъ сохранилось все для возмужалаго, отстоявшагося счастья. По ужасу и тупой боли еще яснѣе разглядѣли мы, какъ мы неразнимчато срослись годами, обстоятельствами, чужбиной, дѣтьми... Слезы печали, не обсохнувшія на глазахъ, соединяли еще новой связью: чувствомъ глубокаго состраданія другъ къ другу“.

Меньше года прошло со времени свиданія въ Туринѣ. Мы стоимъ у постели больной Наташи. Послѣ новыхъ испытаній, послѣ погибели въ морѣ двоихъ дѣтей вмѣстѣ съ матерью Герцена, послѣ неудачныхъ родовъ—у ней развилась скоротечная чахотка. Въ послѣдній разъ она бесѣдуетъ на письмѣ съ своей милой Консуэлой, чтобы передать ей свое душевное настроеніе. Вотъ нѣсколько строкъ изъ этого письма. „Вставать и ходить нѣтъ силъ,—а душа такъ жива и такъ полна—не могу молчать. Послѣ страданій, которымъ ты, можетъ, знаешь мѣру,—иныя минуты полны блаженства. Всѣ вѣрованія юности, дѣтства не только свершились, но прошли сквозь страшныя, невообразимыя испытанія, не утративъ ни свѣжести, ни аромата—расцвѣли съ новымъ блескомъ и силой. Я никогда не была такъ счастлива, какъ теперь“... И она перебираетъ свои воспоминанія дѣтства,—и, какъ когда-то въ домѣ княгини Хованской,—вездѣ находитъ его. „Какъ медленно возвращаются силы“, приписываетъ она за нѣсколько дней до смерти. „Юнь уже не далеко, перенесу ли? А мнѣ хотѣлось бы жить для него, для себя,—о дѣтяхъ уже не говорю. Жить для него, чтобы залѣчить всѣ раны, которыя я ему нанесла; жить для себя, потому что я узнала его любовь, какъ никогда, довольна ею, какъ никогда“.

Герценъ былъ правъ: тутъ, на этомъ смертномъ одрѣ разрѣшалась проблема новаго брака, вырабатывался союзъ, основанный не на „надежномъ покровительствѣ“ мужчины и не на „уклончивомъ молчаніи“ женщины. Но сколько же страданій пришлось перенести и вызвать прежде, чѣмъ эта проблема была, наконецъ, вполне сознательно поставлена лучшими представителями того поколѣнія? Правъ былъ, очевидно, Герценъ и въ этомъ своемъ обращеніи къ потомству. „Поймутъ ли, оцѣнятъ ли грядущіе люди весь ужасъ, всю трагическую сторону нашего существованія? А между тѣмъ, наши страданія — почка, изъ которой разовьется ихъ счастье... О, пусть они остановятся съ мыслью и съ грустью передъ камнями, подъ которыми мы уснемъ: мы заслужили ихъ грусть!“

---



## Памяти А. И. Герцена.

(9 января 1870—9 января 1900).

Тридцать лѣтъ тому назадъ, 9 января 1870 года скончался въ Парижѣ А. И. Герценъ. Онъ умеръ какъ-то случайно, на перепутьѣ,—какъ жилъ въ свои послѣдніе годы. Жизнь отняла у него столько личныхъ привязанностей и сокрушила столько идейныхъ начинаній, а подъ конецъ такъ круто отхлынула отъ него въ другое русло, что онъ давно уже остался одинъ, безъ близкихъ друзей, безъ вѣрныхъ единомышленниковъ, безъ учениковъ и продолжателей, даже безъ какихъ-нибудь опредѣленныхъ жизненныхъ цѣлей, которымъ онъ могъ бы отдать свои вѣчно жаждавшія дѣла руки и голову. Его послѣднія письма дышатъ апатіей отчаянія. Какъ будто все, что было трагичнаго въ его положеніи, въ его характерѣ, сгустилось надъ его головой, чтобы лишить его нравственнаго сопротивленія передъ слѣпой силой, заносившей надъ нимъ руку для рокового удара. Такая богатая жизнь — и такая одинокая смерть! Философъ сказалъ правду, что самое невѣроятное изъ всего—это то, что случается въ дѣйствительности.

Семьдесятю восемью годами раньше въ томъ же Парижѣ умиралъ другой народный трибунъ, въ разгарѣ великой жизненной борьбы, тайну успѣха которой онъ уносилъ съ собой въ могилу. Парижъ его зналъ и Парижъ пришелъ его оплакать. Народъ почувствовалъ послѣ его смерти, что для своихъ великихъ людей онъ долженъ создать особую національную усыпальницу: одна изъ лучшихъ церквей города была обращена въ Пантеонъ, и великій трибунъ легъ въ немъ первый. Народная гвардія дала при его похоронахъ залпъ изъ двадцати тысячъ ружей: „все стекла полопались; казалось въ ту минуту, что церковь сокрушится надъ гробомъ“. Жизнь точно хотѣла замереть на мигъ надъ прахомъ того, кто умѣлъ проводить въ ней такіа глубокія борозды.

И Герценъ умѣлъ это... и не могъ. И что хуже всего,—онъ зналъ самъ лучше всѣхъ и то, что онъ умѣетъ, и то, что онъ не можетъ. Прибавьте къ этому еще горячее, глубокое убѣжденіе его въ томъ, что онъ *долженъ* дѣлать то, что умѣлъ и чего не могъ, — и вы получите понятіе о великой душевной драмѣ, жертвой которой палъ этотъ человѣкъ, этотъ гигантъ.

За тѣ сорокъ пять лѣтъ, которыя отдѣляютъ „аннибалову клятву“ ребенка-Герцена отъ мрачной „резиньяціи“ его кончины, — эта драма прошла, конечно, черезъ много перипетій. Мы видимъ первые юношескіе порывы, которые смѣняются скоро житейскимъ опытомъ изгнанника. Житейскій опытъ этотъ въ первый разъ ведетъ Герцена-чиновника къ открытому разрыву съ окружающей дѣйствительностью. Онъ рѣшаетъ, что „пора кончить комедію“.

Дѣйствительно, дальше мы видимъ „драму“. Чиновникъ превращается въ добровольнаго эмигранта и сразу попадаетъ на блестящій праздникъ европейскаго радикализма. Но, съ своимъ обычнымъ ясно-видѣніемъ, онъ скоро разсматриваетъ подъ праздничнымъ нарядомъ будничное настроеніе; мишурный блескъ мѣщанскаго убранства становится ему противенъ. Онъ чувствуетъ себя чужимъ на этомъ пиру и снова уходитъ въ себя.

Тутъ неожиданно-негаданно набѣгаетъ новая волна русской жизни и высоко поднимаетъ Герцена надъ европейской дѣйствительностью. Онъ снова въ своей стихіи: гдѣ-то вдали ему брежитъ огонекъ идеала, и онъ рвется къ этому огоньку напроломъ, нанося направо и налево богатырскіе удары, разя враговъ, призывая друзей, „живыхъ“ — подъ общее знамя. Онъ полонъ самыхъ радужныхъ надеждъ; онъ вѣритъ въ себя и въ свой народъ; мечты юности кажутся ему близкими къ осуществленію. Онъ живетъ и дышитъ всѣми порами своего существа.

И снова смолкаетъ буря. Wilde Jagd уносится куда-то въ пространство, куда уже не можетъ проникнуть жадный взоръ Герцена, и только по временамъ онъ слышитъ отдаленные раскаты грома, да волны очередного прилива выбрасываютъ на „тотъ берегъ“ одиночныя жертвы далекихъ кораблекрушеній. И это все оказываются другіе люди, „чужого, незнакомаго“ поколѣнія, говорящіе какимъ-то непонятнымъ языкомъ о невѣдомыхъ вещахъ. Понять ихъ можно, можно часто и сочувствовать, но къ нимъ не лежитъ душа Герцена. И такъ умираетъ онъ, чужой своимъ и чужимъ, одинокій обломокъ исчезнувшей породы.

Но съ нимъ не умираетъ правдивая, потрясающая повѣсть его душевной драмы; не умираетъ память о томъ, чѣмъ сумѣлъ онъ быть, когда русская волна подняла его высоко. Можно только дивиться тому,



какъ мало умерло въ Герценѣ съ его смертью,—если вспомнимъ, что вѣдь, въ сущности, онъ говоритъ съ нами языкомъ своего времени, своего общественнаго круга, языкомъ современнаго ему міровоззрѣнія—или даже нѣсколькихъ поочередно смѣнившихся въ его время міровоззрѣній. Но дѣло въ томъ, что Герценъ никогда не умѣлъ уложить своей мысли и своего чувства въ рамки какого-нибудь случайнаго и временнаго воззрѣнія. Въ своемъ дневникѣ сороковыхъ годовъ онъ уже находитъ случайными и временными тѣ идейныя формы, въ которыя тогда укладывалась борьба славянофильства и западничества; позднѣе, онъ найдетъ такими же условными тѣ формы, въ которыя одѣвалъ свою теорію современный ему европейскій радикализмъ. И при всемъ томъ его отрицаніе никогда не доходитъ до голаго скептицизма, потому что онъ всегда отрицаетъ во имя чего-нибудь положительнаго, во что онъ вѣритъ. Лучше, пожалуй, будетъ сказать, что онъ ничего не отрицаетъ, такъ какъ умѣетъ найти положительное въ любомъ очередномъ міровоззрѣніи, не принимая въ то же время его доктринерства, его условности. Изъ самаго плохого матеріала однимъ прикосновеніемъ своего ума, своей фантазіи—онъ создаетъ подъ часъ глубокую мысль, поразительно яркую и вѣрную картину.

Но гдѣ же источникъ этой свободы Герцена отъ подчиненія всему случайному и временному, гдѣ то, что ставило его при жизни выше текущей минуты, что надолго спасетъ его отъ забвенія по смерти, надолго сохранить за нимъ привилегію быть „властителемъ думъ“ нашего времени? Это—его широкій захватъ, та смѣлость, съ которой онъ бралъ жизнь такъ, какъ она есть, и не останавливался передъ радикальными рѣшеніями вытекавшихъ изъ нея вопросовъ. Тонкій знатокъ человѣческой психологіи, Герценъ въ то же время врагъ всякаго оппортунизма, врагъ компромиссовъ и временныхъ рѣшеній. Онъ видѣлъ далеко,—и еще дальше ставилъ цѣль, достойную своей дѣятельности. Вотъ почему жизнь, съ ея черепашьямъ ходомъ, долго не исчерпаетъ его критики и не оставитъ позади его идеаловъ.

\* \* \*

Русскія газеты,—даже такія, какъ „Новое Время“ и „Россія“,—нашли приличные случаю тонъ и выраженія, чтобы помянуть знаменательную годовщину. Попробуемъ подвести маленькій итогъ всему сказанному—надо прибавить, впервые сказанному съ такой силой и значительностью въ русской печати объ усопшемъ учителѣ.

„Литературный юбилей,—говорили 9 января „Русскія Вѣдомости“,—есть своего рода экзаменаціонное испытаніе... „Изъ всѣхъ критиковъ—самый великій, самый гениальный, самый непогрѣшительный—время“,

писалъ Бѣлинскій. Можно прибавить, что это—и самый строгій критикъ. Лишь немногіе избранные выдерживаютъ съ честью испытаніе на право быть читаемыми и перечитываемыми наравнѣ съ современниками, а можетъ быть и болѣе послѣднихъ. Лишь немногіе способны по истеченіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ возбуждать тѣ чувства, которыя возбуждали въ своихъ современникахъ, производить грустное впечатлѣніе или воодушевлять, вызывать на размышленіе или поучать. Среди этихъ немногихъ избранныхъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ, несомнѣнно, занимаетъ Герценъ“.

Въ то время какъ эти строки писались въ Москвѣ, въ Петербургѣ постоянный сотрудникъ „Россіи“, г. Дорошевичъ, набрасывалъ, какъ нарочно, поучительную иллюстрацію къ словамъ „Русскихъ Вѣдомостей“. Онъ подтвердилъ на собственномъ примѣрѣ вліяніе Герцена на современнаго читателя. „Кровь бросилась мнѣ въ голову, слезы подступили мнѣ къ горлу,—разсказываетъ г. Дорошевичъ о впечатлѣніи, произведенномъ на него чтеніемъ „Съ того берега“ за русской границей.—Передо мной открылся новый міръ, какъ открывается новый міръ всегда, когда вы открываете гениальную книгу. Передо мной счастливымъ, радостнымъ, взволнованнымъ вставалъ, въ величіи слова и мысли, новый для меня писатель, мыслитель, художникъ,—умершій, безсмертный. Какое благородство мысли, какая красота формы“!

Я говорилъ раньше, что величіе Герцена не только въ этомъ и, конечно, не отъ одного этого „кровь бросилась въ голову и слезы подступили къ горлу“ г. Дорошевича. Кто знаетъ,—при его крупномъ талантѣ и при засвидѣтельствованной имъ теперь нравственной возбудимости,—чѣмъ могъ бы сдѣлаться г. Дорошевичъ, если бы эти впечатлѣнія повторялись чаще, а, главное, если бы они пришли во-время. Но г. Дорошевичъ прочелъ книгу, „поцѣловалъ“ ее—и... приближаясь къ границѣ, выбросилъ за окошко. Не знаемъ, по сую сторону границы имѣлъ ли онъ случай перечитывать Герцена...

Во всякомъ случаѣ, Герценъ блестяще выдержалъ свой экзаменъ,—даже на такомъ недюжинномъ и требовательномъ читателѣ, какъ г. Дорошевичъ, на такомъ, повидимому, мало подготовленномъ къ воспріятію Герцена экземплярѣ, какъ постоянный сотрудникъ „Россіи“ <sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> Къ признанію г. Дорошевича мы должны прибавить теперь и признаніе г. Old Gentleman'a, напечатанное въ № 261 его газеты и попавшееся намъ на глаза, когда эта замѣтка была уже набрана. „Герценъ—моя литературная любовь еще съ университетской скамьи. Въ послѣдніе годы я вновь перечиталъ его, и онъ много содѣйствовалъ душевному перевороту, тяжело и болѣзненно

Другой сотрудник той же газеты, г. Old Gentleman, взглянул на вопросъ съ иной, прямо противоположной стороны. Онъ предложилъ проэкзаменовать не Герцена современной Россіей, а современную Россію—Герценомъ.

Помню,—разсказываетъ онъ,—въ Генуѣ встрѣтился я съ однимъ полякомъ, эмигрантомъ, который въ спорѣ со мною, нападая на Россію, цитировалъ изъ Герцена факты, касающіеся эпохи Николая I.—Развѣ можно приводить такіе аргументы,—возразилъ я,—вѣдь этому пятьдесятъ лѣтъ, все это давно прошло, старая правда стала для насъ неправдой.

„Неправдою,—усмѣхнулся полякъ язвительно,—ну, если эта неправда отжила свой вѣкъ и обратилась въ историческій матеріалъ, тогда зачѣмъ же Герценъ запрещенъ у васъ въ Россіи“.

Г. Old Gentleman, къ сожалѣнію, не сообщаетъ намъ, какъ онъ отвѣтилъ на возраженіе своего собесѣдника. Но отъ себя онъ дѣлаетъ такой выводъ изъ разговора: „сдѣлать Герцена доступнымъ къ общему прочтенію и изученію—значить проэкзаменовать Россію, насколько шагнулъ впередъ народъ ея, „освобожденный по манію царя“,—и убѣдиться въ огромности этого шага, Герценомъ предвидѣннаго, предсказаннаго и благословеннаго“.

. . . es ist ein gross Ergötzen

Zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht

Und wie wir's dann zuletzt so herrlich weit gebracht,

какъ сказалъ бы гётевскій Вагнеръ.

Во мнѣніи, что пора снять съ сочиненій Герцена тяготѣющій на нихъ цензурный запретъ и сдѣлать ихъ доступными русскому читателю,—въ этомъ мнѣніи сошлись всѣ писавшіе о Герценѣ органы русской печати. Г. Дорошевичъ предлагаетъ отдѣленію словесности академіи наукъ—„добиться пересмотра этого приговора“ и „вернуть Россію любящей и осторожной рукой ея достояніе“. Г. Перцовъ въ „Новомъ Времени“ находитъ даже, что такой возвращенный Россіи Герценъ, исправленный *ad usum delphini*, предстанетъ предъ читающей публикой въ совершенно новомъ свѣтѣ,—именно въ томъ, въ которомъ

пережитому мною въ прошлую весну. Онъ указалъ мнѣ новыя дѣли, новыя свѣтлыя точки, ради которыхъ стоить еще съ людьми жить и людское творить. Онъ указалъ мнѣ, гдѣ грѣхъ и гдѣ раскаяніе. Онъ научилъ меня не страшиться прошлаго и вѣрить въ будущее. Я люблю его, какъ полубога. И, когда пришла 30-я годовщина дня его смерти, мнѣ страстно, мучительно захотѣлось сложить словесный гимнъ въ честь его, и Надсонъ пришелъ мнѣ на помощь со стихомъ своимъ, и я заговорилъ“. Можно сказать только: въ добрый часъ.

представляли себѣ Герцена эпитоны славянофильства. „Только это личное знакомство съ Герценомъ,—говоритъ онъ (№ 8.568 „Новаго Времени“),—можетъ устранить изъ мысли нашего общества общераспространенное фальшивое представленіе о немъ прежде всего, какъ о радикальномъ „бойцѣ“, и показать, что если въ Герценѣ скрывался какой-либо боевой талантъ, то только тотъ, который нашелъ въ немъ Страховъ“ (а именно талантъ „борца съ западомъ“).

Увы, эту послѣднюю мысль пытается, по слѣдамъ Страхова, не одинъ г. Перцовъ. Ея отчасти держится, съ той же ссылкой на Страхова, и г. Арабажинъ въ „Сѣверномъ Курьерѣ“. И въ самомъ дѣлѣ, отчего же Страхову съ его единомышленниками не побивать „гнилой“ Западъ сокрушительной критикой Герцена? Вѣдь, и господинъ пасторъ, по признанію Гретхенъ, говорилъ почти то же самое, что Фаустъ, „только немножко другими словами“.

Когда, такимъ образомъ, разрушенъ будетъ магическій кругъ, освѣнявшій ореоломъ имя Герцена для однихъ и дѣлавшій его неприступнымъ—для другихъ, тогда, пожалуй, наступитъ время для осуществленія и другой мечты, высказанной г. Old Gentleman'омъ въ годовщину 9 января. Переносясь мыслью къ тому „бронзовому Герцену, что освящаетъ своимъ грустнымъ величіемъ таинственную тишину прелестнаго кладбища въ Ниццѣ“, г. Old Gentleman' кончилъ свою статью о Герценѣ такими словами: „конечно, если не мы, такъ дѣти или внуки наши дождутся торжественнаго дня, когда тѣло А. И. Герцена возвратится въ предѣлы Россіи, какъ возвратилось тѣло Мицкевича изъ Парижа на краковскій Вавель, а тѣло Наполеона съ острова св. Елены—въ Парижъ. И какъ святы эти двѣ могилы для французовъ и поляковъ, такъ для Россіи станетъ народною святынею могила возвращеннаго изъ загробной ссылки Герцена, и не зарастетъ къ ней, во вѣкъ не зарастетъ народная тропа“...

Хорошія слова, хорошія мысли... Но не знаемъ, почему намъ, когда мы читали въ „Россіи“ эти слова и процитированныя г. Old Gentleman'омъ строфы надсоновскаго стихотворенія, вспоминался старый итальянскій анекдотъ, рассказанный болтливымъ Вазари. Вотъ этотъ анекдотъ, а можетъ быть и истинное происшествіе, въ подлинной передачѣ флорентійскаго историка искусства. Рѣчь идетъ о знаменитой статуѣ „Ночи“, одной изъ четырехъ, созданныхъ гениемъ Микель-Анджело для погребальной капеллы Джуліано и Лоренцо Медичи во Флоренціи.

„Что могу я сказать о „Ночи“,—статуѣ не только рѣдкой, но единственной? Видѣлъ ли кто-либо когда-нибудь античную или современную статую, которая была бы сдѣлана съ такимъ искусствомъ, что

изображала бы не только покой спящего, но также и скорбь и печаль человека, потерявшего нечто дорогое и важное? Пусть же мы повѣряемъ, что именно такова эта „Ночь“, затмившая всѣхъ, кто когда-либо пытался—не скажу превзойти ее, но хотя бы сравниться съ нею въ скульптурѣ или въ живописи... Ученѣйшія особы слагали въ честь ея не мало латинскихъ виршей и итальянскихъ строфъ, подобныхъ слѣдующимъ стихамъ неизвѣстнаго автора:

„Изваявъ Ангеломъ, кусокъ скалы бездушной  
Сталъ „Ночью“: посмотри, какъ сладко Ночь та спитъ!  
Спитъ? Нѣтъ, живетъ обломокъ, Ангелу послушный;  
Не вѣришь? Разбуди: она заговорить!

„На каковыя стихи Микель-Анджело отъ лица Ночи отвѣтилъ такъ:

„Мой сонъ мы сладокъ; радъ я, что не слышу,  
Не чувствую стыда и бѣдъ въ родной странѣ:  
Пусть буду камнемъ я,—оставь то счастье мы;  
Эхъ, не буди, пріятель! Говори потише!“

Да, пріятель,—погоди будить Герцена; говори потише, не пробуй экзаменовать Россію по его сочиненіямъ и мѣрить ее его аршиномъ.

---

## По поводу переписки В. Г. Бѣлинскаго съ невѣстой.

Въ теченіе своей недолгой жизни В. Г. Бѣлинскій пережилъ двѣ сильныхъ сердечныхъ привязанности. Въ обѣ онъ внесъ весь пылъ своей страстной натуры; обѣ сыграли въ его біографіи очень значительную роль. Но роль каждой изъ нихъ была далеко неодинакова; и самый характеръ той и другой привязанности былъ такъ же различенъ, какъ не похожъ былъ самъ Бѣлинскій 40-хъ годовъ на Бѣлинскаго 30-хъ годовъ. Романтическая любовь 30-хъ годовъ „привела въ движеніе всѣ тайные родники“ душевной силы Бѣлинскаго-юноши и, такимъ образомъ, „открыла ему самому все богатство его натуры“. Разсудительная любовь 40-хъ годовъ должна была дать зрѣлому общественному дѣятелю „мирное, ясное, теплое существованіе, охоту къ труду и любовь къ своему углу“. Бракъ былъ сознательной цѣлью этой любви, тогда какъ для прежней, по романтическому кодексу,—онъ долженъ былъ бы сдѣлаться „гробомъ“.

Съ исторіей послѣдней сердечной привязанности Бѣлинскаго знакомятъ насъ письма его къ будущей женѣ. Трудно прибавить что-нибудь къ той яркой характеристикѣ, которую дѣлаетъ своему тогдашнему настроенію самъ Бѣлинскій въ этихъ письмахъ. Но на обязанности комментатора остается объяснить, какъ подготовлена была почва для такого настроенія всею предыдущею душевною жизнью Бѣлинскаго. Едва ли даже можно понять надлежащимъ образомъ смыслъ этого настроенія, не поставивъ его въ связь съ предшествовавшей сердечной исторіей Бѣлинскаго. Вотъ почему нѣсколько замѣчаній о томъ душевномъ переломѣ, который пережить былъ нашимъ критикомъ на короткомъ промежуткѣ—отъ середины 30-хъ годовъ до начала 40-хъ, будутъ нелишними для правильного пониманія его переписки съ невѣстой.

Въ срединѣ 30-хъ годовъ Бѣлинскій былъ начинающимъ юношей, не брезговавшимъ самой черной журнальной работой. Несмотря на

быстрый успѣхъ своихъ первыхъ литературныхъ статей, онъ не успѣлъ еще узнать себя и не довѣрялъ своимъ силамъ. Его окружало общество, въ которомъ не было мѣста для выгнаннаго студента, безпріютнаго бѣдняка, принужденнаго биться изъ-за куска хлѣба,—неблаговоспитаннаго плебея, лишеннаго всего, чтò считалось тогда необходимыми признаками хорошаго образованія и хорошаго тона. Конечно, молодые сверстники, вмѣстѣ съ нимъ проходившіе университетъ и заключившіе между собой союзъ дружбы во имя общихъ имъ всѣмъ идеаловъ, не могли дать ему почувствовать раздѣлявшее ихъ разстояніе. Но за друзьями стояли ихъ семьи, въ которыхъ косились на дружбу съ Бѣлинскимъ; друзья оставались, при всемъ своемъ идеализмѣ, членами того же общества, въ которое Бѣлинскій не имѣлъ доступа; помимо ихъ воли и сознанія, ихъ продолжало отдѣлять отъ Бѣлинскаго все, чѣмъ ихъ сдѣлало домашнее воспитаніе,—все, чего требовали отъ нихъ понятія и привычки ихъ круга. Ихъ юношескій идеализмъ, какъ давно уже было замѣчено, носилъ оттънокъ аристократизма, свойственный ихъ соціальной средѣ. Борьба съ настоящей нуждой здѣсь была неизвѣстна; занятія литературой, какъ средство къ жизни, вызывали презрѣніе; наука, литература и искусство считались здѣсь исключительно орудіемъ саморазвитія, а не предметомъ пропаганды; и менѣе всего кружокъ склоненъ былъ признать выразителемъ своихъ мнѣній товарища, усвоившаго эти мнѣнія съ чужого голоса и немедленно пустившагося кричать о нихъ на весь міръ и зарабатывать этимъ путемъ жалкіе „гривенники“. Успѣхъ въ „толпѣ“ могъ только раздражить друзей, презиравшихъ толпу и брезговавшихъ „дешевыми средствами“, въ употребленіи которыхъ они видѣли весь секретъ этого успѣха. Недовольство журнальной дѣятельностью Бѣлинскаго дошло до того, что однажды друзья объявили Бѣлинскому свое коллективное мнѣніе, что онъ не имѣетъ права печататься и что онъ лишенъ эстетическаго чувства.

Въ этомъ отношеніи друзей къ Бѣлинскому заключался зародышъ пережитой имъ душевной драмы. Мы поймемъ, какъ эта драма должна была для него быть тяжела, если припомнимъ его отношеніе къ друзьямъ. До чрезвычайности скромный въ своемъ мнѣніи о самомъ себѣ, готовый думать, что „хуже его не было никого у Бога“, Бѣлинскій началъ съ безусловнаго преклоненія передъ нѣкоторыми изъ этихъ друзей. Ихъ міросозерцаніе онъ принялъ цѣликомъ, какъ откровеніе свыше и сужденіе друзей о самомъ себѣ долженъ былъ принять безпрекословно, такъ какъ оно вытекало съ логической необходимостью изъ этого міросозерцанія. По теоріи, справедливо или несправедливо окрещенной въ дружескомъ кругу Бѣлинскаго именемъ „фихтіанизма“,—

надъ пошлой толпой возвышались немногочисленные избранныя существа, способныя ощущать въ себѣ отборныя чувства, недоступныя обыкновеннымъ смертнымъ. Органомъ этихъ чувствъ высшаго порядка считалась у нашихъ романтиковъ 30-хъ годовъ—эстетическая способность; а когда романтическое настроеніе, во второй половинѣ этого десятилѣтія, вылилось въ философскія формулы, то высшая ступень духовной жизни получила названіе „абсолютной жизни“, „жизни въ духѣ“ или „состоянія благодати“. Сравнительно съ этой высшей жизнью въ духѣ, окружающая дѣйствительность признана была „мнимой“ и „пошлой“: человекъ, „погрязшій“ въ этой дѣйствительности, въ глазахъ кружка лишенъ былъ всякаго участія въ истинной жизни. Признавалась, правда, возможность и промежуточнаго состоянія: человекъ, отрѣшившійся отъ *пошлой* дѣйствительности, но еще не дошедшій до *истинной*, находился, по теоріи друзей, на низшей ступени духовной жизни, въ состояніи „прекраснодушія“. Въ этомъ промежуточномъ состояніи считалъ себя находящимся Бѣлинскій — и смотрѣлъ снизу вверхъ на счастливыхъ обладателей „благодати“ и участниковъ „абсолютной жизни“. Вывести изъ этого положенія и привести въ состояніе „благодати“ должна была „любовь“. „Любовь“ — это было „слиянiе въ духѣ“ двухъ избранныхъ и предназначенныхъ другъ для друга существъ. При первой встрѣчѣ эти существа сразу „узнавали“ другъ друга, одновременно возгорались взаимнымъ чувствомъ и стремились къ соединенію. И Бѣлинскій слишкомъ настойчиво ждалъ, чтобы не дожидаться желанной встрѣчи. И ему встрѣтилось существо изъ міра, который онъ и безъ того привыкъ считать „вышнимъ“: въ семьѣ ближайшаго друга онъ нашелъ себѣ „душу, родную по духу“. До сихъ поръ все шло, какъ слѣдовало по теоріи. Къ фантазіи, заранѣе настроенной на извѣстный ладъ, вскорѣ присоединилось и дѣйствительное чувство. Любовь помогла дружбѣ убѣдить Бѣлинскаго въ истинности усвоеннаго имъ міровоззрѣнія. Связанный двойными узами любви и дружбы, Бѣлинскій заставлялъ себя закрыть глаза на то рѣзкое несоотвѣтствіе, которое существовало между требованіями его натуры, условіями его житейской обстановки—и кружковой теоріей. Если же несоотвѣтствіе становилось ужъ чрезчуръ замѣтнымъ, то Бѣлинскій не колебался осудить самого себя и оправдать теорію; въ то время онъ готовъ былъ всегда „унизить себя“ за то, „что должно бы было заставить его гордиться собою“. Сердце было растерзано, — зато идея торжествовала, и, „утирая кулакомъ кровавыя слезы“, Бѣлинскій „вторялъ“ за друзьями, „что жизнь—блаженство“ и что ему вмѣстѣ



съ другими „чудо какъ хорошо жить“ въ фантастическомъ мѣстѣ, который признавался друзьями за истинную дѣйствительность.

Нужны были тяжелыя разочарованія въ любви и дружбѣ, нужно было БѢлинскому перенести цѣлый рядъ „оскорбленій въ самыхъ законныхъ и святыхъ стремленіяхъ и желаніяхъ“, чтобы разрушилось это очарованіе кружка и чтобы БѢлинскій получилъ возможность взглянуть на жизнь своими собственными глазами. Въ другомъ мѣстѣ мы излагали подробно исторію этихъ разочарованій и связаннаго съ ними крушенія старой теоріи <sup>1)</sup>.

Не повторяя сказаннаго тамъ, напомнимъ только, что дружба оказалась слишкомъ деспотичной, а любовь осталась нераздѣленной, — и что въ основѣ той и другой неудачи БѢлинскій не могъ, наконецъ, не разглядѣть пренебрежительнаго отношенія къ собственной особѣ и вытекавшаго отсюда нежеланія сколько-нибудь войти въ его душевную жизнь. Онъ слишкомъ много давалъ — и слишкомъ поздно замѣтилъ, какъ мало получалъ въ замѣнъ. „Боже мой, какую глупую роль игралъ я!“ вспоминаетъ онъ объ этомъ черезъ нѣсколько лѣтъ; „какъ много было во мнѣ любви и какъ мало благородной гордости“.

Дѣйствительно, преобладающимъ чувствомъ среди сердечныхъ неудачъ долго оставалось у БѢлинскаго чувство собственного „недостойнства“. Въ любви онъ не встрѣтилъ сочувствія: это значило для него, что онъ не заслуживаетъ любви избранной натуры и принадлежитъ къ „пошлякамъ“. Дружба отнеслась къ нему свысока и признала „низменными“ его отношенія къ „дѣйствительности“. Онъ готовъ былъ согласиться и съ этимъ, приводя лишь въ свою пользу смягчающія обстоятельства. Условія наслѣдственности не сложились ли для него самымъ невыгоднымъ образомъ? Рожденный съ дурными задатками, не развилъ ли онъ ихъ въ себѣ, благодаря отвратительнымъ условіямъ своего воспитанія? И не опредѣлили ли роковымъ образомъ эти условія наслѣдственности и воспитанія — неуравновѣшенность, „нервичность“ его натуры, въ противоположность счастливому, „гармоническому“ душевному складу его друзей? Да, несомнѣнно, съ такими задатками достиженіе высшей жизни для него недоступно, и одно стремленіе къ ней должно остаться его вѣчнымъ удѣломъ.

Цѣлый рядъ обстоятельствъ вывелъ, наконецъ, БѢлинскаго изъ этого состоянія самоуничтоженія. Во-первыхъ, бить всегда по одному и тому же больному мѣсту, которое онъ самъ же обнаружилъ передъ друзьями, — значило, въ концѣ концовъ, притупить чувствительность.

<sup>1)</sup> См. выше, статью: „Любовь у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ“.

„Глупо и пошло — повторять цѣлую жизнь: я неучъ, я дуракъ, я жалокъ, я смѣшонъ“, — замѣчалъ, наконецъ, самъ Бѣлинскій. Во-вторыхъ, при всемъ своемъ ослѣпленіи, Бѣлинскій долженъ былъ замѣтить цѣлый рядъ крупныхъ и мелкихъ несовершенствъ въ предметахъ своей любви и дружбы: мало-по-малу повязка спала съ его глазъ и онъ низвелъ съ пьедестала своихъ кумировъ.

Отношенія къ нему самому послужили при этомъ пробнымъ камнемъ. „Чувство всегда вѣрно, никогда не обманываетъ въ дѣлахъ сердца“: и это непосредственное чувство давно заставило Бѣлинскаго замѣтить недостатокъ деликатности въ обращеніи съ его душевными ранами. Бѣлинскій покался во всемъ, въ чемъ могъ, и готовъ былъ взвести на себя всякія небылицы. Но этого оказалось мало: друзья шли дальше и отрицали у него то, въ чемъ онъ не думалъ сомнѣваться: отрицали все, что составляло его силу, какъ писателя. Это было уже слишкомъ. При всей своей готовности къ самообвиненіямъ, Бѣлинскій всегда былъ чуждъ ложной скромности. Онъ не могъ не чувствовать, что онъ „уже не кандидатъ въ члены общества, а членъ его“, и что у него есть свое дѣло и свое мѣсто, на которомъ онъ далеко не лишній. И то обстоятельство, что друзья этого не понимали, сразу показало Бѣлинскому, какой „необитаемый островъ“ — ихъ маленький кружокъ и сколько условнаго и наивнаго скрывается въ ихъ высокомерномъ презрѣніи къ дѣйствительности. Теперь съ каждымъ днемъ онъ получалъ новыя доказательства, что друзья судили о дѣйствительности, не зная ея, и что, „стремясь рѣшать *мыслию* и *мысленіемъ* — то, что понимается просто и легко — „инстинктивнымъ чувствомъ“, они только „щелкались и стукались объ дѣйствительность“. Жестокая борьба съ нуждой уже давно показала ему, что „дѣйствительность есть чудовище, вооруженное желѣзными когтями и желѣзными челюстями“, и что она „мститъ за себя насмѣшливо, ядовито“ тѣмъ, кто не хочетъ съ ней знаться... Неудачи въ любви и дружбѣ окончательно убѣдили его въ томъ, что „не все то бываетъ, что, кажется, должно бы быть“, что „между міромъ фантазіи и міромъ дѣйствительности нѣтъ ничего общаго“ и что „дѣйствительность не лошадь, которою можно управлять по волѣ, а кучеръ, который правитъ нами и преисправно похлестываетъ насъ своимъ бичомъ“. „Для меня нѣтъ ужаса въ мысли“, говорилъ Бѣлинскій впоследствии, „какъ остаться у жизни въ дуракахъ, быть ея дюпомъ. Пусть бьетъ она меня, но я буду знать, кто и что она, и на удары буду отвѣчать проклятіями. Это лучше, чѣмъ позволить ей спеленать себя и убаюкивать, какъ ребенка“. Итакъ, „надо жить, надо двигаться въ живой дѣйствитель-

ности“; „ощущенія, волнованія жизни — это главное, а тамъ можно и пофилософствовать“. И „съ ненасытнымъ любопытствомъ“ БѢлинскій началъ вглядываться въ эту дѣйствительность, „прежде столь презираемую“ кружкомъ. Въ этотъ самый моментъ подоспѣло гегеліанство съ своей всеобъемлющей формулой о разумности всего существующаго, и БѢлинскій „взревѣлъ отъ радости“. Въ знаменитой формулѣ онъ, наконецъ, нашелъ свое *mot d'enigme*. Для кружка вся окружающая дѣйствительность была „пошла“ и „призрачна“; для него она будетъ теперь вся сплошь „разумна“: „ничего изъ нея нельзя выкинуть и ничего въ ней нельзя похулить и отвергнуть“. Съ этой разгадкой сразу все становилось понятно и просто; весь міръ, поставленный въ кружкѣ вверхъ ногами, возвращался теперь въ свое естественное положеніе. И для БѢлинскаго „настаетъ время *простыхъ* признаній — въ томъ же, въ чемъ онъ признавался и прежде, но уже безъ всякаго самоуничиженія. Да, онъ не гений и не необыкновенный человѣкъ, онъ *какъ есть*, — „простой, добрый малый“; онъ не можетъ достигнуть „абсолютнаго блаженства“ путемъ *мысли* и путемъ излюбленнаго пріятелями „самоотреченія“ (*Entsagung, Resignation*); онъ будетъ искать его въ *жизни*, „не созерцательно, а дѣятельно“; и найдетъ свое блаженство „не въ абсолютъ“, не въ „рефлексіи“, а въ простомъ непосредственномъ наслажденіи жизнью, безъ всякихъ справокъ о томъ, насколько въ индивидуальных „частностяхъ“ жизни отражается философское „общее“. Прочь „добровольное отреченіе отъ своей сущности, своей самостоятельности, по причинѣ разныхъ философскихъ вліяній. Кто пляшетъ подъ чужую дудку, тотъ всегда дуракъ“. „Къ чему философскія маски—будь всякій тѣмъ, что есть“. И БѢлинскій окончательно рѣшилъ, что, „каковъ бы ни былъ, — онъ *самъ по себѣ*, что ругать себя и кланяться другимъ на свой счетъ — глупо и смѣшно, что у всякаго свое призваніе, своя дорога къ жизни“.

Въ этомъ настроеніи онъ почувствовалъ потребность „оторваться отъ родного круга“, разорвать, хотя бы на время, старыя кружковые связи. Прочь, дальше отъ нихъ—къ чужимъ людямъ, въ чужой городъ, гдѣ можно будетъ окунуться съ головой въ новую „дѣйствительность“, невѣдомую и заманчивую, остаться наединѣ самому съ собой и сосредоточиться на своихъ собственныхъ, самостоятельныхъ, независимыхъ отъ дружескаго вліянія мысляхъ! Переѣздъ въ Петербургъ былъ для робкаго, непрактичнаго БѢлинскаго героической попыткой—удовлетворить этой назрѣвшей душевной потребности.

Полный расчетъ со старымъ долженъ былъ быть послѣдствіемъ этого переѣзда. БѢлинскій не признавалъ въ себѣ самъ способности

останавливаться на серединѣ; не мудрено, что, какъ всегда, онъ и на этотъ разъ оказался „въ экстремѣ“. То, съ чѣмъ онъ съ гордостью носился нѣсколько лѣтъ, какъ съ „терновымъ вѣнкомъ страданія“,—его нераздѣленная любовь,—теперь уже представлялась ему „просто шутовскимъ колпакомъ съ бубенчиками“, добровольно на себя надѣтымъ. Свою „абсолютность“ онъ готовъ былъ, „еще съ придачею послѣдняго сюртука“, отдать „за ту полноту, съ какой иной офицеръ спѣшитъ на балъ, гдѣ много барышень и скачеть штандартъ“.

Шиллеръ сдѣлался „лютымъ врагомъ“ Бѣлинскаго, и онъ мстилъ ему „за все то, отъ чего страдалъ во имя его“ прежде. Идеальныхъ женщинъ Шиллера, помимо которыхъ для него прежде „не было женщины“, онъ изъявлялъ теперь готовность промѣнять на слесаршу Пошлепкину. „Что такое женщина“, онъ „узналъ“ теперь изъ „Ромео и Юліи“; легкомысленная лирика Гете и Гейне приводила его въ восторгъ.

„Напрасно влачишь ты въ печали томящей  
Часы драгоцѣнные жизни летящей  
Затѣмъ, что своею ты милой забыть.  
О, пусть возвратится пора золотая!  
Такъ нѣжно, такъ сладко цѣлуетъ вторая,—  
О первой не будешь ты долго грустить!“

Въ Москвѣ онъ уже проповѣдовалъ, что надо относиться къ жизни просто, „не заноситься, брать что подъ руками, и за неимѣніемъ лучшаго, пировать, чѣмъ Богъ послалъ“. Въ Петербургѣ онъ шелъ еще дальше и находилъ, что жизнь надо презирать, чтобы умѣть пользоваться ея благами. Все въ жизни относительно; страданія и наслажденія одинаково ступеньваются передъ великимъ таинствомъ уничтоженія и смерти. „Жизнь—ловушка, а мы—мыши: инымъ удастся сорвать приманку и выйти изъ западни, но большая часть гибнетъ въ ней, а приманку развѣ понюхаетъ... Нынѣшній день нашъ... будемъ же пить и веселиться, *если можемъ*“.

Конечно, Бѣлинскій не могъ „пить и веселиться“ послѣ такихъ разсужденій. На днѣ души его копился горькій осадокъ, и сердце щемило глухое ощущеніе внутренней пустоты. „Въ душѣ моей сухость, досада, злость, желчь, апатія, бѣшенство и пр. и пр. Вѣра въ жизнь, въ духъ, въ дѣйствительность—отложена на неопредѣленный срокъ—до лучшаго времени, а пока въ ней безвѣріе и отчаяніе“. „Душа совсѣмъ расклеилась и похожа на разбитую скрипку—однѣ щепки. Собери и склей—скрипка опять заиграетъ, и, можетъ быть, еще лучше,—но пока однѣ щепки“. „Плохо, братъ, такъ плохо, что не зачѣмъ и

жить. Въ душѣ—холодъ, апатія, лѣнь непобѣдимая... И не люблю, и не страдаю... Надежды на счастье нѣтъ... не для меня счастье. Отъ него отказалась ужъ и услужливая моя фантазія“. Эти и подобныя признанія постоянно вырываются у Бѣлинскаго въ письмахъ къ Боткину 1839—1840 годовъ.

„Однако же“, замѣчаетъ Бѣлинскій уже весной 1840 года, „внутри что-то дѣется само собою“. Дѣйствительно, — на развалинахъ стараго міровоззрѣнія уже складывалось новое, которому Бѣлинскій вскорѣ и предался съ обычной своей горячностью. „Ты знаешь мою натуру“, пишетъ онъ осенью 1841 г.: „она вѣчно въ крайностяхъ“... Я съ трудомъ и болью расстаюсь съ старою идеей, отрицаю ее до-нельзя, а въ новую перехожу со вѣмъ фанатизмомъ прозелита. Итакъ, я теперь въ новой крайности. Это—идея *соціализма*, которая стала для меня идеею идей, альфою и омегой вѣры и знанія“... „Мнѣ стало легче жить“, встрѣчаемъ въ письмѣ, написанномъ еще годъ спустя: „въ душѣ моей есть то, безъ чего я не могу жить,—есть вѣра“.

Это было—очень много; но далеко еще не все, что нужно было Бѣлинскому, чтобы чувствовать себя удовлетвореннымъ. Прежде всего, по самому своему содержанію, новая вѣра вела за собою и новыя тернія. „Я теперь совершенно созналъ себя, понялъ свою натуру. То и другое можетъ быть вполне выражено словомъ That, которое есть моя стихія. А сознать это—значить сознать себя заживо зарытымъ въ гробу, да еще съ связанными назади руками“. „Что мнѣ въ томъ, что я увѣренъ, что разумность восторжествуетъ, что въ будущемъ будетъ хорошо, если судьба велѣла мнѣ быть свидѣтелемъ торжества случайности, неразумія, животной силы? Что мнѣ въ томъ, что моимъ или твоимъ дѣтямъ будетъ хорошо, если мнѣ скверно, — и если не моя вина въ томъ, что мнѣ скверно?“ „Дайте... человѣку сферу свойственной его способностямъ дѣятельности, — и онъ переродится“.—„Но эта сфера... ея негдѣ взять. Этой сферы и теперь для меня нѣтъ, и никогда, никогда не будетъ ея для меня“... Цѣлесообразная и разумная дѣятельность, по теперешнимъ понятіямъ Бѣлинскаго, возможна только въ обществѣ, сознательно преслѣдующемъ свои общественные интересы; и прилагая эти понятія къ тому, что онъ видѣлъ вокругъ себя, Бѣлинскій окончательно приходилъ къ безотрадному выводу, что онъ и все его поколѣніе суть жертвы „безалабернаго состоянія русскаго общества“, что единственнымъ убѣжищемъ отъ презираемой ими и презирающей ихъ дѣйствительности можетъ быть только „необитаемый островъ“, каковымъ и былъ ихъ кружокъ, и что, при этихъ условіяхъ, и сами они, и ихъ любовь и дружба, стремленія и дѣятельность — пре-

вращаются въ какой-то „призракъ“. „Будь литература на Руси выраженіемъ общества, а слѣд. и потребностью его, — будь хоть сколько нибудь человѣческая цензура“, — тогда было бы дѣло другое.

Къ сознанію своего безсилія присоединялось еще тяжелое чувство зависимости отъ поденнаго журнальнаго заработка. Необходимость „писать второй листъ, когда перваго уже правится корректура“, невозможность „прочестъ что-нибудь для себя“, вмѣстѣ съ напоминаніями близкихъ людей: „читай, Виссаріонъ, а не то черезъ годъ тебѣ будетъ трудно писать“, — все это временами вызывало у Бѣлинскаго отвращеніе къ перу и погружало его въ совершенную апатію. „Мнѣ кажется“, замѣчалъ онъ, „дай мнѣ свободу дѣйствовать для общества хотя на десять лѣтъ... и я, можетъ быть, въ три года возвратилъ бы мою потерянную молодость... полюбилъ бы трудъ, нашелъ бы силу воли“... Но, увы, это были однѣ мечты. Въ дѣйствительности же Бѣлинскій сравнивалъ себя съ „Прометеемъ въ каррикатурѣ“. „Отечественныя Записки“ — моя скала, Краевскій — мой коршунъ. Мозгъ мой сохнетъ, способности тупѣютъ, и только „печаль минувшихъ дней въ моей душѣ, чѣмъ старѣй, тѣмъ сильнѣй“.

„Печалью минувшихъ дней“ была сердечная неудача Бѣлинскаго, нисколько не истребившая въ его душѣ потребности чувства. „Сквозь житейскій туманъ“ все еще видѣлись ему милые образы, „словно ангельскіе лики въ облакахъ“. И онъ сдѣлалъ даже попытку найти тлѣющую искру въ потухшемъ пеплѣ своей старой привязанности. Онъ возобновилъ прерванное знакомство, перенесся въ обстановку, одно воспоминаніе о которой было дорого его сердцу. Однако же, то, что онъ испыталъ, совсѣмъ не удовлетворило его сердечной потребности, а только сдѣлало ее болѣе жгучей. Онъ долженъ былъ только убѣдиться, что воспоминанія не имѣютъ болѣе силы надъ нимъ, что прошлое уже не можетъ снова сдѣлаться настоящимъ. Онъ былъ уже не тотъ, что прежде, и старые друзья безсильны были пробудить въ немъ прежнія впечатлѣнія. Ему приходилось теперь „вновь знакомить ихъ съ собою и вновь знакомиться съ ними“. „Вы правы“, пишетъ Бѣлинскій особѣ, бывшей предметомъ его первой привязанности: „въ томъ и жизнь, что она безпрестанно нова, безпрестанно измѣняется... Только тѣ и живутъ, которые такъ думаютъ. Старое — Богъ съ нимъ: оно хорошо и прекрасно только въ той мѣрѣ, въ какой было прямою или косвенною причиною новаго; а само по себѣ — прочь его!“

И, въ самомъ дѣлѣ, то новое, что призывалъ теперь къ себѣ Бѣлинскій всѣми силами души, нисколько не походило на старое. „Экстатическую, мистическую“ любовь своей прошедшей юности онъ при-

знавалъ теперь „возможной и дѣйствительной“ только „какъ моментъ, какъ вспышку, какъ утро, какъ весну жизни“. Онъ не былъ, однако же, болѣе и тѣмъ ненавистникомъ женщинъ, какимъ сдѣлало его на нѣсколько лѣтъ крушеніе его „платонической любви“. Романы Жоржъ-Зандъ указали ему середину между фривольнымъ и мистическимъ отношеніемъ къ женщинѣ;—и эта середина состояла въ уваженіи въ женщинѣ свободной человѣческой „личности“. Отъ любви Бѣлинскій не требовалъ теперь „чудесъ“ и не ожидалъ „слитія съ духомъ“; но онъ и не смотрѣлъ на нее больше, какъ на средство мимолетнаго наслажденія и не считалъ „пиръ во время чумы—лучшимъ явленіемъ жизни“. „Прежняя любовь не риемовала съ *бракомъ*, и вообще съ дѣйствительностью жизни“. Новая любовь должна была прежде всего упорядочить условія внѣшняго существованія Бѣлинскаго: „разсудокъ тутъ игралъ роль не меньшую чувства, если еще не болѣшую“. Еще въ 1838 году Бѣлинскій предчувствовалъ для себя возможность такой любви безъ влюбленности—и брака „по разсчету“. „Не всѣмъ суждено любить (т. е. *влюбиться*), быть любимымъ и жениться по любви, почувствованной и сознанный прежде, чѣмъ вошла въ голову мысль о женитьбѣ; но... кромѣ пошлаго разсчета есть еще разсчетъ человѣческой, имѣющей въ виду удовлетвореніе лучшей стороны своей человѣческой природы;—разсудокъ не есть единственный выходъ изъ состоянія чувства, но... то и другое можетъ дѣйствовать въ ладу, не мѣшая одно другому“. Эта идея крѣпко засѣла въ головѣ Бѣлинскаго; въ 1841 г. онъ пишетъ: „не знаю, что собственно разумѣлъ Гегель подъ „разумнымъ бракомъ“, но если я такъ понимаю его идею, то онъ—мужикъ умный. Любовь для брака дѣло не только не лишнее, но даже необходимое, но она имѣетъ тутъ другой характеръ—тихій, спокойный: удалось—хорошо; не удалось—такъ и быть, не умираютъ, не дѣлаются несчастными“. Наконецъ, ровно черезъ годъ Бѣлинскій дѣлаетъ уже откровенное примѣненіе этой мысли къ себѣ. „Знаешь ли, когда пора чело-вѣку жениться?“ спрашиваетъ онъ Боткина и отвѣчаетъ: „когда онъ дѣлается неспособнымъ влюбляться, перестаетъ видѣть въ женщинѣ „ее“, а видитъ въ ней просто (имя рекъ)“. Еще годъ спустя Бѣлинскій уже завязалъ свои отношенія къ будущей женѣ и повелъ ихъ форсированнымъ маршемъ къ возможно быстрой развязкѣ.

Чего ожидалъ Бѣлинскій отъ этого брака? Онъ самъ рассказываетъ объ этомъ невѣстѣ въ своихъ письмахъ къ ней <sup>1)</sup>. Но мы знали бы объ этомъ даже и въ томъ случаѣ, если бы этихъ писемъ вовсе не суще-

<sup>1)</sup> Ср. выше статью: „Любовь у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ“.

ствовало. Чѣмъ далѣе, тѣмъ больше овладѣвало Бѣлинскимъ чувство одиночества. Холостая квартира становилась ему годъ отъ году постылѣе. Окончивъ срочную журнальную работу, онъ спѣшилъ бѣжать изъ дома, отъ „сообщества съ собственнымъ лакеемъ“. Онъ искалъ общества женщинъ, но знакомый ему женскій кругъ не давалъ работы натянутымъ нервамъ,—Бѣлинскій все чаще и чаще искалъ отдохновенія за карточнымъ столомъ. „Отработался, и два-три дня у меня болитъ рука“, пишетъ онъ въ 1843 г.: „видѣ бумаги и пера наводитъ на меня тоску и апатію, дую себѣ въ преферансъ, ставлю ремизы страшные, ибо и игру знаю плохо, и горячусь, какъ сумасшедшій—на мѣлокъ я долженъ рублей около 300, а переплатилъ мѣсяца за два (какъ началъ играть въ преферансъ) рублей 150. Благородная, братецъ, игра преферансъ! Я готовъ играть утромъ, вечеромъ, ночью, днемъ, не ѣсть и играть, не спать и играть. Страсть моя къ преферансу ужасаетъ всѣхъ; но *страсти нѣтъ: ты поймешь, что есть*“.

Изъ этого заколдованнаго круга—тяжелой работы и не менѣе изнурительнаго отдыха,—Бѣлинскій чувствовалъ,—его могла вырвать только семейная жизнь. Не могъ онъ не чувствовать и того, что физическое существо его годъ отъ году разрушается и шансы личнаго счастья становятся все меньше и меньше. Всякая охота играть съ своими чувствами отпадала лицомъ къ лицу съ „этимъ страшнымъ, могильнымъ ощущеніемъ“. „Былъ грѣшокъ“, пишетъ Бѣлинскій,—„любилъ я въ старину преувеличивать иное ради поэзіи содержанія и выраженія; но теперь Богъ съ нею, со всякою поэзіею—немножко спокойствія, немножко веселости я предпочелъ бы чести—сильно страдать. Теперь настала пора, когда не до поэзіи, когда страшно увѣриться въ прозаической дѣйствительности собственнаго страданія,—а увѣряешься противъ воли“.

Таково было настроеніе Бѣлинскаго въ тотъ моментъ, когда начались его отношенія къ дѣвушкѣ, ставшей вскорѣ его женою. Утомленіе жизнью, стремленіе найти душевный покой въ тихой пристани брака, и „простой“ взглядъ на любовь, облегчавшій удовлетвореніе этого стремленія,—все это *предшествовало* новому чувству, это и вызвало его появленіе. Какъ видно изъ писемъ, вмѣсто тихой пристани Бѣлинскому пришлось на самомъ порогѣ брака вынести новую грозную бурю, которая едва не кончилась новымъ и полнымъ крушеніемъ <sup>1)</sup>. Но это не остановило Бѣлинскаго; закруживъ глаза, онъ смѣло перешагнулъ порогъ. Для объясненія этого, кромѣ того, что говорится въ письмахъ,

<sup>1)</sup> См. названную статью.



мы можемъ тоже припомнить предшествовавшія признанія БѢлинскаго. „Страстность составляетъ преобладающій элементъ моей *прекрасной души*. Эта страстность—источникъ мукъ и радостей моихъ; а такъ какъ, притомъ, судьба отказала мнѣ слишкомъ во многомъ, то я и не умѣю отдаваться въ половину тому немногому, въ чемъ не отказала она мнѣ“. „Вообрази себѣ мужика“, пишетъ онъ въ другой разъ (тоже до брака),—„который всю жизнь свою не ѣдалъ ничего, кромѣ хлѣба, пополамъ съ пескомъ и мякиной и, пришедъ въ большой городъ, увидѣлъ горы—и калачей, и кондитерскихъ издѣлій, и плодовъ. Можно ли сказать, что у него нѣтъ самообладанія и человѣческой воздержанности, если онъ на эти вещи будетъ смотрѣть глазами тигра... а захвативши что-нибудь, начнетъ пожирать съ звѣриною жадностью, и когда у него стануть отнимать, онъ въ бѣшенствѣ разобьетъ себѣ черепъ?“

Переписка съ невѣстой не открываетъ намъ тайны того, что нашелъ БѢлинскій за порогомъ брака. Онъ твердо выполнилъ свое намѣреніе: если это было счастье, онъ пользовался имъ тихо, „не привлекая ничего вниманія“; если это былъ крестъ,—онъ сумѣлъ нести его „съ достоинствомъ“, и унесъ свою тайну въ могилу. Въ первые годы брака, у него совсѣмъ отпадаетъ охота—исповѣдываться передъ друзьями въ письмахъ, занимающихъ десятки листовъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ эта способность—писать длинные письма—возвращается, правда, къ БѢлинскому снова. Но сердечныя признанія въ этихъ письмахъ уже не играютъ никакой роли: письма заняты общественными интересами, борьбой литературныхъ партій, журнальными новостями и т. д. Только въ перепискѣ съ Боткинымъ прорываются иногда полупризнанія и жалобы чисто личнаго характера. Возвращеніе Боткина изъ-за границы напоминаетъ БѢлинскому, что уже три года, какъ онъ женатъ, что въ эти три года онъ „пережилъ да передумалъ—и уже не головою, какъ прежде,—лѣтъ за тридцать“,—что, „разставшись другъ съ другомъ „молодыми“, они свидятся стариками“.—БѢлинскій утѣшалъ Боткина въ неудачѣ его семейной жизни, и, кажется, ничего не говорилъ о своей. Разъ только, мимоходомъ, онъ намекнулъ на то, „чего такъ глупо добивался всю жизнь и чего такъ умно не дала ему судьба,—зане такого мудренаго кушанья у нея не оказалось“.

---

## Надеждинъ и первыя критическія статьи Бѣлинскаго.

(По поводу новаго изданія сочиненій *Бѣлинскаго* подъ ред. С. А. Венгерова).

Передъ нами два первые тома <sup>1)</sup> новаго двѣнадцатитомнаго „Полнаго собранія сочиненій В. Г. Бѣлинскаго“ подъ редакцію и съ примѣчаніями С. А. Венгерова. Нельзя не порадоваться, что за дѣло взялся такой хорошій знатокъ нашей новой литературы. Благодаря его знаніямъ и энергіи, мы получимъ, наконецъ, „все, что когда-либо вышло изъ-подъ пера Бѣлинскаго“, включая и его письма; уже теперь мы имѣемъ цѣлую серію юношескихъ переводныхъ статей Бѣлинскаго и его юношескую драму, не вошедшія въ изданіе Солдатенкова. Къ особенностямъ изданія С. А. Венгерова относится также помѣщеніе иллюстрацій; интереснѣйшая изъ нихъ въ двухъ вышедшихъ томахъ есть чрезвычайно любопытный и прекрасно воспроизведенный акварельный портретъ Бѣлинскаго въ возрастѣ 27—28 лѣтъ. Редакторъ не ограничился, однако, однимъ изданіемъ возможно полнаго текста и иллюстрацій къ нему. Онъ взялъ также на себя обязанность комментатора и присоединилъ къ тексту непрерывныя историко-критическія и историко-библіографическія примѣчанія, цѣль которыхъ—установить перспективу и дать матеріалъ читателю для сужденія о значеніи литературной дѣятельности Бѣлинскаго. Безъ сомнѣнія, такой комментарий чрезвычайно увеличиваетъ цѣнность изданія. Замѣтимъ, однако, что, можетъ быть, С. А. Венгеровъ понимаетъ задачи комментатора чересчуръ уже широко. Изъ роли комментатора онъ не только переходитъ постоянно въ роль критика, но и роль критика еще не вполне его удовлетворяетъ: сплошь и рядомъ онъ становится полемистомъ и бе-

---

<sup>1)</sup> Въ настоящее время издано уже 5 томовъ П. С. Соч.

реть на себя нелегкую и отвѣтственную задачу — оспаривать взгляды издаваемого имъ автора. Такой пріемъ едва ли можно признать цѣлесообразнымъ: прежде всего, онъ лишаетъ комментатора спокойствія, которое ему необходимо для чисто историко-литературной оцѣнки. Одно изъ самыхъ важныхъ получившихся отсюда увлеченій и одно-сторонностей мы позволили себѣ сдѣлать предметомъ настоящей статьи... Надѣмся, что уважаемый критикъ не посѣтуетъ на насъ за эту попытку — очистить задуманное имъ изданіе отъ одного изъ серьезныхъ недостатковъ, которые мы въ немъ усматриваемъ.

„Изъ крупныхъ критическихъ статей“, говоритъ С. А. Венгеровъ въ своемъ предисловіи, „въ I-й томъ входятъ только „Литературныя мечтанія“. Въ примѣчаніяхъ къ нимъ мы по преимуществу задались вопросомъ о вліяніяхъ, сказавшихся въ знаменитой статьѣ. На этотъ вопросъ давались и до сихъ поръ даются два отвѣта. По мнѣнію однихъ, на „Литер. мечтаніяхъ“ и вообще на всей дѣятельности Бѣлинскаго въ „Телескопѣ“ и въ „Молвѣ“ лежитъ сильнѣйшій отпечатокъ духовной личности редактора обоихъ изданій — Н. И. Надеждина. Другіе видятъ въ первомъ періодѣ дѣятельности Бѣлинскаго по преимуществу слѣды вліянія рано умершаго даровитаго юноши Станкевича. Мы рѣшительно не согласны съ первымъ взглядомъ. Намъ соотношеніе Надеждина и Бѣлинскаго представляется въ такомъ видѣ: лучшее въ „Литер. мечтаніяхъ“ то, что сообщаетъ имъ непреходящій интересъ, ничего общаго съ Надеждинымъ не имѣетъ. И только въ худшемъ — вліяніе Надеждина сказалось довольно замѣтно...“. „Отрицая вліяніе (конечно, если говорить о вліяніяхъ благотворныхъ) Надеждина, мы, однако, очень настаиваемъ въ своихъ примѣчаніяхъ на томъ, что вообще-то на „Литер. мечтаніяхъ“ очень сильно сказался цѣлый рядъ другихъ вліяній. Мы старались подыскать ко всѣмъ сколько-нибудь важнымъ мѣстамъ статьи мѣста параллельныя, изъ статей другихъ представителей критической мысли двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. И въ результатъ оказалось, что безспорную личную собственность Бѣлинскаго составляетъ только одна блестящая характеристика Марлинскаго <sup>1)</sup>. Все остальное — часто вплоть до отдѣльных фразъ и выра-

<sup>1)</sup> Собственно, и это исключеніе не вполне соответствуетъ тому, что говоритъ объ этомъ С. А. Венгеровъ въ прим. 157: „насколько блестящая и имѣвшая историческое значеніе характеристика (Марлинскаго) является вполне личною заслугою Бѣлинскаго, и насколько онъ отразилъ тутъ „новое общественное мнѣніе“ или, въ частности, настроеніе кружка Станкевича, определенно сказать трудно. Но отношеніе Станкевича къ Кукольникову, Тимосеву и другимъ дутымъ знаменитостямъ едва ли даетъ возможность сомнѣваться въ

женій—заимствовано... лучшее— у Полевого, Станкевича, шеллингистовъ „Москов. Вѣстника“ и др.; худшее — у Надеждина. Но въ чемъ же тогда настоящій Бѣлинскій, въ чемъ сила статьи, столь знаменитой? На этотъ вопросъ мы сейчасъ дадимъ отвѣтъ, который, подобно Leitmotiv'у Вагнеровскихъ оперъ, пройдетъ чрезъ всѣ наши комментаріи къ Бѣлинскому. Безконечно преклоняясь предъ духовной личностью великаго идеалиста и считая его произведенія однимъ изъ главнѣйшихъ источниковъ новой русской мысли, *мы утверждаемъ, однако, что силу Бѣлинскаго составляютъ по преимуществу качества его сердца*, которое мы называемъ великимъ“.

Мы не хотимъ подвергать логическимъ операціямъ послѣднюю фразу критика, чтобы доискаться, въ чемъ заключается, по его мнѣнію, слабость или менѣе „преимущественная“ сила Бѣлинскаго; но не можемъ скрыть, что вся постановка вопроса кажется намъ здѣсь чрезвычайно странной. Оригинальныхъ мыслителей вообще бываетъ немного, и трудно было бы ожидать найти ихъ среди той культурной обстановки, въ которой выросла наша тогдашняя интеллигенція. Оригинальными мыслителями не были, конечно, и то многое множество второстепенныхъ и третьестепенныхъ писателей, у которыхъ можно подыскать „параллельныя мѣста“ къ „Литературнымъ мечтаніямъ“ Бѣлинскаго. „Цѣль русскаго критика“, говорилъ самъ Бѣлинскій по этому поводу, „должна состоять не столько въ томъ, чтобы расширить кругъ понятій человечества объ изящномъ, сколько въ томъ, чтобы распространять въ своемъ отечествѣ уже извѣстныя, осѣдлыя понятія объ этомъ предметѣ. Не бойтесь, не стыдитесь, что вы будете повторять зады и не скажете ничего новаго. Это новое не такъ легко и часто, какъ обыкновенно думаютъ: оно едва примѣтными глыбами налипаетъ на глыбы стараго. Самое старое будетъ у васъ ново, если вы человѣкъ съ мнѣніемъ и глубоко убѣждены въ томъ, что говорите: ваша индивидуальность и вашъ способъ выраженія и самому вашему старому должны придать характеръ новости“.

Итакъ, на оригинальность своей мысли Бѣлинскій и самъ не пре-

---

томъ, что и на отношеніе Бѣлинскаго къ Марлинскому главарь кружка имѣлъ свою долю вліянія“. Дѣйствительно, какъ бы мы ни смотрѣли на оригинальность или зависимость Бѣлинскаго, ясно, что его трактованіе Марлинскаго нельзя разсматривать, какъ какой-то исключительный случай: степень оригинальности здѣсь едва ли меньше или больше, чѣмъ въ его другихъ характеристикахъ писателей, выступившихъ раньше его времени. Эту степень лучше всего опредѣлилъ самъ Бѣлинскій въ той цитатѣ, которую мы дѣлаемъ изъ него ниже.

тендовалъ; но онъ имѣлъ бы полное право обидѣться, если бы эту неоригинальность ему стали доказывать „параллельными мѣстами“ второстепенныхъ писателей; и можно вообразить, что было бы съ нимъ, если бы въ утѣшеніе ему тотчасъ заговорили объ его „великомъ сердцѣ“.

Дѣло въ томъ, что, доказавъ, — чего, пожалуй, и доказывать не надо было, — что Бѣлинскій не оригинальный мыслитель, его критикъ уже слишкомъ многое считаетъ доказаннымъ. Онъ вовсе перестаетъ говорить о Бѣлинскомъ, какъ о мыслителѣ, и въ своихъ комментаріяхъ слишкомъ исключительно подбираетъ доказательства его „великаго сердца“. Отсюда происходятъ всѣ тѣ ошибки, по поводу которыхъ мы собираемся говорить: отсюда, прежде всего, и ошибочность постановки вопроса, который (по нашему мнѣнію, напрасно) критикъ выдвигаетъ на первое мѣсто: вопроса о вліяніи Надеждина на Бѣлинскаго.

Для С. А. Венгерова вопросъ этотъ ставится такъ: что могъ дать редакторъ „Телескопа“, съ его дряннымъ сердцемъ, „великому сердцу“ Бѣлинскаго? Поставленный такъ, вопросъ допускаетъ, конечно, только одно рѣшеніе: ничего. Несомнѣнно, „установленіе сколько-нибудь тѣсной душевной связи между даровитымъ, но безпринципнымъ редакторомъ „Телескопа“ и неистовымъ Виссаріономъ есть психологическая несообразность“. Но нужно ли доказывать „тѣсную душевную связь“, чтобы имѣть право говорить объ *умственномъ* вліяніи?

Впрочемъ, критикъ тотчасъ же самъ допускаетъ ту самую „психологическую несообразность“, противъ которой совершенно законно протестовалъ. Мы не помнимъ въ данную минуту, чтобы кто-нибудь говорилъ о „тѣсной душевной связи“ между Надеждинымъ и Бѣлинскимъ: но самъ С. А. Венгеровъ о ней говорить въ *положительномъ* смыслѣ. Онъ утверждаетъ именно, что эта связь *была* — и при томъ такая, какой она, съ точки зрѣнія С. А. Венгерова, только и могла быть: *дурное* вліяніе Надеждина на Бѣлинскаго. Дурное именно въ *нравственномъ* смыслѣ, — своего рода нравственное затмѣніе у Бѣлинскаго. Сюда критикъ относитъ всѣ выходки Бѣлинскаго въ духѣ „квасного патріотизма“. Но въ самомъ ли дѣлѣ то, что говоритъ Бѣлинскій по этому поводу, такъ ужъ дурно, что не могло бы быть выведено изъ болѣе чистаго источника? И почему, не допуская болѣе вѣроятнаго, — *умственного* вліянія, критикъ такъ рѣшительно утверждаетъ менѣе вѣроятное, съ его же собственной точки зрѣнія: нравственное вліяніе?

Не странно ли, въ самомъ дѣлѣ: Бѣлинскій заимствовалъ, оказывается, свои теоретическія мнѣнія отъ кого придется, отъ самыхъ ничтожныхъ въ литературномъ отношеніи посредниковъ — и ничего не

займствовалъ отъ человѣка въ умственномъ отношеніи весьма значительнаго, перваго выдающагося литератора, съ которымъ онъ сблизился и съ которымъ имѣлъ постоянныя отношенія? Бѣлинскій былъ вѣдь тогда начинающимъ сотрудникомъ, а Надеждинъ — редакторомъ журнала, симпатичнаго ему по общему направленію, близкаго къ преобладающему настроенію тогдашней молодежи. И не странно ли, съ другой стороны, что какъ разъ въ той области, въ которой Бѣлинскій былъ обставленъ всего лучше, — и въ которой Надеждинъ ничего не могъ ему дать, — въ области моральной жизни, находившейся подъ непосредственнымъ и зоркимъ контролемъ тѣснаго круга друзей, въ высшей степени чуткихъ къ сферѣ нравственныхъ отношеній, — что именно тутъ проскользнулъ огромный фактъ тлетворнаго вліянія Надеждина?

Поставить эти вопросы — значитъ уже, въ сущности, рѣшить ихъ въ смыслѣ противоположномъ мнѣнію С. А. Венгерова. Очевидно, Надеждинъ могъ имѣть на Бѣлинскаго *только* умственное, а не нравственное вліяніе. Но наша задача здѣсь не кончается, она только начинается. Мы хотимъ показать, по какой причинѣ С. А. Венгеровъ впалъ въ обѣ эти странныя ошибки, которыхъ, казалось бы, такъ легко было избѣжать. Эту причину мы видимъ въ томъ, что авторъ недостаточно внимательно отнесся къ процессу теоретической мысли Бѣлинскаго. Безъ внимательнаго сравненія взглядовъ Надеждина и Бѣлинскаго—этого процесса нельзя прослѣдить; а не прослѣдивши его, нельзя судить о степени и о характерѣ зависимости Бѣлинскаго отъ Надеждина.

Правда, С. А. Венгеровъ находитъ, что и рѣчи о теоретическомъ вліяніи не можетъ быть — уже потому, что „во всѣхъ указанныхъ статьяхъ Надеждина нѣтъ никакой сколько-нибудь цѣльной философско-эстетической теоріи искусства“. Это С. А. Венгеровъ считаетъ „самымъ главнымъ возраженіемъ“ своимъ противъ того мнѣнія (А. Н. Пыпина), по которому „теоретическія понятія и взгляды на искусство, высказанные Бѣлинскимъ, не отступали въ сущности отъ положеній Надеждина“. Наше мнѣніе въ данномъ случаѣ совсѣмъ не на сторонѣ почтеннаго критика. Мы готовы утверждать даже, что его „главное возраженіе“ и составляетъ главный источникъ его ошибки. Разъ навсегда рѣшивши, что у Надеждина нѣтъ цѣльной теоріи, онъ не искалъ цѣльной теоріи и въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“. Естественно, при такомъ условіи весь споръ о вліяніи Надеждина долженъ былъ сойти съ той единственно вѣрной почвы, на которой онъ только и можетъ быть рѣшенъ — и куда мы постараемся его теперь воротить.

Прежде всего, — есть ли цѣльная теорія у самого Бѣлинскаго?

С. А. Венгеровъ въ разныхъ мѣстахъ примѣчаній указываетъ много разныхъ мыслей въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“, которыя онъ считаетъ—„одними изъ основныхъ“; но онъ нигдѣ не пытается поставить эти мысли въ такую связь между собою, при которой можно бы было рѣшить, которая же изъ нихъ *самая* основная. Онъ не только не ищетъ единства мысли въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“, но прямо отрицаетъ это единство, указывая на такія „основныя“ мысли знаменитой статьи Бѣлинскаго, которыя находятся въ явномъ противорѣчій другъ съ другомъ и ни къ какому единству, по мнѣнію С. А. Венгерова, сведены быть не могутъ. Противорѣчіе, о которомъ идетъ рѣчь, оказывается какимъ-то систематическимъ, упорнымъ: это видно уже изъ того, что изъ „Литературныхъ мечтаній“ оно переходитъ, если вѣрить С. А. Венгерову, въ дальнѣйшія статьи Бѣлинскаго, фигурируетъ у него не только на сосѣднихъ страницахъ, но даже въ сосѣднихъ предложеніяхъ. Словомъ, *если* такое противорѣчіе—дѣйствительно существуетъ, то мы вполнѣ понимаемъ поспѣшныя восхваленія „великаго сердца“ Бѣлинскаго: дѣло въ томъ, что это противорѣчіе гораздо болѣе дѣлаетъ чести сердцу Бѣлинскаго, чѣмъ его, — ужъ скажемъ прямо,—мыслительнымъ способностямъ.

Въ чемъ же дѣло? Рѣчь идетъ о дѣйствительно основной идеѣ всей критической дѣятельности Бѣлинскаго въ ея первый періодъ, — о томъ, что и составляетъ единство, лежащее въ основѣ не только „Литературныхъ мечтаній“, но и дальнѣйшихъ критическихъ статей Бѣлинскаго: о *его романтической теоріи искусства*. Передадимъ, прежде всего, эту теорію собственными словами Бѣлинскаго, съ нѣкоторыми сокращеніями.

„Какое назначеніе и какая цѣль искусства?... Изображать, воспроизводить въ словѣ, въ звукѣ, въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни природы: вотъ единая и вѣчная тема искусства. Поэтическое одушевленіе есть *отблескъ творящей силы природы*. Чѣмъ выше геній поэта, тѣмъ глубже и обширнѣе обнимаетъ онъ природу и тѣмъ съ большимъ успѣхомъ представляетъ намъ ее въ ея высшей связи и жизни“. Байронъ и Шиллеръ каждый представили намъ „только одну сторону бытія вселенной“; — „но Шекспиръ, божественный, великій, недостижимый Шекспиръ постигъ и адъ, и землю, и небо: царь природы, онъ взялъ равную дань и съ добра, и со зла и подсмотрѣлъ въ своемъ вдохновенномъ ясновидѣніи бѣненіе пульса вселенной. Каждая его драма есть міръ въ миниатюрѣ; у него нѣтъ, какъ у Шиллера, любимыхъ идей, любимыхъ героевъ... Да, — это безпристрастіе, эта холодность поэта, который какъ будто говоритъ вамъ: такъ было, а

впрочемъ, мнѣ какое дѣло,—есть высочайшій зенитъ художественнаго совершенства, есть истинное творчество, есть удѣлъ немногихъ избранныхъ, о коихъ говорятъ:

„Съ природой одною онъ жизнью дышалъ:

Ручья разумѣлъ лепетанье“ и т. д.

„Въ самомъ дѣлѣ, развѣ вы можете назвать то или другое явленіе прекраснымъ, а это безобразнымъ безъ отношеній?... Развѣ не одинъ и тотъ же духъ Божій создалъ кроткаго агнца и кровожаждущаго тигра... развѣ онъ больше любитъ голубя, чѣмъ ястреба?... Если поэтъ изображаетъ вамъ ...одно ужасное, одно злое природы, это доказываетъ, что кругозоръ ума его тѣсенъ, а ничуть не обнаруживаетъ въ немъ дурного, безнравственнаго человѣка. Вотъ когда онъ своими сочиненіями старается заставить васъ смотрѣть на жизнь съ его точки зрѣнія, въ такомъ случаѣ онъ уже и не поэтъ, а мыслитель, — и мыслитель дурной, злонамѣренный, достойный проклятія, ибо поэзія *не имѣетъ цѣли внѣ себя*. Доколѣ поэтъ слѣдуетъ безотчетно вспыскъ своего воображенія, дотолѣ онъ нравственъ, дотолѣ онъ и поэтъ; но какъ скоро онъ предположилъ себѣ цѣль, задалъ тему,—онъ уже философъ, мыслитель, моралистъ, онъ теряетъ надо мной свою чародѣйскую власть, разрушаетъ очарованіе и заставляетъ меня сожалѣть о себѣ, если, при истинномъ талантѣ, имѣетъ похвальную цѣль, и презирать себя, если силится опутать мою душу тенетами вредныхъ мыслей“.

Такова довольно извѣстная романтическая теорія поэзіи въ изложеніи Бѣлинскаго. Сущность ея сводится къ двумъ подчеркнутымъ нами выраженіямъ, что поэзія есть „отблескъ творящей силы природы“ и, какъ таковая, „не имѣетъ цѣли внѣ себя“. С. А. Венгеровъ къ этимъ и дальнѣйшимъ разсужденіямъ Бѣлинскаго дѣлаетъ слѣдующее примѣчаніе: „Холодность поэта защищается здѣсь (и далѣе) съ такимъ энтузіазмомъ, а „безпристрастіе“ съ такою восторженностью, что уже сама по себѣ эта пламенная защита объективизма можетъ привести только къ впечатлѣнію прямо противоположному. Самъ проповѣдникъ объективизма безпрестанно забываетъ о немъ, и уже чрезъ двѣ страницы глава заканчивается диамбромъ „горячему чувству“. Вся статья состоитъ изъ цѣлаго ряда такихъ *противорѣчій*. То поэтъ долженъ быть „холоднымъ“, то Веневитиновъ тѣмъ хорошъ, что „обнималъ природу не холоднымъ умомъ, а пламеннымъ сочувствіемъ“. То стихи должны быть „выстраданы“ и въ нихъ должны быть слышны „вопли души“, то поэзія „не имѣетъ цѣли внѣ себя“, „цѣль вредитъ поэзіи“. Пушкинъ „великъ въ своей безсознательной дѣятельности“; писатель-художникъ долженъ быть безстрастнымъ, но почему-то комедія должна



быть плодомъ горькаго негодованія, возбуждаемаго униженіемъ чловѣческаго достоинства“ и т. д. И дальше, на протяженіи обоихъ томовъ, С. А. Венгеровъ не перестаетъ отмѣчать противорѣчія между теоріей „безпристрастія“ и требованіемъ „пламеннаго чувства“<sup>1)</sup>.

Эти многочисленныя „противорѣчія“, указываемыя критикомъ, можетъ быть, дѣйствительно существовали бы, если бы подъ „безпристрастіемъ и холодною поэта“ БѢлинскій разумѣлъ *свободу поэта отъ всякаго чувства*. Но вѣдь онъ протестуетъ только противъ внесенія въ поэзію „холоднаго ума“ и, напротивъ, настаиваетъ на томъ, „что „обнять природу“ нельзя иначе, какъ „пламеннымъ сочувствіемъ“. А безпристрастіе и холодность поэта — заключается лишь въ его *способности отзываться* этимъ пламеннымъ сочувствіемъ *на все* явленія природы<sup>2)</sup>. Вопросъ не въ томъ, стало бытъ, требуетъ ли БѢлинскій *чувства* отъ поэта или не требуетъ,—а *какого* чувства онъ требуетъ отъ поэта: эстетическаго ли только, или также и нравственнаго. Отвѣтъ на *этой* вопросъ, — даже и не подозрѣваемый С. А. Венгеровымъ,—БѢлинскій ставилъ своей главной задачей; надъ нимъ онъ ломалъ голову и упражнялъ свою оригинальную мысль. Въ результатѣ, въ этомъ именно отвѣтѣ заключается та особенность теоріи БѢлинскаго, въ которой самъ онъ видѣлъ важный шагъ впередъ сравнительно съ романтиками. Но этой вполне сознательной и оригинальной работы мысли мы не замѣтимъ, этого шага впередъ не поймемъ, если не обратимся къ исходной точкѣ разсужденій БѢлинскаго,—т. е. къ Надеждину.

Вотъ какъ заставляетъ Надеждинъ разсуждать по *этому* вопросу (т. е. объ отношеніи эстетическаго и нравственнаго чувства въ поэзіи) своего воображаемаго противника, романтика Тлѣнскаго, котораго онъ выводитъ въ своемъ діалогѣ: „Литературныя опасенія“ (написанномъ за 6 лѣтъ до „Лит. мечт.“ БѢлинскаго, въ 1828 г.<sup>3)</sup>). „Только Батте

1) См. прим. 272 къ II тому.

2) Соч. II, 206: „Если есть поэты, которые вѣрно и глубоко воспроизводили міръ собственно извѣданныхъ имъ страстей и чувствъ, собственные страданія и радости,—изъ этого еще не слѣдуетъ, что поэтъ только тогда могъ пламенно и увлекательно писать о любви, когда былъ самъ влюбленъ... и пр. Напротивъ, это означаетъ скорѣе односторонность и ограниченность таланта, нежели его истинность. Отличительная черта,—то, что составляетъ, что дѣлаетъ истиннаго поэта, состоятъ въ его страдательной и живой способности, всегда и безъ всякихъ отношеній къ своему образу мыслей, понимать всякое чловѣческое положеніе“ и т. д.

3) Статьи Надеждина, на которыя дѣлаются далѣе ссылки, все приложены С. А. Венгеровымъ къ первому тому, за что нельзя не поблагодарить почтеннаго критика.

и Лагарпамъ могло придти въ голову, что будто изъ всѣхъ пѣтическихъ произведеній должно выжимать посредствомъ логической пытки какую-нибудь *нравственную* апофеюму. Старинныя, сударь, пѣсни.— Нынѣ доказано, что ничто столько не безобразитъ поэзіи, какъ подчиненіе оной умственному или нравственному интересу. *Интересъ эстетическій долженъ быть безпримѣсенъ*... Тебѣ не нравится сіе неудержимое пареніе творящаго генія въ безпредѣльной странѣ бытія и дѣйствія; сіе необузданное самовластіе, располагающее всѣми сокровищами вещественнаго міра; сія нелицепріятная всеобъемлемость, для которой всѣ явленія и образы равноцѣнны—лишь бы выражалась въ нихъ ярко идея безпредѣльной и самозаконной жизни?.. Стыдись, братецъ! Ты заклепываешь въ тяжелые кандалы неограниченное могущество генія. Развѣ можетъ для него быть что-нибудь низкое, недостойное и заповѣдное въ великой картинѣ природы? Для орла, парящаго подъ облаками, не всѣ ли земные предметы уравниваются въ одинаковую пропорцію?—Весь міръ есть родовое помѣстье генія; для него здѣсь нѣтъ ничего запретнаго. Изъ безчисленнаго множества чертъ, составляющихъ великую картину природы, властенъ онъ выбирать любя для поэтическихъ картинъ. Никакіе посторонніе расчеты не должны имѣть вліянія на его свободный выборъ: ни умозрительная значительность, ни нравственное достоинство, ни общественныя предубѣжденія... Все исполненное жизни—жизни огненной, кипящей, клокочущей—есть уже законная собственность генія“.

Эти романтическія сужденія Тлѣнскаго, повліявшія не только на содержаніе, но и на форму приведенныхъ выше мѣстъ изъ „Литературныхъ мечтаній“, составляютъ исходную точку разсужденій Бѣлинскаго. Но *только* исходную точку. Бѣлинскій не останавливается на теоріяхъ Тлѣнскаго. Въ своихъ критическихъ статьяхъ онъ продолжаетъ начатую въ „Лит. опасеніяхъ“ полемику Тлѣнскаго съ Надеждинымъ, постепенно углубляя при этомъ свою основную мысль и дѣлая изъ нея всѣ возможные логическіе выводы. Въ этихъ попыткахъ—идти дальше—состоитъ вся суть развитія Бѣлинскаго за первый періодъ его дѣятельности. Въ чемъ состояло это развитіе и къ чему оно привело, это намъ и предстоитъ теперь разсмотрѣть.

Въ „Литер. опасеніяхъ“ Надеждина вопросъ былъ поставленъ такъ: современная поэзія разнуздавалась; она позволяетъ себѣ брать темы, недостойныя поэта, забывая о приличіяхъ и нравственности. На *эту-то* литературно-полицейскую точку зрѣнія Тлѣнскій отвѣчаетъ только-что приведенными доказательствами,—что нѣтъ темъ, недостойныхъ истиннаго поэта, и что критерій нравственнаго для поэзіи—есть посторонній,

чуждый критерій. Надеждинъ съ этимъ не согласенъ и возражаетъ ему: „но что значитъ самый эстетическій интересъ, какъ не гармоническое сліяніе нравственнаго и умственнаго интереса?.. Что значитъ красота, какъ не истина, растворенная добротою?.. Да, мой любезный, изящное неудобомыслимо безъ отношенія къ существеннымъ потребностямъ духа нашего: истинному и доброму“. Какъ видимъ, для опроверженія Тлѣнскаго Надеждинъ пытается подняться выше: онъ выдвигаетъ противъ романтической распущенности чувства—идею тождества истины, добра и красоты. Но *цѣль* при этомъ остается старая. Цѣль возраженія Надеждина, очевидно,—показать, что эстетическое должно *подчиняться* требованіямъ нравственнаго и истиннаго. Какъ же относится ко всему этому ходу спора классика съ романтикомъ—Бѣлинскій?

Бѣлинскій по отношенію къ собесѣдникамъ надеждинскаго діалога занимаетъ совершенно самостоятельное положеніе. Въ общемъ, онъ на сторонѣ Тлѣнскаго; но онъ очень прислушивается и къ возраженіямъ Надеждина, принимая ихъ во вниманіе — и *оставаясь противникомъ Надеждина*. Онъ, конечно, отлично видитъ, что это собственно борьба Надеждина съ самимъ собой, что Надеждинъ „понималъ романтизмъ лучше его защитниковъ и былъ не совсѣмъ искреннимъ поборникомъ классицизма такъ же, какъ не совсѣмъ искреннимъ врагомъ романтизма“. И вотъ въ данномъ случаѣ онъ смѣло усваиваетъ себѣ возраженіе Надеждина Тлѣнскому, только дѣлаетъ изъ него другое употребленіе. Въ статьѣ, прямо обращенной къ Надеждину (Ничто о ничемъ), онъ принимаетъ надеждинскій тезисъ о гармоніи красоты съ добромъ и истиной, но переворачиваетъ его такъ, что *первенство* остается за *эстетической* стороною человѣческой натуры. „Чувство изящнаго есть условіе человѣческаго достоинства: только при немъ возможенъ умъ, только съ нимъ ученый возвышается до міровыхъ идей, понимаетъ природу и явленія въ ихъ общности; только съ нимъ гражданинъ можетъ нести въ жертву отечеству и свои личныя надежды, и свои частныя выгоды; только съ нимъ человѣкъ можетъ сдѣлать изъ жизни подвигъ и не сгибаться подъ его тяжестью“. Безъ него, безъ этого чувства, нѣтъ генія, нѣтъ таланта, нѣтъ ума—остается одинъ пошлый „здравый смыслъ, необходимый для домашняго обихода жизни, для мелкихъ расчетовъ эгоизма... Эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности... Гдѣ нѣтъ владычества искусства, тамъ люди не добродѣтельны, а только благоразумны; не нравственны, а только осторожны; они не борются со зломъ, а только избѣгаютъ его не по ненависти къ злу, а изъ расчета“. Итакъ, Бѣлинскій остается вѣренъ романтическому тезису о первенствѣ эстетической

стороны человѣческаго духа; онъ отрицаетъ подчиненіе его нравственности, но потому, что нравственность внѣ чувства изящнаго — есть только мораль; помимо всякаго подчиненія, поэтъ не можетъ быть не нравственнымъ, пока остается самъ собой<sup>1)</sup>. На этой точкѣ зрѣнія, можетъ быть, еще не вполне отчетливо сформулированной, Бѣлинскій стоитъ уже и въ „Литер. мечтаніяхъ“. Вотъ почему вмѣсто автономіи эстетическаго чувства, которую защищалъ Тлѣнскій отъ моралистическихъ покушеній Надеждина, Бѣлинскій защищаетъ здѣсь автономію *чувства вообще*, понимая подъ нимъ и эстетическое, и нравственное. Вотъ почему также нельзя искать противорѣчій въ такихъ утвержденіяхъ Бѣлинскаго, какъ то, что „поэзія не имѣетъ цѣли внѣ себя“ и то, что комедія „должна быть плодомъ горькаго негодованія, возбуждаемаго униженіемъ человѣческаго достоинства“; или что безпристрастіе поэта есть зенитъ художественнаго совершенства—и что стихи должны быть „выстраданы“, должны быть „воплями души“. Самъ Бѣлинскій не только не избѣгалъ такихъ сопоставленій, но *нарочно и умышленно* накапливалъ ихъ, какъ бы видя въ такомъ накопленіи ту трудную проблему, которую призванъ рѣшить именно онъ. Проблемой этой была—уже не защита эстетики отъ нравственности, а защита эстетики и нравственности, считаемыхъ за одно и то же, отъ разсудочности и фальсификаціи. Итакъ, то, что С. А. Венгеровъ считаетъ противорѣчіемъ, было въ дѣйствительности первымъ, вполне сознательнымъ шагомъ впередъ по пути самостоятельнаго мышленія.

Пойдя разъ этимъ путемъ, Бѣлинскій вовсе не считаетъ задачи исчерпанною въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“. Ему все еще кажется, что онъ недостаточно подчеркнулъ равноправность субъективизма и объективизма въ поэзіи. Какъ бы предчувствуя, что его будутъ обвинять въ колебаніи между тѣмъ и другимъ,—несмотря на его прямое заявленіе, что и поэтъ, изображающій одно ужасное, и поэтъ, изображающій весь міръ въ миниатюрѣ, съ его смѣсю добра и зла,—суть одинаково поэты и одинаково нравственны, если „слѣдуютъ безотчетно вспышкѣ воображенія“,—Бѣлинскій еще разъ продумываетъ эту тему

<sup>1)</sup> Ср. II, 489: „не заботьтесь о нравственности, но творите... и будете нравственны даже на зло самимъ себѣ“. II, 495: „въ художественномъ произведеніи идея всегда истинна, если вышла изъ души... Возьмите любую застольную пѣсню Беранже“ etc. Ср. съ этой терминологіей мнѣніе кружка Бѣлинскаго о „нравственной точкѣ зрѣнія“, какъ *низшей* сравнительно съ „полнотой жизни въ духѣ“. Последнюю обеспечивало лишь искусство, „эстетическая“ точка зрѣнія, какъ единственная, дававшая возможность проникнуть въ тайники природнаго творчества и слиться, такимъ образомъ, съ абсолютнымъ. См. выше статью о „Любви идеалистовъ 30-хъ гг.“

и возвращается къ ней въ статьѣ о „Повѣстяхъ Гоголя“. Примиреніе субъективизма и объективизма въ поэзіи является на этотъ разъ въ формѣ различенія двухъ видовъ поэзіи: *идеальной* и *реальной*. „Поэзія двумя, такъ сказать, способами объемлетъ и воспроизводитъ явленія жизни. Эти способы противоположны одинъ другому, хотя ведутъ къ одной цѣли. Поэтъ или пересоздаетъ жизнь по собственному идеалу, зависящему отъ образа его воззрѣнія на вещи, отъ его отношеній къ міру, къ вѣку и народу, въ которомъ онъ живетъ, или воспроизводитъ ее во всей ея наготѣ и истинѣ, оставаясь вѣренъ всѣмъ подробностямъ, краскамъ и оттѣнкамъ ея дѣйствительности“.

Послѣднюю, „поэзію *реальную*“, поэзію жизни, поэзію дѣйствительности, Бѣлинскій считаетъ „истинной и настоящей поэзіей нашего времени“. „Ея отличительный характеръ состоитъ въ вѣрности дѣйствительности: она не пересоздаетъ жизнь, но воспроизводитъ, возсоздаетъ ее и, какъ выпуклое стекло, отражаетъ въ себѣ, подъ одною точкою зрѣнія, разнообразныя ея явленія, выбирая изъ нихъ тѣ, которыя нужны для составленія полной, оживленной картины... Удивительно ли, что отличительный характеръ новѣйшихъ произведеній вообще состоитъ въ беспощадной откровенности, что въ нихъ жизнь является, какъ бы на позоръ, во всей наготѣ, во всемъ ея ужасающемъ безобразіи. Мы требуемъ не идеала жизни, но самой жизни, какъ она есть. Дурна ли, хороша ли, но мы не хотимъ ее украшать, ибо думаемъ, что въ поэтическомъ представленіи она равно прекрасна въ томъ и другомъ случаѣ, и потому именно, что истинна, и что гдѣ истина, тамъ и поэзія“. Все это—какъ разъ тѣ же аргументы—отчасти даже и тѣ же выраженія,—которыми защищалъ Тлѣнскій романтическую—„новѣйшую“ поэзію отъ „морализующихъ нападокъ Надеждина <sup>1)</sup>“. Но какъ

<sup>1)</sup> Чтобы яснѣе дать понять, *противъ* какого цензурскаго отношенія къ поэзіи направлена приведенная тирада Бѣлинскаго, приведемъ еще выписку изъ Надеждина. „О бѣдная, бѣдная наша Поэзія! — долго ли будетъ ей скитаться по Нерчинскимъ острогамъ, цыганскимъ шатрамъ и разбойническимъ вертепамъ?... Неужели къ области ея исключительно принадлежать однѣ мрачныя сцены распутства, ожесточенія и злодѣяства?... Что за рѣшительная антипатія ко всему доброму, свѣтлому, мелодическому, радующему и возвышающему душу?... Вотъ предметы Поэзіи: великіе подвиги и невинныя наслажденія чело-вѣчества!.. А нынѣ?... Нынѣ Поэзія съ какимъ-то неизъяснимымъ удовольствіемъ бродитъ по вертепамъ злодѣяній, омрачающихъ Природу человѣческую; съ какою-то безстыдною наглостію срываетъ покровъ съ ея слабостей и заблужденій; и любитъ изведенною на позоръ срамотою наилучшаго созданія Божія!—Нѣтъ! Не таково было первоначальное назначеніе Поэзіи!.. Наши пѣвцы воздыхаютъ тоскливо о блаженномъ состояніи первобытной дикости и услаждаются живописаніемъ бурныхъ порывовъ неистовства, покусшающагося

далеко уже ушелъ Бѣлинскій отъ своего исходнаго пункта, употребляя эти аргументы на защиту настоящей „новѣйшей“ поэзіи—реалистическихъ повѣстей Гоголя! Въмѣсто права эстетическаго чувства на полную свободу выбора—права свободы отъ предписаній этики и отъ соответствія истинѣ,—мы видимъ отождествленіе „истины“ съ „поэзіей“ въ новѣйшемъ принципѣ—вѣрнаго воспроизведенія дѣйствительности.

Но куда же дѣлась „свобода чувства“—эстетическаго такъ же, какъ эстетическаго—въ поэзіи,—то, что составляло главный предметъ нападокъ Надеждина? Бѣлинскій совсѣмъ не думаетъ отказываться и отъ этого завоеванія. Свобода чувства остается удѣломъ „идеальной поэзіи“. „Идеальной“ поэзіей Бѣлинскій считаетъ прежде всего то, что по тогдашнимъ общепотребительнымъ терминамъ принято было называть, по Шлегелю, романтической поэзіей, т. е. поэзію христіанскихъ народовъ, преимущественно средневѣковую. Онъ, однако, не только не считаетъ идеальную поэзію устарѣлой и отжившей, но даже готовъ утверждать, что „именно въ наше-то время и возможна она, и нашему времени предоставлено развить ее“. Въ идеальной поэзіи „естественность, гармонія съ законами дѣйствительности—дѣло постороннее; въ такомъ случаѣ (поэтъ) какъ бы заранѣе условливается съ читателемъ, чтобы тотъ вѣрилъ ему на слово и искалъ въ его созданіи не жизни, а мысли. Мысль—вотъ предметъ его вдохновенія. Какъ въ оперѣ для музыки пишутся слова и придумывается сюжетъ, такъ онъ создаетъ, по волѣ своей фантазіи, форму для своей мысли. Въ этомъ случаѣ его поприще безгранично; ему открытъ весь дѣйствительный и воображаемый міръ, все роскошное царство вымысла, и прошедшее, и настоящее, и исторія, и басня, и преданіе, и народное суевѣріе, и вѣрованіе, земля и небо, и адъ. Безъ всякаго сомнѣнія, и тутъ есть своя логика, своя поэтическая истина, свои законы возможности и необходимости, которымъ онъ остается вѣренъ, но только дѣло въ томъ, что онъ же самъ и творитъ себѣ эти условія“.

Каково же отношеніе между двумя поэзіями? „Трудно было бы рѣшить“, отвѣчаетъ Бѣлинскій, „которой изъ нихъ должно отдать преимущество. Можетъ быть, каждая изъ нихъ равна другой, когда удовлетворяетъ условіямъ творчества, т. е. когда идеальная гармонируется съ чувствомъ, а реальная—съ истиной представляемой ею жизни. Но кажется, что послѣдняя, родившаяся вслѣдствіе духа нашего положи-

---

ниспровергнуть до основанія священный оплотъ общественнаго порядка и благоустройства“ и т. д. Легко понять, какое значеніе имѣлъ протестъ противъ „нравственной точки зрѣнія“, сформулированной такъ, какъ формулировалъ ее Надеждинъ.

тельнаго времени, болѣе удовлетворяетъ его господствующей потребности“. Во всякомъ случаѣ,—условія поэтическаго творчества—одинаковы для обѣихъ: обѣ нуждаются во „вдохновеніи“, и при наличности его, „какого бы рода ни было произведеніе—идеальное, реальное,—оно всегда истинно, *истинно поэтически*“.

Какъ видимъ, въ умѣ БѢлинскаго кипитъ напряженная работа. Конечно, работу эту задаетъ уму, прежде всего, „великое сердце“; конечно, БѢлинскій все время продолжаетъ вращаться въ кругу тѣхъ же надеждинскихъ идей, а его теорія, несмотря на всѣ надстроенные надъ нею эпициклы, продолжаетъ висѣть на гвоздѣ романтической эстетики. Но все же это есть *теорія*, сознательно стремящаяся охватить всѣ объясняемыя ею явленія—и при этомъ остаться *цѣльной*. Это есть продуктъ личной работы БѢлинскаго, хотя и совпадающей съ отчасти недоговоренными, отчасти недодуманными мыслями Надеждина. БѢлинскій *могъ*, конечно, почерпнуть основныя темы своей теоріи и не у Надеждина, такъ какъ мировоззрѣніе, изъ котораго онѣ вытекали, было довольно распространено. Тѣмъ не менѣе, трудно отрицать, что *фактически* онѣ воспринялъ ихъ именно у Надеждина, что даже самыя недомолвки Надеждина дали толчокъ для дальнѣйшей мысли, что полемизируя съ нимъ, онѣ надъ нимъ возвысился, и что основу этой эмансипаціи положилъ самъ Надеждинъ своей неискренностью защиты и нападенія, а больше всего самой своей основной мыслью, которую, по мнѣнію БѢлинскаго, онѣ „первый сказалъ и развилъ“, <sup>1)</sup> именно, что „поэзія нашего времени не должна быть ни классическою, ни романтической; но что въ поэзіи нашего времени должны примириться обѣ эти стороны и произвести новую поэзію“. Теорія идеальной и реальной поэзіи (нѣчто въ родѣ „сентиментальной“ и „наивной“ поэзіи шиллеровской эстетики) была блестящимъ разрѣшеніемъ задачи, самостоятельнымъ и стойчивымъ БѢлинскому много усилій мысли, хотя, конечно, не окончательнымъ въ его же собственныхъ глазахъ.

Прежде, чѣмъ идти далѣе, остановимся еще на одномъ эпизодѣ, иллюстрирующемъ ту же теоретическую работу БѢлинскаго *въ зависимости* отъ Надеждина. На реплику, поданную Надеждинымъ Тлѣнскому

---

<sup>1)</sup> Характерна и эта ссылка БѢлинскаго на приоритетъ Надеждина. На самомъ дѣлѣ эту идею раньше Надеждина уже развивалъ И. Давыдовъ и слѣлалъ ее популярной среди поколѣнія старшихъ сверстниковъ БѢлинскаго,—поколѣнія, выросшаго въ 20-хъ годахъ. Слѣдовательно, въ данномъ случаѣ показаніе БѢлинскаго имѣетъ исключительно автобіографическое значеніе. См. мои „Главные теченія русской исторической мысли“, т. I, 2 изд. 1898, стр. 297, 302.

и приведенную нами выше, „что эстетическій интересъ долженъ гармонировать съ нравственнымъ и умственнымъ“,—реплику, сдѣлавшуюся исходной точкой умственной работы Бѣлинскаго, Тлѣнскій въ „Литер. опасеніяхъ“, въ свою очередь, возражаетъ: „Вотъ хорошо... Но тебѣ уже, чай, извѣстно, что первоначальный законъ искусническаго творчества есть *безцѣльность*? Ты такой знатокъ въ новѣйшей философіи, а позабылъ первые склады ея“. На это Надеждинъ побѣдоносно отвѣчаетъ: „дѣйствительно, знаменитый Кантъ постановляетъ началомъ эстетическаго изящества *соразмѣрность съ цѣлью безъ цѣли* (Zweckmässigkeit ohne Zweck). Но что это значитъ?.. Совсѣмъ не то, чтобы изящное произведеніе не должно было имѣть *никакой* цѣли, но что оно должно имѣть единственную цѣль свою *въ самомъ себѣ*, не подчиняясь никакимъ внѣшнимъ постороннимъ видамъ. Поэтическія изліянія должны быть свободными изліяніями свободного духа... Но для чего же вы опускаете другую черту закона, имъ возвѣщаемаго: соразмѣрность съ цѣлью?.. Кантъ хочетъ, чтобы изящное произведеніе, не стѣсняясь посторонними видами, тѣмъ не менѣе, было, однако, соразмѣрно съ цѣлью, которою должно быть для него всесовершенное выраженіе единой великой идеи, имъ назнаменуемой“. Въ этомъ случаѣ Бѣлинскій согласенъ съ Надеждинымъ. Мы видѣли, что уже въ „Литер. мечтаніяхъ“ онъ принимаетъ эту часть формулы въ редакціи Надеждина, съ его поправкой: онъ говоритъ о „цѣли поэзіи—самой въ себѣ“. Но и тутъ мысль его продолжаетъ работать. Въ статьѣ о „Повѣстяхъ Гоголя“ Бѣлинскій и къ этой темѣ возвращается вновь,—спеціально для того, чтобы примирить исходное утвержденіе съ принятой имъ поправкой. „Творчество *безцѣльно съ цѣлью*“, говоритъ онъ тутъ, „безсознательно съ сознаниемъ, свободно съ зависимостью: вотъ основные его законы“. И онъ развиваетъ свой взглядъ на психологію творчества, приходя въ результатѣ къ выводу: „когда поэтъ творитъ, то хочетъ выразить въ поэтическомъ символѣ какую-нибудь идею, слѣд., имѣетъ цѣль, дѣйствуетъ съ сознаниемъ. Но ни выборъ идеи, ни ея развитіе не зависятъ отъ его воли, управляемой умомъ, слѣд., его дѣйствіе безцѣльно и безсознательно“.

Такъ развивалъ Бѣлинскій свою основную эстетическую идею, систематически идя навстрѣчу возраженіямъ, вводя соотвѣтственные поправки и стараясь занять высшую позицію, съ которой и первоначальная мысль, и возраженіе противъ нея сливались въ одно болѣе глубокое пониманіе предмета. Тезисъ и антитезисъ принадлежали при этомъ Надеждину, но надеждинскій синтезисъ оказывался черезчуръ мелкимъ и внѣшнимъ,—и Бѣлинскій замѣнялъ его своимъ. „Старая“



мысль, дѣйствительно, становилась новой, снова начинала жить и развиваться въ пониманіи БѢлинскаго.

Вопросъ объ отношеніи Надеждина къ первымъ критическимъ статьямъ БѢлинскаго и этимъ, однако, все еще далеко не исчерпанъ. Не только оба *имѣли* цѣльную теорію, но оба старались *на ней* основать свое отношеніе къ русской литературѣ: и въ этомъ случаѣ Надеждинъ опять сыгралъ точно такую же роль, какъ въ обсужденіи общей теоріи.

Какая задача „Литературныхъ мечтаній“? Несомнѣнно,—доказать, что при томъ органическомъ пониманіи искусства и изящнаго, изъ котораго исходитъ критикъ,—истиннымъ произведеніемъ искусства будетъ лишь такое, которое само собою вытекло изъ глубинъ народнаго духа. „Литература есть народное самосознаніе,—и тамъ, гдѣ нѣтъ этого самосознанія, тамъ литература есть или скороспѣлый плодъ, или средство къ жизни, ремесло извѣстнаго класса людей. Если и въ такой литературѣ есть прекрасныя и изящныя созданія, то они суть исключительныя, а не положительныя явленія; а для исключеній нѣтъ правила“. Эти слова БѢлинскаго въ одной позднѣйшей статьѣ (II, 383) могли бы служить полнымъ резюме „Литературныхъ мечтаній“, съ той только прибавкой, что и отдѣльныя „прекрасныя и изящныя произведенія“ объясняются соприкосновеніемъ ихъ авторовъ, болѣе или менѣе случайнымъ, съ тѣми же тайниками народнаго духа. Намъ кажется, С. А. Венгеровъ недостаточно подчеркиваетъ единство этой основной идеи „Литературныхъ мечтаній“ и ея связь съ тѣмъ общимъ эстетическимъ принципомъ, о которомъ говорилось выше. Иначе онъ вѣрнѣе оцѣнилъ бы зависимость БѢлинскаго и въ этой части его разсужденій отъ Надеждина и не искалъ бы дурного вліянія Надеждина тамъ, гдѣ рѣчь могла бы скорѣе идти о новомъ самостоятельномъ шагѣ БѢлинскаго сравнительно съ Надеждинымъ.

Прежде всего, нельзя не констатировать, что не только общій ходъ мысли Надеждина (въ его „Отрывкѣ изъ диссертаци“ и въ „Отчетѣ за 1831 годъ“), но и взглядъ почти на всѣ частныя явленія и факты русской литературы—одинъ и тотъ же со взглядами „Литературныхъ мечтаній“ БѢлинскаго. Надеждинъ, подобно БѢлинскому, исходитъ изъ мысли, что нора русскимъ внести свою долю во всемірно-историческое развитіе народовъ: онъ и указываетъ роль русскихъ—въ примиреніи противоположности двухъ предыдущихъ міровъ, классическаго и романтическаго. БѢлинскій только менѣе опредѣленно высказывается о томъ, что именно внесетъ народъ русскій; онъ какъ будто склоненъ болѣе индивидуализировать роль cadaго народа во всемірно-истори-

ческомъ процессѣ. Въмѣсто того, чтобы повторять утвержденія Надеждина: „какъ члены *одного* великаго человѣческаго семейства, мы должны жить *общей* жизнью человѣчества и шествовать наравнѣ съ нимъ, быть преемниками и наслѣдниками сугубой юности рода человѣческаго“,—у Бѣлинскаго встрѣчаемъ другой вариантъ той же шеллингистской темы: „только идя по *разнымъ* дорогамъ, человѣчество можетъ достигнуть своей цѣли; только живя *самобытной* жизнью, можетъ каждый народъ принести свою долю въ общую сокровищницу“<sup>1)</sup>. Вариантъ Надеждина звучитъ болѣе по-западнически, вариантъ—почти отвѣтъ—Бѣлинскаго — по-славянофильски, — если можно употребить эти термины раньше формальнаго возникновенія славянофильства и западничества. Разница вариантовъ, какъ увидимъ, во всякомъ случаѣ не случайна; и, конечно, если искать *тутъ* отношенія между мыслями Бѣлинскаго и Надеждина,—то отношеніе это будетъ — полемическое. Нѣтъ сомнѣнія, что *не* Надеждинъ привилъ Бѣлинскому формулу, отзывающую „кваснымъ патріотизмомъ“,—разъ эта формула употреблена *противъ* Надеждина.

Пойдемъ дальше. Послѣ одинаковаго вступленія у Бѣлинскаго и у Надеждина, и далѣе слѣдуетъ одна и та же мысль: обстоятельства исторической жизни (одинаковая ссылка на Петра) сдѣлали надолго главной особенностью нашей культурной жизни — подражательность, что и объясняетъ, почему до сихъ поръ у насъ нѣтъ самобытной національной литературы. Въ развитіе этой темы опять оба автора вносятъ свои индивидуальныя оттѣнки,—и опять славянофильскій оттѣнокъ оказывается особенностью Бѣлинскаго сравнительно съ Надеждинымъ. „Благодатный весенній возрастъ словесности, запечатлѣваемый у народовъ, развивающихся изъ самихъ себя, свободною естественностью и оригинальною самообразностью, у насъ, напротивъ, обреченъ былъ въ жертву рабскому подражанію и искусственной принужденности. Обыкновенно ставятъ это въ вину и въ укоръ русскому характеру, признавая его не способнымъ къ самообразной производительности: но не будемъ слишкомъ строги къ самимъ себѣ. Не одна наша словесность терпитъ сію участь: ее раздѣляютъ литературы народовъ, кои раньше насъ приняли участіе въ европейскомъ просвѣщеніи и, слѣдовательно, старше и зрѣлѣе насъ, какъ-то: шведская, датская, голландская (ср. реминисценцію Бѣлинскаго на эти слова, I). Имъ также нечѣмъ похвалиться: они прозябаютъ не своей, но заим-

<sup>1)</sup> Объ этихъ двухъ вариантахъ всемірно-исторической схемы у русскихъ шеллингистовъ см. мои „Главные теченія русской исторической мысли“, I, стр. 332 и слѣд.

ствованной жизнью... Само собой разумѣется, что сіи насильственные наросты не могли укореняться глубоко въ литературной нашей почвѣ и разрастаться богатою жатвою. Напротивъ, они весьма скоро выпцвѣтали, блекли и опадали; они возникали и увядали по минутнымъ прихотямъ, по эфемернымъ капризамъ моды“ (реминисценція Б. см. I, 344).

Бѣлинскій развиваетъ ту же тему иначе,—и очень близко къ тому, какъ трактовало этотъ сюжетъ въ послѣдствіи славянофильство. „*Народъ* или, лучше сказать, масса народа и *общество* пошли у насъ врозь. Первый остался при своей прежней грубой и полудикой жизни; второе... забыло *говорить русскій языкъ*... ударило въ подражаніе, или, лучше сказать, передразниваніе иностранцевъ и т. д.“

Далѣе, и Надеждинъ, и Бѣлинскій дѣлаютъ бѣглыя характеристики старыхъ русскихъ писателей, отмѣчая тѣхъ изъ нихъ, которые сохранили свое значеніе, и объясняя эти исключенія—близостью данныхъ писателей къ народному духу. Подборъ лицъ — очень близокъ, а это объясненіе у обоихъ критиковъ — совершенно одинаково. На Ломоносовѣ, впрочемъ, они расходятся: Бѣлинскій видитъ въ немъ „рабскую подражательность“, тогда какъ Надеждинъ считаетъ его „не только истиннымъ поэтомъ (съ чѣмъ готовъ согласиться и Бѣлинскій), но еще по превосходству—поэтомъ *русскимъ*, въ коемъ сей великій народъ пробудился къ полному поэтическому сознанію самого себя“. Причиной разногласія послужилъ здѣсь, кажется, *классицизмъ* Ломоносова, который приводитъ Надеждина въ умиленіе и раздражаетъ Бѣлинскаго. За то Бѣлинскій выдвигаетъ Державина, очевидно, въ пику Надеждину, выставляя его „невѣжество“, какъ гарантію его „народности“, спасающую его отъ Ломоносовскаго псевдо-классицизма. Общій фонъ эпохи нарисованъ у обоихъ критиковъ довольно одинаковыми красками. Дальше, Надеждинъ объясняетъ „ту высокую степень совершенства, на которую возведена у насъ, преимущественно передъ прочими отраслями поэзіи,—*басня*“. „Басня ознаменована у насъ печатью высочайшей народности: всматривается въ бытъ русскій, подслушиваетъ рѣчь русскую, однимъ словомъ, есть вѣстовщица духа и характера русскаго“. Бѣлинскій на этотъ разъ совершенно согласенъ съ Надеждинымъ. „Замѣчу, говоритъ онъ,—не я первый,—что басня оттого имѣла на Руси такой чрезвычайный успѣхъ, что родилась не случайно, а вслѣдствіе нашего народнаго духа... Вотъ убѣдительнѣйшее доказательство того, что литература непременно должна быть народною, если хочетъ быть прочною и вѣчною“... Переходимъ далѣе прямо къ Пушкину, минуя быструю смѣну заимствованій у французской, нѣмецкой и англійской литературы, характеризованную у Бѣлинскаго,

по признанію на этотъ разъ и С. А. Венгерова, весьма близко къ Надеждину (I, стр. 344 и прим. 68; и Надеждинъ, ib., 527—528). Пушкинъ причиняетъ комментатору Бѣлинскаго жестокое затрудненіе. Въ первомъ томѣ С. А. Венгеровъ очень рѣшительно высказалъ мнѣніе, что „колѣнопреклоненіе предъ Пушкинымъ составляетъ такую центральную черту „Литературныхъ мечтаній“ и всей вообще дѣятельности Бѣлинскаго, что уже однихъ надеждинскихъ глумленій (надъ Пушкинымъ) совершенно достаточно, чтобы между обоими критиками создалась бездна, чрезъ которую нельзя перекинуть никакого соединительнаго моста“. Во второмъ томѣ, однако же, этотъ соединительный мостъ С. А. Венгерову пришлось построить собственными руками. Тамъ онъ встрѣтилъ намеки Бѣлинскаго на пушкинскаго Нулина, совершенно точно воспроизводившія „глумленіе“ Надоумки — Надеждина; встрѣтилъ, и на первый разъ не повѣрилъ <sup>1)</sup>. „Мы не могли догадаться, о чемъ тутъ рѣчь“, замѣчаетъ онъ въ примѣчаніи къ этому мѣсту (пр. 358), — „и серьезно ли говорится объ „одномъ изъ знаменитѣйшихъ нашихъ писателей“. Неужели это—намекъ на графа Нулина“? Скоро, однако, никакія сомнѣнія становятся невозможными; приходится признать печальную дѣйствительность (пр. 419), и С. А. Венгеровъ сразу переходитъ почти въ другую крайность. „Начиная съ „Литературныхъ мечтаній“, говоритъ онъ теперь, „Бѣлинскій *упорно твердитъ* объ упадкѣ Пушкина“. Нашъ комментаторъ и тутъ, однако, не хочетъ признать открыто, что Бѣлинскій только развиваетъ въ этомъ случаѣ тезисъ Надеждина и повторяетъ его ошибку.

Но перейдемъ лучше опять къ тому, въ чемъ Бѣлинскій отличается отъ Надеждина и въ чемъ онъ, по нашему представленію, пошелъ *дальше* его. Рѣчь идетъ о пониманіи самаго основного понятія, которымъ оперировали оба: понятія народности. Надеждинъ и въ этомъ случаѣ обнаружилъ ту „неискренность и непрямоту доказательствъ“, то „явное противорѣчіе между воззрѣніями и ихъ приложеніемъ“, въ которыхъ обвинялъ его позднѣе Бѣлинскій. Какъ „законы творящаго духа“ онъ очень поспѣшно свелъ на правила „здраваго вкуса“ (ср. филиппику Бѣлинскаго противъ „вкуса“ въ разборѣ критики Шевырева), такъ и для „народности“ онъ постарался найти самое подхо-

<sup>1)</sup> „Помните ли вы“, спрашиваетъ Бѣлинскій Надеждина (въ адресованной прямо ему статьѣ „Ничто о ничемъ“), „какъ одинъ изъ знаменитѣйшихъ нашихъ писателей, изъ первостатейныхъ гевіевъ, уgomилъ на смерть свою литературную славу тѣмъ, что вздумалъ писать о *ничемъ* и весь вылился въ *ничто*?“ Ср. въ приложеніи къ I тому статью Надеждина „Сонмище няггилстовъ“ и специальный „разборъ гр. Нулина“.

дающее выраженіе въ „патріотизмѣ“. „Явно отсюда, говоритъ онъ по поводу Державина и другихъ нашихъ бардовъ,—что патріотическій енеусіасмъ составляетъ какъ бы родовое непреложное наслѣдіе русской поэзіи: и это ни мало не удивительно, когда вѣковыя преданія и ежедневные опыты свидѣлствуютъ, что національный характеръ самаго народа русскаго отличается — живою, пламенною, неизмѣнною любовію къ отечеству“. Нѣсколько подобныхъ же „патріотическихъ“ аккордовъ мы находимъ и на заключительныхъ страницахъ „Литер. мечтаній“. Но никакого вліянія на мысль БѢлинскаго эти стилистическіе хвостики не оказали; возможно, что они были специально придѣланы для надеждинскаго журнала и цензуры. Если бы *этимъ* ограничивалось „дурное вліяніе“ Надеждина на БѢлинскаго, то объ этомъ не стоило бы и говорить. Но С. А. Венгеровъ ставитъ свое обвиненіе гораздо шире. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ БѢлинскій начинаетъ говорить о „самобытности“ каждаго народа, какъ объ основѣ его національнаго склада, комментаторъ дѣлаетъ слѣдующее примѣчаніе (37): „начиная съ этой главы, БѢлинскій даетъ рядъ общественно-политическихъ воззрѣній, диаметрально-противоположныхъ тому, что составляетъ сущность его дѣятельности во вторую половину жизни, и съ чѣмъ по преимуществу связано представленіе о немъ въ общемъ сознаніи. Начавъ съ утвержденія, что „обычай—дѣло святое, неприкосновенное“, БѢлинскій постепенно усваиваетъ себѣ жаргонъ квасного патріотизма, кровожадно восторгается тѣмъ, какъ „разыгрался русскій мечъ“ и пишетъ уже даже не слогомъ Погодина и Шевырева, а громоподобнымъ стилемъ XVIII вѣка. Подъ вліяніемъ разъ взятаго тона, БѢлинскій заговорилъ шипковскими славянизмами, отечество стало для него не просто дорогимъ, а „драгимъ“, Алексѣй Михайловичъ превратился въ „Алексія“ и все его изложеніе русской исторіи свелось къ самому грубому бахвальству и прославленію русскаго кулака“.

Это сказано очень сильно, какъ видимъ,—но... неужели же въ самомъ дѣлѣ БѢлинскій „кровожадно восторгается“, „грубо бахвальствуетъ“ и „прославляетъ русскій кулакъ“? Все это говорило бы не только противъ силы ума, но, пожалуй, и противъ основного тезиса С. А. Венгерова,—противъ „великаго сердца“. Къ счастью, мы можемъ не тревожиться за репутацию БѢлинскаго. Замѣтимъ, прежде всего, что то, что говоритъ тутъ С. А. Венгеровъ о слогѣ БѢлинскаго, оказывается плодомъ простаго недоразумѣнія. Выше мы привели выраженіе БѢлинскаго „говорить русскій языкъ“, употребленное имъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ заводитъ бесѣду о подражательности русскаго „общества“. Кажется, ясно, что это выраженіе, напечатанное курсивомъ, БѢлинскій умышленно здѣсь

выбралъ, чтобы самымъ оборотомъ рѣчи изобразить разучивающееся говорить по-русски дворянство. Тѣмъ не менѣе, и къ этому мѣсту встречаемъ примѣчаніе С. А. Венгерова: „этотъ совершенно неправильный французскій оборотъ (*parler la langue*), вѣроятно, объясняется постоянными переводами съ французскаго, которыми такъ усиленно занимался Б. въ 1833 и 1834 (пр. 44)“; а въ предисловіи критикъ признается, что подобные галлицизмы у Бѣлинскаго и прежде его коробили. Не обстоитъ ли дѣло подобнымъ же образомъ и съ шишковизмами, которые коробятъ почтеннаго критика теперь? Вѣдь „драгое отечество“—тоже написано курсивомъ <sup>1)</sup> и употреблено отъ имени Ломоносова—это его подлинное выраженіе; въ другихъ мѣстахъ совершенно съ тѣмъ же расчетомъ на большую изобразительность употребленъ „нѣмецкій маниръ“, когда рѣчь идетъ о Петрѣ, и „Биронъ“ вмѣсто Байрона, когда рѣчь идетъ о первыхъ глухихъ слухахъ по поводу романтизма, проникшихъ въ русскую публику. Немудрено, что Бѣлинскій заговариваетъ слогомъ державинскихъ одъ, когда рѣчь идетъ о времени имп. Екатерины. Такимъ образомъ, едва ли нужно защищать далѣе несравненный слогъ „Литературныхъ мечтаній“. Важнѣе разобрать обвиненіе (въ заимствованіи „квасного патріотизма“ Бѣлинскимъ отъ Надеждина) по существу. Тутъ мы снова принуждены рѣшительно противорѣчить комментатору Бѣлинскаго. Мы видѣли и раньше склонность Бѣлинскаго къ славянофильскимъ взглядамъ на народность—и при томъ какъ разъ въ противоположность Надеждину. Теперь прибавимъ, что, по нашему мнѣнію, не только не слѣдуетъ слагать вину за эти мнѣнія Бѣлинскаго на Надеждина, но и вообще едва ли умѣстно говорить здѣсь о какой-либо „винѣ“. Вліяніе этого рода мы скорѣе готовы бы были считать *заслугой* вліявшаго, такъ какъ славянофильское мнѣніе о народности было той ступенькой, по которой Бѣлинскій поднялся надъ мнѣніями Надеждина и выбрался на собственную дорогу. По смыслу его эстетической теоріи ему необходимо было найти такой „безсознательный съ сознаніемъ, безцѣльный съ цѣлью“ принципъ, на которомъ бы можно было построить понятіе и ожиданіе самобытной и оригинальной русской литературы. Такой принципъ и дала ему славянофильская идея народности. Несомнѣнно, что эта идея была безусловно враждебной казенному понятію „патріотизма“ и болѣе глубокой, чѣмъ все, что говорилось по этому поводу до славянофиловъ. „Народ-

<sup>1)</sup> Значеніе курсива, какъ означающаго чужія подлинныя выраженія или характерныя словечки,—словомъ, все, что мы теперь поставили бы въ кovyчки, указано самимъ С. А. Венгеровымъ,—не помнимъ, къ сожалѣнію, въ какомъ именно мѣстѣ.

ность“ относилась къ „патріотизму“ въ терминологіи и въ понятіяхъ БѢлинскаго, какъ „вдохновеніе“ къ „здоровому вкусу“, какъ „полнота духовной жизни“ къ „морали“ или къ „нравственной точкѣ зрѣнія“ (см. выше). Всѣ эти противопоставленія выводили литературные споры изъ области простыхъ симпатій или антипатій и поднимали ихъ до борьбы цѣльнаго міровоззрѣнія противъ ходячей рутины,—идеи противъ узкаго житейскаго практицизма.

Кто же далъ БѢлинскому такое пониманіе „народности“? Едва ли можетъ быть и тутъ какое-либо сомнѣніе. БѢлинскій не предварилъ славянофильскія ученія своими разсужденіями, какъ думаетъ критикъ (пр. 43), а просто *взялъ ихъ у славянофиловъ же*; могъ взять и у И. Кирѣевскаго, напечатавшаго еще въ 1830 г.: „сознаемся, что у насъ еще нѣтъ полного *отраженія умственной жизни народа*, нѣтъ литературы“; могъ онъ — и это всего вѣроятнѣе — заимствовать эти взгляды — именно на старинный простонародный бытъ, на реформу Петра, на раздѣленіе общества отъ народа—непосредственно у ближайшаго своего друга, Константина Аксакова, съ которымъ жила душа въ душу въ то время <sup>1)</sup>, который ни о чемъ другомъ и говорить не умѣлъ, кромѣ какъ разъ этихъ самыхъ темъ—и, навѣрное, вдоволь наговорился о нихъ съ БѢлинскимъ. Почему другому, какъ не по этому, и оказалось такъ тяжело впослѣдствіи (въ 40-хъ гг.) ихъ разставаніе, когда разница взглядовъ, опять по этому же вопросу, развела ихъ въ разныя стороны?

Но согласившись съ тѣмъ, что основа взглядовъ на народность въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ взята у славянофиловъ (чему, собственно, не противорѣчитъ въ другомъ мѣстѣ своихъ примѣчаній и С. А. Венгеровъ), мы, однако, тотчасъ же должны отмѣтить, что БѢлинскій вноситъ въ обсужденіе вопроса извѣстную самостоятельность. Самостоятельность эта обнаруживается какъ разъ въ вопросѣ о значеніи „обычаевъ“ для народности. Значеніе обычаевъ (какъ опредѣляющихъ „фізіономію народную“) БѢлинскій выдвигаетъ *насчетъ* значенія религіи <sup>2)</sup>; его „обычаи“ — это почти надорганическая среда позднѣйшей соціологіи: междупсихическая соціальная ткань. Критикъ самъ въ разныхъ мѣстахъ присоединяется къ пониманію народности БѢлинскимъ:

<sup>1)</sup> Припомнимъ, что Аксаковъ-отецъ оберегалъ отъ вліянія БѢлинскаго своего сына (см. выше, статью о С. Т. Аксаковѣ), а Бакунинъ одно время обвинялъ БѢлинскаго за „коалицію“ съ Аксаковымъ (см. „Любовь у идеалистовъ 30 гг.“).

<sup>2)</sup> Надо, впрочемъ, прибавить, что какъ разъ такое центральное значеніе придавалось „обычаямъ“ въ семьѣ Аксаковыхъ.

но какъ же дошелъ Бѣлинскій до этого пониманія, какъ не путемъ усвоенія и дальнѣйшей разработки славянофильскаго мнѣнія?

Я упомянулъ о „дальнѣйшей разработкѣ“, потому что, какъ всегда у Бѣлинскаго, въ этой разработкѣ—вся сущность дѣла. Разъ усвоивъ себѣ понятіе народности, какъ чего-то невольнаго, чего-то такого, что не можетъ не быть и что само-собою приложится, Бѣлинскій на этой почвѣ—и только на ней—и могъ смѣло выступить противъ всякихъ фальсификацій народности, противъ всякой попытки играть этимъ словомъ, какъ знаменемъ или лозунгомъ націонализма, словомъ, противъ того самаго сведенія „народности“ къ „патріотизму“, котораго далеко не чуждъ былъ Надеждинъ. Свою позицію въ этомъ вопросѣ Бѣлинскій совершенно опредѣленно занимаетъ уже въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“. „Мнѣ кажется“, говоритъ онъ тутъ, „что это стремленіе къ народности произошло оттого, что всѣ живо почувствовали непрочность нашей подражательной литературы и захотѣли создать народную, какъ прежде силились создать подражательную. Итакъ, опять цѣль, опять усилія, опять старая погудка на новый ладъ? Но развѣ Крыловъ потому народенъ въ высочайшей степени, что старался быть народнымъ? Нѣтъ, онъ объ этомъ нисколько не думалъ; онъ былъ народенъ, потому что не могъ не быть народнымъ: былъ народенъ безсознательно и едва ли зналъ цѣну этой народности, которую усвоилъ созданіямъ своимъ безъ всякаго труда и усилія („конечно, единственное правильное понятіе о народности“, замѣчаетъ по поводу этого мѣста С. А. Венгеровъ, пр. 178). „Истинный поэтъ“—безсознательно народенъ, точно такъ же, какъ онъ „безсознательно нравственъ“ и „безсознательно правдивъ“. На томъ же основаніи, прибавимъ кстати, онъ и „безсознательно современенъ“ по теоріи Бѣлинскаго, опять считаемой „противорѣчіемъ“ въ примѣчаніяхъ С. А. Венгерова.

Эту основную идею Бѣлинскій примѣняетъ къ Пушкину, къ Гоголю; онъ приведетъ ее въ тѣснѣйшую связь съ идеей „безцѣльнаго съ цѣлью“ искусства (т. е. реалистической поэзіи), — и въ результатъ получится міросозерцаніе, которому, что бы противъ него ни возражать, нельзя отказать въ одномъ качествѣ: *внутренней цѣльности*. Достиженіе этой внутренней цѣльности составляетъ главную задачу Бѣлинскаго во всѣхъ его первыхъ критическихъ статьяхъ. Всмотритесь въ нихъ внимательно: вы найдете, что всѣ онѣ какъ бы отлиты по одной формѣ; каждая слѣдующая составляетъ исправленное и улучшенное изданіе предыдущей. „Литературныя мечтанія“, статья о повѣстяхъ Гоголя, „Ничто о ничемъ“, отчасти и статья о критикѣ Московскаго наблюдателя — всѣ эти литературныя работы построены на двухъ



основныхъ и тѣсно связанныхъ другъ съ другомъ идеяхъ, генезисъ которыхъ у Вѣлинскаго мы старались прослѣдить: на идеѣ безцѣльнаго искусства, которая развивается въ понятіе реальной поэзіи, и на идеѣ конкретной народной индивидуальности, безсознательнымъ выразителемъ которой является писатель-реалистъ. Такъ, фразеологию „абстрактнаго героизма“ Вѣлинскій сумѣлъ заставить служить своему инстинкту дѣйствительности. „Великое сердце“, конечно, нужно было, чтобы сообщить этой теоретической работѣ всю ея напряженность, всю ея лихорадочность; но сущность сдѣланнаго дѣла все же заключалась въ теоретической работѣ *мысли*. Вліянія Надеждина при этомъ нельзя отрицать, но не надо и преувеличивать; можно сказать, что отрицательными сторонами своей мысли онъ былъ не менѣе полезенъ Вѣлинскому, чѣмъ положительными. Во всякомъ случаѣ, и это, и другія вліянія имѣютъ второстепенное значеніе въ итогахъ мыслительной работы Вѣлинскаго: главное въ этой работѣ принадлежитъ его уму, — тому уму, которому такъ удивлялись люди, лично знавшіе Вѣлинскаго и поражавшіеся той проникающей силой, той логической силой, съ которой авторъ „Литературныхъ мечтаній“ умѣлъ по одному намеку на интересовавшее его міровоззрѣніе возстановлять его во всей цѣлости, во всѣхъ близкихъ или далекихъ выводахъ изъ разъ схваченныхъ посылокъ, словомъ, въ такой полнотѣ и глубинѣ, которыхъ рѣдко удавалось достигнуть даже лицамъ, знавшимъ то же міровоззрѣніе изъ первыхъ источниковъ.

---

## Университетскій курень Грановскаго.

### I.

За послѣдніе годы наша печать много занималась Грановскимъ. Переизданы были его сочиненія и его біографія, написанная А. В. Станкевичемъ; вновь издана его переписка; охарактеризованы нѣсколькими профессорами исторіи его общія историческія воззрѣнія; наконецъ, составлена новая біографія, авторъ которой старался освободиться отъ панегирическаго тона и ввести оцѣнку дѣятельности Грановскаго въ болѣе широкія рамки—современныхъ ему общественныхъ движеній. Въ итогѣ всѣхъ этихъ новыхъ и обновленныхъ работъ личность Грановскаго, безъ сомнѣнія, представляется намъ въ болѣе отчетливыхъ чертахъ, чѣмъ прежде. Но въ этомъ отчетливомъ образѣ, отдѣльныя детали котораго перерисовываются и отдѣляются съ такой тщательностью и любовью нашими изслѣдователями, до сихъ поръ остается, къ удивленію, незаполненнымъ огромное бѣлое пятно. Человѣкъ, считавшій профессору главнымъ своимъ призваніемъ, на ней сосредоточившій весь жаръ своей души, въ ней принужденный находить главное, если не единственное средство быть полезнымъ русскому обществу,—этотъ человѣкъ донинѣ менѣе всего оказывается извѣстенъ намъ, какъ университетскій профессоръ. Мы знаемъ Грановскаго хорошо и непосредственно, какъ писателя, какъ члена извѣстнаго общественнаго кружка, какъ товарища, даже какъ семьянина; но о его профессорской дѣятельности мы до сихъ поръ принуждены судить по отзывамъ его друзей и слушателей, по его собственнымъ отзывамъ,—по чему угодно, только не по прямымъ продуктамъ этой самой дѣятельности.

Конечно, эти продукты въ полной ихъ жизненности теперь уже восстановлены быть не могутъ. Мы должны примириться съ тѣмъ, что „тайна живой, увлекательной рѣчи“ Грановскаго навсегда отошла въ прошлое, вмѣстѣ съ поколѣніемъ людей, слѣдившихъ за выраженіемъ

его лица, то одушевленнымъ, то грустнымъ, слышавшихъ тихій, проникавшій въ душу голосъ профессора. Вмѣстѣ съ этой тайной исчезло безвозвратно и то очарованіе, которое испытали очевидцы университетскихъ чтеній Грановскаго,—и которое они бессильны передать намъ. Понятно, при этихъ условіяхъ, ихъ колебаніе—вѣрить новому поколѣнію мертвый остовъ рѣчи, трепетавшей когда-то жизнью и все еще живой въ ихъ воспоминаніи. Но для насъ уже не существуетъ болѣе этихъ мотивовъ. Намъ легче констатировать тотъ несомнѣнный фактъ, что и для Грановскаго, наконецъ, наступила исторія. Мы можемъ сдѣлать это тѣмъ смѣлѣе, чѣмъ болѣе мы увѣрены, что никакая исторія не можетъ лишить Грановскаго того почетнаго положенія, которое онъ занялъ въ общемъ ходѣ развитія русскаго общества и русской науки—именно тѣмъ, что работалъ для науки и общества *своего* времени. Для историка, болѣе чѣмъ для кого-либо другого, должны служить аксіомой слова поэта:

... Wer für seine Zeit gelebt,  
Der hat gelebt für alle Zeiten.

Съ этой точки зрѣнія мы должны взглянуть и на университетскую дѣятельность Грановскаго. Мѣрить ее научными требованіями нашего времени—значило бы отказывать ей въ той исторической оцѣнкѣ, которая одна только и можетъ опредѣлить ея истинное значеніе. Для *нашего* времени университетскія лекціи Грановскаго уже не годятся,—и вотъ причина,—помимо неточности студенческихъ записей—почему онѣ остаются и, вѣроятно, надолго останутся ненапечатанными въ полномъ своемъ видѣ. Но изъ того, что эти лекціи не имѣютъ значенія въ настоящемъ, еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы мы имѣли право отказываться отъ оцѣнки ихъ значенія въ прошломъ. Каковы бы ни были сами по себѣ недостатки лекцій Грановскаго, мы можемъ быть заранѣе увѣрены, что изученіе ихъ освѣтитъ намъ три очень интересныхъ вопроса.

Во-первыхъ, преподаваніе Грановскаго составляетъ страницу, и одну изъ самыхъ важныхъ, въ исторіи нашего университетскаго преподаванія вообще. Начавшееся въ блестящіе годы обновленія Московскаго университета и кончившееся въ годы самыхъ тяжелыхъ испытаній для русской университетской науки, это преподаваніе отдѣлено цѣлой бездной отъ предшествовавшихъ ему университетскихъ чтеній и, наоборотъ, неразрывно связано съ преподаваніемъ послѣдующихъ профессоровъ. Такое положеніе преподавательской дѣятельности Грановскаго объясняетъ намъ и то значеніе, которое она имѣетъ для развитія русской исторической науки.

Какой кругъ научныхъ взглядовъ и интересовъ вынесли изъ аудиторіи Грановскаго его ученики, ставшіе скоро его товарищами или преемниками по преподаванію,—вотъ другой вопросъ, который нельзя выяснитъ безъ знакомства съ содержаніемъ университетскихъ лекцій Грановскаго. Наконецъ, третій вопросъ, уясняемый ими, касается литературно-научной дѣятельности самого Грановскаго. Здѣсь, въ этихъ лекціяхъ, мы найдемъ зародыши нѣсколькихъ его печатныхъ работъ, и сравнивая послѣднія съ лекціями, мы увидимъ, какъ внимательно слѣдилъ Грановскій за новыми явленіями въ сферѣ своей науки, какъ настойчиво добивался онъ истины, не успокаиваясь на разъ принятомъ воззрѣніи; мы поймемъ также, чѣмъ объясняется его выборъ сюжетовъ для печатныхъ работъ и какъ мало случайнаго въ этомъ выборѣ; даже, мнѣ кажется, мы поймемъ не только причины того, что Грановскій сдѣлалъ,—но и объясненіе того, почему Грановскій не успѣлъ сдѣлать остального. Если угодно,—все это не ново; обо всемъ этомъ съ замѣчательной проницательностью и тактомъ говорилъ уже другъ и ученикъ Грановскаго, Кудрявцевъ. Но только, проникнувъ сами въ ученую лабораторію Грановскаго при помощи его лекцій, мы можемъ опѣнить по достоинству правдивыя, чуждыя всякаго пристрастія объясненія Кудрявцева.

Въ печати изъ университетскихъ лекцій Грановскаго появились только небольшіе отрывки, не могущіе дать понятія о цѣломъ <sup>1)</sup>. Въ рукахъ пр. Виноградова былъ собственноручный конспектъ цѣлаго курса, относимый имъ къ 1839 году (т. е. къ самому началу чтеній Грановскаго въ университетѣ), и студенческая записка курса 1843—1844 г.; но пр. Виноградовъ не ставилъ своей задачей — воспользо-ваться этими рукописными остатками для характеристики университетскаго курса Грановскаго. Мнѣ лично матеріалъ этотъ остается неизвѣстнымъ. Единственнымъ моимъ матеріаломъ, на который я хочу обратить вниманіе читателя, служить неизвѣстный до сихъ поръ въ печати курсъ 1845—1846 года въ студенческой записи того времени. Курсъ этотъ принадлежитъ вѣрному слушателю Грановскаго, бывшему товарищу предсѣдателя рязанскаго окружнаго суда, М. М. Латышеву, ко-

---

<sup>1)</sup> Въ журналъ „Время“ за 1862 г. напечатано Бабстомъ введеніе въ курсъ средневѣковой исторіи и характеристики нѣсколькихъ римскихъ императоровъ; затѣмъ проф. Виноградовъ издалъ въ „Сборникъ въ пользу недоста-точныхъ студентовъ университета св. Владиміра“ (Спб. 1895) введеніе къ курсу по собственноручному конспекту 1839 года, съ дополненіями изъ студенческой записи 1843—44 гг.

торый любезно отдалъ его въ мое распоряженіе <sup>1)</sup>. Текстъ, сохранившійся у М. М. Латышева, не чуждъ обычныхъ студенческихъ недоразумѣній; но, вообще говоря, онъ составленъ чрезвычайно тщательно на основаніи записей нѣсколькихъ студентовъ. Тщательность, съ которой составлялся сводный текстъ, видна уже изъ того, что всѣ сомнительныя мѣста отмѣчены въ немъ знаками вопроса; часто сохранены параллельные варианты записей, иногда даже совершенно незначительные. При такомъ характерѣ текста во многихъ мѣстахъ удалось сохранить не только содержаніе лекціи Грановскаго, но и ея характерную форму. Эта форма, которую, конечно, нельзя было бы поддѣлать, сама по себѣ является ручательствомъ за точность записи; другое доказательство этой точности можно найти, сопоставляя текстъ лекцій съ параллельными мѣстами печатныхъ статей Грановскаго. Большею частью, печатный текстъ оказывается въ такихъ случаяхъ болѣе сжатымъ, чѣмъ текстъ лекцій; въ отдѣльныхъ случаяхъ сходство почти доходитъ до тождества.

Предметомъ курса служить средневѣковая исторія,—наиболѣе обычная и любимая тема университетскихъ лекцій Грановскаго. Къ этому курсу онъ готовился уже во время заграничной командировки; съ него онъ началъ свое преподаваніе въ 1839 году. Изъ переписки видно, что, несмотря на самую напряженную работу, Грановскій былъ недоволенъ своимъ первымъ курсомъ и считалъ, что онъ еще недостаточно владѣетъ предметомъ <sup>2)</sup>. Сравненіе конспекта 1839 г. съ нашимъ курсомъ 1845—46 г. могло бы показать, насколько онъ успѣлъ усовер-

---

<sup>1)</sup> Въ настоящее время этотъ курсъ Грановскаго переданъ мною, съ согласія уважаемаго М. М. Латышева, въ собственность историческаго музея, въ библіотекѣ котораго хранятся и другія рукописныя записи курсовъ Грановскаго.

<sup>2)</sup> Переписка, стр. 365: „я читаю среднюю исторію, два курса: одинъ для юристовъ, другой для филологовъ; всего шесть часовъ въ недѣлю. Работы ужасно много, болѣе, нежели я думалъ. Круглымъ числомъ я занимаюсь по 10 часовъ въ сутки, иногда приходится и болѣе. Польза отъ этого постоянного, упрямаго труда (какого я до сихъ поръ не зналъ), очень велика: я учусь съ каждымъ днемъ. Только теперь начинаю понимать исторію въ связи. Студенты мною довольны, а я ими еще болѣе... Я очень знаю, что еще не стою этого вниманія, вижу ясно всѣ недостатки, — и чувствую рѣшительную невозможность — читать въ *этомъ году* иначе. Здѣсь рѣчь идетъ не о способѣ изложенія, а о расположеніи частей предмета. Между ними нѣтъ соразмѣрности—многое прочтешь слишкомъ подробно, другое кратко—самъ не знаешь, какъ быть“. — Ср. тамъ же, стр. 381: „Я самъ недоволенъ моими лекціями, и ни за что не согласился бы прочесть еще разъ то, что читалъ, но не могу не замѣтить успѣха... Еще года два—и я буду хозяиномъ предмета; теперь онъ владѣетъ мною, не я имъ“.

шенствовать свой курсъ. Не имѣя возможности сдѣлать это сравненіе, мы замѣтимъ только, что во время самыхъ чтеній 1845—46 г. Грановскій едва ли могъ посвятить много времени переработкѣ своего средневѣковаго курса, такъ какъ въ одномъ университетѣ онъ занятъ былъ въ это время 10 часовъ въ недѣлю, да сверхъ того читалъ второй изъ своихъ публичныхъ курсовъ, который собирался напечатать и которому, вѣроятно, посвящалъ большую часть своего рабочаго времени <sup>1)</sup>. Несмотря на это, годъ нашей записи, 1845—1846 г., можетъ считаться очень благопріятнымъ моментомъ для характеристики университетскаго курса Грановскаго. Съ одной стороны, Грановскій успѣлъ къ этому времени достаточно углубиться въ историческій матеріалъ: это видно уже изъ того, что съ этого времени онъ начинаетъ по частямъ обрабатывать содержаніе своего курса для цѣлаго ряда журнальных статей и рецензій. Съ другой стороны, имъ еще не овладѣло тяжелое настроеніе послѣднихъ лѣтъ его жизни, то острое недовольство собой и жизнью, которое такъ сквозитъ въ перепискѣ, — та „апатія и усталость“, которую слушатели послѣднихъ выпусковъ подмѣчали на лицѣ профессора.

Съ внѣшней стороны, рукопись лекцій представляетъ четырнадцать пожелтѣвшихъ тетрадокъ въ четвертку, по пяти листовъ въ каждой. Листы эти плотно исписаны (по 40—50 строкъ на четверткѣ) мелкимъ убористымъ почеркомъ (45—55 буквъ въ строкѣ). Всего, слѣдовательно, въ нашей рукописи заключается 280 страницъ, равняющихся, приблизительно, 210—230 страницамъ „Русской Мысли“ или „Вѣстника Европы“. Первыхъ двухъ тетрадокъ не хватаетъ и нумерація тетрадей идетъ отъ 3 до 16-ой. Такимъ образомъ, первыхъ лекцій, заключавшихъ, по видимому, общее введеніе къ курсу, не сохранилось; пробѣлъ этотъ, впрочемъ, можетъ быть пополненъ введеніемъ къ курсу 1839 г., напечатаннымъ пр. Виноградовымъ. Больше приходится пожалѣть о томъ, что курсъ останавливается на описаніи борьбы между папствомъ и имперіей, — т. е. не содержитъ въ себѣ отдѣла, который самъ Грановскій признавалъ въ 1840 году „лучшей частью курса“ <sup>2)</sup> и который онъ въ 1846 г. собирался „пройти довольно подробно“ (лекція 41-ая).

<sup>1)</sup> Переписка, стр. 419—420, письмо отъ 17 окт. 1845 г.: „я работаю много теперь. У меня въ университетѣ 10 лекцій въ недѣлю. Сверхъ того я собираюсь читать публичный курсъ“. Тамъ же, 421—422, письмо отъ февраля 1846 г.: „я никогда не былъ такъ занятъ, какъ нынѣшнею зимою... Публичные мои лекціи идутъ хорошо... Лѣтомъ... займусь приготовленіемъ къ печати моихъ лекцій. Хочется издать „Курсъ сравнительной исторіи Франціи и Англіи до XVII вѣка“.

<sup>2)</sup> Переписка, стр. 381.

Въ сохранившейся части курса содержатся 52 лекціи <sup>1)</sup>. По содержанию эти лекціи распредѣляются слѣдующимъ образомъ (тутъ мы сохраняемъ рубрики и заглавія студенческой записи):

Источники и пособія къ средневѣковой исторіи.	1 лекція
Введеніе въ исторію среднихъ вѣковъ . . . . .	15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „
О германцахъ . . . . .	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „
Исторія переселенія народовъ . . . . .	3 „
Исторія отдѣльныхъ государствъ германскихъ, возникшихъ на римской почвѣ:	
1. Вандалы. 2. Вестготы. 3. Остѣ-готы. 4. Англо-Саксы . . . . .	3 лекціи
Исторія франковъ . . . . .	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „
Лангобарды . . . . .	1 „
Карль Великій . . . . .	3 „
Людовикъ Кроткій . . . . .	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „
Исторія Германіи отъ 887—1056. . . . .	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „
Исторія Скандинавскаго полуострова . . . . .	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „
Франція . . . . .	1 „
Феодализмъ . . . . .	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „
Города и городскія общины, церковь . . . . .	1 „
Исторія Византіи (и магометанство Востока). . . . .	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „
Крестовые походы . . . . .	2 „
Исторія западной Европы въ теченіе XII и XIII вѣковъ . . . . .	2(?) „
<hr/>	
Всего . . . . .	52 лекціи

Сравнивая количество лекцій съ размѣрами рукописи, мы найдемъ, что каждая лекція, въ среднемъ, записана на 5—6 страницахъ руко-

<sup>1)</sup> Отъ 6 до 53—54, или, вѣроятно, 55—56, такъ какъ послѣднія лекціи (сколько?) не отдѣлены отъ „лекцій 53—54“. При этомъ цифра тридцати повторена дважды. Замѣтно, что въ записи чередуются то двѣ лекціи, прочитанныя вмѣстѣ (иногда съ отмѣткой: часъ первый, часъ второй), то одна. Это показываетъ, что курсъ состоялъ изъ трехъ часовъ въ недѣлю, что даетъ около 75 лекцій въ годъ. По неправильностямъ чередованія можно засчитать до четырехъ двухчасовыхъ лекцій и одну или двѣ часовыя, пропущенныя Грановскимъ, всего 10 часовъ. Остается, слѣдовательно, 65 часовъ, или на 8 часовъ больше, чѣмъ заключаетъ сохранившійся курсъ. Прекратилъ ли Грановскій лекціи до срока, или же послѣднія лекціи не сохранились,—этого владѣлецъ записи не помнитъ отчетливо, хотя скорѣе готовъ предположить первое.

писи или на 4 съ небольшимъ страницахъ печатныхъ. Имѣя въ виду, что сплошь писанный текстъ часовой лекціи занимаетъ обыкновенно около 12 страницъ печатнаго текста, придемъ къ заключенію, что составленный студентами текстъ, при всей тщательности составленія, не можетъ считаться полнымъ воспроизведеніемъ живой рѣчи Грановскаго. Мы не назвали бы его, однако, и конспектомъ, такъ какъ въ немъ видно постоянное стремленіе передать профессорскую рѣчь буквально. Результатомъ этого стремленія явилась нѣкоторая неровность изложенія. Рядомъ съ предложеніями, носящими на себѣ несомнѣнный отпечатокъ простоты и изящества стиля Грановскаго, иногда встрѣчаются фразы, смыслъ и форму которыхъ слушателямъ не удалось уловить, какъ слѣдуетъ. Для послѣдующихъ цитатъ мы выбирали мѣста хорошо записанныя; собственные наши поправки и дополненія мы дѣлаемъ въ скобкахъ.

Какъ видно уже изъ приведеннаго списка заглавій,—въ пятьдесятъ двѣ лекціи Грановскій умѣстилъ необычное для теперешняго профессорскаго курса количество матеріала. Надо прибавить къ этому, что онъ, очевидно, не могъ предполагать въ своихъ слушателяхъ и тѣхъ скромныхъ познаній, которыя даются теперешнимъ гимназическимъ курсомъ исторіи; поэтому онъ принужденъ былъ сообщать аудитории множество свѣдѣній, приобретаемыхъ теперь въ курсѣ среднеучебныхъ заведеній. Эти условія зачастую превращаютъ лекцію Грановскаго въ простой, безъ всякихъ претензій, фактическій рассказъ. Въ этомъ отношеніи, какъ и въ отношеніи формы, онъ самъ очень хорошо характеризовалъ свой курсъ слѣдующими словами: „я читаю факты, безъ *raisonnement* и безъ педантизма. Иногда привожу больше подробностей, чѣмъ нужно. Говорю очень просто и скромно, но не всегда въ состояніи сдержать себя“. Дѣйствительно, дойдя до интересующихъ его вопросовъ и эпизодовъ, Грановскій становится обстоятеленъ и даритъ слушателей то критическимъ экскурсомъ, то яркой характеристикой, то живописной картиной. Эти отступленія и остановки какъ нельзя болѣе рельефно рисуютъ передъ нами симпатіи историка. На нихъ мы обратимъ, поэтому, особое вниманіе.

## II.

Сохранившаяся часть курса 1845—46 гг. начинается съ указанія „источниковъ и пособій“; въ дальнѣйшемъ изложеніи курса Грановскій также указываетъ важнѣйшіе источники и пособия передъ началомъ cadaго отдѣла. Не останавливаясь на этихъ указаніяхъ, нѣкоторыми



изъ которыхъ мы воспользуемся ниже,—переходимъ прямо къ плану курса и къ тому общему опредѣленію, которое даетъ Грановскій исторіи среднихъ вѣковъ. То и другое мы приведемъ словами студенческой записи:

„Исторію среднихъ вѣковъ мы начнемъ не съ той эпохи, съ какой ее обыкновенно начинаютъ,—т. е. съ паденія западной римской имперіи. Такое начало слишкомъ рѣзко, слишкомъ насильственно отрываетъ исторію среднихъ вѣковъ отъ исторіи древней. Для полнаго уразумѣнія органической связи, существующей между жизнію средневѣковою и древнею, необходимо предпослать введеніе, въ которомъ въ краткихъ чертахъ изложимъ судьбу римской имперіи отъ императора Августа до ея паденія. Въ этомъ введеніи мы познакомимся съ тѣми элементами древней жизни, которые вошли въ жизнь среднихъ вѣковъ образовательными началами. Такихъ элементовъ было много. Потомъ мы раздѣлимъ все изложеніе исторіи среднихъ вѣковъ на три большіе отдѣла. Въ первомъ заключается время броженія стихій, изъ которыхъ созидалась европейская жизнь, время образованія новыхъ государствъ и новыхъ началъ. Границею этого періода можно поставить Карла Великаго, который замыкаетъ весь этотъ періодъ. Второй періодъ—полнаго развитія всѣхъ началъ, на которыхъ основывается жизнь среднихъ вѣковъ. Граница этого періода: конецъ XIII и начало XIV столѣтія. Здѣсь не можетъ быть рѣзкихъ рубежей: одно время переходитъ въ другое, такъ что новое время носить на себѣ еще много признаковъ времени отживающаго. Третій отдѣлъ содержитъ разложеніе стихій средневѣковой жизни, паденіе тѣхъ великихъ религіозныхъ и политическихъ учреждений, которыя характеризуютъ эту жизнь, начало оппозиціи противъ тѣхъ идей, которыя прежде такъ могущественно господствовали надъ умами, и оппозиціи религіозной, политической и литературной; онѣ выходятъ ясно наружу и становятся жизненными событіями въ началѣ XVI вѣка.

„Я надѣюсь представить полную характеристику среднихъ временъ, излагая исторію,—изъ самыхъ событій. Но, если бы потребовалось короткое опредѣленіе этого времени (хотя такое опредѣленіе не можетъ исчерпать всего жизненнаго богатства, которое лежитъ въ каждомъ времени: можно уловить и выставить однѣ господствующія черты),—объ исторіи среднихъ вѣковъ можно сказать, что это было время фантастическое, время стремленія къ абстрактнымъ цѣлямъ. Вся жизнь среднихъ вѣковъ,—разумѣя подъ этимъ именемъ ту часть исторіи среднихъ вѣковъ, въ которой жизненное начало дѣйствуетъ съ наибольшей силой,—состоитъ въ борьбѣ абстрактныхъ противоположностей, императорской и папской власти, феодализма и духовной іерархіи, въ борьбѣ отдѣльныхъ силъ и направленій общества, изъ коихъ каждое объявляло эгоистическое требованіе на отдѣльное существованіе. Въ средніе вѣка не возникло еще понятіе о полной, гармонической жизни всѣхъ элементовъ, изъ которыхъ складывается общество,—понятіе, исключительно принадлежащее нашему времени“.

„Время стремленія къ абстрактнымъ цѣлямъ“,—„борьбы абстрактныхъ противоположностей“—эти термины звучатъ непривычно для уха современнаго читателя. Съ перваго раза непонятно, что хочетъ ска-

затѣ Грановскій, характеризуя ими эпоху, наименѣ склонную къ отвлеченностямъ. Объясненіе заключается въ приведенной же цитатѣ: абстрактныя стремленія есть, очевидно, стремленія „отдѣльныхъ силъ“ къ исключительному преобладанію,—въ противоположность „гармоніи всѣхъ элементовъ“, создающей „конкретную“ полноту жизни. Это не только мысль,—это даже терминологія Гегеля,—и всякій знакомый съ его философіей сразу пойметъ, что разумѣетъ Грановскій подъ этимъ противоположеніемъ „абстрактнаго“ и „конкретнаго“. Исторія человечества—есть исторія развивающагося въ ней „духа“, приходящаго въ результатъ историческаго процесса къ сознанію самого себя, своей свободы,—составляющей его коренной и неотъемлемый признакъ. Только сознавъ себя вполнѣ, духъ находитъ себѣ полное выраженіе въ социальномъ строѣ, воплощается въ немъ конкретно; до этого момента форма будетъ всегда находиться въ противорѣчій съ духомъ, не будетъ выражать его вполнѣ и, стало быть, стремленіе духа выразить себя во внѣ—будетъ оставаться „абстрактнымъ“, неполнымъ, одностороннимъ.

Исходя изъ такого пониманія историческаго процесса, какъ представляетъ себѣ Грановскій ту роль, которую играютъ въ этомъ процессѣ —средніе вѣка? Въ этомъ случаѣ его мнѣнія тоже сходятся съ Гегелемъ,—но на этотъ разъ не съ однимъ имъ. Начало полной побѣды духа есть для Гегеля христіанство; и въ этомъ смыслѣ средніе вѣка и новая исторія—есть, въ сущности, одинъ и тотъ же періодъ исторіи, глубокой пропастью отдѣленный отъ древняго міра. Но такой взглядъ раздѣляется и тѣми руководствами по средней исторіи, которыя рекомендуютъ студентамъ Грановскій <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Leo, *Lehrbuch der Universalgeschichte*, 1836. II, 476: „со времени Константина Великаго исторія христіанской церкви есть зерно, душа и основное жизненное начало всемірной исторіи. Ср. *Rehm*, *Handbuch*, I, 4: Es beginnt mit ihr (der Periode des Mittelalters) eine neue Gestaltung des Menschengeschlechts, welche zwar vieles aus dem Alterthume aufnahm, aber doch in mancher Beziehung einen Gegensatz zu demselben aufstellte. Die neuere Zeit ist aus dem Mittelalter, welches gleichsam den ersten Theil derselben bildet, hervorgegangen. Тамъ же см. замѣчаніе о невозможности рѣзкихъ дѣленій исторіи на періоды и опредѣленіе „періода“, какъ такого промежутка времени, когда, „при всѣхъ различіяхъ въ мѣстѣ и времени отдѣльныхъ происшествій, въ нихъ обнаруживается одна руководящая и преобладающая идея, составляющая *духъ времени*“. Естественно, что при своей всемірно-исторической точкѣ зрѣнія Грановскій не одобряетъ изложеніе средневѣковой исторіи по народностямъ, въ этнографическомъ порядкѣ. По его словамъ, это—„дурной порядокъ, возможный только въ новой исторіи, но неудобный въ средней,—ибо исторія среднихъ вѣковъ пересѣкается часто великими событіями, довольно общими всѣмъ государствамъ“

Согласно съ этими представленіями и Грановскій дѣлитъ исторію на два отдѣла: „исторія древностей или исторія человѣка природнаго, естественнаго, по выраженію ап. Павла, и исторія новая или исторія человѣка духовнаго, по выраженію того же Апостола“. Въ римской исторіи кончалась исторія естественнаго человѣка и началась исторія духовнаго человѣка, непрерывно продолжающаяся доселѣ. „Основная идея (среднихъ вѣковъ и новаго времени) одна и та же“, говоритъ Грановскій; „но явленія становятся разнообразнѣе, духъ богаче. Такимъ образомъ, зародышъ настоящей жизни лежитъ въ возможности (въ потенціи) уже и въ среднихъ вѣкахъ; нашъ вѣкъ, болѣе свободный, не скованный тѣми условіями, которыя тяготѣли надъ средними вѣками, развиваетъ ихъ“. Напротивъ, отъ римской имперіи къ среднимъ вѣкамъ не могло быть никакого непрерывнаго, органическаго перехода; „идея“ новаго времени должна была разрушительно подѣйствовать на старыя формы, въ которыхъ выразился „народный духъ“ древняго міра. Старая идея умираетъ; новая, чуждая ей, противорѣчащая,—является на смѣну. Такова основная концепція „переходныхъ временъ“ у Грановскаго. Это — не эволюція, а революція. Таково и отношеніе древняго міра къ среднимъ вѣкамъ. Вотъ какъ опредѣляетъ это отношеніе Грановскій.

„Въ третьемъ столѣтіи мы видимъ на престолѣ римскомъ нѣсколькихъ отличнѣйшихъ государей, въ которыхъ проснулся римскій духъ во всей своей энергіи и гордости, хотя они были отчасти иноземцы, усвоенные Римомъ. Римъ опирался на 32 легіонахъ—такое войско, которому равнаго не могъ противопоставить ни одинъ народъ. Матеріальное благосостояніе Рима, хотя поколебленное, было еще велико. Отличные ученые являлись во всѣхъ отрасляхъ знанія. Въ сенатѣ засѣдали люди съ патристическимъ чувствомъ, съ любовію къ добру. И между тѣмъ, несмотря на всѣ усилія императоровъ, отдѣльныхъ лицъ изъ сената и реформы, которыя всѣ стремились къ одной цѣли,—эта цѣль осталась недостигнутою. Въ исторіи человѣчества есть такія несчастныя эпохи, въ которыя реформы не могутъ быть дѣломъ такъ называемаго правильнаго развитія <sup>1)</sup>, въ которыя между требованіями новаго времени и между требованіями и притязаніями уцѣлѣвшихъ историческихъ остатковъ—существуетъ противорѣчіе, которое можетъ быть уничтожено только насиліемъ. Такое

Всѣ симпатіи Грановскаго на сторонѣ порядка, принятаго его любимымъ руководствомъ, которое еще въ 1838 году онъ собирался сдѣлать своею „нитью въ первые годы профессорства“ (переписка, 353)—именно Лео. По выраженію Грановскаго, Лео раздѣляетъ среднюю исторію „на живыя части одного организма,—на жизненные отдѣлы, по направленіямъ“,—т. е. именно такъ, какъ требовала философія исторіи Гегеля и какъ хотѣлъ дѣлить исторію самъ Грановскій.

<sup>1)</sup> Ср. замѣчаніе *Rehm'a* op. cit., 3, о различіи Revolutionen и Evolutionen.

насиліе совершенно было въ древнемъ мірѣ черезъ Германцевъ, въ XVIII в. черезъ французскую революцію“ <sup>1)</sup>.

Теперь мы ориентированы относительно того, что будетъ искать Грановскій въ исторіи римской имперіи, составляющей у него „введеніе“ къ среднимъ вѣкамъ. Упадокъ стараго духа и безплодныя попытки возстановить его, недовольство старымъ и безсильныя порыванія въ новый, невѣдомый міръ; чуждые, иноземные наросты на римскомъ тѣлѣ, способствующіе денаціонализаци и превращающіе мало-по-малу государственный организмъ въ механическій аггломератъ, готовый распасться отъ перваго толчка,—вотъ черты, которыя Грановскій подчеркиваетъ въ своемъ разсказѣ. Онъ сообщаетъ мимоходомъ факты, свидѣтельствующіе о перерожденіи соціальнаго состава и разрушеніи политическихъ формъ; но не здѣсь лежитъ его главный интересъ: основныхъ причинъ разрушенія Рима онъ ищетъ въ мірѣ нравственныхъ явленій. Это настроеніе историка обнаруживается уже въ самомъ началѣ его очерка римской исторіи, въ любопытной характеристикѣ Юлія Цезаря, которую приведемъ цѣликомъ.

„Юлій Цезарь положилъ конецъ существованію Римской республики въ прежней ея формѣ. Имъ оканчивается зрѣлый возрастъ древняго міра онъ стоитъ какъ бы на порогѣ между двумя періодами жизненнаго развитія древности — безспорно, самую величавою, самую дивною изъ всѣхъ личностей, которыя выступали когда-нибудь на сцену древней жизни. Нужно было это удивительное соединеніе всѣхъ пороковъ, всѣхъ странныхъ силъ, развившихся въ развращенной республикѣ римской, съ добродѣтелями новыми, чуждыми имъ,—которыя сошлись въ Цезарѣ для того, чтобъ произвести такой рѣшительный переворотъ. Въ молодости своей Цезарь былъ однимъ изъ начальниковъ буйной аристократической молодежи, которая волновала Римъ оргіями и разными заговорами. Аристократъ по происхожденію, съ гордостью вычислявшій въ надгробномъ словѣ бабкѣ своей своихъ громкихъ предковъ, производившій родъ свой отъ боговъ и царей, Юлій Цезарь былъ величайшимъ демократомъ древняго міра—онъ убилъ окончательно римскую аристократію въ самыхъ преданіяхъ ея, онъ унизилъ сенатъ до гладіаторскихъ упражненій, вывелъ всадниковъ на сцену въ презрительномъ для тогдашнихъ римлянъ званіи актеровъ, смѣялся надъ самыми святыми и великими преданіями римской исторіи, ввелъ въ сенатъ толпы иностранцевъ, людей, выключенныхъ изъ списка римскихъ гражданъ, но служившихъ ему вѣрно въ его враждѣ съ сенаторами. Однимъ словомъ, ни одно изъ величайшихъ преданій римской жизни не остановило его насмѣшекъ и фактическихъ насилій.—Съ другой стороны, Юлій Цезарь облегчилъ бѣдственное положеніе провинцій, страдавшихъ подъ невыносимымъ ярмомъ римскихъ намѣстниковъ. Съ этого

<sup>1)</sup> Идею цитированнаго отрывка могло дать Грановскому мѣсто у *Schlosser'a*, *Universalthistorische Uebersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Cultur* B. III. 2 Abth. Frkf. a. M. 1831, стр. 130.

времени Римъ пересталъ быть главнымъ городомъ, провинціи перестали быть только средствами. Онъ, такъ сказать, разбилъ грань римской національности, вышедши самъ изъ нея. Объ его характерѣ Светоній рассказываетъ такія черты, которыя приводятъ въ изумленіе даже Светонія, хотя принадлежащаго къ позднѣйшему періоду римской имперіи. Этотъ историкъ съ величайшимъ удивленіемъ рассказываетъ, что Цезарю недоставало духа предавать пыткамъ рабовъ своихъ—вещь самая обыкновенная для римскихъ аристократовъ,—что ему недоставало твердости отмстить шпионамъ, которые предали его во время гоненія Суллы. Эта мягкость была совсѣмъ не въ римскихъ нравахъ. Цезарь не даромъ жилъ почти въ одно время съ началомъ христіанства. Сѣмена его, зародышъ—лежитъ во времени Цезаря. Уже языческій элементъ побѣжденъ этимъ новымъ человѣкомъ, хотя этотъ новый человѣкъ еще носитъ много грязнаго, завѣщаннаго прежней жизнью римской республики. Въ смыслѣ древности (убійцы Цезаря) дѣйствовали законно. И пороки, и добродѣтели Цезаря были равно гибельны для порядка вещей, который они защищали <sup>1)</sup>... Весьма любопытно то обстоятельство, что у трупа Цезаря собрались съ плачемъ всѣ иностранцы, жившіе въ Римѣ. Евреи проводили цѣлыя ночи у праха его, дорожа имъ, какъ святынею. Это былъ первый изъ римскихъ гражданъ, который понялъ и отдалъ справедливость человѣческому достоинству другихъ національностей... Убійцы Цезаря тоже пали, защищая дѣло, осужденное на гибель, какъ благородныя жертвы убѣжденія, къ осуществленію котораго у нихъ недоставало силъ“.

И въ этомъ случаѣ, въ изображеніи Цезаря, какъ всемірно-исторической личности, посредствующей между древнимъ и новымъ міромъ, Грановскій имѣетъ предшественника въ Гегелѣ; но Гегель ограничивается указаніемъ на то, что Цезарь, перейдя Альпы, открылъ новую арену исторіи <sup>2)</sup>. Грановскій не останавливается на этомъ „вѣтшнемъ“ открытіи новаго міра и ищетъ внутренней связи между идеями христіанской Европы и мировоззрѣніемъ Цезаря. Такимъ образомъ, предвѣстникъ германскихъ вторженій превращается у него въ предвѣстника христіанства.

Переходя ко времени Августа, Грановскій отмѣчаетъ, какъ значительно улучшилось положеніе государства съ утвержденіемъ имперіи, описываетъ новый правительственный порядокъ, но рядомъ съ этимъ подчеркиваетъ религіозное броженіе, вытекавшее изъ „механическаго соединенія религій, одна другой противорѣчащихъ“. „Этою шаткостью религіозныхъ вѣрованій, этимъ множествомъ суевѣрій, соединенныхъ съ безвѣріемъ“, замѣчаетъ онъ, „Римъ привлекалъ въ свои стѣны многочисленныя толпы иностранцевъ. Изъ всѣхъ провинцій являлись

<sup>1)</sup> Грановскій намекаетъ здѣсь на слова Катона по поводу Цезаря (цитир. и у Гегеля); „да будутъ прокляты его добродѣтели, низвергнувшія мою родину въ гибель“.

<sup>2)</sup> *Hegel. Philosophie d. Geschichte. Werke, IX, стр. 381.*

они въ видѣ рабовъ, купцовъ, ремесленниковъ, служителей разныхъ божествъ... Всѣ религіи нашли поклонниковъ въ Римѣ, но ни одной изъ нихъ не удалось вытѣснить другія. Это была смѣсь безобразная, дикая. Изъ этого состоянія религіи слышится мучительная потребность духа человѣческаго: умиравшаго человѣчества не удовлетворяли одни матеріальныя блага; оно было удовлетворено христіанствомъ“. И подводя итогъ царствованію Августа, Грановскій дѣлаетъ этому времени слѣдующую оцѣнку:

„Никакое время не наслаждалось такимъ благосостояніемъ, какъ первыя два столѣтія римской имперіи. Участь провинцій облегчилась; очень умно поставленная административная система связала части государства; недоставало одного внутренняго единства, религіознаго и національнаго. Августъ, стоявшій безконечно выше своихъ преемниковъ, воспитанный въ переворотахъ политическихъ, которые такъ быстро развиваютъ историческое разумѣніе,—понялъ тотчасъ страшный недостатокъ римскаго міра, отсутствіе связующаго, живнннаго начала. И потому Августъ старался замѣнить такое начало востановленіемъ той строгой нравственности, которою отличался древній Римъ. Онъ старался передать чистыя формы древней семейной римской жизни всѣмъ гражданамъ Рима. Сюда принадлежатъ его законы противъ роскоши... и многія другія узаконенія. Но всѣ эти попытки остались безплодными. Римское семейство, какъ оно существовало во время республики, не могло возродиться въ эти времена, — ибо это древнее семейство римскаго міра, существенно отличное отъ семейства христіанскаго, было условлено всѣмъ политическимъ бытомъ Рима, опредѣлено юридически, въ безжалостныхъ отношеніяхъ между отцомъ и дѣтьми. Такое опредѣленіе было невозможно во времена Августа—жестокіе законы остались, но духъ исчезъ“ <sup>1)</sup>.

Этимъ исчезновеніемъ древняго духа, составлявшаго „жизненное начало“ античной жизни, Грановскій объясняетъ возможность всѣхъ крайностей императорскаго деспотизма. Изложивши правленіе Тиверія, онъ задаетъ себѣ вопросъ: „на чемъ основывалось могущество этого дряхлаго старика, отвратительной личности, никѣмъ не любимаго, даже не жившаго въ Римѣ, а изъ своего пустынного острова управлявшаго судьбами величайшаго государства цѣлаго міра?“ И онъ отвѣчаетъ:

„На страхѣ. Въ римскомъ мірѣ не осталось ни одного живого начала, которое могло бы связать разрозненные цѣли. Разъединенный религіею, безъ національнаго единства, народъ былъ связываемъ только общимъ чувствомъ страха. Римляне столько же боялись императора, сколько императоръ—ихъ самихъ. Недовѣрчивость была взаимная“ <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Ср. послѣднюю фразу цитаты изъ Шлоссера, сдѣл. выше.

<sup>2)</sup> Отмѣтимъ еще два характерныя мѣста, показывающія, какъ смотрѣлъ Грановскій на римскую чернь. „Калигула палъ подъ ударами двухъ центуріоновъ гвардейскихъ, побуждаемыхъ и личною ненавистью къ императору, и республиканскими воспоминаніями. Это былъ важный, торжественный мо-

Итакъ, отъ древняго римскаго духа нельзя было болѣе ожидать обновленія семьи и общества. Это обновленіе должно было придти извнѣ, должно было исходить изъ началъ, родственныхъ съ христіанскими, хотя на первыхъ порахъ это родство и оставалось несознаннымъ. Семью императорскаго времени нельзя было принудить къ соблюденію старыхъ республиканскихъ законовъ; но тѣмъ не менѣе, въ нее проникали уже со стороны новыя вѣянія. Грановскій останавливается на этихъ новыхъ вѣяніяхъ по поводу разсказа о женахъ Клавдія, Мессалинѣ и Агриппинѣ.

„Жизнь этихъ женщинъ озаряетъ страшнымъ свѣтомъ внутренность домовъ римскихъ, семейную жизнь римской аристократіи. Въ цѣлой исторіи римской семьи не найдемъ примѣра такого чудовищнаго разврата, — а между тѣмъ, несмотря на это разрушеніе древней жизни, видимъ медленную работу и развитіе новыхъ началъ, хотя безсознательно, но могущественно проникающихъ въ новое общество. Независимо отъ христіанства являются онѣ въ жизни — въ отмѣненіи жестокихъ поступковъ римскихъ господъ съ рабами, въ которыхъ доселѣ законъ не признавалъ человѣческой личности. Клавдій, этотъ полоумный, пьяный правитель издалъ первыя смѣлыя постановленія, которыми ограничивалась власть римскихъ господъ надъ рабами. Этими постановленіями у нихъ отнималось право по произволу наказывать рабовъ смертію. Господинъ, бросившій больнаго раба безъ призрѣнія, терялъ право на владѣніе этимъ рабомъ. Это было нововведеніе неслыханное. Если сличимъ эти постановленія съ прежними, то они покажутъ намъ, какой огромный путь совершило человѣчество отъ блестящихъ временъ римской республики до этого времени видимаго упадка, но существеннаго перехода къ новымъ требованіямъ. Въ этой нечистой и развратной средѣ вырабатывались тѣ великія начала, въ кото-

ментъ въ жизни тогдашняго Рима. Сенатъ собрался немедленно, въ надеждѣ востановить республику. Народъ волновался, отчасти сожалея о Калигулѣ. На эту развратную массу, *plebs sordida* (какъ называетъ ее Тацитъ), не падали удары деспотизма; они смотрѣли равнодушно на гибель благородныхъ людей, священныхъ преданій. Игры въ циркѣ и ежемѣсячныя раздачи хлѣба народу продолжались попрежнему. Калигула былъ щедрѣе своихъ предшественниковъ, и потому его любили низшіе классы народныя... Сенатъ не успѣлъ въ своихъ намѣреніяхъ, уже несогласныхъ съ духомъ времени. Кромѣ самихъ сенаторовъ никто не звалъ назадъ республики“. По поводу смерти Нерона Грановскій повторяетъ подобное же замѣчаніе: „Замѣчательна одна черта — глубокая любовь, которая осталась въ массахъ римскихъ къ Нерону. Въ продолженіе 30 лѣтъ являлись непрерывно самозванцы, принимавшіе имя Нерона, и однимъ этимъ именемъ двигавшіе цѣлыми народонаселеніями. И въ этомъ видно распаденіе древняго міра. Такія чудовища, какъ Неронъ, были любимы народомъ — ибо ихъ удары падали преимущественно на образованные, болѣе нравственные и болѣе благородные классы народныя, нежели эта *sordida plebs*, въ которой соединялось все, что было презрѣннѣйшаго и позорнѣйшаго въ тогдашнемъ мірѣ“.

рыхъ находится основаніе нравственнаго убѣжденія новаго времени, — провозглашены были тѣ великія истины, которыя разъ навсегда сдѣлались неизмѣннымъ достояніемъ человѣчества. Онѣ, разумѣется, были высказаны неясно, облечены въ тогдашнюю историческую форму; имъ надобно было длинный рядъ вѣковъ, чтобы быть разработанными и дойти до яснаго сознанія“.

Такъ же, какъ въ сферѣ частныхъ отношеній, — и въ общественномъ сознаніи оздоровленіе пошло отъ новыхъ началъ, ничего не имѣвшихъ общаго съ политическими основами погибшей республики. Грановскій находитъ случай отмѣтить это по поводу разсказа о томъ, какъ, послѣ убійства Агриппины, „народъ торжественно вышелъ навстрѣчу матеревубійцѣ, — какъ будто Неронъ совершилъ великое дѣло“ — и „изъ всѣхъ сенаторовъ одинъ только знаменитый стоическій философъ Трезеа вышелъ безмолвно изъ собранія, когда раздались проклятія противъ Агриппины“.

„При этомъ случаѣ“, говоритъ онъ, „надобно замѣтить начало новой, могущественной оппозиціи, разившейся изъ римской жизни противъ своелюбія императорскаго. Мы видѣли, какъ всѣ элементы этой жизни, отдѣльно взятые, были безсильны и какъ разрозненны въ интересахъ. Никакое нравственное начало не могло соединить народа къ одной общей цѣли. При (двухъ послѣднихъ?) императорахъ мы замѣтили въ сенатѣ, въ войскахъ, однимъ словомъ, въ рядахъ лучшихъ и могущественнѣйшихъ людей въ государствѣ, — сильныя и смѣлыя обнаруженія негодованія. *Это была уже не патріотическая попытка* возстановить формы навсегда погибшія. Эта оппозиція вышла изъ *совершенно другого начала*, изъ стоической философіи, которая именно при Клавдіи и Неронѣ начала распространяться въ Римѣ. Эта философія, такъ высоко поставившая личное достоинство человѣка и въ то же время учившая такому презрѣнію къ жизни и смерти, направлявшая человѣка къ практической дѣятельности, была очевидно враждебной новому порядку вещей. Въ числѣ жертвъ Нерона находились преимущественно приверженцы стоической философіи, которая, наконецъ, одержала побѣду и возшла на престолъ въ лицѣ Антониновъ и Марка Аврелія“.

Мы не будемъ слѣдить за фактическимъ разсказомъ Грановскаго объ императорахъ, по необходимости сжато. Новыя иллюстраціи и характерныя черты, разсыпанныя въ разныхъ мѣстахъ этого разсказа, не измѣняютъ уже извѣстнаго намъ общаго вывода Грановскаго. „Эта исторія“, замѣчаетъ онъ самъ, „отчасти потому утомительна и однообразна, что однѣ и тѣ же явленія повторяются безпрестанно; какъ дурныя, такъ и хорошія царствованія сходны между собою. Римская жизнь уже была истощена; она не могла производить новыхъ силъ и противоположностей. Боролись два начала: первое, древне римское, потерявшее уже всякое право на владычество въ жизни, и второе начало, новое, которому суждено было измѣнить міръ, но которое содер-



жалось въ нечистомъ сосудѣ, ибо представителемъ была развратная римская *plebs*, грубые легіоны и самые императоры“. Отмѣтимъ только одно мѣсто, въ которомъ Грановскій указываетъ на новыхъ носителей того начала, которому принадлежитъ будущее. Дѣло идетъ о галльскихъ крестьянахъ, такъ наз. *багаудахъ*.

„Усилія Максиміана, начавшаго царствовать съ 287 года, направлены были преимущественно противъ галльскихъ багаудовъ; у лѣтописцевъ подъ этимъ именемъ являются шайки крестьянъ и рабовъ, изъ которыхъ въ Галліи составилось многочисленное войско, грабившее безнаказанно города и провинціи. Это былъ новый врагъ, явный, не извѣстнъ, а въ самомъ сердцѣ общества,—плодъ, котораго сѣмя давно лежало въ землѣ. Багауды были тѣ низшіе классы общества, которымъ римскіе законы отказывали даже въ человѣческой личности и достоинствѣ, которыхъ коснулись новыя идеи, наполнявшія атмосферу и высказанныя высочайшими умами тогдашняго времени, александрійскими философами и христіанскими повѣдниками, и въ грубой, матеріальной формѣ своей падшія въ народныя массы: это была идея эмансипаціи общества“.

### III.

Въ четвертомъ вѣкѣ разыгрывается послѣдняя борьба язычества съ христіанствомъ. Какъ отнесся Грановскій къ главнымъ представителямъ боровшихся партій? Сужденіе о людяхъ, какъ сейчасъ увидимъ, онъ отдѣляетъ отъ сужденія о представляемыхъ ими идеяхъ. Съ одной стороны здѣсь сказался ученикъ Гегеля, подчеркивавшаго разницу между личными цѣлями дѣятеля и всемірно-историческими результатами дѣйствій; съ другой стороны, мы видимъ здѣсь проявленіе той черты личности Грановскаго, которую его современники характеризовали, какъ „любовь широкую и всеобъемлющую: любовь къ возникающему, которое онъ радостно привѣтствуетъ, и любовь къ умирающему, которое онъ хоронитъ со слезами“. „Много разъ, когда я слушалъ Грановскаго“, говоритъ только что цитированный современникъ, „живо представлялся мнѣ Гораціо, съ стѣсненнымъ сердцемъ повѣствующій повѣсть о Гамлетѣ, возлѣ помоста, на которомъ покоится тѣло его. Въ Гораціо и мысли нѣтъ воскресить принца..., но онъ не можетъ отказать въ грусти падшему“ <sup>1)</sup>.

Приводимъ отзывъ Грановскаго о Константинѣ.

„Мы не должны думать, чтобы одно только религіозное вѣрованіе и

<sup>1)</sup> Въ болѣе рѣзкой формѣ та же мысль выражена самимъ Грановскимъ въ словахъ, сказанныхъ имъ на одной изъ публичныхъ лекцій. „Мы часто видимъ необходимость побѣды, но не можемъ отказать ни въ симпатіи къ побѣжденнымъ, ни въ презрѣніи къ побѣдителю“.

убѣжденіе сердца привели Константина къ такому смѣлому поступку. При совершенномъ отсутствіи общихъ интересовъ, напротивъ, даже при враждебныхъ направленіяхъ, подъ которыми развивалась древняя жизнь, при разрозненности римскаго міра,—одна только христіанская партія составляла единое цѣлое, связанное внутреннимъ единствомъ убѣжденія и внѣшнею формою іерархіи, уже образовавшейся въ христіанской церкви. Это была единственная дружная и могущественная политическая партія, не говоря о высшемъ ея значеніи. Этимъ объясняется отчасти переходъ Константина къ христіанству и легкая побѣда его надъ всѣми противниками... Съ практическимъ стремленіемъ государственнаго мужа Константинъ соединялъ глубокое пониманіе современнаго вопроса“.

Сопоставимъ съ этимъ отзывомъ сужденіе объ Юліанѣ:

„Духовнѣе царствованіе Юліана имѣетъ всемірно-историческое значеніе, какъ реакція язычества противъ христіанства, какъ попытка возстановить старое время во всей его первобытной красотѣ,—попытка тѣмъ болѣе замѣчательная, что во главѣ ея стоялъ человекъ, какъ Юліанъ,—личность высокая, чистая и благородная, не понявшая христіанскаго ученія, ибо оно дошло до него въ искаженномъ видѣ чрезъ жестокихъ, фанатическихъ наставниковъ. Юліанъ былъ глубоко оскорбленъ зрѣлищемъ придворныхъ интригъ, въ которыхъ участвовали епископы, высшіе сановники христіанской церкви; онъ былъ оскорбленъ формализмомъ, чуждымъ собственно современнымъ христіанскимъ понятіямъ, но внесеннымъ нѣкоторыми лицами того времени. Между тѣмъ, его привлекала греческая наука, греческое искусство и гражданская жизнь Рима. Эту-то жизнь и науку онъ хотѣлъ возстановить. Юліанъ понималъ, какая тѣсная связь существуетъ между этою наукою и жизнью—и прошедшими религіями языческаго міра,—и хотѣлъ вызвать религію обратно въ жизнь. Но возстановить ихъ въ первобытномъ ихъ состояніи было невозможно; самые ученые язычники были уже иначе настроены. Стремленіе къ таинствамъ, къ мистеріямъ, которымъ отличается четвертый вѣкъ, должно было быть удовлетворено, и Юліанъ съ своими друзьями, софистами греческими, старался создать такую религію, или лучше амальгаму религій, которая бы удовлетворяла современнымъ требованіямъ и въ то же время вытѣснила христіанскія понятія,—мысль безумная, которой результаты не пережили Юліана. Онъ вскорѣ погибъ въ войнѣ съ персами, — послѣдній великій представитель языческаго Рима или, лучше сказать, всего древняго міра. Въ немъ соединились греческіе и римскіе элементы, — конечно, не въ той чистотѣ, въ какой мы видимъ ихъ у Александра или Цезаря; но онъ стоитъ какъ бы на послѣднемъ рубежѣ языческаго міра. Въ немъ чистые элементы древней жизни не могли остаться нетронутыми новыми понятіями. Но все мы видимъ въ Юліанѣ мучительную борьбу этихъ двухъ враждебныхъ началъ, — борьбу, которая высказывалась въ самой наружности его, по свидѣтельству св. Григорія Назіанзина. Язычники обвиняютъ въ его смерти христіанъ. Это обвиненіе столь же несправедливо, какъ и обвиненіе христіанами Юліана въ отравленіи Констанція. Въ немъ обличается только борьба партій, враждебныхъ и непримиряющихся“.

Дойдя до послѣдней четверти IV вѣка, т. е. до начала переселенія народовъ, Грановскій останавливаетъ свой историческій рассказъ для того, чтобы подвести общіе итоги.

„Обыкновенно“, замѣчаетъ онъ, „время имперіи называется сочинителями историческими временемъ упадка. Конечно, относительно древняго міра это время считается временемъ старости, дряхлости, упадка; но рассматривая его въ связи съ цѣлымъ историческимъ развитіемъ, оно является временемъ перехода и выработыванія новыхъ формъ. Въ это испорченное, несчастное время развились три начала, которымъ суждено было преобладать въ жизненномъ развитіи будущихъ временъ: 1) административная монархія,—новое начало монархическое, развившееся въ римской имперіи. 2) Въ это время также древняя цивилизація греческая и римская составила одно цѣлое и получила возможность перейти къ намъ въ великихъ памятникахъ древней жизни. 3) Наконецъ, подъ сѣнію римской имперіи развилось христіанство“.

Затѣмъ Грановскій приступаетъ къ характеристикѣ трехъ намѣченныхъ сторонъ внутренняго быта имперіи. Характеризуя политическій строй, онъ изображаетъ постепенный упадокъ власти сената, развитіе императорской власти и образованіе императорскаго двора съ его полу-придворными, полу-государственными должностями, административное дѣленіе государства на префектуры, муниципальныя учрежденія, составъ сельскаго населенія, наконецъ, организацію податной системы. На все это употреблено двѣ лекціи (15-я и 16-я), изъ чего уже видно, что изложеніе не могло быть сколько-нибудь подробнымъ. Приводимъ выводъ, который извлекаетъ Грановскій изъ этой части своего изложенія.

„Соображая все сказанное, увидимъ ясно, почему римская имперія въ V столѣтіи такъ легко уступила натиску варваровъ. Въ ней не было ни одного элемента, который могъ бы быть поставленъ въ сопротивленіе имъ. Аристократія, которой члены засѣдали въ римскомъ и константинопольскомъ сенатѣ, была немногочисленна...; она не могла играть никакой роли въ этомъ періодѣ переворотовъ. Чернь, которая могла быть вызвана въ дѣйствіе или вслѣдствіе сильнаго патріотизма или вслѣдствіе религіознаго одушевленія, была лишена патріотизма и религіи. Какой патріотизмъ могъ оживить этотъ сборъ народовъ, механически связанныхъ, но чуждыхъ одинъ другому по нравамъ и самому языку? Въ такихъ обстоятельствахъ одинъ только средній классъ, совершенно усвоившій римскую цивилизацію, могъ выступить на поприще и спасти имперію; но его не было. Онъ былъ уничтоженъ, разоренъ римскою системою податей и налоговъ. Вотъ въ какомъ состояніи находилась римская имперія въ то время, когда началось великое движеніе, именуемое переселеніемъ народовъ“.

Въ трехъ слѣдующихъ лекціяхъ Грановскій переходитъ къ характеристикѣ языческой и христіанской литературы IV и V вѣковъ. Цѣль

его въ этомъ отдѣлѣ—показать, „какія идеи и формы достались изъ древней цивилизаціи IV-му и V-му столѣтіямъ, — идеи, которымъ суждено было быть проводниками древней цивилизаціи въ средніе вѣка“. Указавъ на различіе между латинскимъ образованіемъ запада и греческимъ образованіемъ востока имперіи, Грановскій начинаетъ затѣмъ свое изображеніе съ слѣдующей общей характеристики:

„Еще при Августѣ все образованіе римской имперіи приняло тотъ характеръ, который носитъ образованіе временъ птолмеевыхъ. Въ наукѣ видимъ трудолюбивыхъ дѣятелей, изслѣдователей, собирателей; творчество исчезло безвозвратно; исчезло также безкорыстное занятіе наукою, свободное домогательство истины. Конечно, и въ провинціяхъ римскихъ видимъ людей богатаго сословія, занимающихся наукою; но эти люди ушли, такъ сказать, въ науку отъ жизни, искали въ ней развлеченія, а не отвѣтовъ на высшіе запросы человѣческой жизни. Единственною сферою, гдѣ духъ сохранилъ еще свою свободу, была, разумѣется, философія, которой главные представители въ древней исторіи были стоики. Мы уже говорили, въ какомъ отношеніи былъ стоицизмъ къ правительству и къ народу римскому, какъ изъ философской школы развилась политическая оппозиція, отпраздновавшая блистательную побѣду при Маркѣ Авреліи, воспитанникъ этой философіи. Но это торжество стоической философіи было непродолжительно. Такимъ образомъ, философія осталась удѣломъ немногихъ избранныхъ и лучшихъ людей. Непосредственно послѣ Марка Аврелія вступаютъ на престолъ лица совершенно другого образа мыслей, и вліяніе, которое имѣла философія на политическія дѣла въ первыя три четверти II-го столѣтія, прекращается“.

Слѣдуютъ краткія характеристики Сенеки и „его ученика“ Тацита. По поводу разногласія между теоріей и жизнью Сенеки Грановскій замѣчаетъ, что „несправедливо было бы презирать его по примѣру легкомысленныхъ и ограниченныхъ умовъ, полагающихъ, что одинъ человѣкъ могъ спастись единственно отъ общей безнравственности“.

„Богаче явленіями, обнаруживавшими вліяніе на послѣдующее время, второе столѣтіе. Тогда явились тѣ знаменитыя головы, въ которыхъ, такъ сказать, древній міръ сложилъ всю свою науку, чтобы въ самой удобной формѣ передать ее вѣку среднему“. Вслѣдъ за этимъ замѣчаніемъ Грановскій характеризуетъ сочиненія Птолмея, называетъ Галена и Павзанія. И матеріалъ и заключенія далъ ему въ этомъ случаѣ Шлоссеръ <sup>1)</sup>. Но уже въ слѣдующей характеристикѣ Лукіана Грановскій начинаетъ расходиться съ Шлоссеромъ. По Шлоссеру, „Лукіанъ, подобно Вольтеру, былъ убѣжденъ, что насмѣшка и сатира сперва должны уничтожить все старое, прежде чѣмъ можно будетъ начать строить что-либо лучшее... Свою смѣлость онъ противопоста-

<sup>1)</sup> Univ. hist. Uebersicht etc. III, 2, 208—231.

вляеть вялости современниковъ и отваживается сорвать лицемѣрный покровъ, подъ которымъ таится его вѣкъ“. Грановскій судить объ этомъ вѣкѣ иначе и не симпатизируетъ голой насмѣшкѣ, ничѣмъ не смягченной, не ожидающей и не ищущей примиренія.

Въ своихъ „Разговорахъ“ Лукіанъ выразилъ такое презрѣніе къ древнимъ формамъ, отъ которыхъ міръ тогда отрывался, такъ ядовито смѣялся надъ древнею религіею, философіею, жизнью, что его можно по справедливости сравнить съ другимъ великимъ гениемъ въ этомъ же родѣ, съ Вольтеромъ. Ихъ дѣятельность, средства и цѣль были совершенно одинаковы—разрушить прошедшее, не заботясь о будущемъ. Въ ядовитой насмѣшкѣ Лукіана есть нѣчто оскорбляющее насъ, обратившихся въ болѣе высокихъ, спокойныхъ разсматривателей древности. Мы смотримъ на Лукіана, какъ на великаго бойца, вышедшаго для окончательнаго сокрушенія древней жизни. Мы не должны, впрочемъ, удивляться ему. Между тѣмъ какъ онъ сокрушалъ древнее, онъ не понималъ настоящаго и будущаго. Христіанство уже возникло во всей красотѣ и силѣ своей. Онъ и надъ нимъ смѣялся“.

Симпатіи Грановскаго не могли принадлежать чисто „отрицательному направленію“. Онъ всецѣло переносилъ эти симпатіи на то, что онъ считаетъ *положительнымъ* элементомъ дряхлѣвшаго міра, на философію и религію. Естественно, что и высшую степень сочувствія онъ обнаруживаетъ къ явленію, въ которомъ религія и философія соединились для того, чтобы собственными усиліями создать христіанскую догму,—къ неоплатонизму. И въ этомъ случаѣ онъ уже самымъ рѣшительнымъ образомъ расходится съ Шлоссеромъ, для котораго примѣсъ религіи къ философіи въ неоплатонизмѣ есть просто искаженіе чисто философской мысли подъ вліяніемъ модныхъ суевѣрій, мистицизма и мечтательности, порожденныхъ болѣзненнымъ настроеніемъ общества <sup>1)</sup>. Для Грановскаго это, напротивъ,—соединеніе всего здороваго и лучшаго, что выработало прошлое, со всѣмъ великимъ, чему суждено было господствовать въ будущемъ. Въ своей характеристикѣ неоплатонизма онъ всецѣло руководится Гегелемъ <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Ibid. 242—256.

<sup>2)</sup> Уже самое вступленіе къ характеристикѣ (Александрія какъ „мѣсто соприкосновенія самыхъ разнородныхъ вѣрованій религіозныхъ“) слѣдуетъ Гегелю (Werke, XV, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, 28): „hier, als in ihrem Mittelpunkt, berührten, durchdrangen und vermischten sich alle Religionen und Mythologien der Völker des Orients und etc“. Ср. приводимый далѣе отрывокъ съ слѣдующими замѣчаніями Гегеля (стр. 29—31). „Indem die Weise der Philosophie, die in Alexandrien entstand, sich nicht an den bestimmten älteren philosophischen Schulen hielt, sondern die verschiedenen Systeme der Philosophie, insbesondere das Pythagoräische, Platonische und Aristotelische, in ihren Darstellungen, als Eines erkannte, so wurde sie häufig als Eklektismus

Мы не можемъ лишить читателя удовольствія—прочесть цѣликомъ этотъ въ высшей степени характерный для Грановскаго отрывокъ.

„Въ этомъ ничтожествѣ угасающей литературы, въ этомъ старческомъ бредѣ вялаго общества была одна сторона, могущественная, сильная, въ которой сосредоточивалось все, что было глубоко понимающаго и сильнаго духомъ. Это была неоплатоническая александрійская философія... Неоплатоническую школу упрекаютъ въ отсутствіи самостоятельности, въ безсознательномъ смѣшеніи разнородныхъ элементовъ. Но неоплатоники приняли великую мысль органическаго развитія философіи; они поняли преемственность системъ философскихъ (изъ которыхъ каждая не выполняетъ совершенно цѣли философіи); поняли каждую систему, какъ одинъ моментъ въ исторіи философіи, не давая, впрочемъ, ни одной изъ нихъ конечнаго значенія. Они положили въ основаніе своихъ изслѣдованій творенія Платона, привлекаемые къ нему богатствомъ его философскаго воззрѣнія; но они связали его ученіе съ ученіемъ Пинеагора и Аристотеля. Они не остановились и на этомъ; они вышли изъ сферы философіи въ сферу исторіи и религіи, и здѣсь держались той же путеводной нити; вездѣ слѣдовали они органическому развитію. Они приняли, что въ исторіи человѣчества все истекаетъ одно изъ другого. Съ этой высокой точки зрѣнія старались они объединять древнія религіи, показать, что въ каждой языческой религіи дано было откровеніе, что всѣ религіи древняго міра суть не что иное, какъ рядъ откровеній. И здѣсь, несмотря на всю глубину этого пониманія, они впали въ великое заблужденіе; глубокіе истолкователи предшествующихъ формъ, они съ ненавистью говорили о христіанствѣ. Только отдѣльныя личности, вышедшія изъ этой школы, оцѣнили по достоинству христіанство. Но между тѣмъ, ни одна философія не имѣла такого сильнаго вліянія на ученую форму христіанской догматики, какъ неоплатоники. Противъ неоплатониковъ раздуются преимущественно два обвиненія. Одно, болѣе въ видѣ похвалы, принадлежитъ Cousin'у, который называетъ ихъ эклектиками и по образу ихъ хотѣлъ создать философскую систему во Франціи. По его мнѣнію они выбирали, skleпывали свое ученіе изъ предшествующихъ системъ. Но въ этомъ обвиненіи нѣтъ ничего оскорбительнаго. Надобно понять, что есть лучшаго въ предшествующихъ философскихъ системахъ и какъ сшить разорванныя части. Каждая система невольно принимаетъ всѣ лучшіе элементы системъ предыдущихъ, отвергая (ихъ заблужденія). Другое обвиненіе, въ мірѣ практическомъ, принадлежитъ Шлоссеру: оно состоитъ въ томъ, что неоплатоники просто мечтатели, оторвались совершенно отъ современной жизни и что въ ихъ философіи видимъ боязливое удаленіе отъ дѣйстви-

---

aufgeführt... Im bessern Sinne des Wortes kann man die Alexandriner allerdings eklektische Philosophen nennen... Die Alexandriner legten nämlich die Platonische Philosophie zum Grunde, benutzten aber die Ausbildung der Philosophie überhaupt, welche sie nach Plato durch Aristoteles... erhalten... Im höhern Sinne ist ein weiterer Standpunkt der Idee von der Art, dass er die vorhergehenden Principe, die nur einzelne einseitige Momente der Idee enthalten, concret in Eins vereinigt“.

тельности, что они изъ сферы философіи перешли въ сферу мистицизма, проповѣдую ученіе, странно поражающее воображеніе. Противъ этого обвиненія готовъ отвѣтъ. Я сказалъ, что платоническіе философы были самыя глубокіе умы того времени. Гдѣ же были великіе интересы, которые могли бы вызвать къ дѣятельности? Они были загнаны въ науку и умозрѣніе пустою современною вѣкѣ. Съ негодованіемъ, съ отвращеніемъ отвернулись они отъ дѣйствительности, ничѣмъ не привлекавшей ихъ сочувствія. Отсюда происходятъ всѣ ихъ недостатки. Отвлекаясь отъ жалкой, нелѣпой дѣйствительности языческаго міра, они проповѣдывали такое презрѣніе къ ней и ко всему міру, что впали во всѣ крайности мистицизма. Они приписали духу человѣческому такую безконечную силу, были такъ сильно убѣждены въ глубокомъ владычествѣ духа надъ матеріей, что вѣрили въ возможность подчинить явленія природы духу человѣческому. Отсюда ихъ суевѣрія, вѣра въ магію, волшебство, демонологія и т. д. Очевидно, это не что иное, какъ искаженіе благороднаго, истиннаго начала вѣры въ силу духа“.

Не будемъ останавливаться на характеристикахъ древнихъ явленій образованности III—V вв. напр., тогдашнихъ школъ и софистовъ, такъ какъ эти характеристики болѣе или менѣе общи у Грановскаго со Шлоссеромъ <sup>1)</sup>. Въ такой же зависимости отъ Шлоссера находятся сжатые характеристики представителей „ученой“ христіанской литературы (Іустина, Климента, Оригена, Евсевія). Далѣе слѣдуетъ столь же краткое изображеніе „популярной или народной“ христіанской литературы, подъ которой Грановскій разумѣетъ Іеронима, Амвросія и Августина. Грановскій указываетъ на особенныя условія происхожденія этой литературы, могущія объяснить небрежность ея формы. Въ противоположность ученой литературѣ

„здѣсь, въ популярномъ отдѣлѣ христіанской литературы,—формы нечего искать. Форма безобразна, но содержаніе велико. Напомнимъ только одно, что всѣ первыя сочиненія христіанскія вышли изъ чисто практическихъ потребностей. Здѣсь некогда было долго думать о собраніи матеріаловъ; надобно было (немедленно) рѣшить какой-нибудь догматическій или нравственный вопросъ, отвѣчать на недоумѣнія христіанской общины, полнѣе высказать мысли непонятныя. Необыкновенная литературная дѣятельность связывала всѣ христіанскія общины, разсѣянные по всѣмъ концамъ земли. Посланія извѣстныхъ святостью жизни своей епископовъ въ короткое время приходили разными путями съ границъ Азіи до Галліи и обратно. Посланія списывались, ихъ читали публично, на нихъ получались отвѣты и возраженія, и новые гонцы шли къ ихъ источникамъ. Вездѣ собираемы были свѣдѣнія о смерти мучениковъ, покупались грамоты, протоколы допросовъ христіанскихъ мучениковъ. Изъ этого составлялись христіанскія описанія — начало христіанской поэзіи, такъ называемыя *legendae*. Самое ихъ названіе показываетъ, что онѣ читались публично“.

<sup>1)</sup> См. кромѣ цитированнаго выше, также и слѣдующій 3-й отдѣлъ III тома, VIII глава, 3.

Въ приведенныхъ строкахъ можно предполагать вліяніе IV лекціи Гизо. Но вообще говоря, вліяніе „Исторіи цивилизаціи“ отразилось на курсѣ Грановскаго въ гораздо меньшей степени, чѣмъ можно было бы ожидать. Нельзя считать спеціальнымъ заимствованіемъ у Гизо и то дѣленіе исторіи первоначальной церкви на три періода: демократическій, аристократическій и монархическій, на которомъ основана послѣдняя часть резюмирующаго обзора Грановскаго. Кончается этотъ обзоръ краткой исторіей монашества, причемъ Грановскій дѣлаетъ то различіе между созерцательнымъ настроеніемъ восточныхъ анахоретовъ и практическимъ направленіемъ западнаго монашества, которое можно найти и у Гизо. Фактический матеріалъ, сообщаемый Грановскимъ въ этихъ отдѣлахъ, заимствованъ имъ непосредственно изъ сочиненій по исторіи церкви (онъ называетъ въ началѣ отдѣла Шрека, Неандера, Гизелера, Газе и Планка).

#### IV.

На этомъ кончается „введеніе“ въ исторію среднихъ вѣковъ, занимающее почти треть всего курса и, очевидно, обработанное Грановскимъ съ особенной любовью. Отдѣлъ „о германцахъ“ начинается съ указанія источниковъ и пособій. Наиболѣе сильное вліяніе на изложеніе Грановскаго оказали взгляды Мозера и Эйхгорна. Подобно первому, онъ дѣлитъ германскія племена на два отдѣла: *саксовъ* и *свевовъ*. Саксы, занимавшіе сѣверную, низменную часть Германіи, изображаются какъ представители чистаго германскаго племени. Свевы, жившіе въ южной, гористой половинѣ Германіи, характеризуются какъ населеніе смѣшаннаго состава, *semigermani*. Согласно этому дѣленію и общественный строй обѣихъ половинъ Германіи рисуется какъ двѣ совершенно противоположности: у саксовъ господствуетъ чистый „общинный“ бытъ; напротивъ, свевы находятся въ бытѣ „дружинномъ“.

„По изслѣдованіямъ новѣйшихъ ученыхъ вся сѣверная часть Германіи, отъ береговъ Нѣмецкаго и Балтійскаго моря до горъ, начинающихся у Шварцвальда и идущихъ до Богемскаго лѣса, между нижнимъ Рейномъ и Эльбою, была заселена чистыми германцами... Это край, изъ котораго выросъ германскій народъ. Здѣсь мы находимъ въ чистотѣ тѣ учрежденія, которыя собственно принадлежатъ германцамъ — общинное устройство. Окрай германскаго міра заселенъ былъ на западѣ и югѣ племенами галло-кельтическими, на востокѣ славянами... Но изъ Германіи собственной выходили непрерывно толпы людей, гонимыхъ или кровавою мстію или собственными потребностями и дѣятельностью. Эти-то дружины... сѣли, такъ сказать, на кельтическое и славянское народонаселеніе и образовали великое племя свевское“.



Переходъ отъ „общиннаго“ быта къ „дружинному“ облегчался, въ глазахъ Грановскаго, его пониманіемъ соціального состава древняго германскаго общества. По его мнѣнію, „нормальное, постоянное положеніе германскихъ общинъ“ было таково, что онѣ „состояли изъ *ограниченнаго* числа полноправныхъ и свободныхъ людей, между которыми возвышались нѣкоторые благородные люди“. „За то очень *значительно* было число летовъ или лассовъ“, неполноправныхъ. „Это слово на германскомъ нарѣчій означало человѣка робкаго, лѣниваго. Подъ этимъ именемъ германцы разумѣли покоренныя ими племена, жившія на земляхъ ихъ и обложенныя извѣстными повинностями“. Такимъ образомъ, и населеніе коренной германской земли, находившееся въ чистомъ общинномъ быту, дѣлилось на завоевателей и завоеванныхъ. Съ помощью этого предположенія въ первобытную германскую жизнь вносились уже тѣ самыя явленія, которыя подлежали объясненію изслѣдователя позднѣйшихъ временъ.

„Это — явленіе весьма важное въ германской жизни. Оно объясняетъ многое загадочное въ сказаніяхъ лѣтописцевъ. 1) Одно племя побѣждало другое, овладѣвало его землями; тогда всѣ *свободные* люди побѣжденнаго племени оставляли свое отечество и шли далѣе искать новыхъ земель и образовать новыя общины. 2) Многіе изъ *покоренныхъ* оставались на своихъ участкахъ земли, и отношенія ихъ къ побѣдителямъ оставались всегда тѣ же. Въ наступательныхъ войнахъ между германцами принимали участіе только полноправные, а покоренные или леты не выступали въ походъ, потому что они ничего не теряли, если бы племя, ихъ покорившее, пало въ борьбѣ съ другимъ... Они оставались на участкахъ своихъ и только перемѣняли господъ. Завоеванныя земли дѣлились поровну между всѣми членами побѣдившаго племени; сколько побѣдителей, столько и участковъ... 3) Остававшіеся лассы сообщали естественнымъ образомъ побѣдителямъ своимъ нѣкоторые обычаи, нѣчто въ языкѣ и т. д., ибо число лассовъ всегда превосходило число побѣдителей... 4) Прѣжнее имя народа изгнаннаго или побѣжденнаго шло далѣе вмѣстѣ съ свободными изгнанниками; имя побѣдителей привязывалось къ почвѣ покоренной земли. Этимъ объясняется безпрестанная смѣна именъ и происходящая отъ того сбивчивость. Иногда эти блуждающія имена германскихъ племенъ исчезаютъ совсѣмъ...; это объясняется тѣмъ, что свободные изгнанники, несшіе имя свое далѣе съ собою, на пути встрѣчали какое-нибудь препятствіе и погибали вмѣстѣ съ именемъ; не должно думать, чтобы эти племена были многочисленны“.

Такимъ образомъ, отъ „общины“ было не такъ уже далеко до „дружины“. „Война выводила народъ изъ кореннаго положенія...; иногда цѣлыя общины, тѣснимыя врагами, принимали характеръ дружинный, который они слагали по прекращеніи опасности“. И, наоборотъ, дружины могли принять размѣры цѣлаго племени. „Участъ дружины была

различна. Иногда эделинги—вожди дружин—были просто грабители, съ добычею возвращались съ войны и вступали въ число членовъ общинъ. Иногда кунингъ вступалъ со всею дружиною въ службу чужихъ народовъ и преимущественно римлянъ. Извѣстно, что многія дружины или отряды нѣмецкіе съ перваго столѣтія являются въ войскѣ римскихъ императоровъ. Иногда же они имѣли обширнѣйшіе замыслы: вождь шелъ завоевать себѣ и товарищамъ новыя земли и новыхъ лассовъ. Дружины были иногда весьма многочисленны. Онѣ походили на плѣные народы. Такова дружина Гензериха Вандальскаго, Алариха Вестготскаго, Дитриха Великаго Готескаго<sup>1)</sup>. Такимъ образомъ, великое переселеніе народовъ было не движеніемъ племенъ, а движеніемъ дружинъ. Если въ предыдущемъ изложеніи Грановскій иногда идетъ дальше Эйхгорна и выражается смѣлѣе его, то въ этомъ случаѣ онъ только слѣдуетъ выводамъ Эйхгорна<sup>1)</sup>. „Готы, жившіе на востокѣ, Алеманны и Бургунды на юго-западѣ, наконецъ, Франки на сѣверо-западѣ — это были дружины“. До переселенія, Бургунды и Алеманны „такъ же сидѣли на кельтическихъ племенахъ, какъ готы сидѣли на славянскихъ“. Передвинувшись въ римскія провинціи, тѣ и другіе только перемѣнили своихъ „лассовъ“. По образцу своихъ старыхъ отношеній къ лассамъ они установили и свои отношенія къ покореннымъ жителямъ римскихъ провинцій. Уже въ первоначальномъ германскомъ быту „каждый господинъ жилъ во дворѣ своемъ, окруженный хижинами лассовъ, которыхъ онъ судилъ по постановленіямъ такъ называемаго дворскаго права, Hofrecht. Изъ этихъ правъ, въ соединеніи съ другими элементами, развились права ленныя или феодальныя“. Такимъ образомъ, „дружинное устройство имѣло безконечное вліяніе на всю исторію запада“. Франкскія завоеванія „принесли это устройство обратно въ Германію и наложили его на прежнія общины. Разумѣется, переходъ отъ общины къ дружинѣ совершился не очень скоро: мы видимъ его во всемъ развитіи феодальной системы. Но кончился онъ совершенною побѣдою дружиннаго устройства“.

Въ то время, какъ Грановскій развивалъ эту стройную теорію, Вайцъ уже началъ выпускать первые томы своей *Verfassungsgeschichte*, Зибель только-что издалъ свою книгу *Entstehung des deutschen Königthums*. Черезъ годъ въ московскомъ университетѣ громко заговорили о теоріи родового быта. Грановскій не остался позади движенія науки. Напро-

<sup>1)</sup> См. *Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte*. Т. I, passim. Грановскій, очевидно, внимательно изучалъ эту книгу, и вліяніе ея замѣтно во многихъ частяхъ курса.

тивъ, новыя изслѣдованія заставили его пересмотрѣть вопросъ и дали тему для печатной статьи, въ которой онъ начисто отказался отъ всѣхъ выводовъ Эйхгорна, только что раздѣлявшихъ имъ самимъ. Мы разумѣемъ статью Грановскаго „о родовомъ бытѣ у древнихъ германцевъ“, посвященную русскимъ защитникамъ родовой теоріи, Соловьеву и Кавелину. Если прежде, вслѣдъ за своими руководителями, Грановскій относилъ свидѣтельства Цезаря и Тацита къ южнымъ „дружиннымъ“ германцамъ (свевамъ), утверждая вмѣстѣ съ ними, что эти писатели знали только германцевъ кочевыхъ, а не осѣдлыхъ, — то теперь онъ смѣло принимаетъ показанія источниковъ „о состояніи народа, только что переходящаго отъ кочевой къ осѣдлой жизни, еще незнакомаго съ настоящею поземельною собственностью“, и объясняетъ это отсутствіе свидѣтельствъ о земельной собственности—господствомъ родового быта. Такимъ образомъ, содержаніе университетскаго курса объясняетъ намъ причину появленія печатной статьи.

„Исторія переселенія народовъ“ начинается у Грановскаго, довольно неожиданно, критическимъ экскурсомъ о происхожденіи гунновъ. Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что этотъ экскурсъ вызванъ теоріей славянства гунновъ, по адресу которой Грановскій дѣлаетъ нѣсколько суровыхъ, но справедливыхъ замѣчаній. „Лѣтъ 15 тому назадъ“, говоритъ онъ, „покойный Венелинъ выставилъ новое мнѣніе, по которому гунны являются славянами. Это мнѣніе, какъ оно ни шатко, какъ ни нуждается оно въ болѣе крѣпкомъ основаніи, требуетъ однако разбора, потому что нашло много защитниковъ и потому, что послѣдователи Венелина образовали у насъ особливую школу. Нѣтъ сомнѣнія, что труды Венелина носятъ на себѣ печать и сильныхъ дарованій, и трудолюбія, но нельзя не замѣтить, что ему недоставало полного историческаго образованія“. И кончая свой разборъ вопроса, растянувшійся на цѣлую лекцію, Грановскій замѣчаетъ: „почти у всѣхъ европейскихъ народовъ была эпоха, когда высказывалось въ исторіографіи точно такое же явленіе, какъ у насъ, — когда историки старались населить весь міръ своими единоплеменниками... Это свидѣлствуетъ нѣкоторымъ образомъ о младенческомъ состояніи науки“.

Въ пяти слѣдующихъ лекціяхъ Грановскій ведетъ фактический рассказъ о германскихъ вторженіяхъ и излагаетъ исторію новыхъ государствъ, основанныхъ на римской почвѣ. Несмотря на крайнюю сжатость рассказа, Грановскій умѣетъ вводить въ него характерныя реальныя черты, сообщая наглядность его изображенію. При всякомъ удобномъ случаѣ онъ приводитъ данныя, указывающія на взаимное отношеніе побѣдителей и побѣжденныхъ. Сообразно общему характеру воз-

зрѣній Грановскаго и направленію его ученыхъ авторитетовъ, — римская традиція рѣзче подчеркивается въ его разсказѣ, чѣмъ германская самобытность. Вотъ, напр., его замѣчанія по поводу извѣстныхъ словъ, приписывавшихся вестготскому королю Атаульфѣ.

„У Атаульфа замѣчаемъ мы странную политическую мысль... Вотъ слова, слышанныя однимъ изъ друзей Орозія отъ самого Атаульфа: „въ полной надеждѣ на мои побѣды, я хотѣлъ истребить народъ римскій и на развалинахъ этой монархіи возстановить владычество готевъ, основать для нихъ новое государство и дать ему законы. Но мнѣ показали опытъ, что дикая необузданность не можетъ подчиниться законамъ; тогда я положилъ другую цѣль моему честолюбію: я хочу употребить мечъ готевъ не для разрушенія, а на возстановленіе римской имперіи“. Эта мысль встрѣчается у всѣхъ великихъ куниговъ германскихъ того времени—Стилюхона, Алариха, который хотѣлъ быть *magister equitum utriusque militiae*, у Атаульфа, въ другихъ размѣрахъ у Дитриха Великаго, кунига остготскаго. Они темно понимали могущество римской цивилизаціи, необходимость ея существованія и продолженія, они понимали, что формы германской жизни не могутъ служить замѣною формамъ сокрушавшимся римской жизни,—отсюда проистекаетъ мысль Атаульфа служить римской имперіи... Мысль эта перешла и къ его преемнику. Такимъ образомъ, Валлія былъ не что иное, какъ римскій полководецъ. Для западной римской имперіи онъ воевалъ съ германскими племенами, поселившимися на пиринейскомъ полуостровѣ... Что это дѣлалось не случайно, не безъ сознанія..., это ясно изъ письма его къ Гонорію, сохраненнаго Орозіемъ, гдѣ встрѣчаемъ слѣдующее любопытное выраженіе: *nos nobiscum conflagimus, tibi vincimus*“.

Естественно, что особенно подчеркиваетъ Грановскій сохраненіе римской традиціи, въ предѣлахъ самой Италіи. Первое отнятіе трети земель у жителей Италіи—при Одоакрѣ—онъ считаетъ для нихъ „вовсе не обременительнымъ, ибо въ Италіи было очень много пустырей, земель необработанныхъ. Самое обременительное въ этомъ было то, что съ третью земель отходила и соотвѣтствующая часть скота, дома, рабовъ; но отдѣленіе самыхъ земель можно скорѣе назвать благодѣяніемъ для римскихъ жителей, нежели притѣсненіемъ ихъ“. При Теодорихѣ положеніе дѣлъ въ Италіи было еще лучше.

„Дитрихъ, о которомъ говорятъ современники, что онъ не зналъ грамоты, понималъ важное значеніе римской цивилизаціи и настоящее значеніе остготскаго народа, считалъ обязанностію быть защитникомъ, хранителемъ этой цивилизаціи, ввѣренной народу римскому, который однако же безъ чуждой ограды не могъ продолжать самостоятельнаго существованія... Народъ готскій при Дитрихѣ составлялъ какъ бы армію Италіи... Изъ всѣхъ вѣйшихъ формъ древней администраціи римской Дитрихъ не измѣнилъ ничего. Остался тотъ же сенатъ, то же городовое управленіе, тѣ же сановники, та же система податей и налоговъ, съ тою только разницею, что они были взимаемы въ меньшемъ количествѣ и съ меньшими

притѣсненіями, нежели при императорахъ. Это было лучшее время италіанской жизни“.

Такимъ образомъ, жители Италіи „не выиграли“ отъ перемѣны остготскаго владычества на византійское. „Вслѣдствіе новаго порядка вещей, возникшаго въ Италіи послѣ изгнанія остготовъ, въ итальянскую жизнь вошли нѣкоторые элементы, дотолѣ ей чуждые“. Такъ, напримѣръ, „желая замѣнить недостающее число войска, необходимаго для защиты Италіи, Юстиніанъ положилъ основаніе военному устройству городовъ, которое, видоизмѣнившись, перешло и въ средніе вѣка“. Наконецъ, вторженіе лангобардовъ частью порвало римскую традицію. „При самомъ поселеніи своемъ они дѣйствовали съ большею жестокостью, чѣмъ предшественники ихъ, герулы и готы. Почти вездѣ истребляли они римское народонаселеніе или обращали свободныхъ поселенцевъ въ рабское состояніе. Только въ городахъ остались остатки свободного народонаселенія“. Однако, при дальнѣйшихъ попыткахъ проникнуть на югъ Италіи, лангобарды „встрѣтили сильное сопротивленіе“, особенно со стороны римскаго папы; а затѣмъ, съ принятіемъ католичества значительнымъ числомъ лангобардовъ, начинается внутреннее раздѣленіе среди нихъ; „католическая, римская партія нейтрализуетъ движеніе народной (аріанской) партіи“, и „латинскій элементъ“ все болѣе „получаетъ превосходство между лангобардами“.

И въ этомъ случаѣ такъ же, какъ по вопросу о древнѣйшемъ бытѣ германцевъ, Грановскому пришлось столкнуться съ противоположными мнѣніями новыхъ изслѣдователей. Отраженіе этихъ мнѣній и на этотъ разъ онъ встрѣтилъ среди товарищей по университету—именно, въ изслѣдованіи Кудрявцева о „Судьбахъ Италіи“. Результатомъ столкновенія мнѣній была въ данномъ случаѣ тоже печатная статья,—одна изъ лучшихъ статей Грановскаго, подвергнувшая ученому пересмотру вопросъ о римской традиціи на итальянской почвѣ <sup>1)</sup>. Послѣ пересмотра Грановскій остался, однако, въ этомъ вопросѣ при своихъ старыхъ взглядахъ; онъ даже усилилъ ихъ противорѣчіе со взглядами защитниковъ итальянской самобытности, отказавшись отъ своихъ профессорскихъ заимствованій изъ Лео <sup>2)</sup> и примкнувши ближе къ теоріи Савиньи. Молодое поколѣніе однако не убѣдилось доводами Грановскаго. Вотъ что писалъ по этому поводу Ешевскій Бестужеву-Рюмину. „Написавши

<sup>1)</sup> „Отеч. Зап.“ 1851 г. рецензія на соч. Кудрявцева, перепечат. во II томѣ Сочиненій.

<sup>2)</sup> Только мнѣніе о національномъ характерѣ итальянцевъ, какъ продуктъ лангобардскаго завоеванія, изложено въ статьѣ по Лео, въ томъ же видѣ какъ въ лекціяхъ.

въ первый разъ свою рецензію на Кудрявцева, я изорвалъ ее, когда прочиталъ критику Тимоѳея Николаевича, и передѣлалъ совершенно или, лучше сказать, написалъ снова. Нѣ думай, впрочемъ, чтобы рецензія Т. Н. заставила меня переимѣнить свои мысли о развитіи городовъ въ Италіи. Мнѣ кажется, онъ мало обратилъ вниманія на новыя изслѣдованія. Слишкомъ занятый авторитетомъ Савиньи, онъ всѣ доказательства беретъ изъ его же книги, между тѣмъ, какъ мнѣ кажется, самъ Савиньи теперь искалъ бы новыхъ въ защиту своего мнѣнія<sup>1)</sup>.

## V.

Послѣ бѣглыхъ очерковъ государствъ, основанныхъ германцами (самый подробный изъ нихъ—очеркъ исторіи англо-саксовъ, составленный преимущественно по Лаппенбергу, занимаетъ около одной лекціи),—Грановскій нѣсколько подробнѣе останавливается на исторіи франковъ. По своему обыкновенію, онъ начинаетъ свой разсказъ указаніемъ источниковъ и пособій. Характеристика Григорія Турскаго даетъ ему поводъ высказать свое мнѣніе объ общемъ значеніи излагаемаго періода.

„Его (Григорія Турскаго) лѣтопись имѣетъ большое значеніе не только для исторіи франковъ, но и для всей исторіи среднихъ вѣковъ. Нигдѣ не представлена такъ живо и наглядно борьба германскаго варварства съ испорченнымъ образованіемъ римскихъ провинцій,—этотъ чудный порядокъ вещей, возникшій отъ сліянія противоположныхъ элементовъ. Первоначально эти элементы обмѣнялись только дурными сторонами своими, и только дурныя стороны поражаютъ читателя при первомъ взглядѣ. Можетъ быть, не было общества болѣе чуждаго началу нравственному, какъ общество, возникшее на римской почвѣ непосредственно по водвореніи германцевъ и преимущественно франковъ. Франки заняли все коварство, все равнодушіе ко всѣмъ высокимъ интересамъ, существовавшимъ въ разныхъ формахъ, въ различныхъ степеняхъ образованности у римлянъ; съ другой стороны, вся жестокость германскихъ нравовъ перешла къ римлянамъ. Это какая-то отвратительная смѣсь. Но въ то же время эта исторія утѣшительна. Въ самомъ этомъ паденіи чело-вѣчества видимъ безконечныя силы его, видимъ, какъ оно побѣдоносно выходитъ изъ процесса, коему подвержено въ продолженіе двухъ или трехъ столѣтій“.

Далѣе Грановскій излагаетъ, по Тьерри, исторію взглядовъ на общественный строй франкскаго государства (теоріи Буленвилье, Дюбо и Мабли) и, наконецъ, даетъ характеристики современныхъ историковъ, Мишле, Гизо и Тьерри. Особенно любопытенъ отзывъ о Гизо, подчер-

<sup>1)</sup> К. П. Бестужевъ-Рюминъ. Біографіи и характеристики, 305.

кивающій ту противоположность въ складѣ ума обоихъ историковъ, которая мѣшала Грановскому выбрать Гизо въ число своихъ образцовъ и руководителей.

„У него нѣтъ драматическаго таланта, онъ не умѣетъ живо характеризовать явленій, но едва ли у кого-нибудь изъ современныхъ историковъ есть такой огромный талантъ аналитическій. Онъ разлагаетъ жизнь средняго вѣка на ея отдѣльные элементы и каждый подвергаетъ строгимъ изслѣдованіямъ. У него вся драма исторіи исчезаетъ; но изъ его книги можно коротко познакомиться со всѣми дѣятелями (Грановскій, очевидно, употребилъ это слово въ смыслѣ французскаго agent, факторъ) французской исторіи“.

Очевидно, манера Гизо для Грановскаго отдаетъ той же самой „сухой теоріей прогресса“ французскихъ изслѣдователей прошлаго вѣка, съ которой покончилъ Гердеръ и на смѣну которой явилось раздѣляемое Грановскимъ понятіе живого органическаго развитія <sup>1)</sup>. Естественно, что всѣ его симпатіи на сторонѣ живописательной манеры Тьерри.

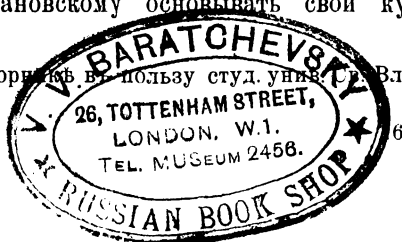
„Это былъ, такъ сказать, манифестъ,—говоритъ онъ по поводу „Lettres sur l'histoire de France“, изданный новою историческою школою,—въ которомъ она показала всѣ недостатки прежнихъ французскихъ историковъ. Въ первомъ письмѣ онъ разбираетъ древнихъ французскихъ историковъ, въ остальныхъ показываетъ, какъ должно писать исторію... Это сочиненіе по живости необыкновенной разсказа и по огромной учености, которою сочинитель не хвалится, замѣчательно. Онъ вездѣ только показываетъ живые результаты своей учености... „Разсказы о меровингахъ“... есть удивительный образецъ историческаго разсказа“.

Относительно „Исторіи Франціи“ Мишле, Грановскій высказывается съ оговорками:

„Вообще должно замѣтить, что во всемъ сочиненіи видимъ неровность: нѣкоторыя части отдѣланы превосходно, другія очень слабо. Въ его исторической манерѣ есть что-то своенравное, капризное; но во всякомъ случаѣ это одинъ изъ самыхъ даровитыхъ, гениальныхъ историковъ нашего времени, въ богатой натурѣ котораго соединенъ блестящій талантъ изложенія съ огромными свѣдѣніями и съ философскимъ пониманіемъ, конечно, не совсѣмъ развитымъ и яснымъ“.

Въ общемъ, Грановскій отдаетъ французскимъ историкамъ безусловное преимущество передъ нѣмцами. „Французскіе историки“, говоритъ онъ, „пользовались много трудами нѣмцевъ, но стоятъ безконечно выше ихъ въ живомъ пониманіи событій и въ дарѣ изложенія. У нѣмцевъ исторіографія имѣетъ характеръ педантизма; но она по самому (существу) своему назначена для всѣхъ, должна быть популярна“. Это замѣчаніе не мѣшаетъ, однако, Грановскому основывать свой курсъ

<sup>1)</sup> См. введеніе Грановскаго въ сборникъ въ пользу студ. ун-та. Владимира стр. 314—315.



почти исключительно на нѣмецкихъ пособіяхъ; и причина этого, помимо характера подготовки Грановскаго, несомнѣнно заключается въ томъ, что именно нѣмецкая литература давала изображеніе средневѣковой исторіи съ той всемірно-исторической точки зрѣнія, которая была необходимой для міровоззрѣнія Грановскаго.

Съ этой точки зрѣнія смотреть Грановскій и на исторію франковъ. Сдѣлавши общій обзоръ народонаселенія Галліи, въ V вѣкѣ, онъ переходитъ затѣмъ къ фактическому разсказу слѣдующей фразой. „Во главѣ одной изъ франкскихъ дружинъ является человѣкъ, которому суждено было дать франкскому племени всемірно-историческое значеніе. Это былъ Хлодвигъ“. И онъ обращаетъ вниманіе на то, что:

„Хлодвигъ-язычникъ уже въ самомъ началѣ своей дѣятельности въ Галліи является какъ бы союзникомъ католическаго духовенства. Какъ язычникъ, онъ внушалъ болѣе увѣренности духовенству, чѣмъ куниги-аріане. Вслѣдствіе необходимаго движенія вещей онъ долженъ былъ перейти рано или поздно къ христіанству, котораго сила была очевидна. Уже тогда католическіе епископы смотрѣли на него какъ на будущаго христіанина. Они старались находиться съ нимъ въ дружескихъ отношеніяхъ. Хлодвигъ принялъ этотъ союзъ, и успѣхи его объясняются союзомъ этимъ съ могущественнѣйшимъ сословіемъ тогдашняго времени“.

Такимъ образомъ, Хлодвигъ шелъ по пути, указанному Константиномъ Великимъ, и своимъ отношеніемъ къ духовенству какъ бы прообразовалъ отношеніе Пипина и Карла къ папскому престолу.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи Грановскій характеризуетъ отношенія, установившіяся у франкскихъ королей съ ихъ дружинниками, германскими „общинами“ и галлоримскимъ населеніемъ. Онъ подчеркиваетъ при этомъ безусловное преобладаніе въ Нейстріи и Аквитаніи римскаго элемента. „Элементъ германскій преобладалъ потому только, что самые куниги вышли изъ германскихъ дружинъ; но римляне, какъ самые многочисленныя и образованнѣйшіе, занимая всѣ духовныя должности, имѣли сильное вліяніе на управленіе. Этотъ римскій элементъ былъ еще могущественнѣе къ югу отъ Луары; здѣсь сохранились латинскій языкъ, муниципальное правленіе въ городахъ; здѣсь мало было франковъ. Только въ т. наз. Австразіи преобладаетъ исключительно элементъ германскій“. Нѣсколько далѣе онъ прибавляетъ: „одно важное и не довольно оцѣненное явленіе надобно замѣтить въ этомъ періодѣ франкской исторіи. Въ южной Галліи и Италіи осталось много сильныхъ фамилій изъ римскаго періода. Во время всеобщаго разложенія общества они удалились въ замки, нарочно ими выстроенныя и укрѣпленныя въ горахъ и неприступныхъ мѣстахъ. Еще теперь есть развалины такихъ замковъ, которыхъ древность восходитъ до V, VI сто-



лѣтій. Изъ этихъ замковъ вышли въ VIII, IX столѣтіяхъ тѣ феодальныя владѣльцы, которые такъ сильно стѣснили королевскую власть“.

Въ дѣятельности Брунегильды Грановскій указываетъ „стремленіе ввести римскіе обычаи и нравы въ Германіи, подчинить германскую жизнь этимъ враждебнымъ началамъ“. „Это одна изъ самыхъ необыкновенныхъ, дивныхъ личностей того періода... Противница ея Фредегонда стоитъ безконечно ниже ея. Она была представительницей этого испорченнаго времени, этого страшнаго разврата, происшедшаго вслѣдствіе соединенія варварства съ упадающимъ образованіемъ римскимъ“. Немедленно вслѣдъ за этимъ Грановскому приходится отмѣтить побѣду дружинныхъ стремленій сѣвера и національной реакціи галльскаго юга надъ королевскою властью. „Прогрессивное движеніе франкскаго могущества отъ Хлодвига до смерти сыновей его останавливается въ этомъ періодѣ; внутреннія силы въ государствѣ въ борьбѣ между собою. Надъ всѣми элементами выплываетъ элементъ феодальной власти, не ограниченной въ эту пору церковью. Церковь, чтобы не упустить изъ рукъ той власти, которою она доселѣ пользовалась, вошла въ составъ феодальной системы... Повидимому, въ этомъ движеніи погибають остатки, безъ того уже скудные, римской цивилизаціи, римскихъ учреждений“. Но въ этотъ моментъ дѣло королевской власти берутъ подъ свою защиту сами „начальники феодальной аристократіи“, — палатныя меры. Карлу Мартеллу „болѣе нежели кому-нибудь изъ его предшественниковъ удалось сломить оппозицію феодальныхъ дружинъ“. Правда, „онъ былъ ненавистенъ духовенству франкскому по строгости и притѣсненіямъ“; „когда не доставало лѣтъ для членовъ дружины, онъ сталъ раздавать владѣнія церковныя“. Но бранившіе его за это „лѣтописцы монахи“, — „не понимали заслуги его для Европы“ и „имѣли въ виду только собственныя выгоды“. „Въ началѣ VIII столѣтія иновѣрческія племена (язычники съ сѣвера, мусульмане съ юга) грозили страшною опасностью германо-латинской Европѣ, которая была въ то время разъединена въ своихъ интересахъ, она была раздѣлена на христіанскую и языческую <sup>1)</sup>. Между той и другой существовала непримиримая, глубокая вражда. Карлъ Мартеллъ въ этотъ роковой моментъ европейской исторіи, дѣйствительно, выказалъ себя героемъ, и его дѣятельность доставила ему всемірно-историческое значеніе. Съ одной стороны онъ удержалъ арабовъ, съ другой удерживалъ движеніе саксовъ, которые силились распространиться далѣе на западъ. Для дости-

<sup>1)</sup> Грановскій, конечно, разумѣетъ здѣсь внутреннее разъединеніе мірскаго и духовнаго общества, въ смыслѣ „философіи исторіи“ Гегеля.

женія этой цѣли онъ долженъ былъ натянуть всѣ силы государства франкскаго“. Вынужденный расхищать церковныя имущества у себя дома, онъ, однако, „оказывалъ дѣятельную помощь проповѣдникамъ христіанства за Рейномъ“. „Онъ понималъ хорошо, что они защищаютъ одно дѣло съ нимъ, ведутъ къ одной цѣли. Это былъ авангардъ Карла Великаго“. Такимъ образомъ, „вполнѣ дивная дѣятельность этого чловека“ подготовляла путь священной римской имперіи германской націи. Прежде чѣмъ перейти къ сліянію римской и христіанской идеи въ германской монархіи Карла, Грановскій останавливается на подвигахъ „воиновъ христіанской цивилизаціи“ въ дебряхъ внутренней Германіи. Описавъ миссіонерскую дѣятельность Виллиброда и Бонифація, охарактеризовавъ колонизаціонное и просвѣтителное значеніе монастырей, Грановскій указываетъ еще на одну историческую заслугу Бонифація, который, „безспорно, былъ лицомъ самымъ замѣчательнымъ во всей исторіи запада до Карла Великаго“. „Ему принадлежитъ мысль о близкомъ соединеніи франкскихъ католиковъ съ папою... Помазаніемъ Пипина церковь освѣтила права каролингской династіи, въ противоположность языческимъ правамъ дома меровинговъ“. Разсказъ о Бонифаціи заканчивается, затѣмъ, слѣдующимъ любопытнымъ замѣчаніемъ:

„Въ наше время, когда католицизмъ явился съ новыми требованіями, снова возникъ вопросъ о дѣятельности и заслугахъ Бонифація. Ему вменяли въ преступленіе присягу, данную имъ папѣ, которому онъ, за себя и подчиненныхъ епископовъ въ Германіи, обязался вѣчнымъ повиновеніемъ. Порицатели этого поступка полагаютъ, что если бы онъ дѣйствовалъ самостоятельно, внѣ связи съ Римомъ, то участь Германіи могла бы быть гораздо блистательнѣе.—Обвиненіе, основанное на совершенномъ непониманіи того времени. Отдѣльными силами, оторвавшись отъ римской церкви, которая была сердцемъ и единеніемъ западнаго христіанства, св. Бонифацій не совершилъ бы и половины того, что онъ совершилъ... Этому міру, еще юному, разрозненному, не сознавшему единства, нужно было внѣшнее единство — глава духовный или наставникъ. Этому наставнику онъ нашелъ въ папѣ“.

Мы стоимъ, наконецъ, передъ разсказомъ о правленіи Карла Великаго,—государя, который „поднялъ ту же самую мысль, надъ которой безплодно трудились Дитрихъ Великій, Брунегильда, куниги вестготскіе,—и которой осуществленіе явилось уже черезъ нѣсколько столѣтій послѣ него“. Итакъ, и Карлъ Великій трудился для осуществленія этой мысли безплодно? Но въ чемъ же тогда его всемірно-историческое значеніе? Грановскій начинаетъ съ того, что формулируетъ эти сомнѣнія. Своимъ разсказомъ онъ хочетъ ихъ разсѣять.

„Имя этого государя окружено такою огромною славою, — его называютъ основателемъ новаго порядка вещей. Естественно самъ собою при-

ходить вопросъ: что же онъ сдѣлалъ?.. Изъ законодательства его осталось мало слѣдовъ. Государство, имъ основанное, по смерти его распалось на части. Наконецъ, его называютъ воспламенителемъ образованія, — но къ числу самыхъ темныхъ временъ средней исторіи принадлежитъ именно X столѣтіе (слѣдующее за эпохой Карла Великаго). Повидимому, всѣ начинанія Карла были безплодны; онъ ослѣпилъ только мгновеннымъ исполненіемъ своихъ цѣлей, но продолжительнаго вліянія онъ не обнаружилъ.

Такое мнѣніе неоднократно было предлагаемо. Но, чтобы опровергнуть его, стоитъ разобратъ въ связи разныя стороны дѣятельности Карла. Напомнимъ, въ какомъ положеніи Карлъ засталъ Европу... При первомъ толчкѣ франкское государство готово было разложиться—у него не было общаго интереса,—не было связывающаго, единящаго начала, кромѣ христіанства. Франкскія владѣнія не были отдѣлены грозными рубежами. Движеніе, которое мы называемъ переселеніемъ народовъ, еще не совершенно прекратилось... Вся масса каролингскихъ владѣній окружена была враждебными ей по національности и религіи племенами. Саксонцы-язычники,—защитники и хранители древняго германскаго быта, за ними славяне, къ югу отъ нихъ авары — происхожденія восточнаго, наконецъ, на самой южной границѣ владѣній каролингскихъ — арабы, отраженные дѣдомъ Карловымъ, но готовые воспользоваться первымъ удобнымъ случаемъ для вторженія во Францію... Ясно, что государство франковъ,—въ томъ видѣ, въ которомъ досталось оно Карлу Великому,—не составляло сплошной массы, соединенной общими интересами; напротивъ, оно было разъединено и отдѣльные элементы стремились къ самостоятельности... Мартелль истратилъ всю жизнь свою, отражая внѣшнихъ враговъ,—онъ не сдѣлалъ ничего для внутренняго устройства государства... Наконецъ, духовенство франкское, несмотря на великія заслуги, совершенныя въ этомъ отношеніи св. Бонифаціемъ, находилось на низшей степени образованія; оно не стояло выше своей паствы..., было грубое, невѣжественное, немногіе чины его умѣли читать и писать—однимъ словомъ, оно совершенно вошло въ составъ феодальнаго общества\*.

Весь дальнѣйшій разсказъ о Карлѣ отвѣчаетъ на вопросъ, какъ онъ исполнилъ задачи, возложенныя на него только-что изображеннымъ состояніемъ Европы.

„Военная дѣятельность Карла Великаго была не дѣятельностью бессмысленнаго честолюбца, ведущаго войны для расширенія владѣній своихъ, безъ всякой высшей мысли. Карлъ прекрасно понималъ всю важность папы, все значеніе этой главы христіанскаго запада, — и въ первые годы своего правленія подаль ему руку помощи противъ лангобардовъ... Всѣ остальныя войны Карла имѣютъ цѣлью—связать всѣ части государства въ одно неразрывное цѣлое, — связать ихъ прочнымъ рубежомъ, остановить, наконецъ, движеніе племенъ. Въ войнѣ противъ саксонцевъ („безспорно самой важной по результатамъ“) дѣло шло о христіанствѣ или язычествѣ — о торжествѣ элемента древняго образованія надъ варварствомъ германскимъ“. Далѣе идетъ рѣчь объ устройствѣ „марокъ“ на границахъ государства. „Эта часть внутренняго управленія Карла Великаго, безспорно, принадлежитъ къ самымъ любопытнымъ сторонамъ

истории средних вѣковъ. Если (его государство) впоследствии разложилось,—то въ этихъ граняхъ, (установленныхъ „марками“); а за эти границы уже не проникали чуждыя племена, враждебныя германоримской цивилизаціи.

Разнообразіе правъ (различныхъ племенъ, соединенныхъ подъ властью Карла), по всей вѣроятности, заставило Карла Великаго принять императорскій титулъ, и вѣнчаніе его въ Римѣ вовсе не было для него пріятной неожиданностью, а было согласно со всѣми видами его. Послѣ обряда вѣнчанія... онъ беретъ въ отношеніи ко всѣмъ племенамъ титулъ императора, перестаетъ быть кунигомъ отдѣльныхъ племенъ и становится императоромъ германо-римскаго населенія. Онъ оставилъ отдѣльнымъ племенамъ ихъ родовыя права, но сверхъ этого частнаго, родового права развивается право капитулярное, обязательное для всѣхъ жителей имперіи. Вообще, Карлъ думалъ объ окончательномъ соединеніи христіанскихъ земель. (Слѣдуетъ описаніе внутренняго управленія государства). Такимъ образомъ, при разнообразіи національностей, при разнородности правленій, существовало общее законодательство, установлена одна общая система административная, и приняты всѣ мѣры, чтобы дать этому цѣлому единство черезъ миссатиковъ. (Далѣе излагаются „обязанности ленныхъ людей“ и воинская повинность народныхъ общинъ. Наконецъ, Грановскій останавливается на просвѣтительной дѣятельности Карла по отношенію къ духовенству и простому народу, упоминаетъ капитулярій объ учрежденіи школъ, и возвращается къ упреку въ бесплодности этихъ усилій, такъ какъ „10-й вѣкъ былъ едва ли не самымъ варварскимъ“). Надобно взять въ соображеніе всѣ обстоятельства, вслѣдствіе которыхъ произошло это темное столѣтіе въ Европѣ: нападенія норманновъ, венгровъ, съ одной стороны; отсутствіе всякой единящей мысли, всякаго связывающаго начала, которое бы соединило народы европейскіе подъ одни знамена, хотя бы внѣшнія, каковы каролинги. Вся западная Европа распалась на тысячи мелкихъ народовъ и феодальныхъ владѣтелей. Если образованіе, посѣянное Карломъ Великимъ, не погибло окончательно, то этимъ мы обязаны мѣрамъ, имъ принятымъ. Долго огонь теплился подъ пепломъ; въ XI-мъ вѣкѣ онъ вспыхнулъ ярко и принесъ великую пользу, и потому циркуляръ Карла Великаго есть одинъ изъ величайшихъ памятниковъ средней исторіи, и народы западные должны смотрѣть на него съ признательностью“.

Итакъ, военная дѣятельность Карла Великаго остановила племенные передвиженія и окончательно опредѣлила районъ „германо-римской цивилизаціи“; его административная дѣятельность скрѣпила разныя части государства и дала имъ общее право, возвышавшееся надъ „родовыми правами“ отдѣльныхъ національностей; наконецъ, его просвѣтительная дѣятельность положила основы для будущаго развитія просвѣщенія. Таковы итоги правленія Карла, дающіе этому правленію, по мнѣнію Грановскаго, всемірно-историческое значеніе. Въ сущности говоря, въ этихъ итогахъ мы найдемъ много общаго съ тѣми, которые подводитъ Гизо въ отвѣтъ на такія же сомнѣнія, что дѣятель-

ность Карла прошла безслѣдно. Но за виѣшнимъ сходствомъ нельзя забывать коренной внутренней разницы въ томъ, что составляетъ, такъ сказать, нервъ изложенія обоихъ авторовъ. Оба изучаютъ органическій процессъ историческаго развитія; но Гизо ищетъ его въ постепенномъ измѣненіи національных основъ быта, тогда какъ Грановскій находитъ его во всемірно-исторической связи событій. Вотъ почему Грановскій совершенно оставляетъ въ сторонѣ характеристику тѣхъ „родовыхъ правъ“ (т. наз. „варварскихъ правъ“), на которой Гизо описывается, какъ на исходной точкѣ зарождающагося общественнаго строя. И вотъ почему, когда феодальный строй сложился, для Грановскаго онъ является только постороннимъ фактомъ, препятствующимъ осуществленію всемірно-историческихъ идей Карла Великаго, тогда какъ Гизо изъ самаго законодательства Карла старается вывести его окончательное осуществленіе. „Ничто, безъ сомнѣнія, не похоже меньше на феодализмъ, чѣмъ верховное единство, составлявшее предметъ стремленій Карла Великаго; и все же онъ былъ истиннымъ основателемъ феодализма“, говоритъ Гизо. Для Гизо—въ этомъ его прочная заслуга, тогда какъ его личные „стремленія“—это свойственная великимъ людямъ „доля эгоизма и мечты“, осуждаемая исторіей, какъ осудила она претензіи Наполеона на всемірное господство. Такимъ образомъ „честолюбивая мысль, направленная на римскую имперію, на римскую цивилизацію“,—та мысль, которая обща Карлу Великому съ Атаульфомъ, Теодорихомъ и Хлодвигомъ,—эта мысль не была мыслью и потребностью общою и не имѣла шансовъ осуществиться: „сдѣланное имъ для ея осуществленія погубило вмѣстѣ съ нимъ“. Вотъ идеи, діаметрально противоположныя взглядамъ Грановскаго. Для него борьба Карла съ чистыми германцами—есть послѣдняя побѣда Рима и христіанства; для Гизо самое водвореніе каролинговъ есть и окончательная побѣда въ новой формѣ германскаго варварства. Грановскій подчеркиваетъ то обстоятельство, что германская „дружина, утомленная непрерывными походами Карла Мартелла и Пипина, примиренная богатыми наградами, не бунтуетъ, какъ прежде при Меровингахъ, и не противится королевской власти“; Гизо обращаетъ вниманіе на то, что эта дружина, обогащенная землями и усѣвшаяся на мѣстѣ, становится для королевской власти опаснѣе, чѣмъ когда бы то ни было. Все дѣло въ томъ, что Гизо изучаетъ органическій процессъ развитія Франціи, тогда какъ Грановскій слѣдитъ за всемірно-исторической нитью развитія челоуѣчества. Въ этомъ послѣднемъ развитіи органическій процессъ исторіи осуществляется, по Гегелю, путемъ противоположностей,—и къ числу такихъ противоположностей принадлежитъ контрастъ между эпохой

Карла Великаго и послѣдующимъ періодомъ средневѣковой исторіи. „Только что описанное устройство на видъ кажется превосходнымъ; оно обезпечивало твердую военную организацію и заботилось о правосудіи внутри государства. И однако же, по смерти Карла Великаго, оно оказалось совершенно безсильнымъ, неспособнымъ охранить государство ни извнѣ—отъ вторженій норманновъ, венгровъ, арабовъ, ни внутри—отъ всякаго рода безправія, грабежа и насилій. Такимъ образомъ, рядомъ съ превосходнымъ государственнымъ строемъ мы видимъ отвратительное состояніе, противорѣчащее ему во всѣхъ отношеніяхъ. Подобныя созданія исторіи, именно потому, что они такъ внезапно возникаютъ, нуждаются въ усиленіи внутренняго отрицанія самихъ себя: онѣ вызываютъ всевозможныя реакціи, которыя и обнаруживаются въ послѣдующемъ періодѣ“. Эти слова принадлежатъ Гегелю, а не Грановскому; но они какъ нельзя лучше объясняютъ намъ, что заставляло Грановскаго закрывать глаза на предварительную подготовку феодализма. Подобно Гегелю, для него дальнѣйшая исторія—есть время „реакцій“, а необходимость реакціи заключается уже въ томъ самомъ явленіи, которое они отрицаютъ.

Напомнимъ, что Гегель различаетъ послѣ эпохи Карла Великаго три рода реакціи. „Первая реакція—это движеніе отдѣльныхъ національностей противъ франкскаго владычества“. Вторая—это „реакція личности противъ закона и государственной власти“. Третья—реакція духовнаго начала противъ наличной дѣйствительности. Таковы тѣ „абстрактныя противоположности“, по знакомому намъ выраженію Грановскаго, раскрытіе которыхъ должно совершаться въ главной, центральной части средневѣковой исторіи. Къ сожалѣнію, на изложеніе этого отдѣла курса Грановскому оставалась уже только треть времени, употребленнаго имъ на введеніе и на рассказъ о первомъ періодѣ. Поэтому изложеніе становится въ этой части все болѣе сжатымъ. Однако, и отсюда мы можемъ извлечь нѣсколько характерныхъ для Грановскаго страницъ.

Сюда относятся самыя первыя строки слѣдующаго отдѣла, находящіяся въ болѣе чѣмъ вѣроятной связи съ только-что указаннымъ взглядомъ Гегеля.

„По самой личности своей Людовикъ Кроткій не могъ стоять во главѣ зданія, сооруженнаго Карломъ Великимъ... Но были и другія причины, независимыя отъ его личности, которыя должны были привести его государство въ то положеніе, въ какомъ видимъ его при смерти Людовика. Могущественная рука Карлова держала подъ одною властію всѣ племена западной Европы, подчиняла ихъ однообразному законодательству, стараясь надѣлать ихъ одною цивилизаціею, попирая ногами особенности или

національности племень и ихъ требованія. Съ первыхъ годовъ царствованія Людовика начинается реакція отдѣльныхъ народностей противъ исключительнаго владычества франкскаго племени и династїи“.

Указавъ на годъ сверженія Карла Толстаго (887), какъ на моментъ, когда „отдѣльныя національности достигли, наконецъ, своей цѣли, иго франкской династїи вездѣ было сброшено, всюду явились туземныя династїи“,—Грановскій немедленно переходитъ къ отдѣльной исторїи Германїи послѣ 887 года. Доведя въ двухъ лекціяхъ рассказъ до смерти Оттона Великаго (972), онъ замѣчаетъ:

„Отнынѣ исторія германская принимаетъ гораздо большую важность. Нѣмецкіе короли уже не выпускаютъ изъ рукъ титула императора римскаго. Они становятся главами феодальнаго міра... Не должно смѣшивать исторїи имперїи съ исторїей имперскаго народа. Отношенія императора были гораздо обширнѣе отношеній народа имперскаго, и выгоды ихъ совершенно различны. Императоры объявляютъ притязанія на первенство; они хотятъ быть главами феодальнаго міра. Увидимъ послѣ, какія жертвы должны были принести императоры, чтобы достигнуть этого признанія. Германія была чуждою императорамъ; они простирали свои виды на Италію“.

Конечно, не исторія Германїи будетъ занимать Грановскаго въ дальнѣйшемъ изложеніи, а именно исторія международныхъ отношеній императоровъ въ борьбѣ за призракъ всемірной власти. По поводу дѣятельности Генриха III онъ даетъ болѣе точную характеристику этимъ стремленіямъ императоровъ:

„Отнюдь не должно смѣшивать притязаній нѣмецкихъ императоровъ съ цѣлями, которыя преслѣдовали съ XIV вѣка государи европейскаго запада. Эти послѣдніе хотѣли совершенно побороть всѣ элементы средне-вѣковаго общества, феодальнаго правленія. Они руководствовались явною враждой къ средневѣковымъ правиламъ. Напротивъ, императоры нѣмецкіе признавали быть средневѣковой за законную форму общества, но они хотѣли утвердить его на юридическомъ основаніи, дать ему строгую опредѣленность, подчинить его строгимъ, опредѣленнымъ постановленіямъ... Въ феодальномъ мірѣ не было настоящей собственности. Право на собственность исходило изъ высшей (власти). Императоръ раздавалъ королевства, король—герцогства, герцогъ—графства, графъ—баронства и т. д. Каждый получалъ власть свою отъ высшаго. Если бы императоры стали не въ одной только теорїи главами феодальнаго міра, а въ самомъ дѣлѣ (сдѣлались) владыками,—то они прїобрѣли бы такое могущество, какого исторія не представляла еще нигдѣ. Самая частная собственность была бы ихъ собственностью. Таковъ былъ фантастическій планъ нѣмецкихъ императоровъ для достиженія верховной власти“.

Эту задачу преслѣдовалъ и Генрихъ III. „Фантастичность“ ея не мѣшаетъ Грановскому дать дѣятельности Генриха слѣдующую оцѣнку:

„Можетъ быть, изъ всѣхъ нѣмецкихъ государей“, говоритъ Грановскій, „никогда германцы не гордились такимъ великимъ властителемъ, ни одинъ

не напоминалъ такъ личности Карла Великаго, какъ Генрихъ III. У него были планы великихъ реформъ въ государствѣ и церкви "... Церковь, пришедшая въ слишкомъ тѣсную связь съ феодальнымъ міромъ, забыла свое назначеніе. Генрихъ хотѣлъ преобразовать ее... Григорій VII въ этомъ отношеніи является только послѣдователемъ идей Генриха III... Генрихъ III думалъ очистить церковь отъ вкравшихся въ нее злоупотребленій — отъ примѣси свѣтской, оторвать ее отъ незаконнаго союза съ міромъ и страстями, но въ то же время думалъ подчинить ее верховной власти императора, какъ главѣ западнаго христіанства. Григорій VII думалъ также объ очищеніи церкви, но хотѣлъ подчинить ее папѣ".

Дойдя до малолѣтства Генриха IV, Грановскій останавливаетъ рассказъ о борьбѣ папъ съ императорами и возвращается къ нему только въ послѣднихъ лекціяхъ сохранившейся части курса. Разсказавши довольно подробно объ обстоятельствахъ малолѣтства Генриха IV, о его борьбѣ съ саксонцами, Грановскій повторяетъ въ болѣе распространенной редакціи выписанную нами характеристику стремленій императорской власти <sup>1)</sup>. „Относительно церкви“, по его замѣчанію, „императоры становились въ положеніе Константина Великаго, защитника, покровителя церкви, *advocatus ecclesiae*, распространителя христіанства. Церковь же разумѣла подъ этимъ названіемъ только свѣтскаго сановника, котораго она облекла властью—управлять ея собственностью и дѣлами, удерживая за собою право отнять (эту власть)“. На характеристикѣ дѣятельности Гильдебранда, до назначенія его папой, курсъ обрывается.

## VI.

Длинное отступленіе, перервавшее нить разсказа Грановскаго, начинается „Исторіей скандинавскаго полуострова“. Несомнѣнно, Грановскій придавалъ этому отдѣлу значеніе въ общемъ курсѣ; въ началѣ лекцій онъ упрекаетъ Лео, что тотъ „отбросилъ скандинавскій сѣверъ на самый конецъ своей книги, ибо не нашелъ для него мѣста въ серединѣ“. Что же интересуетъ его въ этой исторіи? „Самая исторія скандинавская“, —такъ начинается Грановскій этотъ отдѣлъ, „для насъ не можетъ

<sup>1)</sup> Вотъ нѣсколько строкъ въ дополненіе къ нашей цитатѣ: „императоры были еще сыны средняго вѣка; воспитанные въ его преданіяхъ, они хотѣли только подчинить твердымъ законамъ феодальную общину и церковь, опредѣлить ихъ отношенія, положить конецъ безобразной анархіи; они хотѣли стать во главѣ феодальной общины, какъ вершина, отъ коей истекаютъ всѣ прочія власти. Есть любопытное свидѣтельство, какъ понимали это современники (описаніе турнира Рената Анжуйскаго). Въ этой рукописи сказано, что императоръ раздастъ королевства, король“ etc...



имѣть большаго значенія; но должно короче познакомиться съ ея источниками“. Далѣе онъ указываетъ, что съ этимъ „связаны многіе вопросы отечественной исторіи, напримѣръ, вѣчный вопросъ о происхожденіи варяговъ“. Намъ, кажется, однако, что это соображеніе не было для Грановскаго ни единственнымъ, ни даже самымъ главнымъ. Вѣрнѣе предположить, что главную роль играло тутъ то поэтическое достоинство скандинавскихъ преданій, которое побудило его выбрать эту тему и для одной изъ своихъ печатныхъ статей. „Въ сумрачномъ мірѣ скандинавской поэзіи“, говоритъ Грановскій въ статьѣ о „пѣсняхъ Эдды“, „мы встрѣтимъ образы, дивно отмѣченные трагической красотой страданія, носящіе въ себѣ такой избытокъ силъ и скорби, что ихъ можно принять за могучихъ прадѣдовъ выродившагося и слабодушнаго страдальца, который сдѣлался типическимъ героемъ новыхъ европейскихъ литературъ“. Это духовное родство приковывало симпатіи Грановскаго къ древнимъ скандинавскимъ мѣамъ и пѣснямъ. „Въ большей части религіозныхъ пѣсней Скандинавіи“, говорится въ лекціяхъ, „высказывается предчувствіе трагическаго конца..., именно, гибели всѣхъ живыхъ, кторой не избѣжить и Одинъ и Азы. Пророчица поетъ имъ пѣснь о будущей гибели ихъ; они не вѣчные боги: Одинъ самъ въ видѣ ворона предрекаетъ судьбу своего рода. Наконецъ, въ скандинавской мѣологіи говорится еще о какомъ-то неназываемомъ началѣ, которое стоитъ выше боговъ и людей, которому подчинены и тѣ и другіе. Изъ этого воззрѣнія на всю жизнь выходитъ главный результатъ—трагическій конецъ, которымъ наполнены всѣ историческіе и религіозные памятники скандинавовъ. Отсюда происходитъ страшная отвага, съ которою скандинавскіе герои вызываютъ смертныхъ и боговъ..., у нихъ безпрестанно срывается съ устъ упрекъ богамъ, что они не безсмертны, а смертны, какъ люди. Это сообщаетъ мѣологіи скандинавской неизъяснимо поэтическій характеръ“ <sup>1)</sup>.

Вотъ что заставило Грановскаго вооружиться Дальманомъ и познакомить своихъ слушателей съ результатами его изслѣдованій объ источникахъ скандинавской исторіи. Этому предмету, а также краткой исторіи Даніи, Швеціи и Норвегіи въ древнѣйшій періодъ посвящено больше трехъ лекцій. Затѣмъ, въ одной лекціи Грановскій излагаетъ набѣги норманновъ на Францію, съ попутной характеристикой ея состоянія за полтора вѣка, и завоеваніе Англіи норманнами. Далѣе на характеристику феодализма, развитія городовъ и состоянія церкви уделено столько же мѣста, сколько на исторію скандинавскихъ государствъ.

---

<sup>1)</sup> Ср. текстъ печатной статьи.

Естественно, что на такомъ небольшомъ пространствѣ Грановскому удается дать только самый общій очеркъ главныхъ особенностей средне-вѣковаго строя.

Лекція о феодализмѣ начинается съ указанія на жизненность феодальнаго начала. „Этотъ вопросъ“, замѣчаетъ Грановскій, „еще доселѣ не причисленъ къ тѣмъ историческимъ вопросамъ, которые имѣютъ для насъ только ученое значеніе. Еще доселѣ европейское общество борется противъ остатковъ феодальнаго быта, хочетъ очистить отъ него совершенно свою почву“. Указавъ затѣмъ нѣкоторыя сочиненія защитниковъ феодализма (Boulainvilliers, Корнваль и Боркъ), Грановскій продолжаетъ: „окончательный приговоръ феодальной эпохѣ принадлежитъ собственно нашему времени. Историческіе труды послѣднихъ десятилѣтій показали феодализмъ въ настоящемъ видѣ его. Самое лучшее сочиненіе находится у французовъ въ курсѣ Гизо... Можно не соглашаться съ нимъ въ нѣкоторыхъ частностяхъ, но вообще это полная, живая картина“.

На Гизо и основывается дальнѣйшее изложеніе Грановскаго; но и тутъ онъ вноситъ свои оттѣнки пониманія, характеризующіе его симпатіи и напоминающіе о его нѣмецкихъ источникахъ. Резюмируя взглядъ Гизо на происхожденіе феодализма, онъ припоминаетъ и идеи, усвоенныя изъ Эйхгорна. „Отношенія между господиномъ и рабами его“ онъ характеризуетъ какъ „самое ужасное насиліе“. Конечно, и Гизо показываетъ, какъ тяжело было положеніе крѣпостныхъ и какъ оно ухудшилось къ X вѣку. Но онъ старательно подчеркиваетъ, что крѣпостной былъ не рабъ, что положеніе его хотя и тяжелое, было определено закономъ, и что изъ жалкихъ обломковъ этого правового положенія, уцѣлѣвшихъ къ X вѣку, выросъ въ XIV вѣкѣ такой указъ, подобнаго которому „не рѣшился бы публиковать въ Россіи императоръ Александръ I“. Русскій профессоръ сороковыхъ годовъ не могъ не сгустить невольно красокъ, говоря о положеніи крѣпостныхъ; иначе этотъ профессоръ не былъ бы Грановскимъ.

„Одно уже различіе народностей, замѣчаетъ онъ, (имѣло большое значеніе). Господинъ былъ германецъ, пришелецъ, завоеватель; подданные большею частью — остатки римскаго населенія. Въ одеждѣ, въ привычкахъ, въ понятіяхъ — во всемъ лежало различіе. Права господина относительно рабовъ его не были определены закономъ въ X—XI вѣкѣ. Онъ имѣлъ право жизни и смерти, бралъ съ нихъ денежныя и другія подати, на нихъ падала вся тягость феодальныхъ войнъ, войнъ непрерывныхъ. Словомъ, это былъ деспотизмъ самый тяжелый и безотрадный. Въ Германіи феодализмъ никогда не былъ такъ тяжелъ, какъ во Франціи Тамъ не было сначала различія національностей, оно (?) было умягчаемо

патріархальными отношеніями. — Этимъ объясняется глубокая ненависть къ феодальнымъ учрежденіямъ, которая донинѣ видна во Франціи у простолюдиновъ, не понимающихъ историческаго значенія феодализма, потерявшихъ даже преданіе о немъ. — Это была самая бѣдственная эпоха. При каждомъ замкѣ были еще подземелья — господскія тюрьмы; туда бросали людей безъ суда и приговора, по мановенію господина. Такихъ господскихъ тюремъ въ XIV вѣкѣ въ одной Франціи было до 100.000. Отсюда можно себѣ составить понятіе о значительномъ населеніи этихъ темницъ. Онѣ рѣдко бывали пустыми. Посредникомъ между феодальнымъ властителемъ и деревней могъ быть только священникъ, бывшій при сельской церкви. Но въ X вѣкѣ этотъ священникъ самъ немногимъ отличался отъ поселянъ, и обращеніе съ нимъ феодальнаго владѣтеля было такъ же сурово и грубо, какъ и съ остальными поселянами. Изъ этой неограниченной власти одного лица надъ стадомъ людей — такое названіе по справедливости заслуживаютъ рабы феодальные (порядокъ вещей, который нигдѣ болѣе не повторяется съ такою ужасною силою, какъ въ X—XI вѣкѣ) — развилось (какое-то насмѣшливое, своевольное, въ высшей степени оскорбляющее нравственное чувство — отношеніе господина къ рабамъ (слѣдуетъ переченъ унижительныхъ повинностей крѣпостныхъ)... Во всемъ этомъ выражается своеволие частной прихоти, презрѣніе къ человѣчеству. Уже впоследствии, когда церковь, которая во всей средней исторіи играетъ высокую роль образовательницы и умирительницы этихъ дикихъ, грубыхъ побужденій, — когда она приобрѣла больше вліянія, когда уроки ея проникли и въ феодальные замки, отношенія нѣсколько смягчились“.

Такимъ образомъ, не „сила права“, на которую ссылается Гизо, а сила религіи улучшила мало-по-малу положеніе крѣпостныхъ. Точно такой же оттѣнокъ вноситъ Грановскій и въ характеристику взаимныхъ отношеній между вассалами. Для Гизо феодализмъ не есть анархія, а нѣкоторый опредѣленный общественный порядокъ, котораго правовыя основы онъ старается выяснить. Для него и взаимныя отношенія вассаловъ регламентируются извѣстными принципами „феодальной юрисдикціи“ — раньше чѣмъ ихъ начинаетъ регулировать правительство и церковь. Грановскій совсѣмъ не останавливается на институтѣ „суда перовъ“ и на феодальной регламентаціи частныхъ войнъ. Указавши, что феодаламъ „собственно не было дѣла другъ до друга“, и замѣтивъ, что, однако же, „надобно было какимъ-нибудь закономъ опредѣлить ихъ отношенія, положить конецъ этому важному самоуправству, этой анархіи“, — онъ непосредственно затѣмъ говоритъ: „Свѣтская власть до X вѣка была безсильна обуздать феодальныхъ владѣтелей и подчинить ихъ закону. Церковь приняла на себя этотъ трудъ“.

Зато тѣмъ ярче выдѣляется на этомъ фонѣ безправія учрежденіе, привлекающее особыя симпатіи Грановскаго, — именно средневѣковое рыцарство. У Гизо, который не видитъ въ феодализмъ безправія, —

институтъ рыцарства сливается съ самымъ фономъ породившей его жизни. Опровергая мнѣніе, будто рыцарство есть учрежденіе, вновь появившееся въ разгаръ среднихъ вѣковъ, Гизо подчеркиваетъ его происхожденіе изъ самыхъ условий феодальнаго быта и только на готовое уже учрежденіе допускаетъ дальнѣйшее вліяніе церкви. У Грановскаго рыцарство—принципіально отвергаетъ тотъ строй, среди котораго оно дѣйствуетъ. Описавши феодальныя отношенія, онъ слѣдующимъ образомъ переходитъ къ характеристикѣ рыцарства:

„Но это феодальное общество въ XI вѣкѣ принесло благороднѣйшій цвѣтъ свой — рыцарство. О происхожденіи рыцарства есть много мнѣній. Одни думаютъ, что оно возникло въ южной Европѣ отъ столкновенія европейскихъ и азіатскихъ элементовъ. Другіе полагаютъ въ немъ родъ полиціи среднихъ вѣковъ. Конечно, принимая полицію въ благороднѣйшемъ значеніи ея, — оно дѣйствительно могло быть такъ названо. Теорія рыцарства произошла не отъ свѣтской власти. Главное вліяніе на развитіе рыцарства имѣла западная церковь. Вездѣ это великое, благородное учрежденіе старалось воспользоваться всѣми средствами, чтобы смягчить жестокой бытъ феодальный... рыцарствомъ такъ же, какъ Божиимъ миромъ, смягчило оно самый феодализмъ“.

Затѣмъ разсматривая обрядъ посвященія въ рыцаря, Грановскій дѣлаетъ слѣдующую оцѣнку рыцарства.

„Безъ сомнѣнія, рыцарство приняло много грубыхъ феодальныхъ элементовъ. Очень рѣдко рыцарскій характеръ соответствовалъ идеалу, который церковь ставила рыцарямъ цѣлю. Но, тѣмъ не менѣе, оно было учрежденіе благородное и прекрасное. Вся жизнь рыцаря должна была быть посвящена защитѣ церкви, благородной ревности къ войнѣ и турнирамъ. Рыцарь былъ изъятъ изъ ежедневныхъ унижающихъ человѣка прозаическихъ подробностей въ своихъ занятіяхъ. Рыцарство образовало въ Европѣ большую республику, которой члены соединены были братствомъ, не смотря на различіе національностей. Изъ трехъ главныхъ элементовъ сложилась рыцарская нравственность (всякій вѣкъ имѣетъ свои понятія о нравственности; то, что древній міръ называлъ нравственнымъ, — то перестало быть нравственнымъ для среднихъ вѣковъ, и нравственность среднихъ вѣковъ перестала быть ею для насъ); эти элементы были: честь, вѣрность и любовь. Въ этихъ элементахъ есть много произвольнаго; личная прихоть не могла быть никогда отстранена отъ феодальнаго общества: это лежало въ основаніи феодальнаго характера. Но эта прихоть была облагорожена. Въ чувствѣ чести обнаруживается могущественное сознаніе личнаго человѣческаго достоинства. Конечно, это личное достоинство человѣческое сначала сознаваемо было только въ феодальныхъ баронахъ; прочіе классы не имѣли права на это чувство. Но дѣло въ томъ, что отъ феодальныхъ бароновъ это чувство гордой личности въ послѣдствіи перешло и на прочіе классы. Понятіе чести есть понятіе отвлеченное. Здѣсь нѣтъ закона, который бы источалъ опредѣленіе этого понятія и опредѣлялъ вытекающія изъ него требованія, — особенно во время рыцарства, гдѣ честь состояла въ достиженіи цѣлей прихотливыхъ, свое-

нравныхъ. Такого же рода прихотливымъ чувствомъ была вѣрность господину. Это была вѣрность лицу, а не вѣрность мысли, идеѣ <sup>1)</sup>. Наконецъ, то же можно сказать и о чувствѣ любви... Это не была любовь настоящая, прямая, которая лежитъ въ основаніи семейнаго счастья. Это была любовь фантастическая <sup>2)</sup>. Напротивъ, рыцарь никогда не оказывалъ уваженія собственной женѣ. Изъ этого легко понять, почему весь бытъ рыцарскаго общества принялъ своенравный характеръ. Онъ поражаетъ насъ странными явленіями, принадлежащими къ этому времени и выражающими совершенно характеръ среднихъ вѣковъ“.

Дѣйствительно, стоитъ только сравнить эту характеристику рыцарства съ опредѣленіемъ среднихъ вѣковъ, сдѣланнымъ въ началѣ курса, чтобы заключить, что въ этомъ учрежденіи Грановскій долженъ былъ видѣть, такъ сказать, квинтэссенцію среднихъ вѣковъ,—самое яркое выраженіе развивающагося въ этомъ періодѣ внутренняго противорѣчія,—противорѣчія „абсолютнаго“ духа, не узнающаго себя въ чуждой ему оболочкѣ и остающагося поэтому „абстрактнымъ“, за неимѣніемъ „конкретной“ формы для своего полного выраженія. Равняться съ рыцарствомъ въ этомъ смыслѣ могутъ развѣ только неразрывно связанные съ нимъ крестовые походы, этотъ „кульминаціонный пунктъ среднихъ вѣковъ“, по выраженію Гегеля. Мы сейчасъ увидимъ, что въ оцѣнкѣ крестовыхъ походовъ у Грановскаго возвращается та же основная идея, облеченная въ ту же терминологию. Къ этому отдѣлу мы и переходимъ прямо, такъ какъ ни черезчуръ сжатая характеристика городовъ и церкви, ни фактический рассказъ о Византіи и Исламѣ—почти не представляютъ такихъ чертъ, которыя было бы важно отмѣтить <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Ср. *Hegel*, IX, 449. „Die Treue des Vassallen ist nicht eine Pflicht gegen das Allgemeine, sondern eine Privatverpflichtung, welche ebenso der Zufälligkeit, Willkür und Gewaltthat anheimgestellt ist“.

<sup>2)</sup> Выраженіе „фантастическое направленіе среднихъ вѣковъ“ встрѣчается еще въ отдѣлѣ о городахъ, гдѣ оно противопоставлено „здравому смыслу, разсудку“, преобладавшему у горожанъ.

<sup>3)</sup> Отмѣтимъ только различіе (по Гизо) между понятіемъ „городской общины“ и „средняго сословія“. „Конечно, въ общинѣ заключается зародышъ и средняго сословія, но онъ долженъ былъ развиваться, выйти изъ своей ограниченности, чтобы образовать классъ, въ рукахъ котораго находится судьба западной Европы въ наше время“. Интересно также замѣчаніе Грановскаго о значеніи религіи для Византіи. „Несмотря на всю порчу византійской жизни, въ ней былъ могущественный элементъ—богословскіе споры. Здѣсь, такъ сказать, подданные Византіи нашли нравственную опору. Гиббонъ и историки XV<sup>III</sup> вѣка смѣялись надъ участіемъ народа въ богословскихъ спорахъ. Но оно имѣетъ высокое значеніе. Оно сообщило Византійской исторіи высокій характеръ; оно возстановило нравственность; до VIII вѣка оно держало Византію

„Мы видѣли“—такъ начинается Грановскій свое повѣствованіе о крестовыхъ походахъ,—„что въ каждомъ классѣ тогдашняго общества существовало тайное желаніе, которое не было удовлетворено европейскимъ порядкомъ вещей. Каждое сословіе стремилось къ исключительному преобладанію. Феодализмъ не признавалъ церкви и общины, которая въ свою очередь не признавала феодализма; а церковь хотѣла подчинить себѣ и феодализмъ, и общину... Въ концѣ XI вѣка вездѣ замѣчаемъ какое-то неудовлетвореніе существующими формами и надежду на ихъ перемѣну... На мѣстѣ, въ Европѣ весь западный порядокъ вещей основался на историческомъ основаніи, котораго нельзя было уничтожить. Предпримчивымъ и смѣлымъ умамъ XI вѣка открылась на новомъ мѣстѣ перспектива великой будущности. Ихъ вели въ землю, гдѣ можно было разсчитывать удовлетворить самыя разнообразныя стремленія... Не было ни одного класса, который бы съ религіозными цѣлями (похода въ Палестину) не соединялъ еще тайной цѣли, затаенной въ душѣ его. Феодальные бароны надѣялись основать порядокъ вещей, ничѣмъ не стѣсненный. Духовенство хотѣло создать еократическую общину, не стѣсненную императорскою властью. Общины надѣялись основать свободные города, безъ притѣсненій феодальныхъ владѣтелей. Всѣ эти надежды не сбылись... Въ (Іерусалимскихъ ассизахъ) феодализмъ пытался устроиться во всей своей чистотѣ, отвлекаясь отъ примѣси, которая возникла на европейской почвѣ. Эта

на высокой чредѣ между государствами европейскими. Въ VIII столѣтіи (т. е. во время иконоборчества) византійская церковь удалилась сама въ себя, отреклась отъ государства, не умѣвшаго понять ее; она берегла дары и обѣтованія свои для лучшаго времени“. Съ этихъ поръ „государство развращенное, лишенное энергіи... держится только благопріятнымъ стеченіемъ обстоятельствъ и остатками цивилизаціи древняго міра, благодаря славянамъ, которые кровію своею отстаивали его существованіе“. Образованность византійской аристократіи была „холодная, равнодушная, эгоистическая; она не произвела никакихъ великихъ явленій“. „Отличительный характеръ ея—изящество формъ... и совершенное равнодушіе ко всѣмъ высокимъ интересамъ человѣчества“.

„Этимъ объясняется бесплодность науки“. Съ другой стороны, лучшія и благороднѣйшія силы народа уходятъ въ византійскую церковь; „въ отторженіи отъ государства“, церковь „принимаетъ характеръ аскетическій; вмѣстѣ съ государствомъ отвергаетъ науки и начинаетъ заниматься богословіемъ, которому дѣлаетъ великія услуги“. Приведемъ еще мѣсто, относящееся къ исторіи египетскаго калифата. „Египетъ былъ мѣстомъ, гдѣ образовались странные, чудовищные расколы и ученія восточныя. Въ Каирѣ былъ т. наз. домъ мудрости, высшее учебное заведеніе, Академія всего магометанскаго востока. Учащіеся были раздѣлены на 9 степеней. Въ первой степени имъ читали только Коранъ и объясненія на него. Далѣе, проходя отъ степени къ степени, ихъ учили совершенному равнодушію къ религіи. Въ цѣлой всемірной исторіи едва-ли найдемъ такой примѣръ. Калифы сами стоятъ во главѣ этого заведенія—зрѣлище чудовищное. Верховная власть проповѣдуетъ атеизмъ. Всю нравственность этихъ ученій можно сжать въ слѣдующую формулу: нѣтъ ничего истиннаго и обязательнаго для человѣка. Эти ученія развиты до послѣдней крайности своей „ассасинами“.

попытка возстановить феодализмъ во всей его абстрактности на новой землѣ... оказалась неудачной... Обязанности каждаго барона... и ленниковъ были строго опредѣлены въ Assises de Jérusalem, но были исполняемы довольно небрежно... Итальянскіе города получили въ каждомъ приморскомъ городѣ старинныя права, которыя нарушали единство государства и мѣшали идти строгому порядку... Отъ этого происходила чрезвычайная пестрота законовъ, властей, подсудности... Такимъ образомъ, то государство, въ которомъ надѣялись осуществить всѣ идеалы общественности въ ихъ совершенной абстрактности,—представило эти идеалы въ ихъ разложениі. Здѣсь въ первый разъ они оказались недостаточными для образованія полнаго, цвѣтущаго государства... Идеи, которыя западное человѣчество хотѣло осуществить во время крестовыхъ походовъ на землѣ Палестинской, не сбылись. Онѣ не сбылись и въ современной Европѣ, гдѣ въ это время между императоромъ и папою завязался тотъ же вопросъ <sup>1)</sup>. Такимъ образомъ, средневѣковыя формы оказались несостоятельными, недостаточными для жизни... Словомъ, видимъ, что жизнь среднихъ вѣковъ кончается, что XIV и XV вѣка суть уже не настоящій средній вѣкъ, а замираніе его и переходъ къ другимъ формамъ“.

Таковъ ходъ идей Грановскаго, настолько занимавшій его мысль, что именно этотъ отрывокъ своихъ лекцій онъ записалъ самъ, въ редакціи довольно близкой къ нашей студенческой записи <sup>2)</sup>. Въ основѣ своей эти идеи, опять-таки, не составляютъ собственности Грановскаго: это можно видѣть, сличивъ ихъ съ соотвѣтствующимъ отрывкомъ изъ Лео. Но нельзя не замѣтить, что изъ идей Лео Грановскій дѣлаетъ такое употребленіе, при которомъ онѣ становятся очень похожи на страницу изъ „Философіи исторіи“ Гегеля. Этотъ „періодъ стремленій къ идеаламъ“, какъ называетъ Грановскій время крестовыхъ походовъ въ печатномъ отрывкѣ, — опять характеризуется здѣсь, какъ время борьбы „абстрактныхъ противоположностей“.

<sup>1)</sup> Отдѣлъ о борьбѣ императоровъ съ папами начинается фразой: „тѣ же идеи, какія западные народы хотѣли осуществить въ Палестинѣ, были двигателями и западной европейской исторіи этого времени. Въ борьбѣ императорской и папской власти мы видимъ два идеала общественности, изъ коихъ каждый хочетъ осуществиться насчетъ другого, и оба равно безсильны“.

<sup>2)</sup> Отрывокъ „о крестовыхъ походахъ“ напечатанъ въ 3-мъ изданіи Сочиненій Грановскаго ч. II, стр. 430—432. Приводимъ, для сличенія съ текстомъ студенческой записи, еще мѣсто, стоящее въ курсѣ передъ послѣдней фразой. „Въ началѣ XIV вѣка вышло... сочиненіе *Decreta fidelium crucis* Марино Сануто, венеціанца. Онъ говоритъ о необходимости новаго похода, но предлагаетъ для этого совершенно новыя средства, отличныя отъ тѣхъ, которыя предлагалъ Людовикъ, считавшій Египетъ ключомъ завоеванія Палестины. Онъ, напротивъ, совѣтуетъ прибѣгнуть къ строгой блокадѣ, оставить въ сторонѣ религиозныя вопросы и смотрѣть на это только съ точки зрѣнія торговой. Эти книги (въ курсѣ говорится еще о другой подобной) — суть всемірноисторическій фактъ. Въ XI вѣкѣ онѣ были бы невозможны“.

## VII.

Мы дошли теперь до конца университетскаго курса Грановскаго. Надѣмся, что читатель не посѣтуетъ на насъ за большое количество выписокъ. Представить эти выписки, въ ожиданіи пока найдено будетъ нужнымъ напечатать полный текстъ лекцій Грановскаго, — составляло главную задачу настоящей статьи. Наши собственные замѣчанія должны служить лишь посильнымъ комментариемъ къ цитатамъ Грановскаго. Цитаты эти говорятъ, конечно, сами за себя; но чтобы исполнить до конца обязанности комментатора, мы попробуемъ подвести теперь итогъ тому впечатлѣнію, которое можетъ получиться изъ сопоставленія всѣхъ сдѣланныхъ нами выписокъ. Впечатлѣніе это, какъ намъ кажется, содержитъ и кое-что новое сравнительно съ тѣмъ, что мы до сихъ поръ знали о Грановскомъ, какъ объ историкѣ. Исслѣдователи, занимавшіеся этимъ вопросомъ, судили обыкновенно о научномъ направленіи Грановскаго главнымъ образомъ по его отзывамъ о современныхъ Грановскому теченіяхъ исторической мысли <sup>1)</sup>. Такъ какъ Грановскій, конечно, всѣ ихъ зналъ — и въ каждомъ находилъ долю истины, — то сопоставленіе его сужденій о нихъ свидѣтельствовало о его многосторонности и о его свободѣ отъ увлеченій какою-либо *одною* школой. Однако же, этотъ способъ наблюденія имѣлъ, какъ намъ кажется, и свои неудобства. Съ его помощью можно было очень хорошо *перечислить* различныя вліянія на Грановскаго; но не было никакой возможности *взвѣсить*, съ какой степенью силы дѣйствовало на него то или другое вліяніе. Въ результатъ, легко могло получиться впечатлѣніе о Грановскомъ, какъ о какомъ-то блѣдномъ эклектикѣ, вѣчно хлопотавшемъ о томъ, чтобы удержаться на разумной серединѣ. Нечего и говорить, что такое впечатлѣніе, — котораго, вѣроятно, не имѣли и въ виду означенныя сопоставленія, — далеко не соответствуетъ дѣйствительности <sup>2)</sup>. Эту дѣйствительность университетскій курсъ Грановскаго даетъ намъ возможность гораздо лучше установить, чѣмъ его печатныя сочиненія. Итакъ, попробуемъ опредѣлить, какимъ представляется Грановскій не въ своихъ общихъ сужденіяхъ объ исторіи, а въ собственной исторической работѣ.

<sup>1)</sup> На этомъ основана характеристика проф. П. Г. Виноградова („Русская Мысль“, 1893, перепечатана въ „Сборникъ въ пользу воскресныхъ школъ“).

<sup>2)</sup> „Это низшая, поверхностная система философская“, выражается Грановскій объ эклектизмѣ Кузена, по поводу его похвалъ неоплатоникамъ за эклектическое направленіе („*oberflächliches Aggregat*“, характеризуетъ Гегель этотъ видъ эклектизма по тому же поводу. Ср. тутъ же замѣчаніе Гегеля о французахъ, для которыхъ „*système* значитъ односторонность“).



Прежде всего мы видѣли въ ней могущественное вліяніе философской системы, окрасившей своимъ цвѣтомъ не одно десятилѣтіе европейской мысли. Для Грановскаго эта система была не очередной европейской новинкой, изъ которой слѣдовало взять долю истины и отбросить долю ошибки. Она была для него первымъ сильнымъ впечатлѣніемъ, которымъ встрѣтила его Европа; и это впечатлѣніе легло для него въ основу всѣхъ собственныхъ построеній его мысли. Тѣ изслѣдователи, которые говорили, что Грановскій не подчинялся „односторонности“ Гегелевской системы или отдѣлялся отъ ея „крайностей“ впоследствии, и которые въ доказательство этого приводили возраженія Грановскаго противъ историческаго фатализма, противъ отрицанія роли личности и великихъ людей, наконецъ, противъ насильственнаго схематизированія историческихъ фактовъ,—эти изслѣдователи недостаточно оцѣнили, какъ мнѣ кажется, значеніе гегелевской философіи. Едва ли бы она могла имѣть такую прочную и такую продолжительную власть надъ умами современниковъ, если бы она не сумѣла разрѣшить по своему такихъ основныхъ вопросовъ исторической мысли, какъ только что перечисленные. Развѣ самъ Гегель не утверждалъ, что „мы должны брать исторію, какъ она есть: мы должны дѣйствовать эмпирически и не увлекаться примѣромъ спеціалистовъ историковъ, особенно нѣмецкихъ, которые авторитетно дѣлаютъ то, въ чемъ сами упрекаютъ философовъ,—именно вносятъ въ исторію апріорные вымыслы“? Развѣ Гегель не говорилъ также, что во всемірной исторіи мы не должны путаться въ мелочахъ, объясняя вмѣшательствомъ провидѣнія всякую случайность, такъ какъ „въ ней мы имѣемъ дѣло съ цѣлыми народами въ качествѣ индивидуумовъ, съ цѣлыми государствами въ качествѣ изучаемыхъ единицъ; мы не можемъ, слѣдовательно, останавливаться, такъ сказать, на мелочныхъ счетахъ вѣры въ провидѣніе, но не можемъ также ограничиваться и простой, отвлеченной вѣрой въ то, что существуетъ вообще провидѣніе, не разбирая въ чемъ именно оно проявляется“. И прилагая, съ этой точки зрѣнія, къ объясненію исторіи свое понятіе о *развитіи* (какъ о стремленіи духа къ сознанію своей свободы),—развѣ Гегель не подчеркивалъ настойчиво, что „развитіе не есть мирный и безпрепятственный процессъ, вродѣ тѣхъ, какіе происходятъ въ органическомъ мірѣ; напротивъ это упорная борьба“;—что „существуютъ во всемірной исторіи цѣлые обширные періоды, несколько не подвигающіе впередъ развитія, даже уничтожающіе всѣ великія приобрѣтенія культуры, такъ что послѣ нихъ, къ несчастью, все приходится начинать сызнова, чтобы, воспользовавшись обломками утраченныхъ сокровищъ, съ новой безмѣрной потерей времени и силъ,

путемъ новыхъ страданій и преступленій довести развитіе до такой точки, которая давно когда-то была уже достигнута“. Наконецъ, смотря на конкретный ходъ исторіи, какъ на результатъ человѣческихъ страстей и усилій, развѣ не утверждалъ Гегель, что „безъ страсти не совершено ничего великаго въ мірѣ“, развѣ не издѣвался онъ надъ „психологическими лакеями исторіографіи“, отъ которыхъ плохо достается великимъ людямъ, изучаемымъ ими съ точки зрѣнія мелкихъ минутныхъ интересовъ и житейскихъ подробностей, развѣ не уподоблялъ онъ такихъ развѣнчивателей „гомеровскому Терситу, хулителю царей,—безсмертной фигурѣ всѣхъ временъ“? Если Гегель считалъ великихъ людей орудіями всемірнаго духа, то это не только не значило, что онъ оставлялъ за ними лишь „подчиненное значеніе“, а напротивъ: онъ выдвигалъ ихъ, какъ носителей наивысшей свободы, какъ гениальныхъ протестантовъ противъ существующихъ формъ во имя зарождающихся. Такимъ образомъ, когда, напр., Грановскій говоритъ, что массы „косятъ подъ тяжестью историческихъ и естественныхъ опредѣленій, отъ которыхъ освобождается мыслью только отдѣльная человѣческая личность“, и что „въ этомъ разложеніи массъ мыслью заключается процессъ исторіи“, то онъ не только не отказывается этимъ отъ Гегеля и не устанавливаетъ никакихъ новыхъ принциповъ ученія о личности, а напротивъ, буквально повторяетъ Гегеля <sup>1)</sup>. Ставши на эту точку зрѣнія, мы не будемъ искать противорѣчій и въ другихъ взглядахъ Грановскаго, повидимому несомѣстимыхъ, напр., въ его понятіи о „законѣ“, который является у него и „нравственнымъ“ въ смыслѣ „конечной цѣли человѣчества“, — и научнымъ — въ смыслѣ

<sup>1)</sup> Напр., Werke, IX, 37—39. „(die grossen Menschen) waren denkende, die Einsicht hatten von dem, was Noth und was an der Zeit ist... Sie sind darum als die Einsichtigen anzuerkennen; ihre Handlungen, ihre Reden sind das Beste der Zeit... Was sie von Anderen erfahren hätten an wohlgemeinten Absichten und Rathschlägen, das wäre vielmehr das Bornirtere und Schiefere gewesen, denn sie sind die, die es am besten verstanden haben, und von denen es dann vielmehr Alle gelernt und gut gefunden“. Вгляды, съ которыми мы выражаемъ несогласіе въ текстѣ, высказаны всего опредѣленнѣе *Н. И. Карьевымъ* въ его рѣчи „Историческое міросозерцаніе Грановскаго“. СПб. 1896. Авторъ полагаетъ, что Грановскій сперва подчинился фатализму Гегеля, а потомъ протестовалъ противъ него и готовъ былъ создать ту самую теорію борьбы личности и среды, которую исповѣдуетъ проф. Карѣвъ и которая, въ его передачѣ, какъ намъ кажется, лишена цѣльнаго и глубокаго философскаго обоснованія. У Грановскаго это обоснованіе, безъ сомнѣнія, было; но оно, разумѣется не годится для нашего времени. Трудность защиты теоріи проф. Карѣва и состоитъ въ томъ, что отвергая старое міросозерцаніе, она крѣпко держится за его прикладные выводы.

„общихъ правилъ“ „для однообразно повторяющихся случаевъ“. Законмѣрность всемірно-историческаго процесса, въ смыслѣ Гегеля, совпадала съ стремленіемъ человѣчества къ достиженію высшей нравственной цѣли: вотъ почему у Грановскаго, какъ и у Гегеля, „истинное“ и „нравственное“ сливаются вмѣстѣ. Итакъ, въ ограниченности философскаго пониманія, въ предѣлахъ разъ избранной системы, никакъ не рѣшится упрекать Грановскаго тотъ, кто самъ нѣсколько глубже вникнетъ въ связь идей этой системы. Выборъ *содержанія* для историческаго изученія и изложенія цѣликомъ вытекалъ изъ этой связи идей — и Грановскій самъ началъ свой первый курсъ указаніемъ на такую зависимость. „Важно то, что характеризуетъ духъ въ его разнообразныхъ переходахъ“, говорилъ онъ о своемъ „выборѣ фактовъ“. Въ исторіи, какъ „въ человѣческомъ тѣлѣ... душа преимущественно обнаруживается въ *известныхъ* частяхъ“; известные „органы при жизненныхъ отправленіяхъ играютъ главную роль“. Такъ, въ историческомъ разсказѣ первое мѣсто должны занимать „великіе люди, цвѣтъ народа, котораго духъ въ нихъ является въ наибольшей красотѣ; между *событіями*—великіе перевороты, которыми начинаются новые круги развитія <sup>1)</sup>; между *положеніями*—тѣ, въ которыхъ развитіе достигаетъ полноты своей; наконецъ, между *формами*—великія общества, въ которыхъ народная жизнь просторнѣе движется и чище выражается: церковь и государство“ <sup>2)</sup>. Сравнивая эту программу съ изложеннымъ нами курсомъ лекцій, мы не можемъ не придти къ заключенію, что исполненіе,—насколько это, конечно, зависѣло отъ доброй воли Грановскаго,—совершенно соотвѣтствовало программѣ.

Само собою разумѣется, однако же, что одной *системой*, усвоенной въ Германіи, нельзя вполне охарактеризовать научную и преподавательную фізіономію Грановскаго. Раньше, чѣмъ начала дѣйствовать на него западная философія и наука,—личность Грановскаго уже совершенно сложилась; и самая западная наука могла подѣйствовать на него въ той мѣрѣ, въ какой это соотвѣтствовало общему настроенію Грановскаго. Темпераментъ и общій складъ убѣжденій—таковы тѣ черты, которыя дѣлали поклонника Гегеля живымъ

<sup>1)</sup> См. выше замѣчаніе объ эволюціяхъ и революціяхъ: также въ отрывкѣ изъ его лекцій о „переходныхъ эпохахъ“ (1849) „меня влекла къ нимъ не одна трагическая красота, въ которую онъ облечены,—а желаніе услышать послѣднее слово всякаго отходившаго, начальную мысль зарождающагося порядка вещей. Мнѣ казалось, что только здѣсь возможно опытному уху подслушать таинственный ростъ исторіи, поймать ее на творческомъ дѣлѣ“.

<sup>2)</sup> Известно, что церковь и государство есть высшія формы проявленія духа въ исторіи по Гегелю.

человѣкомъ на кафедрѣ. „Люби исторію, какъ поэзію“, писалъ Грановскому Станкевичъ въ Берлинъ,—„прежде нежели ты свяжешь ее съ идеей“. Этотъ совѣтъ скорѣе можно принять за утвержденіе того, что было въ дѣйствительности—и что навсегда осталось у Грановскаго. Дѣйствительно, „поэзію“ въ исторіи онъ всегда любилъ независимо отъ философскаго смысла исторіи. Принимается ли онъ за Тацита,—мы получаемъ признаніе: „я хотѣлъ было дѣлать изъ него выписки, читать, какъ историка,—и не сдѣлалъ ничего, потому что читалъ какъ поэта“. Приходитъ ли онъ въ восторгъ отъ лекцій Ранке,—это потому, что его очаровываютъ „его свѣтлые, живые, поэтическіе взгляды на науку“. Хочетъ ли онъ похвалить Нибура,—это не его критическій анализъ, не хваленая историческая критика вызываетъ сочувствіе Грановскаго; совсѣмъ нѣтъ: вмѣстѣ съ Гегелемъ онъ отводитъ осторожную работу надъ возстановленіемъ фактовъ въ преддверіе исторіи. Въ Нибурѣ же Грановскій цѣнитъ смѣлый синтезъ, на какой даетъ право историку его знаніе жизни; въ его воззрѣніи на исторію Грановскій видитъ „поэзію“. Мы видѣли, какъ въ университетскомъ курсѣ Грановскій выпускаетъ изъ рукъ нить всемірно-историческаго процесса, чтобы дать почувствовать своимъ слушателямъ мрачную красоту скандинавской поэзіи. Въ этой подробности Грановскій расходится съ своимъ великимъ учителемъ. Если Гегелю больше нравится ясная, свѣтлая красота эллинскаго міра, то Грановскій любитъ въ поэіи выраженіе больного, надломленнаго чувства пессимиста XIX вѣка, упрекающаго своихъ „боговъ“ за то, что они „не вѣчны“. Его симпатіи не на сторонѣ самоувѣренныхъ героевъ будущаго, за которыми „право побѣды“, а скорѣе на сторонѣ умирающей „красоты“ отходящаго времени <sup>1)</sup>.

Если философское пониманіе историческаго процесса указало Грановскому на то, въ чемъ должно состоять существенное *содержаніе* исторіи, то его поэтическое чувство подсказало ему *форму* ея изложенія. Мы видѣли, какъ цѣнитъ Грановскій драматизмъ въ исторіи, и можемъ понять отсюда, почему наилучшей формой изложенія ему всегда казался художественный рассказъ. Ему трудно было представить себѣ, чтобы „философія исторіи“ могла быть чѣмъ-нибудь отдѣльнымъ отъ изложенія всеобщей исторіи въ фактической связи. Только въ такой связи Грановскій рассчитывалъ удержатъ въ изложеніи то „чувство жизни“, „чувство дѣйствительности“, безъ котораго для него не могло существовать пониманія исторіи. Отсюда его отвращеніе къ аналитическому изложенію, вродѣ Гизо. Герценъ съ свойственной ему

<sup>1)</sup> Характеристика Людовика XI.

проницательностью отмѣтилъ эту психологическую черту и ея связь съ призваніемъ, выбраннымъ Грановскимъ. „Онъ очень вѣрно понялъ свое призваніе, избравъ главнымъ предметомъ—занятіе исторіей. Изъ него бы никогда не вышелъ ни отвлеченный мыслитель, ни замѣчательный натуралистъ. Онъ не выдержалъ бы ни безстрастную неліцепріятность логики, ни безстрастную объективность природы: отрѣшиться отъ всего для мысли или отрѣшиться отъ себя для наблюденія онъ не могъ“. Герценъ могъ бы прибавить, конечно, что качества, недостававшія Грановскому, могли бы оказать услугу также и при занятіяхъ исторіей. Но такъ ужъ тогда понимали исторію, и при этомъ пониманіи, безспорно, она лучше всѣхъ другихъ областей знанія подходила къ темпераменту Грановскаго.

Сравнительно съ только-что отмѣченными чертами міровоззрѣнія и душевнаго склада Грановскаго всѣ остальные черты, которыми можно было бы характеризовать его, какъ профессора и изслѣдователя, отступаютъ на второй и даже на третій планъ. Какъ извѣстно, большой ученостью Грановскій никогда не отличался, да и не цѣнилъ этого качества самого по себѣ. Однако же, не слѣдуетъ быть слишкомъ низкаго мнѣнія объ историческихъ познаніяхъ Грановскаго. Правда, на его чтеніяхъ французскихъ историковъ въ ранніе годы молодости настаиваютъ, какъ кажется, напрасно: это чтеніе едва ли было такъ обширно, какъ это утверждаютъ, и во всякомъ случаѣ не припесло сколько-нибудь замѣтныхъ плодовъ. Впервые Грановскій началъ учиться исторіи за-границей—и началъ съ азбуки. Онъ, однако, не жалѣлъ трудовъ и средствъ, и успѣлъ много сдѣлать для курса уже въ это время. Въ началѣ 1838 года онъ пишетъ, что „составилъ себѣ порядочную историческую библіотеку, особливо для среднихъ вѣковъ“, — и прибавляетъ: „хочу читать исторію среднихъ вѣковъ на славу“. Въ слѣдующемъ году онъ началъ этотъ курсъ въ Московскомъ университетѣ—работалъ опять по 10 часовъ въ сутки, „учился съ каждымъ днемъ“ и находилъ, что теперь только начинается понимать исторію въ связи. И тѣмъ не менѣе, кончая этотъ первый курсъ, онъ пишетъ, что „самъ недоволенъ“ своими лекціями и ни за что не согласился бы прочесть еще разъ то, что читалъ. Черезъ годъ, лѣтомъ 1841 г., онъ пишетъ невѣстѣ, что „много читаетъ“ и „готовитъ матеріалъ для курса“: „у меня нѣтъ охоты“, прибавляетъ онъ, „читать по старымъ тетрадкамъ, составленнымъ два года тому назадъ, когда я былъ еще новичкомъ“. Сличеніе нашей записи съ собственноручнымъ конспектомъ 1839 года покажетъ, конечно, насколько Грановскій подвинулся впередъ въ знакомствѣ съ предметомъ. Пріѣздъ Кудрявцева въ 1847 г.

былъ новымъ толчкомъ къ спеціальной работѣ, и сличеніе записи 1845—46 гг. съ печатными статьями пятидесятихъ годовъ показываетъ, какъ мы знаемъ, что Грановскій продолжалъ пересматривать свои мнѣнія по отдѣльнымъ вопросамъ курса и иногда совершенно ихъ измѣнялъ въ результатѣ такого пересмотра.

Такимъ образомъ, въ теченіе своей профессорской дѣятельности Грановскій успѣлъ переработать массу новаго матеріала. Конечно, это должно было внести значительныя измѣненія и въ содержаніе его воззрѣній. Мы видѣли однако, что за десять лѣтъ до смерти первыя впечатлѣнія все еще остаются у него наиболѣе сильными: нѣмецкія изслѣдованія, на которыхъ онъ выучился понимать исторію, продолжаютъ имѣть перевѣсъ надъ французскими, и общая концепція остается гегелианской. Правда, въ послѣдніе годы жизни основныя воззрѣнія Грановскаго какъ будто начали подаваться передъ новыми вѣяніями времени. Онъ сталъ находить, напр., что исторія должна выдти изъ сферы наукъ чисто филологическихъ и заимствовать свой матеріалъ изъ естественныхъ наукъ. Мало того, онъ началъ даже склоняться, повидимому, къ мнѣнію, что исторія должна заимствовать у естественныхъ наукъ и ихъ методъ и даже ихъ форму изложенія. „Ясно,—говорилъ онъ въ 1852 году,—что при настоящемъ состояніи исторіи она должна отказаться отъ притязаній на художественную законченность формы... и стремиться къ другой цѣли, т. е. къ приведенію разнородныхъ стихій подъ одно единство науки“. Это была уже ересь,—и Кудрявцевъ горячо протестовалъ противъ новыхъ теорій учителя во имя его собственнаго стараго взгляда.

Едва ли, конечно, Грановскій измѣнилъ бы кореннымъ образомъ свои воззрѣнія, если бы даже жизнь дала ему достаточный срокъ для этого. Такой, какимъ застигла его смерть,—онъ остался однимъ изъ самыхъ яркихъ представителей законченной эпохи русскаго умственнаго развитія. Въ сферѣ товарищей по спеціальности его значеніе, впрочемъ, этимъ не ограничилось. По компетентному свидѣтельству проф. Карѣва, Грановскій былъ первымъ преподавателемъ на кафедрѣ всеобщей исторіи, который отрѣшился отъ взгляда на этотъ предметъ, какъ на механическое соединеніе частныхъ исторій отдѣльныхъ странъ и народовъ, для того, чтобы возвыситься до всемірно-исторической точки зрѣнія,—до представленія исторіи человѣчества, въ нѣдрахъ коего совершается единый по своему существу и по своей цѣли процессъ духовнаго и общественнаго развитія“. „Можно сказать, что въ этомъ отношеніи Грановскій былъ родоначальникомъ той традиціи, которая сдѣлалась характерной особенностью историческаго преподаванія въ

Московскомъ университетѣ“. — Не вина Грановскаго, конечно, если „всемирно-историческая точка зрѣнія“ пережила породившія ее теоретическія основы, и если, какъ мы это видѣли на примѣрѣ автора только-что цитированныхъ словъ,—она не можетъ больше обосновать себя съ тою послѣдовательностью и цѣльностью, какія придавала ей въ свое время нѣмецкая метафизика.

---

## Разложене славянофильства <sup>1)</sup>.

Данилевскій, Леонтьевъ, Вл. Соловьевъ.

Мм. Гг.

Годъ тому назадъ, съ этой самой кафедры другой лекторъ, болѣе меня опытный, выяснялъ тѣ условія, при которыхъ возникло у насъ направленіе, получившее неточное имя славянофильства <sup>2)</sup>. Его слушатели имѣли возможность отчетливо познакомиться съ тѣмъ, какъ много было временнаго и случайнаго въ той теоріи европейскаго романтизма, которая легла въ основу русскихъ славянофильскихъ воззрѣній. Случайное и временное измѣняется, отпадаетъ съ теченіемъ времени; вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожается и тотъ своеобразный характеръ, который даетъ извѣстному направленію право на установившуюся за нимъ историческую кличку. Славянофильство перестало существовать въ этомъ смыслѣ, какъ только подверглась разрушенію его старая метафизическая основа. Когда-то, полвѣка тому назадъ, два борющіяся направленія основывали свои теоріи о роли русскаго народа на философскихъ схемахъ Шеллинга и Гегеля: одно изъ нихъ — славянофильство — строило по этимъ схемамъ свои понятія о самобытныхъ свойствахъ русскаго народа и объясняло съ ихъ помощью русское прошлое; другое — западничество — старалось вывести изъ тѣхъ же схемъ общіе для всѣхъ народовъ законы историческаго развитія и построить на нихъ идеалы русскаго будущаго. Но кости нѣмецкихъ мыслителей и ихъ русскихъ послѣдователей давно истлѣли въ могилѣ; направленія

---

<sup>1)</sup> Публичная лекція, читанная 22 января 1893 г. въ аудиторіи Историческаго музея. См. ниже, отвѣтъ на возраженіе Вл. Соловьева, помѣщенное въ томъ же № Вопросовъ Психологіи и Философіи, гдѣ была первоначально напечатана эта лекція.

<sup>2)</sup> П. Г. Виноградовъ, И. В. Кирѣевскій и начало славянофильства. См. Вопросы Философіи и Психологіи 1892 г. (Книга II-я).



болѣе современныя, болѣе свѣжія въ своихъ теоретическихъ основаніяхъ давно успѣли смѣнить славянофильство и западничество. Отбросивъ метафизическую основу теорій стараго поколѣнія, эти новыя направленія искали въ дѣйствительной жизни обоснованія своихъ воззрѣній и идеаловъ: такъ явилось народничество, на смѣну славянофильства, и демократическій либерализмъ новѣйшаго типа, на смѣну западничества. Казалось бы, книга исторіи закрылась надъ старымъ славянофильствомъ и западничествомъ, и не къ чему было бы тревожить покойниковъ, дѣлая исторію ихъ умиранія предметомъ публичнаго обсужденія.

Въ дѣйствительности, однако же, разложеніе славянофильства вовсе не есть процессъ давно закончившійся. Напротивъ, онъ продолжается—и, какъ я склоненъ думать, заканчивается—на нашихъ глазахъ. Исключительныя обстоятельства восьмидесятихъ годовъ, тѣ самыя обстоятельства, которыя вызвали столько „новыхъ словъ“, оказавшихся, при ближайшей повѣркѣ, старыми, которыя дали короткій успѣхъ теоріямъ личной морали и личнаго самоусовершенствованія,—эти же самыя обстоятельства протянули и загробное существованіе славянофильства вплоть до нашего времени. Какъ легендарный герой испанскаго эпоса, покойникъ былъ вытащенъ изъ могилы своими приверженцами, привязанъ веревками къ своей старой трибунѣ, и вѣрныя слуги его считывали одною мимикой мертваго лица произвести на враговъ привычное дѣйствіе. Но при этомъ явилось одно непредвидѣнное осложненіе. Гальванизируя трупъ, различные послѣдователи славянофильства ожидали отъ него весьма различныхъ и даже прямо противоположныхъ услугъ для своего дѣла. Эпигоны славянофильства рѣзко раскололись на двѣ враждебныя партіи, которыя совершенно разошлись во взглядѣ на то, что было въ немъ мертво и что живо.

## I.

Въ основѣ славянофильства лежали двѣ идеи, неразрывно связанныя: идея *національности* и идея ея *всемірно-историческаго предназначенія*. У послѣдователей школы эти идеи раздѣлились. Идея національности сдѣлалась исключительнымъ достояніемъ охранительной, такъ сказать, *правой* группы славянофильства. Идея о всемірно-исторической роли русской національности возрождена была на нашихъ глазахъ другою группой, которую можно было бы назвать *лѣвой* славянофильства; связь ея съ славянофильствомъ несомнѣнна, хотя она сама и отказывается иногда причислять себя къ послѣдователямъ этого ученія. Появленіе

последней фракціи вызвало, какъ и слѣдовало ожидать, рѣзкій отпоръ и критику со стороны легитимистовъ славянофильства. Но и съ своей стороны она не осталась у нихъ въ долгу. Постороннимъ зрителямъ, слѣдившимъ за этой взаимной критикой двухъ родственныхъ, но не познавшихъ другъ друга направлений, приходилось подчасъ испытывать то же впечатлѣніе, которое авторъ „Былого и думъ“ выносилъ когда-то изъ споровъ старыхъ славянофиловъ и которое онъ съ своимъ обычнымъ остроуміемъ закрѣпилъ, сравнивъ эти пререканія со споромъ о томъ, откуда происходятъ вѣдьмы: изъ Новгорода или изъ Кіева. Для лицъ, имѣвшихъ основаніе сомнѣваться въ самомъ существованіи вѣдьмъ, споръ объ ихъ происхожденіи имѣлъ, конечно, мало поучительнаго.

Представляютъ ли и всѣ эти споры двухъ фракцій славянофильства,—споры, отголоски которыхъ мы еще встрѣчаемъ въ послѣднихъ нумерахъ газетъ и въ послѣднихъ книжкахъ журналовъ, дѣйствительно, не болѣе интереса, чѣмъ вопросъ о происхожденіи вѣдьмъ? Является ли посмертное развитіе славянофильскихъ доктринъ ихъ дальнѣйшимъ усовершенствованіемъ или ихъ окончательнымъ разложеніемъ? Такъ или иначе, во всякомъ случаѣ мы не можемъ отрицать, что полемика обоихъ направлений вторгается очень замѣтною струей въ среду теченій современной общественной мысли. Выдѣлить эту струю изъ другихъ и указать ей ея надлежащее мѣсто — становится именно теперь, въ настоящую минуту, далеко не лишнимъ. Вотъ почему мнѣ и показалось умѣстнымъ предложить по этому поводу нѣсколько историческихъ справокъ.

Позвольте мнѣ начать эти справки съ напомниманія о томъ, въ чемъ заключалось, въ общихъ чертахъ, идейное содержаніе стараго славянофильства. Въ основѣ этого ученія лежало, какъ извѣстно, гегеліанское представленіе о томъ, что всемірная исторія есть постепенное развитіе и обнаруженіе всемірнаго духа. Отдѣльныя народности воплощаютъ въ себѣ отдѣльныя ступени развитія этого духа: каждый послѣдующій народъ, выступающій на сцену всемірной исторіи, представляетъ всемірно-историческую идею все въ болѣе полномъ и совершенномъ выраженіи. Въ этомъ ряду народовъ, призванныхъ быть выразителями всемірной идеи, Россіи и славянству принадлежитъ роль послѣдняго и наиболѣе полного обнаруженія всемірнаго духа, по отношенію къ которой роль всѣхъ предыдущихъ народовъ является лишь подготовительной. Западное челоуѣчество развивало только одну сторону духа, разсудочную, логическую. Напротивъ, Россія призвана къ гармоническому развитію всѣхъ сторонъ духовной жизни, и прежде всего къ

обнаруженію другой стороны духа, сравнительно съ Европой, — къ развитію чувства въ противоположность разсудочности. Преобладаніе этой стороны духовнаго развитія выразилось въ духовной жизни русскаго народа какъ православная форма христіанства, а въ матеріальной жизни—какъ общинное начало. Въ противоположность мистическому началу православія, религіи Запада основываются на разсудочности,—католицизмъ такъ же, какъ и протестантство. Въ противоположность славянской любовно-братской общинѣ, западный міръ стоитъ на борьбѣ интересовъ, на правахъ личности,—словомъ на развитіи юридическаго начала.

Какъ видно уже изъ этой характеристики, въ славянофильскомъ міросозерцаніи всемірно-историческая задача Россіи самымъ непосредственнымъ образомъ вытекаетъ изъ основныхъ свойствъ народнаго духа. Было бы совершенно невозможно рѣшить, какой изъ этихъ двухъ элементовъ былъ болѣе важенъ для стараго славянофила, національный или всемірно-историческій;—другими словами, дорожилъ ли онъ православіемъ и общиннымъ началомъ, только какъ коренными признаками русской народности, или же, наоборотъ, самая эта народность была дорога ему только какъ носительница универсальныхъ идей православія и общины. Самый вопросъ о выборѣ между національнымъ и общечеловѣческимъ не могъ возникнуть для славянофила, такъ какъ ни представить себѣ русскую національность *безъ* православія и общинности, ни усомниться въ общечеловѣческомъ значеніи этихъ началъ было для него одинаково невозможно. „Что же такое народность, — спрашивалъ въ 1847 г. Юрій Самаринъ, — если не общечеловѣческое начало, развитіе котораго достается въ удѣлъ одному племени преимущественно передъ другими, вслѣдствіе особеннаго сочувствія между этимъ началомъ и природными свойствами народа?“ Общечеловѣческое начало, употребляя сравненіе И. Кирѣевскаго, есть сѣмя, а свойство народа—та почва, въ которую это сѣмя брошено. То и другое, почва и сѣмя, одинаково необходимы, чтобы произвести плодъ, который и есть народность. Продолжая то же сравненіе, надо, однако, прибавить, что съ гегеліанской точки зрѣнія не всякая національная почва удостоивается всемірно-историческаго сѣмени, не всякая народность служитъ носительницей общечеловѣческаго начала. Сѣмя единой всемірной идеи растетъ и приноситъ плодъ только на почвѣ избранныхъ національностей, и, притомъ, поставленныхъ въ опредѣленный хронологическій рядъ, вытянутыхъ въ одну непрерывную нить всемірно-историческаго развитія. Произрастаніе этого сѣмени въ челоуѣчествѣ уподобляется, такимъ образомъ, не равномерному посѣву, который прино-

силь повсемѣстную обильную жатву, а, скорѣе, тому сказочному бобу, по одинокому стеблю котораго сказочный мальчикъ влѣзаетъ на самое небо. Какъ же быть со всѣми другими побѣгами, оставшимися въ сторонѣ отъ всемірно-историческаго шествія абсолютнаго духа? И неужели же и тѣ народы, по которымъ прошелъ этотъ духъ, только для того и существовали на свѣтѣ, чтобы служить ему временными подмостками? Очевидно, *всемірно-историческая идея не покрывала идеи народности*; далеко не весь этнографическій матеріалъ существующихъ или существовавшихъ народностей укладывался въ рамкахъ единаго всемірно-историческаго плана. Этотъ планъ не годился, слѣдовательно, — не могъ служить основнымъ принципомъ философско-исторической теоріи, такъ какъ не объяснялъ всего, подлежащаго объясненію. Съ *поправкою* къ нему и начинается дальнѣйшее развитіе славянофильской доктрины.

## II.

Первымъ шагомъ въ этомъ направленіи была извѣстная книга Н. Я. Данилевскаго, въ которой впервые была сдѣлана попытка подвести подъ воздушный замокъ славянофильства болѣе или менѣе солидный научный фундаментъ. Новое научное обоснованіе и прилаженная къ нему старая фантастическая постройка: таковы, дѣйствительно, два составные элемента знаменитаго „катехизиса славянофильства“. Чуть ли не съ каждой страницы „Россіи и Европы“ „выглядываютъ на насъ эти два различныхъ выраженія авторской фізіономіи, постоянно мѣняющіяся. То мы видимъ передъ собой спокойное, безпристрастное лицо натуралиста, человѣка пережившаго, такъ или иначе, самый разгаръ увлеченія русскаго общества естественно-научными знаніями и привыкшаго къ употребленію строгаго метода точныхъ наукъ. То вдругъ выраженіе этого лица мѣняется: передъ нами раздраженный и осердившійся патріотъ. Его гнѣбныя рѣчи производятъ на непосвященнаго читателя впечатлѣніе полнаго недоумѣнія; чтобы понять причины этого гнѣва, теперь нуженъ, дѣйствительно, уже историческій комментарий. Необходимо припомнить, что то было время, когда намъ пришлось пожать плоды, посѣянные николаевскою политикою. Крымская война и польское возстаніе обострили враждебное къ намъ отношеніе европейскаго общественнаго мнѣнія, и русскому патріотизму пришлось вынести тяжелое испытаніе, въ которомъ сокрушилось много русскихъ либерализмовъ и расшаталось много гуманитарно-космополитическихъ воззрѣній.

Въ концѣ 60-хъ годовъ, когда Данилевскій писалъ и печаталъ свою книгу, время господства нѣмецкой идеалистической философіи давно уже прошло. „Теперь никто не вѣрить, — говорилъ онъ въ этой книгѣ <sup>1)</sup>, — или немногіе вѣрятъ тому, чтобы германская философія низвела абсолютное въ человѣческое сознаніе“. Не въ этой философіи, слѣдовательно, будетъ искать Данилевскій своихъ опорныхъ пунктовъ, а, какъ мы только-что замѣтили, въ методѣ, выработанномъ точными науками. Цѣль строгаго научнаго метода, такъ разсуждаетъ авторъ „Россіи и Европы“, состоитъ въ открытіи *законовъ* явленій. Но только въ наименѣ сложныхъ по своему предмету наукахъ человѣческое знаніе добилось этой послѣдней цѣли. Чтобы дойти до открытія всеобщаго закона цѣлой группы явленій, наукъ предстоитъ пройти цѣлый рядъ ступеней развитія. Она должна прежде всего привести въ извѣстность всѣ явленія своей группы и для лучшей обозримости связать ихъ въ какую-нибудь, хотя бы совершенно искусственную систему. Тогда только явится возможность найти среди искусственно сгруппированныхъ фактовъ признаки ближайшаго *естественнаго* сродства отдѣльныхъ явленій и расположить факты, по степени этого сродства, въ естественныя группы. Изъ естественной классификаціи становится возможнымъ, далѣе, вывести частные эмпирическіе законы, и только послѣ всѣхъ этихъ подготовительныхъ ступеней открывается возможность найти въ частныхъ законахъ общій рациональный законъ цѣлой группы. До сихъ поръ только астрономіи и физикѣ удалось пройти всѣ эти ступени и дойти до открытія общаго закона всѣхъ явленій своей группы, закона тяготѣнія. Другія, болѣе сложныя науки остановились на предшествующихъ ступеняхъ — частныхъ эмпирическихъ законовъ, или естественной классификаціи, — или даже не дошли до построенія естественной системы, а собираютъ еще свои факты съ помощью искусственной группировки. На такой именно низшей ступени стоитъ историческая наука, и Данилевскій ставитъ себѣ задачей *возвести* ее со ступени искусственной классификаціи *на высшую ступень естественной классификаціи* и даже эмпирическихъ законовъ. Нитью, искусственно связывавшею до времени историческіе факты, служила именно та идея всемірно-историческаго плана, о которой мы говорили выше. Искусственность подобной связи видна изъ того, что для вмѣщенія фактовъ въ рамки всемірно-исторической идеи приходилось всю исторію человѣчества представлять какъ одно цѣлое и разрубать это цѣлое на хронологическіе періоды (древней, средней и новой исторіи),

1) „Россія и Европа“ (3-е изд. 1888 г.), стр. 124

безъ всякаго вниманія къ реальному содержанію этихъ періодовъ. На самомъ дѣлѣ, въ предѣлахъ *каждаго* періода существуетъ множество національностей, изъ которыхъ каждая живетъ *своей* отдѣльною жизнью, независимой отъ другихъ и переживаетъ свои *собственные ступени или возрасты* историческаго развитія. Со всемірно-исторической точки зрѣнія, приходится цѣлую массу такихъ отдѣльныхъ народностей, изъ которыхъ нѣкоторыя уже успѣли прожить весь кругъ своего историческаго развитія, а другія находились на самыхъ разнообразныхъ ступеняхъ его, относить къ первому фазису всемірной исторіи (древняя исторія), долженствующему представлять собой *одинъ*, именно ранній возрастъ исторіи человѣчества. Напротивъ, въ средней и новой исторіи одни и тѣ же народы, еще не закончившіе своей исторіи, должны изображать *два* раздѣльные періода въ жизни человѣчества. *Въ дѣйствительности, каждый народъ переживаетъ всѣ эти періоды* развитія, древній, средній и новый, и притомъ переживаетъ ихъ совершенно независимо отъ всякихъ другихъ народностей. Человѣчества, какъ цѣлаго историческаго организма, не существуетъ, и всемірной исторіи не существуетъ, *какъ единой нити* общечеловѣческаго развитія. Исторія человѣчества есть скорѣе сумма параллельныхъ нитей, разномѣстныхъ, разновременныхъ и самостоятельныхъ. Въ одно цѣлое эти нити соединяются развѣ только въ мысли высшаго существа,—какого-нибудь „духа земли“.

Итакъ, всемірно-историческую группировку историческихъ явленій необходимо отбросить, какъ группировку искусственную; чтобы возвести историческую науку на степень естественной классификаціи, надо положить въ основу этой классификаціи не дѣленіе на хронологическіе періоды, а дѣленіе на реальные группы, отдѣльныя національности. На періоды же или на возрасты развитія нужно дѣлить *каждую* отдѣльную національную исторію: каждая народность переживаетъ періоды молодости, зрѣлости и старости, или, по другой терминологіи Данилевскаго, періоды племенной (этнографическій), государственный и цивилизаціонный; низшія ступени развитія Данилевскій называетъ формами *зависимости*, а высшія—формами *свободы*.

Кажется, изъ всѣхъ этихъ разсужденій мы вправѣ были бы вывести заключеніе, что Данилевскій признаетъ существованіе нѣкоторыхъ общихъ элементовъ развитія всякаго человѣческаго общества. И въ такомъ случаѣ, ученіе Данилевскаго представляло бы не только въ своей критической части, но и въ положительной, огромный шагъ впередъ сравнительно со всемірно-историческою точкой зрѣнія. Въ принципѣ оно не расходилось бы съ основными понятіями современной

соціологін. И для современной соціологін *отдѣльное* общество составляет исходную точку научнаго наблюденія, а выводы соціологическіе получаютъ посредствомъ сравненія сходнаго въ нѣсколькихъ общественныхъ эволюціяхъ, помимо всякихъ группировокъ ихъ по географической или хронологической смежности. Повидимому, и эти соціологическіе выводы или „эмпирическіе законы“, по принятіи Данилевскимъ терминологіи, находятъ себѣ нѣкоторую параллель въ тѣхъ „законахъ“, которые онъ самъ извлекаетъ изъ сравненія исторіи различныхъ общественныхъ группъ. Но въ тотъ самый моментъ, когда, находя эти точки соприкосновенія, мы готовы провозгласить Данилевскаго сторонникомъ или, по крайней мѣрѣ, предшественникомъ современной соціологін, авторъ „Россіи и Европы“ останавливаетъ насъ неожиданнымъ заявленіемъ: „Общая теорія устройства гражданскихъ и политическихъ обществъ невозможна“. „Теоретическая политика или экономія также невозможна“ <sup>1)</sup>. Отдѣльныя общественныя группы или члены „естественной системы“ исторіи суть величины *несоизмѣримыя*.

### III.

Что же, однако, все это значить? Чтобы разъяснить наше недоумѣніе, мы должны обратиться къ другой сторонѣ содержанія „Россіи и Европы“. Дѣло въ томъ, что научная теорія историческихъ явленій совсѣмъ не составляетъ главнаго въ книгѣ Данилевскаго и меньше всего служить для автора цѣлью сама по себѣ. Эта теорія представляетъ для него только *средство*, съ помощью котораго онъ приходитъ къ своимъ практическимъ выводамъ. Задача „Россіи и Европы“, дѣйствительно, по преимуществу *практическая*. Достаточно вспомнить, что Данилевскій начинаетъ свою книгу вопросомъ, почему Европа ненавидитъ Россію, а кончаетъ проповѣдью ненависти Россіи къ Европѣ и грандіознымъ проектомъ всеславянской федераціи, съ Россіей во главѣ и съ Константинополемъ, какъ столицей федеративнаго союза. Въ эту оправу вставлена философско-историческая теорія Данилевскаго и естественно, что въ такомъ сосѣдствѣ она приняла, въ концѣ концовъ, черты, мало соотвѣтствующія ея реально-научному основанію.

Черты эти почти всѣ цѣликомъ взяты изъ стараго славянофильства. Европа ненавидитъ Россію потому, что обѣ онѣ воплощаютъ двѣ совершенно различныя всемірно-историческія идеи. Европа уже осуществила свою всемірно-историческую идею и въ настоящее время „изжила“

---

<sup>1)</sup> „Россія и Европа“, 170.

свое историческое существованіе. Россіи предстоитъ, напротивъ, великая міродержавная роль. Самое содержаніе историческихъ задачъ Европы и Россіи представляется тоже совершенно согласно со старыми славянофилами. Разница между ними и Данилевскимъ состоитъ только въ томъ, что, по мнѣнію автора „Россіи и Европы“, отдѣльные народы живутъ не для того только, чтобы передать своимъ болѣе счастливымъ преемникамъ свою долю работы въ развитіи единой міровой идеи; напротивъ, каждый народъ живетъ для себя, имѣетъ свою особую идею, развиваемую имъ лучше и полнѣе, чѣмъ другими; во всей же полнотѣ и многосторонности идея, вложенная въ человѣчество, осуществляется не въ какой-либо данный моментъ, въ какомъ-либо данномъ народѣ, а только въ отвлеченіи, въ совокупности всѣхъ отдѣльныхъ историческихъ развитій. На практикѣ, однако же, и эта разница со старыми славянофилами блѣднѣетъ и почти исчезаетъ, такъ какъ Данилевскій готовъ признать нѣкоторое провиденціальное преемство и связь въ развитіи разными народами ихъ міровыхъ задачъ, а въ послѣдней главѣ „Россіи и Европы“ онъ не прочь даже представить славянство какъ заключительное звено этой преемственной смѣны цивилизацій, а славянскую идею—какъ высшее, всестороннее развитіе и осуществленіе всемірно-исторической задачи. Но въ теоріи онъ твердо стоитъ на томъ, что всемірно-исторической задачи для отдѣльнаго народа не существуетъ, а есть только провиденціальныи всемірно-историческій планъ: сознаетъ его только высшее существо, а отдѣльныя національности только безсознательно выполняютъ его отдѣльныя составныя части.

Безполезно, конечно, было бы искать чего-либо общаго между *этою* частью ученія Данилевскаго и представленіями современной соціологіи. Научная соціологія стремится къ открытію законовъ эволюціи человѣческаго общества, а для Данилевскаго интересно только обнаруженіе въ обществѣ искони заложенной въ него, неподвижной идеи. Прикладная соціологія измѣряетъ прогрессъ степенью сознательности, съ какою организуется въ обществѣ достиженіе общаго блага; а Данилевскій, наблюдая внутри отдѣльнаго общества только стихійный процессъ органической эволюціи, ищетъ прогресса лишь въ смѣнѣ историческихъ націй и идеаловъ. Что же можетъ быть общаго между обществомъ, какъ живымъ развивающимся явленіемъ, и національностью, какъ вѣвской неизмѣнной идеи,—между сознательнымъ стремленіемъ къ сознательной организаціи общественной жизни и безсознательнымъ выполненіемъ никому невѣдомаго мірового плана? Очевидно, Данилевскій, отправившись отъ нѣкоторыхъ представленій, тождественныхъ съ современными научными и практическими идеями, пришелъ въ концѣ



концовъ къ чему-то совершенно противоположному. Намъ остается отдать себѣ отчетъ въ томъ, какъ это могло случиться; какимъ образомъ реальная народность, положенная въ основу „естественной системы“, могла превратиться въ слѣпую исполнительницу предначертаній Провидѣнія?

#### IV.

Не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что, производя такое превращеніе, Данилевскій дѣйствовалъ совершенно сознательно. Отмѣченное нами противорѣчіе въ обоснованіи философско - исторической теоріи необходимо и логически вытекало изъ основного противорѣчія въ цѣломъ міровоззрѣніи Данилевскаго. Противорѣчіе это тотчасъ же вскроется, если мы рассмотримъ внимательнѣе ученіе Данилевскаго о наукахъ, именно его классификацію наукъ. По этой классификаціи науки дѣлятся на *теоретическія*, изучающія „первоначальные, самобытные законы“ всего сущаго, и *сравнительныя*, изучающія „производные законы“, или сочетанія основныхъ законовъ въ индивидуальныя формы. Послѣднее названіе кажется съ перваго взгляда очень неудачнымъ; но, какъ сейчасъ увидимъ, для воззрѣній Данилевскаго оно весьма характерно и вполне точно отвѣчаетъ его мысли. За исключеніемъ этого названія, въ принципѣ противъ этой классификаціи возражать нечего; въ сущности, она соответствуетъ контовскому дѣленію наукъ на „абстрактныя“ и „конкретныя“, вошедшему въ современное научное сознаніе. Но въ приложеніи къ отдѣльнымъ наукамъ Данилевскій дѣлаетъ изъ своего дѣленія совершенно оригинальное употребленіе. „Теоретическими“, т. е. абстрактными, науками онъ считаетъ три: физику, химию и психологію, т.-е. науки о „движеніи“, „матеріи“ и „духѣ“: къ этимъ тремъ сущностямъ сводятся, по мнѣнію Данилевскаго, всѣ основные элементы міра. Куда же, спрашивается, дѣлись двѣ остальные науки, вводимыя обыкновенно въ современную классификацію абстрактныхъ наукъ и вычеркнутыя изъ нея Данилевскимъ: біологія и соціологія? Здѣсь мы и сталкиваемся съ особенностью міровоззрѣнія Данилевскаго. Эти науки онъ относитъ къ „сравнительнымъ“, на томъ основаніи, что онѣ имѣютъ дѣло не съ первичными элементами, а съ сочетаніемъ этихъ элементовъ въ опредѣленные конкретныя *формы*. Но эти формы, какъ и формы явленій, изучаемыхъ другими „теоретическими“ науками, перечисленными Данилевскимъ, — имѣютъ также свою общую теорію, созданную современною наукой. Современная біологія стремится объяснить всѣ существующія и существовавшія формы органическаго міра

изъ законовъ біологической эволюціи; точно также соціологія сводитъ формы общественности къ законамъ эволюціи соціологической. На этомъ-то пунктѣ Данилевскій отдѣляется отъ развитія современной науки и возстаетъ противъ самого принципа эволюціонной теоріи. Для него, какъ для всей старой науки и философіи, „формы“ суть неизмѣняемые, предустановленные „*типы*“ вещей, ихъ идеальные первообразы, чуждые матеріи. „Морфологическій принципъ, — по его выраженію, — есть *идеальное* въ природѣ“ <sup>1)</sup>. Искать между этими „*типами*“ сходныхъ элементовъ, приводить ихъ къ „общему знаменателю“, а тѣмъ болѣе выводить ихъ другъ изъ друга или утверждать ихъ общее происхожденіе—значить отрицать это „*идеальное* въ природѣ“ и сливать форму съ матеріей. Съ этой точки зрѣнія, Данилевскій долженъ былъ протестовать въ соціологіи противъ Спенсера, какъ онъ протестовалъ въ біологіи противъ Дарвина. Вопреки Дарвину, животный міръ *не* представляетъ непрерывнаго ряда видовъ, развившихся другъ изъ друга въ теченіе міровой исторіи; это скорѣе—по Кювье—рядъ самостоятельныхъ типовъ организаціи, „совершенно различныхъ плановъ“, несравнимыхъ и не приводимыхъ къ одному знаменателю <sup>2)</sup>. Точно также и различные историческіе народы суть совершенно различные, неразложимые и несоизмѣримые „*типы*“ человѣчества. Каждый изъ нихъ осуществляетъ присущій ему отъ природы планъ, и ни одинъ изъ этихъ плановъ не можетъ быть закономъ для другого. Нельзя сравнивать планы организаціи животныхъ, живущихъ на водѣ и живущихъ на сушѣ; нельзя обсуждать вопроса, что лучше, вообще говоря, жабры или легкія. Точно также и съ историческими типами: одинъ производитъ англійскую конституцію, другой—славянскую общину; но рѣшать, что изъ двухъ лучше, или пытаться пересадить эти продукты исторической жизни отъ одного къ другому — такъ же невозможно, какъ заставить рыбу дышать легкими, а земноводное животное—жабрами. Въ этомъ-то смыслѣ между національными исторіями нѣтъ ничего общаго, а слѣдовательно, выводить Данилевскій, не можетъ существовать и общественной науки: „Теоретическая политика или экономія такъ же невозможна, какъ невозможна теоретическая физиологія или анатомія“.

Очевидна незаконность такого вывода. Очевидно, что научное сравненіе имѣетъ дѣло не съ готовыми результатами національной жизни, а съ анализомъ ихъ основныхъ элементовъ, и что научный выводъ не имѣетъ ничего общаго съ рекомендаціей той или другой годовой формы

<sup>1)</sup> „Россія и Европа“, 168.

<sup>2)</sup> „Россія и Европа“, 87, 121.

общественной жизни. Наука даетъ законы, а не правила. Все это совершенно ясно и уже было указываемо другими критиками теоріи Данилевскаго. Въ дополненіе къ этой критикѣ я хотѣлъ только указать на самый источникъ ошибки Данилевскаго. Изъ сказаннаго выше ясно, какъ мнѣ кажется, что ошибка эта произошла отъ того, что Данилевскій въ своемъ міровоззрѣніи остановился посрединѣ между идеализмомъ и реализмомъ, и принявъ механическое міросозерцаніе для одной половины наукъ, отвергнулъ его по отношенію къ другой.

## V.

Теперь мы можемъ понять, почему, несмотря на всѣ имъ самимъ указанные элементы сходства между отдѣльными народами, Данилевскій не хотѣлъ признать, что возможны общественныя науки. Сохранивъ вѣру въ предустановленные типы старой зоологіи, онъ сдѣлалъ попытку найти подобные же типы и въ исторіи. Онъ взялъ для этого старое понятіе міровой идеи, вложенной въ народность; эта идея сообщила начало *формы*, а содержаніемъ для этой формы послужило научное понятіе о народности, объ *отдѣльной* общественной группѣ, независимой отъ всемірно-историческаго плана. Этимъ путемъ совершенно реальное понятіе народности превратилось въ лабораторіи Данилевскаго въ метафизическое понятіе „культурно-историческаго типа“. „Культурно-историческій типъ“ былъ, стало быть, чѣмъ-то *среднимъ между реальнымъ и гегелевскимъ понятіемъ народности* и получился посредствомъ смѣшенія обоихъ. Отъ стараго идеализма онъ заимствовалъ, при этомъ, свой абсолютный характеръ; отъ натурализма—признаніе своей самостоятельности въ ряду другихъ типовъ. Къ идеализму понятіе „культурно-историческаго типа“ стояло, во всякомъ случаѣ, гораздо ближе, чѣмъ къ научному воззрѣнію. По отношенію къ идеалистическому взгляду Данилевскій отрицалъ только всемірно-историческую точку зрѣнія, да и то возстановляя ее подъ другими формами; а для того, чтобы реальную народность превратить въ культурно-историческій типъ, понадобилось выкинуть изъ реальнаго представленія довольно многое. Реальная народность относилась къ „культурно-историческому типу“ какъ матерія къ формѣ; слѣдовательно, народность *безъ* культурной идеи представлялась безформенною массой, *сырымъ матеріаломъ* для культурнаго типа. Такимъ образомъ, понятіе культурно-историческаго типа *выключало* изъ „естественной системы“, во-первыхъ, всѣ народы, не воспринявшіе культурной идеи: это—„этнографическій матеріалъ“ по терминологіи Данилевскаго; сюда же относятся народы-

разрушители, „бичи Божіи“, отрицательные дѣатели челоѣчества. Во-вторыхъ, и историческіе народы, не пришедшіе еще къ сознанію своей идеи, исключаются изъ понятія культурнаго типа: они переживаютъ длинный *подготовительный*, „этнографическій“ періодъ, измѣряемый тысячелѣтіями, затѣмъ государственный, и только потомъ, въ третьемъ, „цивилизационномъ“ періодѣ, народъ становится культурно-историческимъ типомъ. Во время подготовительнаго періода складывается національный характеръ и національныя учрежденія, накапливается „запасъ силъ для будущей сознательной дѣятельности“; въ послѣднемъ же періодѣ, сравнительно очень короткомъ, этотъ запасъ только тратится и изживается. Такимъ образомъ, спасена идея *неизмѣняемости*—типа уже сложившагося; за то самый *процессъ образованія* типа, составляющій главный предметъ научнаго объясненія, вовсе *исключенъ* изъ системы. Съ помощью всѣхъ этихъ урѣзокъ и совершилось объясняемое нами превращеніе научнаго понятія народности въ метафизическое понятіе культурно-историческаго типа.

## VI.

Теорія культурно-историческихъ типовъ была, какъ мы видимъ, естественнымъ примѣненіемъ къ области историческихъ явленій общаго міровоззрѣнія Данилевскаго <sup>1)</sup>. Съ другой стороны, она сдѣлалась исходною точкой его философско-историческаго построенія. Подробности этого построенія не разъ подвергались основательной критикѣ и мы не будемъ ихъ здѣсь касаться: для насъ достаточно было найти то промежуточное звено, которое послужило для спайки двухъ разнородныхъ частей построенія Данилевскаго. Найдя, что такимъ связующимъ звеномъ между научной и идеалистическою стороною его теоріи была идея „культурно-историческаго типа“, мы прибавимъ только, что въ этой идеѣ Данилевскому особенно были дороги *дѣтъ* черты, съ помощью которыхъ ему удавалось свою историческую теорію плотно пригнать къ старому ученію славянофильства. Во-первыхъ, подъ понятіе культурно-историческаго типа можно было подвести не одинъ народъ, а *цѣлый рядъ* народностей, этнографически родственныхъ: это давало возможность *всю* Европу подвести подъ одинъ типъ, *все* славянство подъ другой, и противопоставить одинъ другому, какъ два неприми-

<sup>1)</sup> Въ виду этого обстоятельства не слѣдуетъ придавать слишкомъ большаго значенія тому, что самый *терминъ* „культурно-историческаго типа“, какъ и нѣкоторыя *частности*, заимствованы Данилевскимъ у нѣмецкаго историка Рюккерта.

римыхъ міра. Съ реальнымъ представленіемъ общественной группы это сдѣлать было бы невозможно. Во-вторыхъ, культурно-историческій типъ представлялся безусловно неизмѣняемымъ, — отсюда можно было вывести невозможность передачи европейской культуры славянству, необходимость самобытной славянской цивилизаціи и *законность полного отчужденія и вражды* обоихъ типовъ.

Національный эгоизмъ и исключительность — таковъ послѣдній практическій выводъ изъ философіи исторіи Данилевскаго. Сравнительно съ этимъ выводомъ Данилевскій справедливо находилъ ученіе славянофиловъ слишкомъ гуманитарнымъ. Какую же можно основать на такомъ выводѣ практическую программу? Для Данилевскаго это, прежде всего, — программа *внѣшней* политики: надо разрѣшить восточный вопросъ, освободить славянъ, завоевать Константинополь, образовать всеславянскую федерацію; тогда только станетъ возможнымъ развитіе славянскаго культурнаго типа. Передъ этими грандіозными планами вопросы *внутренней* политики совершенно стушевываются въ книгѣ Данилевскаго. Главный для его теоріи вопросъ, *въ чемъ* именно будетъ состоять будущая самобытная славянская культура, — онъ считаетъ преждевременнымъ: въ настоящемъ только немногія черты указываютъ на будущее. Тамъ, гдѣ Данилевскій, все-таки, принимается характеризовать грядущую славянскую культуру, она представляется ему или какъ сохраненіе стараго, или же въ совершенно неопредѣленныхъ очертаніяхъ. *Религіозная* жизнь славянства будетъ отличаться строго-охранительнымъ характеромъ, какъ и подобаетъ народамъ, которымъ ввѣрено охраненіе чистоты откровенной истины. Въ *государственной* жизни русскій народъ одинаково способенъ и жертвовать государству личными благами, и пользоваться политической и гражданскою свободой: онъ можетъ „принять и выдержать всякую дозу свободы“ <sup>1)</sup>; другими словами, вопросъ о формѣ государственности остается нерѣшеннымъ. Въ *экономической* жизни русская община представляетъ залогъ „общественно-экономическаго переустройства, справедливо обезпечивающаго народныя массы“: это, кажется, единственный пунктъ, на которомъ авторъ горячо настаиваетъ, какъ на общающемъ свѣтлое будущее. Наконецъ, въ собственно *культурной* жизни (наука, искусство и техника) русскій народъ „обнаружилъ достаточно задатковъ художественнаго, а въ меньшей степени и научнаго развитія“; если эти задатки такъ и остаются пока одними задатками, то надо принять въ расчетъ молодость русскаго народа.

<sup>1)</sup> „Россія и Европа“, 537.

Изъ настоящаго, стало быть, дѣйствительно, *немногое* оказалось возможнымъ вывести относительно будущаго. Естественно, что такой вѣрный послѣдователь Данилевскаго, какъ Н. Н. Страховъ, нашелъ послѣ этого возможнымъ всю программу, вытекающую изъ теорій учителя, резюмировать въ одномъ совѣтѣ: „быть самими собой“. Этотъ совѣтъ имѣетъ то большое достоинство, что не исполнять его мы не можемъ. Мы не можемъ быть не самими собой—и всегда оставались самими собою даже во всѣхъ крайностяхъ подражанія. Къ сожалѣнію, по той же причинѣ трудно, при всемъ желаніи, найти въ совѣтѣ Н. Н. Страхова какое-нибудь опредѣленное содержаніе.

Опредѣленное содержаніе, опредѣленную программу внутренней политики можно было, однако же, вывести изъ теоріи національной самобытности. Стоило только нѣсколько смѣлѣе, чѣмъ это сдѣлалъ Данилевскій, возвести текущій моментъ народной жизни въ абсолютную характеристику русской національности, стоило вывести культурно-историческую задачу Россіи изъ ея прошлаго,—и, сама собой, защита этого прошлаго, уцѣлѣвшаго въ настоящемъ, отъ покушеній будущаго становилась задачей внутренней политики. Тутъ должна была повториться та же ошибка, которую отмѣтилъ самъ Данилевскій по другому случаю. Формы прошлаго, „формы зависимости“ были сочтены за специфически національныя; формы настоящаго и будущаго—„формы свободы“ были противопоставлены этому національному и заподозрѣны, какъ общеевропейскія, хотя, въ дѣйствительности, *и онѣ, конечно, вытекали изъ своихъ же національныхъ потребностей и, осуществляясь, принимали, по необходимости, вполне національный характеръ.*

## VII.

Я не буду перечислять здѣсь всѣхъ дѣятелей, которые представляютъ „славянофильство“ въ только-что отмѣченной стадіи его развитія. Но я не могу не остановиться на одномъ изъ нихъ, наиболѣе яркомъ и типичномъ, дошедшемъ до *крайнихъ* выводовъ въ этомъ направленіи и, этимъ самымъ, вполне его исчерпавшемъ. Я говорю о младшемъ современникѣ Н. Я. Данилевскаго, лѣтъ на десять моложе его по возрасту и литературной дѣятельности,—Константинѣ Леонтьевѣ<sup>1)</sup>. Пессимистъ по содержанію своихъ воззрѣній и беззащитный циникъ въ ихъ выраженіи,—Леонтьевъ всегда говоритъ прямо то, что другіе подразумеваютъ; при этомъ всѣ его выводы, даже самые нелѣпые,

<sup>1)</sup> Данилевскій родился въ 1822 г., Леонтьевъ въ 1831 г.

являются прямымъ логическимъ послѣдствіемъ разъ усвоеннаго міровоззрѣнія. Такой человѣкъ былъ нуженъ, чтобы вывести изъ націоналистической теоріи всѣ практическія послѣдствія и довести ее до абсурда.

По собственному признанію, Леонтьевъ началъ свою дѣятельность—какъ „ученикъ и ревностный послѣдователь“ Данилевскаго. Но очень скоро житейскій опытъ привелъ его если не къ полному разочарованію въ идеалахъ славянофильства, то къ постояннымъ колебаніямъ, считать или не считать эти идеалы осуществимыми. То онъ готовъ „скорѣе вѣрить, чѣмъ не вѣрить въ будущее торжество славянофильскихъ основъ“; то все, что онъ видитъ кругомъ, убѣждаетъ его, что „культурное“ славянофильство было только „мечтою полною благородства и поэзіи“ <sup>1)</sup>. Въ общемъ итогѣ, гораздо чаще, чѣмъ потребность „вѣрить“, находятъ на него „минуты невѣрія въ самобытность славянскаго генія“. „Кто угадаетъ теперь,—спрашиваетъ онъ,—особую форму этого организованнаго, проникнутаго общими идеями, — *своими* міровыми идеями славянства? До сихъ поръ мы этихъ общихъ и своихъ всемірно-организованныхъ идей, которыми славяне отличались бы рѣзко отъ другихъ націй и культурныхъ міровъ, — не видимъ“ <sup>2)</sup>. Южное славянство,—какъ совершенно правильно показали Леонтьеву его собственные наблюденія въ Константинополѣ,—пошло, вопреки ожиданію Данилевскаго, тою же *европейской* дорогой, и мечта о всеславянской федераціи, —необходимомъ условіи будущей славянской культуры, — оказалась „не то чтобы совсѣмъ уже несбыточной, но мало общающей сбыться“ <sup>3)</sup>. И по отношенію къ Россіи дѣло обстоитъ нисколько не лучше. Правда, „иные находятъ, что наше сравнительное умственное безплодіе въ прошедшемъ можетъ служить доказательствомъ нашей молодости. Но такъ ли это? Развѣ есть положительныя доказательства, что мы молоды? Тысячелѣтняя бѣдность творческаго духа — еще не ручательство за будущіе богатые плоды“ <sup>4)</sup>. „Молодость наша—повторяетъ Леонтьевъ въ другомъ мѣстѣ,—говору я съ горькимъ чувствомъ, —сомнительна. Мы прожили много, сотворили духомъ мало и стоимъ у какого-то страшнаго предѣла“... Чувство „трепета“ передъ этимъ „страшнымъ предѣломъ“ составляетъ господствующій тонъ сочиненій Леонтьева. Передъ нимъ стоитъ, какъ кошмаръ, этотъ неотвязчивый призракъ „страшной бездны отчаянія“, въ которую стремглавъ

<sup>1)</sup> „Востокъ, Россія и славянство“. II, 66, 157.

<sup>2)</sup> Ibid, I, 122.

<sup>3)</sup> I, 76; II, 66.

<sup>4)</sup> I, 186.

летить въ своемъ быстромъ поступательномъ движеніи европейское человечество и изъ которой нѣтъ возврата <sup>1)</sup>. Старому славянофилу тоже не чуждо было представленіе объ этой безднѣ, въ которую низвергается Европа; но противъ грознаго призрака всемірнаго разрушенія онъ зналъ заговоръ: стоило ему, выражаясь словами Хомякова, „допросить духа жизни, сокрытаго глубоко“ въ русскомъ народѣ, — и въ отвѣтъ духа онъ почерпалъ душевное равновѣсіе и вѣру въ будущее. У Леонтьева какъ разъ не было такого исхода; онъ сильно подозрѣваетъ, что „духъ жизни“ есть „собственный духъ“ господъ сочинителей; и потерявъ славянофильскую вѣру, онъ безпокойно мечется отъ научныхъ доказательствъ къ наблюденіямъ жизни — и вездѣ находитъ неопровержимыя доказательства всемірнаго пожара. Потушить его нѣтъ возможности, и — Леонтьевъ зоветъ согражданъ спасать свое имущество. Но тутъ же онъ замѣчаетъ, что пожаръ занялся совсѣмъ подъ бокомъ, у братьевъ-славянъ; не успѣваетъ онъ предупредить, что надо повременить воссоединиться съ братьями, — какъ уже повсюду вокругъ него начинается пахнуть гарью и дымомъ: призывы писателя становятся какими-то дикими воплями ужаса и отчаянія... А вокругъ него жизнь идетъ своимъ чередомъ; все остается спокойно и тихо; пожара никто не хочетъ замѣтить. Въ старыя времена, одинокій мыслитель навѣрное попалъ бы въ пророки, а отъ неблагодарныхъ современниковъ онъ рискуетъ получить кличку помѣшаннаго.

### VIII.

Въ чемъ же дѣло? Что доказываетъ *наука* Леонтьеву? О чемъ свидѣлствуетъ ему *жизнь*?

То, что Леонтьевъ считаетъ научнымъ обоснованіемъ своей теоріи, сводится къ воспроизведенію нѣкоторыхъ частей теоріи Данилевскаго. Главная часть этой теоріи — ученіе о культурно-историческихъ типахъ, ихъ преемствѣ и ихъ всемірно-исторической роли — отходитъ у Леонтьева на *второй планъ*, вмѣстѣ со всѣми всемірно-историческими построениями и мечтаніями о роли славянства, основанными на этомъ ученіи. Національность, — отдѣльная національность, сама по себѣ взятая и служащая сама себѣ цѣлью, — составляетъ *исключительный* предметъ его теоретическихъ разсужденій. По отношенію къ отдѣльной національности Леонтьевъ развиваетъ ученіе Данилевскаго о *возрастахъ* ея развитія. Каждая національность, какъ и всякій организмъ, проходитъ,

<sup>1)</sup> II, 39.



по Леонтьеву, *три* періода развитія: періодъ первоначальной простоты и неразвитости, затѣмъ періодъ развитія—отъ простаго къ сложному, составляющій, по Леонтьеву, періодъ процвѣтанія; наконецъ, періодъ разрушенія—возвращенія къ первобытному неорганическому единству и однообразію. Извѣстно, что большинство органическихъ теорій общественнаго развитія склонны злоупотреблять метафорическими сопоставленіями, вытекающими изъ уподобленія общества организму; теорія Леонтьева, медика по специальности, не знаетъ въ этомъ отношеніи никакихъ границъ. Въ исторіи Европы—періодомъ „цвѣтущей сложности“ были средніе вѣка,—время всяческихъ неравенствъ и противоположностей, провинціального обособленія и корпоративныхъ привилегій. Напротивъ, новое время — время осуществленія идей свободы и равенства, время „либерально-эгалитарнаго прогресса“—есть періодъ разрушенія всего сложнаго, всего національно-самобытнаго. Процессъ этого разложенія есть нѣчто стихійно-роковое, неизбежное и непредотвратимое. Отдѣльныя личности могутъ только немного ускорить или немного замедлить его. Отсюда Леонтьевъ извлекаетъ правило для всякаго разумнаго общественнаго дѣятеля: *до* достиженія высшей точки развитія онъ долженъ содѣйствовать движенію общества *впередъ*, къ достиженію этой точки,—долженъ быть прогрессистомъ; *послѣ* ея достиженія онъ долженъ сдѣлаться охранителемъ, чтобы *задерживать* движеніе по наклонной плоскости въ „бездну“, въ состояніе полного разрушенія <sup>1)</sup>. Но такъ какъ этого разрушенія, все равно, не предотвратить, то на будущее Леонтьевъ смотритъ крайне пессимистически. „Глупо вѣрить въ конечное царство правды и блага на землѣ; глупо и стыдно даже людямъ, уважающимъ реализмъ, вѣрить въ такую не реализуемую вещь, какъ счастье человѣчества, даже и приблизительноное“ <sup>2)</sup>. Эгалитарный идеалъ, правда, осуществится въ Европѣ, но въ грозномъ видѣ подтянутой, дисциплинированной государствомъ демократіи и въ „отвратительно-скучномъ“ видѣ „однообразнаго братства“ <sup>3)</sup>.

Не будемъ останавливаться на разборѣ ошибокъ изложенной теоріи и на выдѣленіи той доли истины, которая въ ней, несомнѣнно, заключается. Для насъ интересно здѣсь, главнымъ образомъ, то употребленіе, которое Леонтьевъ дѣлаетъ изъ этой теоріи относительно Россіи. Слѣдовало бы, повидимому, стоя на его точкѣ зрѣнія, заключить, что Россія также проходитъ неизбежный и аналогичный западному процессъ орга-

<sup>1)</sup> I, 151.

<sup>2)</sup> II, 38, 300.

<sup>3)</sup> II, 135, 297.

ническаго развитія, что она находится въ извѣстномъ возрастѣ этого развитія; отъ опредѣленія котораго зависитъ выборъ той или другой внутренней политики, прогрессивной или охранительной. Но тутъ-то и начинаются для Леонтьева различныя затрудненія. Мы видѣли, что относительно „возраста“ Россіи Леонтьевъ колеблется: можетъ быть Россія молода, а можетъ быть и нѣтъ; можетъ быть она еще процвѣтеть, а можетъ быть и отцвѣтеть, не разцвѣтши. По поводу органичности и послѣдовательности русскаго развитія Леонтьевъ также питаетъ самыя тревожныя опасенія. Черты собственнаго культурнаго типа Россіи пока совершенно неясны: это—„нѣчто подобное виду дальнихъ облаковъ, изъ которыхъ по мѣрѣ приближенія могутъ образоваться самыя разнообразныя фигуры“. Между тѣмъ, Европа угрожаетъ увлечь Россію на европейскій путь (на который, по смыслу теоріи, она и безъ того должна роковымъ образомъ выйти), заразить ее продуктомъ своего гніенія:—„либерально-эгалитарнымъ прогрессомъ“. Что же можетъ противопоставить Россія Европѣ? Можетъ быть, сравнительно низшій возрастъ своего органическаго развитія, какъ вытекало бы изъ теоріи Леонтьева? Или, можетъ быть, коренное различіе своего исконнаго культурнаго типа, какъ вытекало бы изъ теоріи Данилевскаго? То и другое было бы достаточно твердымъ оплотомъ противъ уклоненій національнаго развитія въ сторону. Но оказывается, что ни въ то, ни въ другое, ни въ натурализмъ собственной органической теоріи, ни въ метафизику славянофильской доктрины—Леонтьевъ не вѣритъ. Национальное развитіе Россіи не вытекаетъ у него изъ законовъ органическаго роста; нѣтъ у Россіи, по его мнѣнію, и собственныхъ сколько-нибудь выяснившихся чертъ культурнаго типа. Противопоставить Европѣ, поэтому, она можетъ *только старые* культурные элементы, *заимствованные* (вопреки органической теоріи и теоріи „культурно-историческихъ типовъ“, которыя одинаково не допускаютъ заимствованія)—изъ Византіи. Византійскій культурный типъ, въ противоположность славянскому, вполне опредѣленъ: византизмъ въ государствѣ—значитъ самодержавіе, въ религіи—православіе, византизмъ въ нравственномъ мірѣ есть „наклонность къ разочарованію во всемъ земномъ“, отказъ отъ мечты о земномъ благоденствіи народовъ, смиреніе и т. д. <sup>1)</sup> „Византійскій духъ, византійскія начала и вліянія, какъ сложная ткань нервной системы, проникаютъ насквозь весь великорусскій общественный организмъ“; имъ обязана Русь своимъ прошлымъ; имъ же она должна быть обязана и своимъ будущимъ.

<sup>1)</sup> I, 81.

IX.

Итакъ, вотъ къ чему пришелъ ученикъ Данилевскаго, утверждавшаго самобытность и непередаваемость національнаго духа и его продукта, національной культуры. Въ прошломъ наша культура создана *византизмомъ*, въ будущемъ ей грозитъ *европеизмъ*; сама по себѣ это какая-то *бѣлая доска*, за исключеніемъ „можетъ быть, нашего сельскаго поземельнаго міра“ <sup>1)</sup>. Данилевскій по крайней мѣрѣ въ будущемъ ожидалъ, что народная самодѣятельность покроетъ эту доску своими узорами; но Леонтьевъ и передъ этой надеждой останавливается въ сомнѣніи. Конечно, внутренняя самодѣятельность...; но что такое эта внутренняя самодѣятельность? Въ смыслѣ органическомъ, такъ сказать, фізіологическомъ, организмъ всякаго государства, и Китайскаго, и Персидскаго, самодѣятеленъ, ибо живетъ своими силами и уставами; а въ смыслѣ сознательной общественной дѣятельности,—какъ бы изъ этой самодѣятельности не вышелъ тотъ же, ненавистный Леонтьеву, либерально-эгалитарный прогрессъ! Итакъ, пустое мѣсто въ прошедшемъ, настоящемъ и, всего вѣроятнѣе, будущемъ; какой-то складочный амбаръ предметовъ византийской археологіи, таковъ культурно-историческій типъ Россіи, подлежащій охраненію, не столько во имя того, что изъ него будетъ, сколько во имя того, что онъ есть теперь. Къ этому, къ охранѣ загадочнаго пустого мѣста отъ всякаго чужого захвата, и сводится *весь смыслъ* политики Леонтьева, вся его государственная мудрость. Ни этотъ діагнозъ, ни эти приемы лѣченія не могъ бы, конечно, никогда предложить человѣкъ, вѣрящій въ національный духъ или въ непреложность законовъ органическаго развитія; ни для того, ни для другого національная жизнь не могла бы представиться пустымъ мѣстомъ, знакомъ вопроса, и культурное вліяніе со стороны не могло бы казаться заразой и основой національной жизни (въ случаѣ византизма) и ея безнадежнымъ искаженіемъ (въ случаѣ европеизма).

„Надо подморозить Россію, чтобы она не жила“ <sup>2)</sup> и чтобы она застыла въ настоящемъ видѣ до лучшихъ временъ, которыя, впрочемъ, могутъ и не придти никогда,—таковъ общій смыслъ всѣхъ практическихъ совѣтовъ Леонтьева. *Всѣ средства хороши* для этой цѣли, потому что „политика—не этика“. Государственная власть должна дѣйствовать въ смыслѣ спасительнаго страха. Въ томъ же направленіи пусть дѣйствуетъ и религія—„это великое ученіе... столь практическое

<sup>1)</sup> I, 98, 100, 186—187.

<sup>2)</sup> II, 86.

и вѣрное для сдерживанія людскихъ массъ желѣзной рукавицей“ <sup>1)</sup>. Нечего сантиментальничать о христіанствѣ, какъ религіи любви, одной любви безъ страха: это христіанство на розовой водицѣ ничего не имѣетъ общаго съ христіанствомъ настоящимъ, „христіанствомъ монаховъ и мужиковъ, просвирень и *прежнихъ* набожныхъ дворянъ“. Реформы прошлаго царствованія законны и хороши, но „не столько по существу, сколько потому, что верховной власти было такъ угодно“ <sup>2)</sup>; по существу же, надо просить царя, чтобъ впредь онъ „держалъ насъ грознѣе“. Въ земствѣ замѣтенъ оппозиціонный духъ; новые суды „учатъ народъ тому, что и бунтовщики есть очень „честные“ и что „генералы и монахи бываютъ мошенники“ <sup>3)</sup>. Зло сословнаго строя замѣнено зломъ безсословности, равенства и либерализма. Для борьбы съ этимъ новымъ зломъ, съ „пагубой излишняго движенія“, нужно поддерживать старые элементы и бороться противъ новаго теченія. Во имя этой борьбы Леонтьевъ готовъ даже желать, чтобы прекратилось обрусеніе нашихъ окраинъ, нашихъ инородческихъ и иновѣрческихъ элементовъ: въ нихъ, наприим., въ Остзейскомъ краѣ, все-таки есть та сила сопротивленія духу времени, которую даетъ старая культура. Общимъ и злѣйшимъ врагомъ, противъ котораго должны сплотиться всѣ охранительные элементы, надо считать *либерализмъ*. Даже социализмъ менѣе вреденъ, такъ какъ въ немъ есть элементы дисциплины и организаціи <sup>4)</sup>; но съ либерализмомъ, какъ съ ученіемъ по самому принципу отрицательнымъ и разрушительнымъ, надо бороться всѣми мѣрами. Нетвердыхъ слѣдуетъ подкупать; — на убѣжденныхъ, но умѣренныхъ, которые, благодаря своей осторожности, ускользаютъ отъ законнаго преслѣдованія, необходимо доносить: „пора перестать придавать слову доносъ унизительное значеніе“ <sup>5)</sup>. Прочтя въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ извѣстіе, что въ Берлинѣ происходили опыты надъ освѣщеніемъ внутренностей живой щуки посредствомъ электричества, Леонтьевъ и тутъ находитъ поводъ къ выраженію любимыхъ мыслей: „Вотъ если бы придумать какой-нибудь приборъ для освѣщенія душъ умѣренно-либеральныхъ,—ну, тогда... полиціи и политическимъ судамъ прибавилось бы дѣла. А теперь что?.. Такъ отвѣчаетъ намъ скептическій разумъ, и нашъ восторгъ при видѣ прозрачной щуки холодѣетъ“.

Кажется, дальше этого идти некуда. Леонтьевъ не отступаетъ ни

<sup>1)</sup> II, 48.

<sup>2)</sup> II, 51.

<sup>3)</sup> II, 96.

<sup>4)</sup> II, 157.

<sup>5)</sup> II, 109, 120.

передъ чѣмъ. Съ тою же смѣлостью, съ какой онъ набрасываетъ программу, онъ даетъ и имя своему направленію. „Нашъ (русскій) консерваторъ,—замѣчаетъ онъ,—боится; боится не столько дѣйствій, сколько словъ... Какъ произнести слово—реакція? Какъ сознаться, что настало время реакціоннаго движенія?“ „Пора учиться дѣлать реакцію“. „Безъ насилія нельзя“ <sup>1)</sup>. Чтобы приостановить быстрое „таяніе“ Россіи, необходимы „ретроградныя реформы“. И особенно необходимо всѣми силами бороться противъ *народнаго образованія*. Если Россія сопротивлялась еще сколько-нибудь успѣшно духу времени, то этимъ мы обязаны до извѣстной степени безграмотности русскаго народа. Итакъ, чтобы сохранить „національное своеобразіе“ необходимый залогъ самобытной культуры, надо *повременить съ грамотностью*, пока образованная часть общества сама не будетъ зряче. „Надо, чтобы намъ не испортили эту роскошную почву, прикасаясь къ которой мы сами всякій разъ чувствуемъ въ себѣ новыя силы“ <sup>2)</sup>. Немногимъ снисходительнѣе относится Леонтьевъ и къ высшему образованію. „Въ наше время,—говоритъ онъ,—основаніе сноснаго монастыря полезнѣе учрежденія двухъ университетовъ и цѣлой сотни реальныхъ училищъ“.

## Х.

Таковы послѣдніе выводы политики, вытекавшей изъ теоріи національной самобытности, поскольку эта теорія *отказалась* отъ вѣры въ идеальное культурное содержаніе національнаго духа. Ограничившись преклоненіемъ передъ формами, выработанными историческимъ прошлымъ, она, поневолѣ, должна была свести задачи внутренней политики къ охраненію уцѣлѣвшихъ въ настоящемъ обломковъ этого прошлаго. Правда, та самая теорія органическаго развитія обществъ, которою Леонтьевъ дополнилъ теорію „культурно-историческихъ типовъ“, должна бы была, повидимому, привести къ нѣскольکو инымъ выводамъ относительно внутренней политики. Но эту свою теорію Леонтьевъ прилагаетъ вполнѣ только къ объясненію европейскаго историческаго развитія; по отношенію же къ Россіи, какъ мы видѣли, онъ покидаетъ почву органической теоріи и направляетъ свои усилія на выясненіе основъ русскаго культурнаго типа и на обсужденіе средствъ для его охраненія. Такимъ образомъ, научные элементы его ученія находятся въ еще большемъ разногласіи съ элементами практическими, чѣмъ это мы видѣли въ ученіи Данилевскаго.

<sup>1)</sup> II, 78, 152, 80.

<sup>2)</sup> II, 24—27.

Но, можетъ быть, оставаясь въ сферѣ чисто практическаго, прикладнаго ученія обоихъ авторовъ, не слѣдуетъ ставить ихъ во взаимную связь? Можетъ быть, выводы Леонтьева не есть слѣдствіе основныхъ принциповъ націоналистической теоріи, а только результатъ случайныхъ увлеченій отдѣльнаго писателя? Однимъ словомъ, можетъ быть, Леонтьевъ недостаточно типиченъ, черезчуръ своеобразенъ, чтобы представлять собою звено въ исторіи русскаго націонализма? Мнѣ неизвѣстно, какъ относился къ Леонтьеву самъ Данилевскій, но я знавалъ послѣдователей Данилевскаго, которые съ отвращеніемъ отшатнулись отъ выводовъ этого нигилиста славянофильства и теоретика реакціи. Какимъ образомъ славянофильство, это догматическое и гуманитарное ученіе, могло дойти до такихъ предѣловъ теоретическаго и нравственнаго отрицанія?

Безъ Данилевскаго, это, дѣйствительно, было бы довольно трудно понять. Но какъ разъ Данилевскій служить намъ здѣсь необходимымъ *связующимъ звеномъ*. Его „наука“ однимъ концомъ соприкасается съ метафизическимъ абсолютизмомъ стараго славянофильства, а на другомъ — переходитъ въ пессимистическій фатализмъ Леонтьева. Его проповѣдь національной *исключительности* стоитъ также посрединѣ между національнымъ мессіанизмомъ старыхъ славянофиловъ и отрицаніемъ всякой національной самодѣятельности, какъ начала подозрительнаго, у Леонтьева. Данилевскій, правда, оставлялъ возможность дальнѣйшаго *развитія* многихъ сторонъ національной жизни и въ этой возможности видѣлъ залогъ будущности славянскаго культурнаго типа; напротивъ, Леонтьевъ, не довѣряя будущему, возводилъ результаты *прошлой* исторической жизни въ національный догматъ. Приходилось, какъ видно, выбирать одно изъ двухъ: или воздерживаться отъ формулировки положительныхъ задачъ національнаго развитія и сводить ихъ къ ничего не говорящему совѣту „быть самими собой“, или же брать матеріалъ для такой формулировки изъ наличнаго содержанія русской жизни и дѣлать охраненіе этого содержанія задачей внутренней политики.

И то, и другое одинаково равнялось признанію, что *никакой* идеальной, творческой программы общественной дѣятельности на идеѣ національной самобытности построить нельзя. Какъ только хотѣли изъ этой идеи сдѣлать практическое употребленіе, сейчасъ же и получалась чисто-охранительная программа, все равно, у Данилевскаго, у Леонтьева или у кого бы то ни было другого. Данилевскій только не всегда высказывался по вопросамъ внутренней политики; но гдѣ онъ высказывался, его практическіе совѣты идутъ въ направленіи Леонтьева. Это

особенно хорошо можно наблюдать по рукописнымъ припискамъ его къ первоначальному тексту „Россіи и Европы“. Только крестьянское освобожденіе, противъ котораго, впрочемъ, не протестуетъ и самъ Леонтьевъ, вызываетъ безусловное одобреніе Данилевскаго. Новый судъ онъ хвалить въ „Россіи и Европѣ“ потому, что „спеціально западное играетъ въ немъ весьма второстепенную роль“. Но въ рукописной замѣткѣ къ этому мѣсту прибавлено: „все написанное мною здѣсь—вздоръ. Реформа только начиналась, и хотѣлось вѣрить, а потому и вѣрилось, что она приметъ разумный характеръ; на дѣлѣ она обратилась въ иностранную карикатуру. При большей трезвости мысли это можно и должно было предвидѣть“. Освобожденіе печати отъ цензуры онъ, опять-таки, одобряетъ потому, что система административныхъ распоряженій по печати „есть продуктъ, къ намъ изъ-чужа занесенный“. За то по поводу матеріалистическихъ увлеченій нигилистовъ онъ сердито жалуется на „безтолковость нашей полиціи“ <sup>1)</sup>. И возможность, что Россія не исполнитъ своего предназначенія, не разовьетъ самобытной культурной идеи и не превратится въ „культурно-историческій типъ“, а останется простою безформенной массой; этнографическимъ матеріаломъ,—эта возможность, страхъ передъ которой служить главной движущей пружиной теоріи Леонтьева, представляется иногда Данилевскому совершенно отчетливо. Проповѣдь либерализма, гуманности и другихъ началъ, составляющихъ также и по Данилевскому особенность западно-европейской цивилизаціи, ведетъ, и по его мнѣнію, къ „обезнарожденію“; и по его взгляду — предупредить такое національное обезличеніе должна временная *пріостановка жизни* <sup>2)</sup>. Онъ даже видитъ историческую миссію турокъ въ томъ, что „магометанство, наложивъ свою леденящую руку на народы Балканскаго полуострова, *заморивъ въ нихъ развитіе жизни*, предохранило ихъ отъ потери нравственной народной самобытности“. Въ примѣчаніи къ этому мѣсту онъ высказываетъ и разочарованіе, — совершенно подобное Леонтьевскому, — по поводу того, что освобожденные славяне сдѣлались либералами, а не самобытниками. „Теперь мы видимъ, — говоритъ онъ, — что эта леденящая рука была полезнѣе для сербовъ, чѣмъ ихъ освобожденіе“. И даже самый терминъ „замораживанія“ ложится подъ перо Данилевскаго, и, притомъ, какъ разъ въ такомъ случаѣ, который оба они, и Данилевскій, и Леонтьевъ, считаютъ возможнымъ въ Россіи: въ случаѣ неизлѣчимости „европейской“ болѣзни. „Чтобы сохранить органическое вещество, *не живущее уже органическою жизнью*,

<sup>1)</sup> „Россія и Европа“, 300, 310, 316.

<sup>2)</sup> 437, 345.

ничего другого не остается, какъ герметически закупорить его въ плотный сосудъ, прекратить къ нему доступъ воздуха или же заморозить“ <sup>1)</sup>. Дѣло идетъ о Меттернихѣ, о томъ, что ему удалось на время „заморозить“ духа жизни, неосторожно внесеннаго въ Австрію либеральными реформами Іосифа II. Меттернихъ, по Данилевскому, — гениальный политикъ, дѣятельность котораго смѣло можетъ выдержать сравненіе съ Цезарями, Карлами, Петрами, хотя она и была осуждена исторіей на неудачу и безплодіе. Кажется, достаточно всѣхъ этихъ сопоставленій, чтобы показать, что въ практическихъ взглядахъ Данилевскаго и Леонтьева вовсе не было такой разницы, какъ иногда полагають, и что эти практическіе взгляды не случайно, а совершенно естественно вытекали у обоихъ изъ теоріи національной исключительности.

## XI.

Итакъ, національная идея стараго славянофильства, лишенная своей гуманитарной подкладки, естественно превратилась въ систему *національнаго эгоизма*, а изъ послѣдней столь же естественно была выведена теорія *реакціоннаго обскурантизма*. Далѣе въ этомъ направленіи, какъ я уже сказалъ, идти было некуда; идея національности была вполне исчерпана. Только однажды здравый смыслъ Данилевскаго подсказалъ ему, по одному частному вопросу, то возраженіе, которое само напрашивалось противъ этого возведенія національныхъ особенностей въ безусловное и исключительное начало исторической жизни. Рѣчь идетъ объ одномъ изъ самыхъ коренныхъ гуманистическихъ догматовъ стараго славянофильства, которымъ не рѣшился поступиться и Данилевскій, — о свободѣ печатнаго слова. Мы только-что видѣли, что обычный способъ Данилевскаго хвалить какое-нибудь явленіе состоитъ въ томъ, чтобы показать, что оно русское, а не чужеземное. На этотъ разъ онъ не рѣшается доказывать, что свобода слова есть спеціально русское явленіе. „Свобода слова, — говоритъ онъ, — не есть право или привилегія политическая, а *право естественное*. Слѣдовательно, въ освобожденіи отъ цензуры, по самой сущности дѣла, не можетъ уже быть никакого подражанія, *ибо иначе и хожденіе на двухъ ногахъ, а не на четверенькахъ, могло бы считаться подражаніемъ кому-нибудь*“ <sup>2)</sup>. Можно сказать, продолжая это сравненіе, что наши націоналисты слишкомъ часто заставляли насъ ходить на четверенькахъ, чтобы мы не

<sup>1)</sup> 371.

<sup>2)</sup> 302.



казались подражателями двуногихъ. Намъ дѣйствительно хотѣли противопоставить остальнымъ двуногимъ, какъ особый „планъ организаціи“, чуть ли не какъ особый зоологическій типъ. Данилевскій какъ будто не замѣчаетъ, что, заговоривши объ „естественныхъ правахъ“ человека, онъ въ корень разрушилъ свою теорію несоизмѣримыхъ національных типовъ. Называть ли свободу слова старомоднымъ словомъ „естественнаго“ права, или оставить за нимъ болѣе подходящій терминъ, права политическаго, остается несомнѣннымъ, что замѣчаніе, сдѣланное Данилевскимъ по поводу этого права, могло бы быть повторено и относительно массы *другихъ* признаковъ, роднящихъ насъ съ остальными двуногими. Согласно съ *дѣйствительно* научными элементами теорій Данилевскаго и Леонтьева, и вопреки ихъ практическимъ выводамъ, изъ существованія этихъ общечеловѣческихъ чертъ общественнаго развитія неизбѣжно слѣдуетъ заключеніе, что въ той же степени, въ какой признается единство соціальной эволюціи человѣческихъ обществъ, должно быть *признано* и *единство ихъ общественныхъ идеаловъ*.

## XII.

Протестовать противъ теоріи національной исключительности и противъ построенной на ней программы внутренней политики можно и должно было, конечно, съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія. Оставаясь въ предѣлахъ нашей темы, мы будемъ, однако, слѣдить только за тѣми выраженіями протеста, которыя заявлены были съ точки зрѣнія самого славянофильства. До сихъ поръ мы познакомились съ судьбой только *одной* стороны стараго славянофильскаго ученія, съ судьбой *идеи національности*. Мы видѣли, что логическое развитіе этой идеи было вмѣстѣ съ тѣмъ и процессомъ разложенія стараго славянофильства. Теоріи, подобныя Леонтьевскимъ, показали съ безусловной убѣдительною, что идея національности въ своемъ практическомъ примѣненіи можетъ дать только мертворожденные плоды. Но старшій славянофилъ, если бы давать ему очную ставку съ развивателями этихъ теорій, навѣрное не призналъ бы ихъ неудачу—неудачей самого славянофильства. Въ самомъ дѣлѣ, не произошла ли эта неудача только потому, что продолжатели славянофильства *оторвали* идею національности отъ общей славянофильской основы? Развитіе національной идеи послѣ стараго славянофильства состояло вѣдь, въ сущности, въ постепенномъ *устраненіи* изъ нея тѣхъ гуманистическихъ, идеальныхъ элементовъ, съ которыми у родоначальниковъ славянофильства

она была неразрывно связана. Для старыхъ славянофиловъ, какъ мы уже говорили, самая національность была дорога потому, что она считалась носителницей высшаго идеальнаго содержанія, провозвѣстницей міру вселенской правды. Эта идея мессіанизма славянскаго племени была отброшена, какъ ненаучная и не оправдываемая дѣйствительнымъ содержаніемъ русской жизни. Но если славянофильство не окончательно умерло въ Данилевскомъ и Леонтьевѣ, то, оставаясь вѣрнымъ самому себѣ, оно могло искать своего возрожденія только въ *реставраціи своихъ старыхъ идеальныхъ элементовъ*, — въ восстановленіи теоріи всемірно-историческаго призванія славянства. Во всякомъ случаѣ, пока эта послѣдняя сторона славянофильства не была исчерпана до своихъ послѣднихъ логическихъ выводовъ, нельзя было сказать, что славянофильство совершило весь кругъ возможнаго для него развитія.

На *какомъ* именно изъ идеальныхъ элементовъ стараго славянофильства слѣдовало построить его реставрацію, — относительно этого вопроса также не могло быть спора. *Государственность* старые славянофилы никогда не считали идеальнымъ началомъ жизни: апофеозъ государственности суждено было выставить одной изъ фракцій нашего западничества. Славянофильская доктрина, строившая общество не на формальномъ договорѣ, а на свободномъ любовномъ общеніи его членовъ, — всегда смотрѣла на государственное начало какъ на необходимое зло. Больше права на всемірно-историческое значеніе могло имѣть само это общественно-экономическое начало славянофиловъ, — славянофильская *община*. Одно время общинное начало и выдвинулось на первый планъ, какъ по преимуществу всемірно-историческое: конечно, этому особенно содѣйствовало то совпаденіе, которое находили между нимъ и социальными идеалами запада. Но по той же самой причинѣ, — по своему близкому соответствію западнымъ ученіямъ, а также и по слишкомъ близкой связи съ дѣйствительностью, — ученіе объ общинѣ скоро перестало быть специальнымъ достояніемъ славянофильства и освободилось отъ его метафизическаго обоснованія. Чтобы прослѣдить дальнѣйшую судьбу этого ученія, намъ пришлось бы выйти изъ предѣловъ славянофильства въ область другихъ направленій русской общественной мысли. У истинныхъ славянофиловъ идея общины никогда не имѣла самостоятельнаго значенія. Славянофилы пѣнили общину не столько какъ справедливую форму социальной организаціи, сколько какъ бессознательное выраженіе чувства христіанской любви, т. е. какъ проявленіе *религіознаго начала*, присущаго русскому народному духу.

## XIII.

Религіозное начало и было тѣмъ элементомъ, который всего удобнѣе могъ быть и дѣйствительно былъ положенъ въ основу славянофильскаго возрожденія. Потребность поставить это религіозное начало выше національнаго проявляется весьма рано въ славянофильствѣ. Еще въ 1858 г. Кошелевъ сводитъ къ этому свое разногласіе съ И. С. Аксаковымъ, по поводу программы, напечатанной Аксаковымъ при объявленіи объ изданіи газеты „Парусъ“. „Наше знамя,—писалъ И. С. Аксаковъ въ этомъ объявленіи,—русская народность, какъ залогъ новыхъ началъ, полнѣйшаго жизненнаго выраженія общечеловѣческой истины“. „Программа ваша,—отвѣчаетъ А. И. Кошелевъ,—хороша, очень хороша; но жаль, что вы выставили знаменемъ не вещь, а форму... Одна народность не доведетъ еще насъ до общечеловѣческаго значенія... Вѣра, одна вѣра можетъ... создать нѣчто органическое. Ее-то вы, по ложной стыдливости, боитесь поставить... во главу угла. *Безъ православія наша народность—дрянь*. Съ православіемъ наша народность имѣетъ міровое значеніе. Какъ ваша программа ни хороша, а ее подписать я бы не могъ“<sup>1)</sup>.

Исходя изъ этого заявленія, мы могли бы остановиться на дѣятельности редактора „Русской Бесѣды“ и сотрудника другой „Бесѣды“, „въ статьяхъ и наклонностяхъ“ которой Леонтьевъ своимъ привычнымъ нухомъ почуялъ „*другое* славянофильство“, въ противоположность „*бѣлому* славянофильству Данилевскаго“<sup>2)</sup>. Но это отвѣтвленіе слишкомъ скоро свело бы насъ съ почвы славянофильства и привело бы къ воззрѣніямъ прогрессивной части русскаго общества. Мы сейчасъ и придемъ туда же, но путемъ нѣсколько болѣе длиннымъ—путемъ анализа послѣдовательнаго развитія славянофильской богословской идеи. Предварительно отмѣтимъ, однако же, еще одинъ признакъ поворота къ „другому“ славянофильству, признакъ относящійся ко времени, когда содержаніе „бѣлаго славянофильства“ уже вполне выяснилось. Я говорю о знаменитой рѣчи Ѳ. М. Достоевскаго на пушкинскомъ праздникѣ 1880 г.,—той рѣчи, въ которой авторъ „старца Зосимы“ провозглашалъ, что „стать настоящимъ русскимъ, стать вполне русскимъ, можетъ быть, и значить только стать братомъ всѣхъ людей, всечеловѣкомъ“. Въ противоположность проповѣди національнаго эгоизма и ненависти къ Европѣ, знаменитый писатель восклицалъ въ этой рѣчи: „о, народы

1) *Колюпановъ*. А. И. Кошелевъ, II, 250, 251.

2) „Востокъ, Россія и славянство“, I 195.

Европы и не знаютъ, какъ они намъ дороги!“ и съ воодушевленіемъ пророчествовалъ: „впослѣдствіи—я вѣрю въ это—мы, то-есть, конечно, не мы, а будущіе, грядущіе русскіе люди поймутъ уже всѣ до единого, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно значить—внести примиреніе въ европейскія противорѣчія уже окончательно, указать исходъ европейской тоскѣ въ своей русской душѣ всечеловѣчной и всеобщей, вмѣстѣ въ нее съ братскою любовью всѣхъ нашихъ братьевъ, а въ концѣ концовъ, можетъ быть, и изречь окончательное слово великой общей гармоніи, братскаго окончательнаго согласія всѣхъ племенъ по Христову евангельскому закону“. Итакъ, *братское единеніе христіанъ во всемірной церкви*, какъ цѣль, и *всеобъемлющія свойства русской души*, какъ средство;—этотъ логическій выводъ изъ славянофильской идеи о религіозной всемірно-исторической миссіи русскаго народа уже обрисовался въ рѣчи Достоевскаго совершенно отчетливо.

„И ты, Брутъ!“ восклицаетъ по поводу этой рѣчи К. Леонтьевъ <sup>1)</sup>. Слѣдя за дѣятельностью Достоевскаго, только что онъ начиналъ надѣяться, что авторъ братьевъ Карамазовыхъ выйдетъ, наконецъ, „на настоящій церковный путь“—и вдругъ эта рѣчь! Опять эти „народы Европы“! Опять это „последнее слово всеобщаго примиренія“!

Что бы, въ самомъ дѣлѣ, значило это „последнее слово“ въ устахъ писателя, проповѣдовавшаго смиреніе и терпѣніе, необходимость нравственнаго самоусовершенствованія и тщету общественной дѣятельности? Съ своею моралью монаха и отшельника, какимъ образомъ Достоевскій рассчитывалъ осуществить „великую общую гармонію“ и „внести примиреніе въ европейскія противорѣчія“? „Братство и гуманность,—могъ возразить ему Леонтьевъ,—дѣйствительно рекомендуются Св. Писаніемъ Новаго Завѣта—для *загробнаго* спасенія *личной* души; но въ Св. Писаніи нигдѣ не сказано, что люди дойдутъ посредствомъ этой гуманности до мира и благоденствія: Христосъ намъ этого не обѣщалъ“,—напротивъ, Евангеліе прямо и ясно говоритъ объ „ухудшеніи чело-вѣческихъ отношеній подъ конецъ свѣта“ <sup>2)</sup>. Припомнимъ, кстати, и другого нашего знаменитаго писателя, который, тоже основываясь на христіанской морали, выводилъ изъ нея, что всякое усовершенствованіе въ условіяхъ матеріальной жизни есть только увеличеніе грѣха въ мірѣ, что истинная жизнь состоитъ не въ суммѣ матеріальныхъ благъ, а въ духовномъ дѣланіи, и что когда эта жизнь наступитъ въ полнотѣ,—родъ чело-вѣческой на землѣ долженъ прекратиться. Такъ или иначе,—будетъ ли конецъ этого міра сопровождаться всеобщимъ

<sup>1)</sup> II, 297.

<sup>2)</sup> II, 300.

раздоромъ, войной всѣхъ противъ всѣхъ, или одухотворенное человечество незамѣтно для себя самого перейдетъ изъ этого міра въ будущій,—во всякомъ случаѣ, *будущій міръ* и *личное* блаженство остаются конечною цѣлью христіанина. Какова же можетъ быть роль христіанскаго начала въ настоящей общественной жизни человечества, и какую можно основать на немъ социальную мораль и политику?

#### XIV.

Отвѣтомъ на этотъ вопросъ служить вся литературная дѣятельность нашего блестящаго философа Вл. С. Соловьева. Смѣлою рукой онъ свелъ царство Божіе съ неба на землю и слилъ религію и прогрессъ, христіанство и альтруизмъ, небесное и земное, божественное и человеческое въ одной основной мистической идеѣ „богочеловѣчества“.

Въ какой-то своей статьѣ К. Леонтьевъ сравнивалъ свою литературную дѣятельность съ луной, которая постоянно обращена къ наблюдателю только одною своей стороною; другая—и притомъ болѣе важная—остается совершенно неизвѣстною. Съ гораздо болѣшимъ основаніемъ можно было бы приложить это сравненіе къ Вл. С. Соловьеву. Соловьевъ началъ свою дѣятельность какъ философъ, продолжалъ какъ богословъ и, кажется, хочетъ закончить какъ публицистъ <sup>1)</sup>. Конечно, не по его винѣ,—только послѣдняя часть его дѣятельности извѣстна большой публикѣ. Между тѣмъ, въ публицистическихъ статьяхъ своихъ Вл. Соловьевъ развиваетъ,—преимущественно въ полемической формѣ,—только критическую, отрицательную часть своего ученія. Догматической, конструктивной стороны здѣсь почти совсѣмъ нѣтъ, между тѣмъ какъ обѣ эти стороны его ученія находятся въ самой тѣсной связи. Такимъ образомъ, мнѣ приходится начать съ немногихъ указаній на положи-

---

<sup>1)</sup> Оставляю текстъ этой лекціи такъ, какъ она была произнесена въ 1893 г. Какъ извѣстно, предсказаніе, сдѣланное въ текстѣ, не совсѣмъ оправдалось. Соловьевъ ушелъ съ публицистическаго поприща, которое началъ такъ блестяще, но которое всегда оставалось для него лишь *средствомъ*, а не *целью*. Онъ не увлекъ и не могъ увлечь за собой общества на свою дорогу;—и разочарованный, изолированный, тяжело чувствуя свое разъединеніе съ главнымъ теченіемъ общественной жизни и мысли, онъ кончилъ сліяніемъ своей философіи съ своимъ богословіемъ въ самой мрачной эсхатологіи, на какую только когда либо была способна мятущаяся душа средневѣковаго схоластика. Трагизмъ такого конца и, еще болѣе,—внутренняя причина этого трагизма—едва ли своевременно были поняты многими. Рѣшаемся думать, что зерно этой жизненной неудачи лежало въ той позиціи,—занятой покойнымъ мыслителемъ,—какая охарактеризована въ настоящей лекціи.

тельную сторону теорій Соловьева, какъ ни мало компетентнымъ чувствую я себя для передачи этихъ теорій <sup>1)</sup>).

По системѣ Соловьева, въ основѣ міра лежитъ Божественное начало, не въ пантеистическомъ смыслѣ міровой души, а въ дуалистическомъ смыслѣ Творца и въ христіанскомъ смыслѣ—троичнаго Бога. Троичность Соловьевъ объясняетъ какъ различіе трехъ сторонъ Божественной природы—бытія, дѣйствія и сознанія: Божественное существо *есть*, оно проявляетъ свое существованіе *дѣятельностью*, оно *сознаетъ* себя дѣйствующимъ. Въ полнотѣ единой Божественной природы заключался отъ вѣка и противобожественный элементъ—множественности, безпорядочнаго, безобразнаго и безформеннаго хаоса; но возможность проявленія этого хаоса извнѣ сдерживалась всемогуществомъ Божіимъ. Однако же, въ своемъ совершенствѣ Божественное существо не можетъ ограничиваться тѣмъ, чтобы подавлять хаосъ своимъ всемогуществомъ. Чтобы „имѣть право окончательно побѣдить хаосъ и свести его къ вѣчному небытію“, надо показать не только свою силу надъ нимъ, но и свою правоту и свою благость. Съ этою цѣлью Божество перестаетъ подавлять въ себѣ хаосъ,—и возникаетъ міръ, какъ нѣчто противоположное Богу. Но цѣль созданія міра въ томъ именно и заключается, чтобы эту противоположность міра Богу окончательно уничтожить. До появленія міра Богъ былъ всѣмъ; теперь Онъ хочетъ, чтобы все было Богомъ. Въ этомъ постепенномъ проникновеніи міра божественнымъ (и притомъ троичнымъ) началомъ и состоитъ исторія міра. Въ ходѣ этой исторіи Божественное начало медленно и постепенно побѣждаетъ начало противубожественное, дьявольское. Цѣлымъ рядомъ усилій оно вводитъ въ міръ сперва механическое единство—всеобщаго тяготѣнія, потомъ динамическое единство—невѣсомыхъ физическихъ силъ, затѣмъ органическое единство—жизненной силы. Хаосъ превращается такимъ образомъ въ „космосъ“,—міръ устроенный. Наконецъ, въ человѣкѣ твореніе совершеннымъ образомъ, свободно и взаимно, соединяется съ Божествомъ: „посредникъ между небомъ и землей, человѣкъ предназначается быть всемірнымъ мессіей, который спасетъ міръ отъ хаоса, соединивъ его съ Богомъ“. Троичное начало воплощается и въ человѣчествѣ въ видѣ трехъ элементовъ: мужчины, женщины и—общества. Но это „естественное человѣчество“ есть только зародышъ, прообразъ будущаго богочеловѣческаго воссоединенія. По-

<sup>1)</sup> Позволю себѣ прибавить, что статья эта, прежде напечатанія ея въ „Вопросахъ Психологіи и Философіи“, была прочитана покойнымъ В. С. Соловьевымъ и фактическое изложеніе своего ученія онъ призналъ совершенно правильнымъ.

степенное развитіе этого зародыша,—постепенное проникновеніе „естественнаго человѣчества“ божественнымъ началомъ совершается во всемірной исторіи, и тройнымъ плодомъ этого проникновенія являются: совершенный мужчина или Богочеловѣкъ, совершенная женщина—или Богоматерь и совершенное общество—или Церковь. Послѣ пришествія Христа, сосредоточившаго принципъ Богочеловѣчества въ одномъ своемъ лицѣ,—задачу полного осуществленія идеи Богочеловѣчества беретъ на себя Церковь. Для того, чтобы выполнить эту задачу полного сліянія человѣчества съ Божествомъ, церковь должна пропитать мірское общество христіанскимъ началомъ. Но для этого ей необходимо содѣйствіе государства; слѣдовательно, церковь должна стоять выше государства. Принципъ церкви, стоящей выше государства, христіанство осуществило въ папствѣ: папство и должно поэтому оставаться средоточіемъ всемірной церкви. Что касается церкви восточной, — въ ней, напротивъ, государи старались стать выше церкви. Для этого они измыслили, одну за другой, цѣлый рядъ ересей, общій смыслъ которыхъ заключается въ томъ, что восточные императоры старались теоретически и практически отдѣлить человѣческое начало отъ божественнаго, Кесарево отъ Божія, міръ отъ церкви. Византійскіе церковные іерархи изъ національныхъ и личныхъ расчетовъ предпочитали получить не со всѣмъ точную формулу вѣры изъ рукъ императора, чѣмъ взять истинную формулу изъ рукъ папы. Наконецъ, періодъ ересей кончился; ереси, благодаря особенно настойчивости западной церкви, были осуждены вселенскими соборами. Тогда еретическое пониманіе церкви, какъ сферы жизни, обособленной отъ государства, „вошло внутрь“ восточной церкви. Замкнувшись въ свою обособленность отъ міра и общества, она пріобрѣла мертвенный характеръ и не могла дѣйствовать на жизнь, не могла воспитывать общества. Справедливымъ наказаніемъ за это была побѣда надъ ней ислама, — религіи, въ которой тотъ же принципъ обособленности религіи отъ міра былъ проведенъ вполне открыто: въ нравственномъ ученіи—какъ теорія фатализма, въ догматическомъ—какъ теорія замкнутаго въ себѣ единобожія. Напротивъ, западная церковь постоянно старалась о воспитаніи общества и о проникновеніи его христіанскими началами. Но у ней не было тѣхъ средствъ для успѣха, которыя могло дать только сильное государство: государство, въ лицѣ Германской имперіи, вступило вмѣсто союза въ борьбу съ западною формой христіанства. „Историческое предназначеніе Россіи состоитъ, кажется, въ томъ, чтобы дать всемірной церкви политическую власть, необходимую ей для спасенія и возрожденія Европы и міра“. Только съ помощью такого союза между русскимъ царемъ и

*римскимъ первосвященникомъ* всемірная церковь можетъ выполнить лежащую на ней высшую задачу — осуществить на землѣ принципъ Богочеловѣчества. Союзъ этотъ необходимъ, слѣдовательно, и для выполнения всемірно-исторической миссіи русскаго народа <sup>1)</sup>.

Само собою разумѣется, что я передалъ эту мистическую космогонію Соловьева и эту реставрацію средневѣковой идеи о союзѣ всемірной церкви со всемірной монархіей—совсѣмъ не для того, чтобъ опровергать ихъ. Для опроверженія нужно стоять на сколько-нибудь общей почвѣ и оперировать одинаковымъ методомъ. Въ настоящемъ случаѣ это первое условіе теоретическаго обсужденія, очевидно, невыполнимо. Мы имѣемъ дѣло съ догматическимъ построеніемъ, развиваемымъ изъ нѣсколькихъ богословско-метафизическихъ аксіомъ съ помощью діалектическаго метода и не допускающимъ, слѣдовательно, никакой другой повѣрки, кромѣ формально-логической. Чтобы показать, въ какой степени далеки методическіе приемы Соловьева отъ общепринятыхъ приемовъ научнаго мышленія, приведу наудачу нѣсколько примѣровъ. Мы, конечно, не будемъ, напр., протестовать противъ вывода Вл. Соловьева, что богатые должны принять участіе въ социальной реформѣ. Но не угодно ли вамъ придти къ этому выводу по методу Соловьева. Въ Евангеліи говорится, что богатому такъ же трудно пройти въ царствіе небесное, какъ верблюду пролѣзть сквозь игольные уши. Игольные уши—это, по толкованію Соловьева, пусть будетъ частная благотворительность. Но уши не надо понимать въ буквальномъ смыслѣ; извѣстно, что въ Іерусалимѣ были ворота съ такимъ названіемъ, а въ ворота пройти уже возможно. Теперь, пусть игольные уши въ смыслѣ воротъ будутъ означать социальную реформу. Итакъ, вотъ истинный и глубокий смыслъ евангельскаго изреченія (соединяя оба комментарія): не бесконечно-узкій и невозможный путь частной благотворительности предлагаетъ Евангеліе богатымъ, чтобы войти въ царствіе небесное, а тоже узкій и трудный, но все же возможный путь социальной реформы.

Можно предположить, однако же, что въ данномъ случаѣ Вл. Соловьевъ хотѣлъ дать не доказательство, а только иллюстрацію къ своему положенію. Конечно, и эти приемы иллюстраціи довольно характерны, но нѣтъ недостатка въ другихъ случаяхъ, гдѣ иллюстрацію становится трудно отличить отъ доказательства. Въ Писаніи говорится объ „игрѣ“ Божественной мудрости. Это значитъ, что Божественная мудрость „вызываетъ передъ Богомъ безчисленныя возможности всѣхъ внѣбожественныхъ существованій и снова поглощаетъ ихъ въ его все-

<sup>1)</sup> La Russie et l'Eglise universelle, 265.



могуществѣ“: этотъ процессъ Божественной „игры“ поясняетъ, стало быть, присутствіе въ Божествѣ подавляемаго имъ внутри себя потенциальнаго хаоса. Книга Бытія начинается со словъ: въ началѣ сотворилъ Богъ небо и землю; „въ началѣ“, по-еврейски *bereshith*, выражено существительнымъ женскаго рода: это значить, что Богъ сотворилъ небо и землю въ *reshith*, въ женственномъ принципѣ самого себя, въ своей Божественной Мудрости. Однимъ словомъ, созерцательность средневѣковаго мистика соединяется въ ученіи Соловьева съ схоластической казуистикой опытнаго талмудиста. Діалектическое развитіе основныхъ мыслей осложняется у него богословскими приѣмами аналогическаго толкованія священныхъ текстовъ. Тщетно было бы искать этихъ приѣмовъ въ современной логикѣ; чтобы найти ихъ, недостаточно даже обратиться отъ логики Милля къ логикѣ Гегеля: надо вернуться для этого къ логикѣ Оригена Александрійскаго.

## XV.

Практическіе выводы Соловьева изъ изложенныхъ теорій нѣтъ надобности излагать подробно: выводы эти у всѣхъ въ памяти. *Религіозная задача*—выше всего на свѣтѣ и безусловно *выше національности*. Задача эта, сліяніе человѣчества съ Божествомъ, по самому существу своему *всемірная* и требуетъ для своего выполненія *всемірной церкви*, вооруженной силами *всемірнаго государства*. Русскій народъ призванъ къ рѣшенію этой задачи, но первымъ шагомъ къ этому рѣшенію долженъ быть актъ *національнаго самоотреченія*: отреченія отъ узкой формы національной церкви. Таково необходимое средство для спасенія *человѣческаго рода*. Но это средство, первое для осуществленія *всемірно-исторической миссіи Россіи*, само является для проповѣдника абсолютнаго идеала *цѣлью*, и довольно отдаленной. Къ достиженію ея должны быть изысканы *ближайшія средства*. Самымъ первымъ препятствіемъ являются при этомъ всѣ теоріи и настроенія *національнаго самоограниченія и эгоизма*. Соловьевъ и дѣлается ихъ горячимъ противникомъ и вступаетъ на путь *публицистической борьбы*. Борьба эта сравнительно недавно началась и не можетъ считаться законченной; было бы, поэтому, преждевременно произносить о ней какое-либо общее сужденіе. Но нельзя, однако, не замѣтить, что, по мѣрѣ того какъ борьба затягивалась, собственная точка зрѣнія публициста-богослова, какъ будто, до нѣкоторой степени *переставала* вливалась. Не то, чтобы мы имѣли право заключать, что основныя задачи Соловьева въ чемъ-нибудь видоизмѣнились: ни въ одномъ изъ печатныхъ произведеній, сколько намъ извѣстно, авторъ ни отъ чего не отказывался

изъ высказаннаго раньше. Но его послѣдняя цѣль—проникновеніе человечества христіанствомъ съ помощью всемірной церкви — какъ-то отодвинулась и ступевалась, а ближайшія средства—борьба со всевозможными формами національнаго эгоизма—все болѣе и болѣе дѣлались цѣлями сами по себѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, все рѣзче подчеркивались точки соприкосновенія между взглядами Соловьева и воззрѣніями прогрессивной части нашего общества, и въ то же время все полнѣе забывались коренныя особенности и основныя идеи его общаго міровоззрѣнія. Въ результатѣ, Соловьева стали, говоря его словами, „укорять въ послѣднее время за то, что онъ, будто бы, перешелъ изъ славянофильскаго лагеря въ западническій, вступилъ въ союзъ съ либералами и т. п.“<sup>1)</sup> Отвѣчая на эти „упреки“, Соловьевъ могъ съ полнымъ основаніемъ доказывать, что своей проповѣдью онъ не только не отрицаетъ, а, напротивъ, *возрождаетъ* къ новой жизни старое славянофильство; что, во всякомъ случаѣ, развивая его гуманистическіе элементы, онъ остается *болѣе вѣрнымъ* его истинному духу, чѣмъ официальные защитники славянофильства изъ лагеря націоналистовъ. Таково, какъ мы думаемъ, и есть въ дѣйствительности отношеніе соловьевскихъ теорій къ идеямъ старыхъ славянофиловъ. Но каково же ихъ отношеніе къ идеямъ „либераловъ“ и западниковъ? Ограничивается ли связь между ними нѣкоторыми *совпаденіями въ практическихъ выводахъ*, или же она проникаетъ дальше и глубже? Другими словами,—роднитъ ли Соловьева и либераловъ только общая имъ идея религіозной свободы, къ которой та и другая сторона пришли разными путями и которая служить имъ для различныхъ цѣлей; или же можно идти дальше и установить также и между цѣлями обѣихъ сторонъ нѣкоторое согласіе, примиривъ идеи Соловьева о водвореніи на землѣ царства Божія съ теоріей „либерально-эгалитарнаго прогресса?“

Попытку такого примиренія сдѣлалъ, какъ извѣстно, самъ Соловьевъ. Необходимость этой попытки, вытекала, дѣйствительно, изъ самаго существа его всемірно-историческаго построенія: точнѣе говоря, изъ необходимости примирить это построеніе съ историческими фактами. По построенію Соловьева всемірная исторія должна была представляться постепеннымъ осуществленіемъ въ жизни христіанскаго идеала, а дѣйствительный ходъ историческаго развитія Европы совершался, какъ будто бы, скорѣе въ смыслѣ „либерально-эгалитарнаго прогресса“. Самъ собой возникалъ, такимъ образомъ, вопросъ о томъ, въ какомъ отношеніи находится этотъ прогрессъ либеральныхъ идей къ предпо-

<sup>1)</sup> „Національный вопросъ въ Россіи“, II, 322.

лагаемому или желательному прогрессу христіанскихъ началъ: мѣшаетъ онъ ему, или, напротивъ, содѣйствуетъ? И Соловьевъ, недавно еще, отвѣчалъ на этотъ вопросъ совершенно согласно съ своими теперешними антагонистами націоналистическаго лагеря — и вовсе не согласно съ требованіями собственной теоріи. Да, плоды дѣятельности современныхъ націй и государствъ, освобожденныхъ со времени реформациі отъ церковной опеки и думавшихъ сдѣлать дѣло лучше, чѣмъ церковь, эти плоды неутѣшительны. Идея христіанства — исчезла, милитаризмъ превратилъ цѣлые народы въ вооруженныя арміи и развилъ національную вражду, подобной которой не знали средніе вѣка. Соціальныя антагонизмы обострились и борьба классовъ грозитъ всеобщимъ переворотомъ. Нравственный уровень падаетъ, число сумасшествій, самоубійствъ и преступленій растетъ. Таковы итоги прогресса, достигнутаго *секуляризованной* Европой въ теченіе трехъ или четырехъ послѣднихъ вѣковъ. Есть, конечно, соглашался Вл. Соловьевъ, и частныя успѣхи: смягчены уголовные законы, уничтожены пытки. Выигрышъ значителенъ, но можно ли считать его окончательнымъ? <sup>1)</sup> Какъ видимъ, исторія четырехъ послѣднихъ вѣковъ, то есть вся исторія современной европейской мысли, мало сдѣлала, по этому изображенію, для осуществленія на землѣ идеи Богочеловѣчества.

Прошло немного времени, и Вл. Соловьевъ прочелъ свой рефератъ въ Психологическомъ Обществѣ, надѣлавшій столько шума и вызвавшій цѣлую литературу, не столько „теоретическихъ споровъ“, сколько „изобличеній“, какъ удачно формулировали содержаніе этой литературы „Московскія Вѣдомости“. Чѣмъ же былъ вызванъ весь этотъ шумъ? Что сказалъ Соловьевъ новаго и неожиданнаго?

## XVI.

Неожиданнаго не было ровно ничего для тѣхъ, кто слѣдилъ за предыдущею литературною дѣятельностью Соловьева. Но новое, дѣйствительно, кое-что было. Разъ противопоставивъ свой теократическій идеалъ духу времени, Соловьевъ не могъ остановиться на *отрицаніи* духа времени, на томъ пессимизмѣ отчаянія, который, въ сущности, былъ бы довольно близокъ къ Леонтьевскому и которому не совсѣмъ чужда только-что приведенная цитата <sup>2)</sup>. Опытъ показалъ, какъ мало было въ

<sup>1)</sup> La Russie. LVIII.

<sup>2)</sup> Нечего и говорить, что Соловьевская эсхатологія послѣднихъ годовъ, его ученіе о близкомъ пришествіи антихриста, именно и было возвращеніемъ къ такому пессимизму отчаянія, послѣ неудавшейся попытки — пропаганди-

этомъ пессимизмъ идеалистическаго и творческаго. Въ своемъ рефератѣ Соловьевъ рѣшилъ эту тяжбу между христіанскою Европой и Европой секуляризованною, между средними вѣками и новымъ временемъ,—и рѣшилъ, какъ и слѣдовало ожидать, въ пользу Европы секуляризованной. Въ этомъ не было, повторяю, ничего неожиданнаго: Соловьеву не пришлось мѣнять для этого вывода ни своихъ основныхъ воззрѣній, ни даже своей терминологіи. Христіанство онъ и прежде понималъ не какъ нѣчто готовое и данное, не какъ законченную историческую форму, подлежащую храненію въ историческомъ архивѣ; а *живое* христіанство должно было жить вмѣстѣ съ жизнью общества. Заключить отсюда, что развитіе европейской жизни не противорѣчитъ, а напротивъ идетъ *объ руку съ развитіемъ христіанской идеи*, было естественнымъ, вполне логическимъ выводомъ изъ такого пониманія христіанства. Конечно, при этомъ нѣкоторыя вещи явились подъ несовсѣмъ привычными именами. То, что мы привыкли называть историческимъ терминомъ христіанства, въ идеалистическомъ употребленіи Соловьева оказалось язычествомъ; а то, что мы привыкли противопоставлять христіанству какъ духъ времени, было признано какъ разъ за истинное христіанство. Вольтеръ не былъ, стало быть, скептикомъ, разрушавшимъ христіанскую религію, а, напротивъ, проводникомъ истинно-христіанскихъ началъ, призванныхъ замѣнить средневѣковое язычество, именовавшее себя христіанствомъ. Однимъ словомъ, христіанская средневѣковая Европа была, въ сущности, языческой; а современная секуляризованная Европа есть шагъ впередъ къ полному усвоенію христіанства, причемъ даже и невѣрующіе служатъ этому развитію христіанскихъ началъ, какъ безсознательныя орудія Божественнаго промысла.

Такимъ образомъ, теократическій идеалъ былъ приведенъ въ гармонію съ „либерально-эгалитарнымъ прогрессомъ“, вѣра примирена съ невѣріемъ. Способъ, какимъ это было сдѣлано, конечно, долженъ былъ вызвать протестъ со стороны того и другого. Для вѣрующихъ оставалось слишкомъ мало христіанства въ новой исторической конструкціи Соловьева, а для невѣрующихъ его было все еще слишкомъ много. Оба направленія могли бы не безъ успѣха сопоставлять эту конструкцію съ дѣйствительными историческими данными и находить въ нихъ фактическія опроверженія. Но одно обстоятельство трудно отрицать при всемъ этомъ, это—то, что *отождествленіе религіи съ прогрессомъ было послѣднимъ логическимъ выводомъ изъ гуманитарныхъ всемірно-историческихъ тенденцій стараго славянофильства*. И въ этомъ направлять въ обществѣ свой теократическій идеалъ и создать почву для примиренія двухъ противоположныхъ воззрѣній.

ніи, какъ въ направленіи націоналистическомъ, славянофильская доктрина исчерпала сама себя и пришла къ своей противоположности. „Либерально-эгалитарный прогрессъ“ представлялъ, дѣйствительно, не меньшій *контрастъ съ исходными пунктами* славянофильской доктрины, чѣмъ теорія національнаго эгоизма. Своей критикой русскаго націонализма Соловьевъ блестящимъ образомъ доказалъ послѣднее, доказалъ противорѣчіе между націонализмомъ и истинною сущію славянофильства. За то своимъ собственнымъ построеніемъ онъ лучше всего иллюстрировалъ первое, несовмѣстимость славянофильства съ современными этическими и общественными воззрѣніями. Матеріалъ для общаго сужденія объ эволюціи славянофильства лежитъ теперь передъ нами, благодаря Соловьеву, законченнымъ, и намъ остается только подвести ко всѣмъ нашимъ предыдущимъ наблюденіямъ и разсужденіямъ общій итогъ.

## XVII.

Въ основѣ стараго славянофильства лежало *внутреннее противорѣчіе*. Идея національности мѣшала дать должное развитіе идеѣ мессіанизма; а мессіанская идея мѣшала раскрытію идеи національности. Въ русской народности цѣнили религіозное начало, а въ религіозномъ началѣ цѣнили его народную форму. При дальнѣйшемъ развитіи ученія это противорѣчіе вышло наружу и повело къ тому, что двѣ основныя идеи стараго славянофильства раздѣлились и каждая изъ нихъ получила отдѣльное логическое развитіе. Въ основу этого дальнѣйшаго развитія положены были, повидимому, живыя и цѣнныя начала. На помощь при обоснованіи идеи національности призвана была историческая и общественная *наука*; а всемірную задачу Россіи попробовали построить на высшихъ *этическихъ требованіяхъ*. И однако же результаты вполнѣ послѣдовательнаго, логическаго развитія обѣихъ идей оказались мало удовлетворительными. Въ теоріи это развитіе привело русскій *націонализмъ* къ метафизической концепціи „всемірно-историческаго типа“, а русскій *мессіанизмъ* — къ химерѣ всемірной теократіи. Прилагая эти теоріи къ практикѣ, наши націоналисты пришли къ обскурантизму и къ систематической защитѣ реакціи; а наши мессіанисты спаслись отъ этихъ выводовъ только тѣмъ, что, худо ли, хорошо ли, приладили свое міровоззрѣніе къ теоріи прогресса.

Чѣмъ же объясняется такая *неудовлетворительность* результатовъ? Тѣмъ, очевидно, что въ самомъ принципѣ славянофильскаго ученія заключался элементъ, портившій самыя вѣрныя идеи, самыя благія на-

мѣренія, разъ только они соприкасались съ славянофильскою почвой и употреблялись для возрожденія стараго ученія. Этимъ вреднымъ элементомъ былъ, съ нашей точки зрѣнія, безусловный характеръ, *абсолютизмъ* славянофильскаго ученія, незаконно пережившій его метафизическую основу. Въ ученіи о національности нельзя не считать въ высшей степени цѣнной ту идею глубокаго своеобразія, оригинальности всякой національной жизни, на которой стояло славянофильство. Несомнѣнно, что эта идея о вполнѣ индивидуальномъ характерѣ каждой общественной группы находитъ свое полное оправданіе въ современной общественной наукѣ. Но стоитъ только объяснить это своеобразие національности изъ присущаго ей народнаго духа, какъ этимъ самымъ народная индивидуальность дѣлается абсолютной, неразложимой, и все дѣло оказывается испорченнымъ. Народность безъ духа это будетъ тогда „этнографическій матеріалъ“; народность одухотворенная—это или звено во всемірно-исторической цѣпи или замкнутый въ себѣ „культурно-историческій типъ“, неподвижный и предустановленный, какъ зоологическіе и ботаническіе типы стараго естествознанія. Современная общественная наука не знаетъ такой классификаціи народовъ—на бездушные и духовные и не проводитъ такой рѣзкой разницы между этнографическимъ матеріаломъ и культурною формой. Национальность для нея *не есть причина* всѣхъ явленій національной исторіи, а скорѣе *результатъ* исторіи, равнодѣйствующая, составившаяся изъ безконечно сложной суммы отдѣльныхъ историческихъ вліяній, доступная всякимъ *новымъ* вліяніямъ. Вопросъ о заимствованіи для нея не есть метафизическій вопросъ о разрушеніи народной сущности, а просто вопросъ практическаго удобства. Такимъ образомъ, и всѣ ужасы, которыми грозило славянофильство объевропеившейся Россіи: потеря самобытнаго типа, превращеніе въ неорганическую массу и т. д., для современной науки суть только призраки разстроеннаго метафизикой воображенія. Всякій народъ живетъ для себя и своею жизнью; это признала реальная наука нашего времени, но это не мѣшаетъ ей признать также, что въ основѣ всѣхъ этихъ отдѣльныхъ жизней лежатъ общіе соціологическіе законы и что по этой внутренней причинѣ въ безконечномъ разнообразіи національныхъ существованій должны отыскаться и сходные, общіе всѣмъ имъ элементы соціальнаго развитія.

Какъ абсолютизмъ національный чуждъ современной соціологіи точно также абсолютизмъ религіозный чуждъ современной этикѣ. Разъ ставши на почву этого абсолютизма, славянофильство, если хотѣло быть послѣдовательнымъ, дѣйствительно не могло помириться ни съ какимъ другимъ болѣе скромнымъ рѣшеніемъ всемірно-исторической за-

дачи, чѣмъ водвореніе царствія Божія на землѣ и всемірная теократія. Къ этому выводу поневолѣ приводила безусловность нравственно-религіознаго требованія. Но такой безусловности не признаетъ современная этика, или, точнѣе говоря, она ищетъ обоснованія этой безусловности въ другомъ мѣстѣ, не въ метафизикѣ и религіи. Самая попытка Соловьева есть, въ сущности, нѣкоторый компромиссъ между современными этическими стремленіями и аскетическимъ идеаломъ историческаго христіанства. Какъ всякій теоретическій компромиссъ, онъ долженъ былъ въ концѣ концовъ разложиться на свои противорѣчія и привести къ одному изъ двухъ крайнихъ выводовъ. Противники Соловьева стали на сторону средневѣковаго идеала, самъ Соловьевъ склонился въ сторону современныхъ воззрѣній. Но, не говоря о томъ, что вопросъ о совмѣстимости того и другого остается открытымъ, и въ свое послѣднее рѣшеніе Соловьевъ внесъ черты религіозно-нравственнаго абсолютизма. Въ результатѣ, всемірно-историческая задача человечества представилась ему гораздо яснѣе, чѣмъ она представляется современной наукѣ и даже современной прикладной социологіи, современной теоріи прогресса. Это чрезчуръ ясное представленіе о конечной цѣли человечества не соединяется ли иногда съ недостаточно отчетливымъ понятіемъ о его ближайшихъ, болѣе низменныхъ, но и болѣе насущныхъ задачахъ? Не переворачивается ли вверхъ дномъ при такомъ измѣненіи естественной перспективы вся іерархія человѣческихъ цѣлестремленій и обязанностей? Не рискуемъ ли мы при этомъ ближайшему предпочесть дальнѣйшее, нравственному требованію отдать преимущество передъ требованіями права? Не очутимся ли мы, пойдя этимъ путемъ, передъ давно знакомымъ утвержденіемъ, что юридическія начала слишкомъ тѣсны для человечества, призваннаго къ чему-то высокому, „даже, кажется, небесному“, какъ шутливо выразился Алмазовъ? Всѣ эти вопросы относятся, впрочемъ, болѣе къ теоріи, чѣмъ къ теоретикѣ; литературная дѣятельность Соловьева не даетъ до сихъ поръ достаточныхъ поводовъ къ тому, чтобы эти вопросы ставить, и тѣмъ менѣе даетъ достаточнаго матеріала для того, чтобы ихъ рѣшать по отношенію къ нему лично.

Итакъ, абсолютизмъ, метафизическій и религіозный, составлялъ и продолжаетъ составлять самую рѣзкую разграничительную черту между славянофильствомъ и современнымъ міровоззрѣніемъ. Въ старомъ славянофильствѣ абсолютизмъ этотъ былъ вполне понятенъ: онъ естественно и необходимо вытекалъ какъ изъ условій воспитанія представителей славянофильства въ патріархальной семейной средѣ, такъ и изъ состоянія тогдашней европейской мысли. Поэтому славянофильство

было совершенно *органическимъ продуктомъ* того поколѣнія, которое его создало; и поэтому-то, въ сущности, оно *должно было* умереть съ этимъ поколѣніемъ. Слѣдующія поколѣнія старались продлить его жизнь путемъ привлеченія свѣжихъ элементовъ со стороны: съ помощью реальной науки или соціальной морали. Но результаты, какъ ни смотрѣть на нихъ, получались, во всякомъ случаѣ, уже не тѣ. Старый славянофилъ, въ лицѣ И. С. Аксакова или Д. Θ. Самарина, встрѣчаясь съ такой ультраславянофильскою попыткой, какъ теорія Соловьева, не узнавалъ въ немъ славянофила и отказывался отъ всякаго духовнаго родства. Почему же? А потому, отвѣчаетъ намъ И. С. Аксаковъ, что все это—„благородно“, „красиво“, но... не куплено кровью сердца, не выношено въ душѣ, не вытекаетъ изъ сильной привязанности, а сочинено и выдуманно „въ просторной пустотѣ“ отвлеченной мысли. Старый славянофилъ могъ быть логически непослѣдователенъ, могъ основывать свое ученіе на идеяхъ, внутренне противорѣчивыхъ, но это ученіе выросло изъ современной ему дѣйствительности и *жило*, поэтому, своей особенной своеобразной жизнью. Эпигоны славянофильства—послѣдовательнѣе, но „душа, смыслъ явленій выпали изъ ихъ діалектической схемы“. А извѣстно, что гдѣ нѣтъ души, нѣтъ и жизни. Стало-быть, старый славянофилъ былъ правъ. Истинное славянофильство, „кровное“, не теорія только, а живой типъ общественной мысли, — это славянофильство прекратило свое существованіе. Теперь органическій процессъ русской жизни и мысли давно уже даетъ другіе „кровные“ результаты. А славянофильство *было* когда-то... Теперь оно умерло и не воскреснетъ.

---



## По поводу „Замѣчаній“ Вл. С. Соловьева.

Къ остроумнымъ „замѣчаніямъ“ Вл. С. Соловьева на мою лекцію о „разложеніи славянофильства“ я позволю себѣ, съ разрѣшенія редактора „Вопросовъ Психологіи“, сдѣлать нѣсколько разъясненій. Почтенный философъ журитъ меня прежде всего за то, что я изъ него, Соловьева, создалъ цѣлую „фракцію“ славянофильства, между тѣмъ какъ на дѣлѣ фракція эта и „состоитъ только“ изъ одного В. С. Соловьева. Владиміръ Сергѣевичъ утверждаетъ, что у него нѣтъ единомышленниковъ и послѣдователей, — и мнѣ остается этому повѣрить. Правда, у меня говорилось кое-что о *предшественникахъ* В. С. Соловьева по реставраціи всемірно-исторической тенденціи славянофильства, но я охотно соглашусь, что построеніе, придуманное имъ „въ пустотѣ отвлеченной мысли“ для этой реставраціи, — было его предшественникамъ совершенно чуждо. Итакъ, я готовъ признать свою ошибку, согласиться, что В. С. Соловьевъ — философъ первый и единственный въ своемъ родѣ, и сдѣлать въ своей лекціи соотвѣтственные корректурныя поправки. Но вотъ съ чѣмъ я не могу согласиться: В. С. Соловьевъ, заставивъ меня признать, что „лѣвая фракція славянофильства“ — это онъ одинъ, хочетъ затѣмъ получить отъ меня и другое признаніе, что этой „лѣвой фракціи славянофильства“, т. е. его, В. С. Соловьева, „вовсе нѣтъ въ дѣйствительности“. Можетъ-быть и это вѣрно, и все дѣло зависитъ отъ моего неумѣнья „смотреть въ корень“, но я никакъ не могу представить себѣ В. С. Соловьева несуществующимъ, а потому не могу согласиться и съ его дальнѣйшимъ выводомъ, что если нѣтъ въ дѣйствительности лѣвой фракціи, то, значитъ, нѣтъ и правой, и что „слѣдовательно“ группа нашихъ націоналистовъ, называемая мною „правой“, — не есть фракція славянофильства, а „что-нибудь другое“. Въ дальнѣйшихъ „замѣчаніяхъ“ В. С. Соловьевъ и хочетъ, повидимому, показать мнѣ, что націоналисты — не славянофилы, но ведетъ это доказательство, какъ мнѣ кажется, тоже нѣсколько

